

НОВЫЙ
МИР

4

1932

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ж у р н а л

**К Н И Г А
Ч Е Т В Е Р Т А Я
А П Р Е Л Ь**

М О С К В А

1 • 9 • 3 • 2

СТАТ — формат Б/5 178 × 230.

Уполн. Глав. В 28658. Об'ем 14 печ. лист. по 64.000 знаков. Техн. ред. В. Белоконь. Зак. 1596
Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Огариова. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

СОДЕРЖАНИЕ.

1. А. ПЕРЕГУДОВ. — Солнечный клад, роман	5
2. Федор ГЛАДКОВ. — Энергия, роман, продолжение	34
3. А. ГИДАШ. — К Ленину, стихи	52
4. М. ШОЛОХОВ. — Поднятая целина, роман, продолжение	53
5. ИВ. ТРУСОВ. — Досрочное успокоение, рассказ	77
6. В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ. — Спит лирика, стихи	92
7 Бор. ПИЛЬНЯК. — О-кей, американский роман, продолжение	93
8. А. ВИНОГРАДОВ. — Черный консул, историческая повесть	137
9. О. МАНДЕЛЬШТАМ. — Два стихотворения	166
10. Ф. КРЕТОВ. — Социальная эволюция крестьянства	167
ЛЮДИ И ФАКТЫ:	
11. И. НОВИКОВ. — Диспут о кроликах.	198
ЗА РУБЕЖОМ:	
12. С. ГАЛЬПЕРИН. — Самурай и биржа	214

Солнечный клад

Роман

АЛЕКСАНДР ПЕРЕГУДОВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Инженер сошел с поезда на глухом железнодорожном полустанке. Его встретил высокий человек с ружьем и сумой за плечами.

— Видишь: я очень аккуратен, приехал даже раньше с почтовым.

-- Ты не был на Моховых болотах?

— Нет, я дожидался тебя.

Инженер окинул взглядом сосны и под ними маленькое станционное здание.

— Хорошо бы лошадь нанять. Как ты думаешь, Алексей Петрович?

— Какие тут лошади! Тут, Николай Иванович, и деревень-то путных нет.— Он передвинул плечами, чтобы удобнее легла ноша. — Дойдем потихоньку, — двенадцать верст всего.

Дорога сразу юркнула в лес. По обеим сторонам бронзовыми колоннами стояли сосны. Солнечный свет золотыми пятнами лежал на песчаной тропинке. Очень сильно пахло смолой и едва ощутимо — влажной перегнивающей хвоей.

Человек с ружьем шел неторопливой размеренной походкой, часто оборачиваясь, задорно и молодо блестя глазами, говорил:

— Ты посмотри — лес-то какой: что ни сосна — то мачта. А воздух-то — чуешь?

За светлым сосновым бором потянулся сырой мрачный ельник. Дорога потемнела, на ней уже не было живых солнечных пятен. Над головами нависли широкие рукава елей. Сильнее запахло прелью, и запах смолы изменился.

— За этим ельником пойдут березняки, — веселый лесок. У меня отец не любил ельника. Помню, говорил, бывало: «В сосновом лесу молиться, в березовом веселиться, а в еловом удавиться». А я всякое дерево люблю, всякому лесу рад.

Алексей Петрович остановился, одним движением руки отер потный лоб и сбил фуражку на затылок. Расстегнутый ворот толстовки открывал его крепкую шею. Николай Иванович залюбовался товарищем: был он похож на отчаянного браконьера, охотящегося в чужих владениях. Внимательным и цепким взглядом ощупывал, обозначал каждый сучок, каждую травинку. И слух его, должно быть, так же настроен и чуток, — это заметно по лицу: то улыбается, то вдруг смахнет улыбку, нахмурит брови, слушает.

Поджидая инженера, Алексей Петрович озабоченно следил за солнцем, и чем ниже оно опускалось, тем беспокойнее делалось его лицо, а когда солнце совсем завалилось за мохнатую стену ельника, — безнадежно махнул рукой.

— Опоздал!

— Куда опоздал?

— На тягу... думал, до зари дойдем и на вальдшнепов постоять успею. Знатная тут тяга была когда-то. — Бодро тряхнул головой. — Ну, уж утреннюю зарю не просплю, на косачей ударюсь. Расспрошу Терентия как и что и закачусь.

— А может быть, его и нет там, Терентия-то, — угрюмо сказал инженер.

— А может, и нет... Да я и без Терентия разыщу, мне только в лес попасть да денек, другой оглядеться.

Когда вышли из краснолесья, небо уже было сиреневым и на нем, над прозрачной зарей вспыхнула палевая звезда. Впереди в туманах мерещились перелески, по обем сторонам дороги великанскими шапками лежали кочки; кое-где между ними тускло поблескивала вода.

— Ну, вот и Моховые болота! Сейчас гать будет, а за ней и сторожка.

Неожиданно дорога свернула вправо, врезываясь в сухой высокий тростник. Пахнуло сыростью, под ногами застучали бревна, захлопала вода. Николай Иванович шел медленно и, прежде чем наступить на бревно, осторожно нажимал на него ногой. Под тяжестью тела бревно тонуло в жирной тине, потом топь опять выпирала дерево. Было похоже: кто-то огромный гнилым беззубым ртом захватил гать и старается проглотить ее, чмокает, давится, пускает пузыри.

У инженера промокли штiblеты, зябли ноги.

Алексей Петрович, легко и быстро шагая по гати, часто оборачивался, показывал:

— Вот сюда прыгай. Осторожнее.

— Ну и чортова дорога!

— Хорошо, что такая-то есть, а то до болот совсем не доберешься... Вот сюда... Ну, сразу!.. Вот так!

Сухо шелестел тростник, иногда он близко подходил к бревнам и качал над головами людей своими метелками. Николаю Ивановичу чудилось: тростник вырос до гигантских размеров, его метелки бьют по небу, стараясь смахнуть с него золотые горошины звезд. Потом тростник отошел от гати, сделался мельче, бревна тверже легли под ногами. Впереди у окутанного туманом перелеска затемнела большая копна.

— Сторожка! — громко сказал идущий впереди. Услышав его голос, залаяла собака. — Тут Терентий колдуном живет. — Закричал, приложив ко рту ладони, сложенные рупором: — Э-э-й!

Яростнее забрехала собака. Сбоку темной копны вспыхнул красноватый огонек. В темное что-то глухо стукнуло. Из тумана неслышно надвинулась, похожая на призрак, высокая фигура. Она глухо спросила:

— Что за люди?

— Он, — шепнул Алексей Петрович и громко ответил: — Свои, дядя Терентий: Медведев, лесничего сын.

— Алешка?

— Он самый. С товарищем.

— Ну, идите.

Лесник был высок ростом, широкоплеч. В темноте нельзя было рассмотреть его лица.

— Здорово, — протянул руку Медведев. — Жив еще?

— Здравствуй. Что нам делается, живем поманеньку. А этот чей?

— Товарищ мой, по делам к тебе приехал.

— Так!.. Ну и ты здравствуй... А я уже спать было лег. Ну, пойдѣте. К собаке близко не подходите, — цапнет.

Вход в сенцы был очень низок, лесник переломился почти вдвое, проходя под притолокой. Пошарив рукой по стене, он нащупал скобку и отворил дверь в избу. Войдя, инженер с изумлением взглянул на лавку: там, заправленная в светец, горела лучина. Под светцом стояло маленькое корытце, наполненное водой. Угли, нагорая, падали в воду и тихо шипели. Пахло дымком, мятой, свежѣ испеченным хлебом.

— Все с лучиной живешь? — спросил Алексей Петрович, вешая суму и ружье на деревянный колышек у двери.

— С лучиной-то свѣчнее, да и керосину здесь не достанешь. Темно, что ли?

Лесник достал с полки маленькую лампочку и по тому, как неловко и бережно снимал он запылившееся стекло, зажег от лучины светильню, Николай Иванович понял, что лампа в этой избе горит редко.

Терентий задул лучину, отодвинул угол светеца.

— Чем угощать вас? Хлеб у меня есть мягкий, молоко.

Инженер отказался и попросил приготовить ему постель. От непривычной ходьбы ныли ноги, тихо кружилась голова.

Старик вышел из избы. Было слышно, как он окрикнул собаку, чем-то стукнул и затих.

— Видал какой, — подмигнул Медведев. — Ты завтра к нему присмотришь. Семьдесят лет на одном месте живет,

ни разу в городе не был, ни разу по железной дороге не ездил. С лучиной.. Вот он где, семнадцатый век!.. И как это про здешний торф дознались? От человека, знать, ничего не скроется.

Терентий принес охапку соломы, бросил ее на пол, прикрыв овчинным тулупом.

— Ложись.

Николай Иванович снял мокрые штиблеты и, не раздеваясь, лег на солону.

На Моховых болотах, Красных горах, на Диком, Белом и Безымянном озерах была своя, ничем не нарушимая, жизнь. Весной птичьим гомоном наполнялись тростники и затоны, березовые и осиновые перелески звенели тетеревиными песнями. Мочажины покрывались буйными травами и пестрою сетью цветов. В лесу ели зажигали красные огоньки молодых шишек, а сосны выбрасывали душистые желтые побеги. Летом над лесом и болотами ярким голубым потолком лежало небо, летом утихала хмельная весенняя любовь зверей и птиц, в норах и гнездах зарождались новые жизни, и солнце растило их своим теплом и светом. Осень щедро осыпала багряцом и золотом черное лесье, потом срывала яркие лохмотья и устилала ими землю. И затихала земля, улетали птицы, и небо дышало холодом. Седые тучи сыпали снегом.

Здесь все подчинялось одному властелину — солнцу. Солнце растопляло снега, ломало лед в болотах и озерах, давало жизнь миллиардам существ. И в благодарность за ласку, за тепло, за ту силу, которой наделяло солнце и зверей, и птиц, и каждую былинку, и каждое дерево, земля дарила ему первые свои цветы, окрашенные золотисто-желтым цветом, цветом солнца. По откосам, канавам и берегам оврагов золотились головки мать-мачехи, в тенистых местах цвели жалтые селезеночки, у лесных опушек распускал золотистые свои колокольчики первоцвет. И у чистяка, гусяного лука, калужницы, одуванчика были солнечно-желтые цветы. Тысячелетия, ежедневно, ежесекундно солнце руководило жизнью глухумани. Утрами, когда на во-

стоке чуть брезжило, земля знала: идет властелин. Первые приветствовали его своими криками журавли. Серебряными трубами звенели их голоса над просыпающимися болотами. Журавли начинали увертюру дня, к ним скоро присоединялось токованье тетеревов, потом призывные звуки самки бекаса, свист болотных курочек, голоса певчих птиц, и когда тяжелый сверкающий диск поднимался из болотных туманов, оркестр земли звучал торжественно и мощно.

Вечерами, провожая солнце, постепенно затихали голоса, и только старый филин — безумный музыкант — хохотал и плакал у Дикого озера.

Золотое пятно проползло по соломе, тулупу и легло на лицо инженера. Николай Иванович открыл глаза и, ослепленный солнцем, снова опустил веки. В сторожке густо пахло мятой, и этот запах напомнил вчерашний день: дорогу от полустанка до сторожки, гать, туманы и лесного деда Терентия. Инженер отодвинулся от золотого пятна и внимательно осмотрел избу. Огромная печь занимала треть избы, над печью с полатай свешивалась старая лосиная шкура. По стенам, потемневшим от давности, набиты полки. У двери на колышках висели пучки мяты, старинное шомпольное ружье и сумка. От двери к окну и под окном протянулись лавки, такие же темные, как и стены. В углу за печкой на окованном жестью сундуке стоял светец с обгорелой лучиной.

— Лучина, — подумал Николай Иванович, — остаток прежней России... Нет, даже не России, а Руси... Лес, болота, непотревоженная тишина... А мы идем сюда с машинами и грохотом. Мы дерзаем строить здесь электростанцию... Лучина и электричество!

Он встал и подошел к окну. Сквозь мутное стекло были видны перелески, опушенные первой зеленью, бурые кочки болота и за ними — сухая щетина тростника. У темного, осевшего набок сарая лежала бочка, из которой выглядывала лохматая собачья морда. Когда Николай Иванович вышел на крыльцо, собака, яростно хрипя, метнулась к нему. Толстая железная цепь резко

остановила ее. Злобно лая, собака поднималась на задние лапы, возвращалась к своему логову и снова кидалась вперед, пытаясь оборвать цепь. Он хотел сойти с крыльца, но гулкий голос лесника предостерегающе крикнул:

— Пстой!.. Пстой!..

Терентий подходил к хлеву, грозя инженеру пальцем. У двери хлева остановился и, положив ладонь на скобу, заговорил тихо:

— Что, Машка?.. Что, дура?.. Гулять хочешь? Ну, ну, иди, чертяка.

Откинув засов, широко распахнул дверь. Из хлева выбежала бурая корова и, нагнув голову, бросилась на старика. Терентий юркнул за угол. Корова била передними ногами землю, мычала хрипло и страшно. Собака, гремя цепью, скрылась в бочке. Из-за хлева с большим колом выскочил лесник и пошел на корову, громко крича:

— Ну, ты-ы!.. Я т-тебе!

Кол гулко ударил по коровьему боку. Корова отскочила в сторону, и, не давая ей опомниться, махая колом, старик угнал ее на зеленую полянку, круглым блюдечком лежащую у березового перелеска. Потом подошел к сторожке.

— Вот какая дикая, чертяка.... Второй день как на волю ее выпускаю, ну и бесится. Ничего, обойдется. — Погрозил корове колом: — Я тебе, ядрена пень!

В это утро инженер впервые разглядел старика. Терентий стоял у крыльца без шапки, в очень длинной синей рубаше, домотканых портах, босиком. На широкой его груди венником лежала пушистая изжелта-белая борода, а на голове стриженные в скобку волосы были темны и только кое-где в них блестели серебряные нити. На очень выпуклых надбровных дугах двумя огромными гусеницами шевелились лохматые брови. Под бровями, в сетке морщин, играли бойкие зеленоватые глаза. Нос был прям и тонок, как у святых суздальского письма. Терентий часто шевелил ноздрями, будто щупал плывущие со всех сторон запахи земли.

— Я тебе, ядрена пень, — повторил старик и ласково улыбнулся. — Все утро ноне воюю то с лошадью, то с Машкой... Лошадь у меня тоже дикая... В лес умчалась. К вечеру придет. По

свистку приходит: как свистну, так и явится... Как у Иванушки-дурачка Сивка-Бурка, вещая коверка... Ну, как поспалось?

— Хорошо. А где же Алексей Петрович?

— Э-э-э, брат, — махнул рукой Терентий, — он еще о-полночь ушел. Есть тут версты за четыре ток тетеревиный. Рассказал я ему, он и подался. Утречком слышно было: в той стороне палили. Окромья его некому. Скоро должен притти.

Умывался инженер из глиняного с двумя носками рукомойника, повешенного на лычках у крыльца. С непривычки никак не мог набрать из него полные пригоршни воды: рукомойник болтался на лычках, носки выскальзывали из пальцев, и холодная вода плескала в рукава.

В избе Терентий большими ломтями нарезал хлеб, принес с погребницы молока и творогу. Потом вышел в сени и скоро опять вернулся с глиняным кувшином.

— Ну-ка, попытай, поди, ни разу этого не пил.

Налил в корец прозрачную воду.

— А что это?

— Попытай, тогда скажу.

Инженер поднес корец к губам и сделал несколько глотков. Вода была необыкновенно свежа и сладковата.

— Не разгадал? — спросил старик, шевельнув в улыбке усами.

— Нет.

— Сок березовый. Теперь для него самая пора. У меня в лесу штук десять жбанчиков висит. Прорежу в березе дырочку, желобочек вставляю, а под желобок жбанчик повешу — и течет. Пей, не сумлевайся, вещество полезная: от грудей помогает, ежели теснит в грудях, от кашлю — тоже.

У сарая залаяла собака. Выглянув в окно, Николай Иванович увидал, как от перелеска быстро шагал Медведев. Его ружье было закинута за плечи, у пояса болталось несколько сине-черных косачей.

Лесник вышел из избы, и ему закричал Алексей Петрович возбужденно и радостно.

— Эх, и утро было!.. Спасибо, друг, уважил!

— А ток?

— Ток знаменитый.

— Нашел?

— А как же?.. В твоём шалаше сидел. За час до-свету забрался. Эх, как заиграли!

Медведев был возбужден охотой, весенним утром, весенней землей. Его глаза казались хмельными, детски-радостная улыбка не сходила с лица. Сорвав с головы фуражку, он стоял у крыльца, горячо рассказывая деду, как сидел в шалаше, слушал шорохи и голоса болота, как сначала зачуфыкали, а потом заворковали тетерева, как слетелись они на полянку и начали драться. Он выстрелил три раза, убил трех косачей и больше не стал стрелять. Где-то трубили журавли, стайки чирков, свистя крыльями, пролетали над шалашом. Невидимые звенели бекасы. А потом из-за Волчьей гривы поднялось солнце, пригрело землю. Можно было бы идти домой, но не хотелось расставаться с шалашом, с болотными кочками, с запахом цветущих берез и первых трав.

Возбуждение охотника было понятно Терентию. Старик так же радостно улыбался, изумленно поднимал брови, качал головой.

В сторожке Медведев бросил на лавку косачей, любовно погладил их бархатно-черные перья и, как бы очнувшись, заметил инженера и другим, потухшим голосом сказал:

— Ну, как? Отдохнул после вчерашнего?

— Отдохнул.

— А я, брат, после завтрака — на сеновал. Всю ночь не спал.

Он торопливо и жадно ел творог и хлеб, выпил пол-кринки молока и ушел на сеновал.

Инженер расспрашивал Терентия о Моховых болотах, о работе прошлогодней разведки, о том, какие просеки прорубила она в березняках, какие знаки поставила на земле. Он вынул из портфеля план и хотел сделать на нем отметки, но старик тупо смотрел на раскрашенную кальку и не мог сказать, где тут нужно отметить просеки и межевые знаки.

— В плане я не понимаю, а на память знаю: есть просеки у Волчьей

гривы, у Березовых выгоров, на Красных горах..

Узнав, что здесь хотят добывать торф, недоуменно посмотрел на инженера. Тот объяснил ему, что такое торф. Лесник подумал и сказал:

— Говоришь: земля — и горит. — И вдруг оживился: — Это бывает! Это я сам видал. Лет двадцать назад здесь подземный пожар был. Огня не видно, а дым едкий из земли идет, и после золла желтая остается. Ступишь на нее ногой — по поясу провалишься. Под землей огонь шел, дойдет до березняков — корни точить начнет. Переточит корни, и валится дерево. Сколько тут деревьев навалило — сочность невозможно. Целый год пожар тянулся и зимой не утихомирился: под землей горит, а сверху дым и пар идет. Только весной в полую воду залило. Вот Алешка ночью ходил на то место.

И опять задумчиво смотрел в окно на ржавое болото и перелески.

— Говоришь, целую деревню здесь постройте?.. Что, аль тесно стало, земли нехватает? Скушно жить-то будет, кто к городу привычен.

И сколько ни говорил Николай Иванович Терентию о том, как изменятся эти места через два-три года, как загудят здесь локомотивы, как вырастет на Красных горах электростанция, — лесник недоверчиво качал головой.

— Здесь и кирпичу-то нет.

— Привезем.

— Чудак, сколько это стоит будет...

Да и как ты провезешь: на гати чорт ногу сломит, в болотах — ни проходу, ни проезду. Такие трясины есть — не приведи бог. У меня шесть лет назад жеребенок в трясине утонул.

— Болота осушим.

— Смеешься, парень: осушим... Чай, это не лужица. Ты глянь сперва.

Он смотрел на инженера, как всро-слый смотрит на ребенка, который хочет построить неосуществимый сказочный город. Он не возражал больше, а кивал головой и поддакивал:

— Так... Так... Ну-к что ж, валяйте, стройте...

Инженер подумал:

«То, что мы хотим делать, — огромно, необъяснимо для человека, всю жизнь прожившего в лесу. Электриче-

ство для него — пустой звук. Еще не расстался с лучиной этот, может быть, последний из могокан русской глухома-ни».

Николай Иванович прожил в сторожке четверо суток. Он осмотрел просеки, межевые знаки, пометил на плане, где будут стоять бараки, кухни, больница, клуб. Он подробно обследовал ту-пой клин Волчьей гривы, врезавшийся в Моховые болота,—на этом месте, на берегу Дикого озера, предполагалась постройка электростанции. Инженера сопровождали Медведев и Терентий. Лесник с любопытством посматривал на Николая Ивановича, на его записную книжку и карандаш. Изредка усмехался в широкую бороду и качал головой. Ему очень хотелось расспросить Алексея Петровича об этом незнакомом и чудном человеке, но он не мог выбрать подходящей минуты: инженер и Медведев всегда были вместе.

Вечером накануне отъезда Николай Иванович долго стоял у Дикого озера. Солнце ярко освещало противоположный берег, поросший невысокими сосенками; на воде лежали тени деревьев, и вода казалась темной и густой, как нефть. Была глухая тишина, только где-то чуть слышно куковала кукушка.

— Должно быть, и сто, и тысячу лет назад озеро было таким же...—негромко сказал Медведев. — Кто-то очень хорошо назвал его Диким.

Инженер посмотрел на Медведева.

— Я тоже думаю об озере. В нем очень темная вода. Нужно взять бутылочку этой воды для анализа, нет ли в ней вредных примесей. Нам придется пользоваться этой водой первое время, пока не устроим артезианские колодцы... Ну, пойдем к дому и по дороге еще раз взглянем на Красные горы.

Ноги глубоко тонули во мхах, местами почва зыбилась, как будто люди шли по туго натянутой парусине.

Когда вышли на опушку Волчьей гривы, солнце уже зарывалось в землю. Очень яркими были перелески, оранжевыми пятнами лежали заросли сухих тростников, над розовой водой курились туманы.

И опять Медведев сказал восхищенно:

— Как хорошо. Посмотри, как меняются краски.

Николай Иванович улыбнулся:

— Ты все такой же мечтатель, каким был в детстве... А меня другое волнует. Вот это болото представляется мне строго распланированным, разрезанным на куски осушительными канавами. Я почти так же реально, как вот эти тростники и березки, вижу маленькие сарайчики с локомобилями, штабели торфа, артели рабочих. Ты видишь сосны с золотыми от заходящего солнца верхушками, а я мысленно сметаю весь этот кусок леса и на его месте воздвигаю огромное здание. Я вижу его таким, каким оно создано в проектах и чертежах, вижу до мельчайших подробностей. Я слышу, как оно работает, я обоняю запах дыма...

— Ну, ты еще больший мечтатель, чем я: ты видишь то, чего нет на самом деле.

— Но это будет. Через год исчезнут эти перелески, болото изменит свой вид, и я не на много ошибаюсь, представляя себе эти места такими, какими ты их увидишь через два-три года... Однако пора к дому. Мне еще кое-что написать надо, а завтра я хочу уехать.

В этот вечер инженер долго сидел в сторожке, разложив на столе бумаги, чертежи, близко придвинув к себе тусклую лампочку.

На следующий день Терентий отвез Николая Ивановича на полустанок, а Медведев остался на Моховых болотах.

Стояли теплые солнечные дни. В хмельной весенней радости ликовала и буйствовала земля.

Алексей Петрович просыпался на расвете и с ружьем уходил из сторожки. Он сидел в шалаше на тетеревиных токах, в камышах болотных затонов подманивал селезней, стоял у Березовых выгорев на вальдшнепиных тягах. Вечерами усталый возвращался с охоты и, отдыхая, долго сидел на дряхлых ступенях крыльца. В туманах угасала заря. Тонкой золотой серьгой висел над болотами месяц. Где-то в непроходимых урочищах тяжело вздыхала выпь.

В кустах ивняка до рассвета заливались соловьи.

Ночи были свежие, холодные под утро, и несколько раз на землю падали заморозки. В лужах замерзала вода; скованная морозом трава звенела, как жель. Утра в заморозки были необычайно прозрачны и тихи, а полдни, нагретые солнцем, гуще дышали ароматом цветов и трав.

Тишина и дрема лесных чащ попрежнему были ненарушими, и лесник думал, что понапрасну приезжал сюда Николай Иванович, что, должно быть, люди раздумали итти войной на глухомань. Он как-то сказал Медведеву:

— Зря ты, парень, живешь здесь: что-то ничего не видно и не слышно.

— Подожди. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается.

В начале мая пришли артели плотников, лесорубов, пильщиков, землекопов. Они переночевали около сторожки, укрывшись сермягами, а утром Медведев проводил их на Красные горы. Там люди принялись рыть землянки, покрывать их еловой корой и дерном. Весь этот день в лесу стучали топоры, визжали пилы, с грохотом падали деревья. Вечером на опушке Волчьей гривы полыхали костры. От Красных гор к Моховым болотам, как от пожарища, тянулся пахучий смоляной дым и вместе с туманами оседал на затонах и выгорах. Возвращаясь в сторожку, Алексей Петрович часто останавливался и смотрел назад. У костров двигались темные силуэты, кричали, громко хохотали. Испуганное эхо торопливо отвечало людям. И впервые от сотворения мира в этот вечер запела в лесу гармошка.

У сторожки выла собака, должно быть, ее тревожили запах дыма и крики, долетающие с Красных гор.

Лесник стоял у плетня огорода, его лицо было необычно строго.

— Ну, вот и работы начались, а ты сомневался, — подойдя, сказал Алексей Петрович.

Терентий ничего не ответил.

В эту ночь старик не мог заснуть. Было обычно тихо, но необычное и беспокойное что-то таилось в этой тишине. На сеновале к знакомым запахам сена и овчины примешивался едва ощутимый запах гари. Он напоминал о

кострах, о толпах людей, пришедших ломать и коверкать мирную лесную жизнь. Лесник поднимался с овчинного тулупа и настороженно смотрел в раскрытую дверь. В синем прямоугольнике горела большая звезда, снизу медленно подползала к ней темная туча. Глухо, словно под землей, пророкотал гром. Бледные молнии вспыхивали в небе, и при каждой вспышке голубым огнем зажигались щели сарая. Гром гудел не переставая, но гроза прошла стороной. Туча краем задела Моховые болота и по крыше сеновала сухим горохом защелкали крупные капли дождя и скоро смолкли.

Лесник пытался заснуть, но сон не приходил к нему. Далеко где-то протрубили журавли. Старик слез с сеновала, обошел сторожку, огород, сарай. Из бочки вылезла собака. Терентий погладил ее голову, ласково сказал:

— Не спишь, Полкан.... Скоро солнышко встанет.

Босой, в длинной рубахе, он долго стоял у сарая, смотрел, как над болотами светлела полоска зари.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В кабинет техника Рогова, заведующего механическим цехом, вошел худощавый человек в красноармейской шинели и остановился в дверях.

Заведующий сидел за письменным столом и внимательно рассматривал чертеж трансмиссии. Он слышал, как тихо стукнула дверь, но не поднял головы, продолжая изучать белые линии на большом синем листе бумаги.

Вошедший снял фуражку и тихо кашлянул.

Техник побарабанил пальцами по столу, придвинул блокнот и начал что-то писать. Его одутловатое с большими рыжими усами лицо было сосредоточено, нижняя губа выпятилась, нахмуренные брови сдвинули на переносье толстую складку. Короткие, похожие на обрубки пальцы правой руки крепко держали карандаш, пальцы левой продолжали мягко стучать по зеленому сукну стола.

Человек у двери с любопытством и чуть-чуть насмешливо посмотрел на заведующего, скользнул взглядом по стенам, пестревшим заплатами чертежей

и диаграмм, и остановился на окне. За пыльными стеклами был виден угол кирпичного здания с большими, как ворота, дверями; в них по узким рельсам рабочие катили небольшие вагонетки, груженные торфом.

Переложив фуражку из правой руки в левую, человек кашлянул громче.

Рогов медленно вытащил из кармана платок, громко высморкался и, не взглянув на вошедшего, спросил: .

— Ты что?

— К вам, Федор Максимыч.

Техник косо посмотрел на дверь.

— Ну?

— Поработать не возьмете ли? В слесаря.

— Где раньше работал?

— Из Красной армии демобилизован.

— А до этого на каком заводе был?

— На заводах я не был, у кустаря одного работал.

— Хм... — Заведующий откинулся на спинку стула и громко крикнул: — Петька!

Из-за двери выскользнул мальчишка.

— Позови мастера.

Мальчишка так же быстро юркнул в дверь.

Техник опять склонился над чертежом.

За стеной звонко стучали молотки, повизгивали напильники, шелестели, сухо пощелкивая, приводные ремни. В приглушенном стенами, непрерывном потоке звуков жужжала большая муха и звонко билась о пыльные стекла окна. Привычные голоса молотков, напильников, станков заведующий почти не слышал; жужжание мухи раздражало его. Несколько раз он досадливо поморщился, искоса поглядывая на окно, и неожиданно сказал:

— Убей муху.

— Что? — не понял человек в шинели.

— Убей муху, вон на окне... Всю душу вымотала.

Скрывая усмешку, рабочий шагнул к окну, но в это время распахнулась дверь и вошел коренастый старик в широком замасленном пиджаке.

Техник обернулся к нему:

— Семеныч, дай пробу этому парню, в слесаря поступает.

— На какой разряд?

— На какой выдержит. Дай опилить гайку.

Заведующий поднялся со стула и, подойдя к окну, начал ловить муху; на густо запыленном стекле его пальцы беспорядочно разбрасывали светлые пятнышки.

Мастер привел слесаря в инструментальную, где по стенам на полках лежали личные и драчевые пилы, ножовки, гаечные ключи, мечники, плашки, сверлы. Пошарив рукой по полкам, старик достал большую ржавую гайку.

— Держи. Вот тебе пилы, вот угольник. Под угольник опишишь гайку. Вот здесь на тисках и действуй. — Подозрительно окинув взглядом серую шинель, добавил: — С полка ничего не брать. Перед шабашем я зайду.

Слесарь сбросил шинель, закатал по локоть рукава ситцевой рубахи и зажал в губы тисков гайку. Он работал усердно сначала драчевой, потом личной пилами, часто проверяя правильность опиленных плоскостей. Между блестящими этими плоскостями и темным краем угольника косо просвечивали едва заметные щелки.

«Не выдержу, пожалуй» — подумал работающий, и в серых его глазах шевельнулось беспокойство.

В инструментальную быстро вошел высокий белобрысый рабочий.

— Мастера нет?

— Нет.

— Куда его черти заташили?.. Пробу сдаешь?

— Пробу.

— Ну, как?

— Плохо. Давно не работал, отвык.

Рабочий выглянул за дверь, потом быстро подошел к тискам.

— Ишь, замусолил как... Ну-ка, дай я. А ты у двери постой, мастер не нагрнул бы.

Несколькими взмахами пилы он скрежетнул по одной из граней и, не прикладывая к ней угольника, перевернул в тисках гайку. Из-под пилы сыпалась серебряная пыль. Жилистые руки подчиняли упрямое железо, заключая его в строгие и точные грани. Не обращившись, белобрысый коротко спрашивал:

— Как звать тебя?

— Николай... Николай Батуров.

— Здешний?

— Нет.

— Где жить будешь?

— Пойщу комнатку.

— Так... — Быстро прикинув угольником, мастеровой протянул гайку. — Сойдет. Показывай заведующему.

— Спасибо, товарищ.

— Чего спасибо, — своим завсегда помогать надо... После гудка пойдём ко мне, может, в нашем доме комнатка найдется. Подожди у ворот. Или нет, лучше приходи в котельную, я там по ремонту работаю. Спроси, где Афанасий Ветров, — покажут.

Перед шабашем мастер зашел в инструментальную, повертел в пальцах гайку и, ничего не сказав, понес ее к технику. Через несколько минут вернулся.

— На шестой разряд зачислен. Согласен?

Новый слесарь быстро сошелся со всей мастерской. Он по-товарищески обращался с молодыми, был почтителен со старыми и, подражая им, старался работать с неторопливой споростью, экономя каждое свое движение, каждый удар молотка. Его любознательность и серьезное отношение к мелочам нравились старикам. «Из парня выйдет толк, не верхогляд, в корень смотрит» — говорили матерые слесаря. И в то же время замечали нечто, выделявшее Батурова из однородной массы: он никогда не ругался матерно, никогда не горячился, его голос всегда был спокоен и ровен.

Однажды техник поставил Батурова на ремонт строгального станка. Такие работы сдавались обыкновенно аккордно за плату, заранее условленную. Батуров провозился со станком два с половиной дня, отремонтировал, очистил от грязи, смазал, и строгальный блеснул, как новая игрушка. Принимая с мастером работу, Рогов сказал табельщику:

— Поставь Батурову поденно.

Мастер изумленно посмотрел на заведующего.

— Такие работы, Федор Максимович, мы сдельно даем, на них только слесаря и подрабатывают.

— Ну, да, когда мы раньше об этом улавливаемся. Батуров ничего не говорил со мной. Говорил иль нет?

— Не говорил, — подтвердил Николай.

— Так о чем же разговоры?

Мастер ничего не ответил, а когда ушел Рогов, укоризненно покачал головой.

— Дурак ты, парень... Наши слесаря за такие штуки горло перервали бы, а ты молчишь, как божия коровка. Не котел в три раза больше получить.

Батуров смущенно улыбнулся:

— Я думал, техник не обманет. Он сказал: работай, после сочтемся.

— Ну, вот и сосчитался. Вперед на-ука.

Поработав несколько месяцев по ремонту заводской аппаратуры, Батуров попросил поставить его к паровым машинам. Здесь он быстро освоился со всеми клапанами, цилиндрами, поршнями, золотниками, удивляя своей смекалкой старых паровщиков. Из паровой он перешел на ремонт и сборку локотомобилей.

Ветров дружески предупредил Николая:

— Напрасно ты скачешь с места на место. Таким манером ты дальше седьмого разряда не уйдешь. Попал на одну работу и держись за нее: и знать больше будешь, и заработаешь больше.

— А мне все хочется знать.

— Ни к чему это. Всего не узнаешь, а в кармане меньше будет.

— Моего заработка хватает мне.

— Хватает, пока ты одинок, а вот женишься — по-другому запоешь.

Батуров не пропускал ни одного собрания, ни одного производственного совещания. На собраниях он выступал редко, сидел незаметно в уголке. Разные и по-разному говорили рабочие, — одни деловито и коротко, другие многогоречно и бестолково, — и к каждому из них сосредоточенно, с острым любопытством присматривался новый слесарь. На производственных совещаниях он иногда делал предложения, удивлявшие своей деловитостью главного механика.

Батуров снял комнатку на окраине города в большом двухэтажном доме.

Здесь жил и Афанасий Ветров. На-

вещая Батунова, он замечал, что укладом своей жизни и своих привычек Николай резко отличается от слесарей. Прежде всего бросались в глаза чистота и порядок его комнаты: чисто вымытый пол, стол, всегда покрытый свежими газетными листами, самодельная полочка на стене, на полочке — книги. Приходя с работы, Николай переодевался, обедал на кухне, потом в своей комнате читал и писал что-то в толстых клеенчатых тетрадах. Заставая его за этими занятиями, Ветров говорил:

— Чудно ты живешь, парень: после работы отдохнуть надобно, по воздуху пройтись, а ты в книжку уткнулся.

— Каждый по-своему отдыхает.

— Какой же это отдых: в мастерской руки вихляешь, а здесь мозги.

Он заглядывал в раскрытую книгу и видел в ней непонятные чертежи, цифры и формулы.

— Учишься, что ли?

— Учусь... Подожди немного, сейчас страницу дочитаю.

Афанасий присаживался на табурет, продолжая размышлять о необычной жизни Батунова. Николай не курит, не пьет водки, не ходит праздниками в кино, не путается с женщинами. Свои дни он заполняет работой в мастерской и книгами дома. Ни один час не проходит у него бесцельно, как будто он поставил перед собой огромную трудность задачу и настойчиво пытается разрешить ее в кратчайший срок.

«Закаперистый парень» — думал Ветров, в сотый раз с любопытством поглядывая на Батунова. Тот сидел в обычной позе, твердо поставив локти на стол и поддерживая ладонями склонившуюся над книгой голову. На высокий его лоб пушистой прядью спускались светлые волосы. Заглядывая сбоку, Афанасий видел упрямый подбородок и над ним твердые, плотно сомкнутые губы.

Дочитав страницу, Батунов закрывал книгу, бережно отодвигал ее в сторону и круто поворачивался на табурете.

— Ну, что скажешь?

В одно из своих посещений на обычный этот вопрос Ветров ответил:

— Через две недели переизборы

завкома. Рабочие кандидатов намечают. Вчера в нашей цехячейке предвыборное собрание было. Я твою кандидатуру выставил.

Батунов неожиданно смутился, бледные его щеки вспыхнули румянцем, серые холодные глаза вдруг обмякли и беспокойно забегали по комнате.

— Что ты на это скажешь?

Преодолевая смущение, Николай встал, подошел к окну и, не оборачиваясь, тихо сказал:

— Да ведь я же беспартийный.

— Ну, и что ж с того? Не одни партийные у нас работают. В завкоме беспартийных больше, чем коммунистов.

— Потом — я новый человек, меня мало кто знает.

— Наша мастерская знает и за тебя ручается. А что ты новый человек, — это даже хорошо: беспристрастно работать будешь. А то у нас, бывает, кумовство разводится, свой своему помогает... Ну?

— Я очень благодарен товарищам за их доверие... только...

Афанасий сорвался с табурета.

— А пооди ты к чортовой матери!.. Только, только... Что—только? Чего ты ломаешься? Нет у тебя настоящей рабочей закалки, сразу видно, что у кустарей работал, у мелких хозяйчиков. Говори прямо: снимаешь свою кандидатуру или нет?.. А если снимаешь, то по каким причинам.

— Подожди, не горячись... Если я попаду в завком, — останусь в мастерской или не останусь?

— От работы освобождаются только пять человек, президиум завкома, остальные с производства не снимаются. Их дело на завкомовских собраниях вопросы разрешать да общественную работу нести.

— Какую?

— А уж это какую дадут. — И опять вскипел: — Да, может, ты на общем собрании и не пройдешь, — чего ж ты волынку крутишь?! Тебя только в наш список включили... Ну?

— Согласен.

— Вот так бы сразу и говорил.

Рыхлая мартовская ночь, стеклянная половинка луны, буйный ветер с

юга навсегда остались в памяти Николая Батурова.

Сзади, осыпанный звездами электрических огней, в голубой лунной дымке лежал город. Справа темными громадами высились заводские корпуса и над ними высокая труба уходила в небо. Ветер хватал с трубы пепельные кудри дыма, разрывал в клочья, бросал на землю, уносил к звездам, но не мог загасить кирпичной свечи. Из ночи, из бесконечности ветер приносил далекие и близкие гудки паровозов, предвесеннюю сырость оснеженных полей, смутное беспокойство и непонятную радость.

— Эх, какой ветер! — сказал Каравай, нагибая голову, точно собирался бодаться. — Так и бьет!

Батуров шел рядом с председателем завкома, наклонив вперед плечи, плотно нахлобучив фуражку. Заседание пленума фабрично-заводского комитета только-что закончилось и в ушах Николая еще звучали обрывки речей, перед глазами мерещились лица товарищей. Чаще и отчетливее других всплывало монгольское скуластое лицо секретаря партячейки Рызванова, и почему-то из множества голосов и фраз ярче всего запомнились обрывки из его доклада о предстоящем празднестве свержения самодержавия. Собственно, эта тема была только трамплином, от которого оттолкнулся Рызванов. Он говорил о международном и внутреннем положении Советской страны, о подвигах, которые совершили рабочие и крестьяне в годы гражданской войны, о подвигах, которые необходимо совершить. Он говорил о коммунистической партии, бросившей вызов враждебному миру, взявшей на себя всю тяжесть борьбы за социализм. В его докладе Батуров встречал свои мысли, и это еще более обостряло внимание.

Должно быть, Каравай думал о том же, — повернувшись спиной к ветру, он неожиданно остановился и сказал:

— Молодец Рызванов, как он сегодня разошелся!

И опять зашагал вперед.

Когда перешли пустырь и свернули в Семеновскую слободу, ветер загудел, забился за домами и заборами.

— Ты где живешь?

— На том конце, где Ветров.

— Я провожу тебя, спать не хочется. Вот чаю выпил бы.

— Зайдем ко мне, на примусе согреем.

— Не помешаем там?

— Нет, я один живу.

В комнатухе Батурова Каравай пошел к полочке, и, склонив голову набок, читал на корешках названия книг.

— Энергетика... Механика... Сопротивление материалов... Ишь ты, наукой занимаешься. Это хорошо. Наука — первое дело. И Рызванов сегодня о том же говорил. Без науки мы далеко не уедем.

Он сел к столу, оперся на него тяжелым локтем и как-то по-новому посмотрел на Николая. Батуров, встретив испытующий взгляд, улыбнулся:

— Учусь помаленьку.

— Так... так... А вот ни одной политической книжки я у тебя не нашел. Не интересуешься?

— Времени нехватает.

— Можно бы выкroitь... Ну, тащи чайник, за чаем потолкуем.

Тускло горела семилинейная лампочка. От самодельного абажура на глаза и лоб предзавкома падала тень. Каравай молча выпил стакан чаю, налил второй и твердо взглянул в лицо Батурова.

— Слушай, дорогой товарищ, хочу я задать тебе один вопрос. На заводе ты работаешь больше года, за это время я присмотрелся к тебе, да и наслышался кое-чего... Ты, я думаю, тоже к нашему заводу пригляделся. Работы — непочатый край: и в мастерских, и в казармах. Работой — завались, а работников по пальцам перечесть можно. Правильно?

Батуров кивнул головой.

— И потом вот еще: работа тогда налад пойдет, когда все работники согласованно работать будут, когда над всеми ими единое руководство будет. А единое руководство откуда исходит? От партии. Стало быть, чем больше и сильнее будет партия, тем быстрее наше дело пойдет. Согласен?.. А теперь вопрос: почему ты не вступаешь в партию?

Слесарь не ответил. Он перебрал взгляд с лица Каравая на окно и

плотнее сжал губы. За окном в голубой звездной мути висела зеленая льдинка луны. Ветер шарпал по стенам, и где-то под крышей беспокойно и назойливо скрипело железо.

Каравай молча продолжал смотреть на Батурова.

— Видишь ли, — заговорил Николай, — я думал и думаю об этом, но... есть некоторые «ко». Во-первых, я никогда не вступаю в партию ради своей карьеры. Затем я никогда не вступаю в партию, не будучи уверенным в своих силах... Потом... есть еще некоторые причины, о которых я не могу сейчас говорить.

Взгляд предзавкома потеплел.

— В одном только я не совсем с тобой согласен: долго ждать, по-моему, не следует. Есть люди нерешительные, они все на завтра откладывают, а это завтра-то может никогда не наступить.

— Я к этим людям не принадлежу.

— И я думаю, что не принадлежишь, и все-таки вижу: есть в тебе что-то на них похожее. Не забывай одного: партия не только перестраивает страну, она перестраивает, учит, закаляет своих членов. Учиться и работать над собой партия заставит тебя больше, чем это ты делаешь сейчас.

И сразу заговорил о другом:

— Ну, спасибо за чай, пора домой идти. А ты почаще в завком заглядывай, скорее в курс нашей работы войдешь. Мы тебе общественную нагрузку навалим.

Батуров вышел с Караваем на крыльцо. Упругий порыв ветра пошатнул их. Предзавкома поднял воротник куртки, засунул в карманы руки и, нагнувшись, пошел встреч ветру. В белесом свете было видно, как темная его фигура скользила по голубой улице и тень от нее ломалась и прыгала на неровностях снега.

В эту ночь Николай спал беспокойно. В чуткой дреме мерещилось ему монгольское лицо Рызванова, слышался его тихий и внятный голос. Просыпаясь, Батуров видел на стене угольник лунного света, и этот угольник напоминал ему о Каравае, который неожиданным своим вопросом обнажил то сокровенное и волнующее, о чем слесарь не раз думал в мастерской

за работой и дома за книгами и тетрадями.

Утром в международный день юношества заводская молодежь с духовым оркестром и песнями пошла к зданию уисполкома. Город был необычно шумен, из улиц и переулков на Советскую площадь двигались стройные колонны юных и жизнерадостных людей. В буйных маршах оркестров, в широких и вольных песнях, в твердой поступи шага, в хмельных глазах они радостно и гордо несли свою молодость. Молодостью цвела в то утро площадь, и старое здание уисполкома молодо и кокетливо украсилось гирляндами темно-зеленой хвои и красными флагами.

С отрядом пионеров прошла мимо Батурова Вера Курганова, племянница Ветрова. Она старалась казаться невозмутимо серьезной, четко шагая по мостовой и в такт своим шагам выкрикивая: «Левой!.. Левой!..» Пионеры шли за вожатым, сосредоточенно поддерживая правильность своих рядов и ритмичность шага. Они были серьезнее своей руководительницы, — Вера Курганова не могла скрыть своего возбуждения, и часто улыбка вспыхивала на ее лице и голос срывался на громких выкриках «Левой!.. Левой!..» Курганова встретила взглядом с Николаем и кивнула ему головой. Батуров вспомнил, сколько трудов и настойчивости затратила девочка, чтобы вот так стройно и гордо провести свой отряд перед зданием исполнительного комитета в день праздника молодости. Много раз видел он, как она занималась с пионерами на пустыре около завода, упорно стараясь научить их стоять в шеренге, маршировать и поворачиваться по команде. В первые дни занятий шеренга походила на дугу, дети начинали шагать кто с левой, кто с правой ноги, поворачивались в разные стороны. Вера трудилась терпеливо, настойчиво и при малейшей ошибке говорила: «Начнем сначала».

Девочка жила в семье Афанасия Ветрова. Батуров знал, что ее родители умерли от тифа в восемнадцатом году и что росла она в рабочей среде, в отрядах пионеров, по-новому воспринимая

мир. Не куклы и тряпочки, не сентиментальные стихи, а книги, пионерские песни, массовые игры заполняли ее детство. В пятнадцать лет Вера была гибким и стройным подростком, мальчишески резвым и в то же время серьезным не по годам. Батуrowa очень интересовала эта бойкая девочка в красном платочке, с алым пионерским галстуком. При встречах он всегда спрашивал ее:

— Как дела, товарищ Курганова?

Вера с достоинством отвечала:

— Хорошо. А у вас?

— И у меня не плохо.

Девочка с любопытством смотрела на слесаря, так непохожего на знакомых ей рабочих.

— Мне о вас, товарищ Батуrow, часто говорит дядя... Будто вы тоже учитесь?.. Верно? Пожалуй, вы поздно начали учиться.

— Учиться никогда не поздно.

— Это правда... А я в этом году кончаю семилетку.

— А потом?

— Буду учиться дальше. Мне очень хочется быть инженером или каким-нибудь строителем. — И, не сдерживая буйной своей резвости, встряхивала темными косами и задорно улыбалась. — Обязательно буду!.. Во что бы то ни стало!

Однажды она робко вошла в комнату Батуrowa и, смущаясь, протянула тоненькую тетрадку.

— Товарищ Батуrow, я пришла с вами посоветоваться. Нам задали на дом задачу, и она у меня не выходит. Я всегда сама решаю задачи, час сижу, целый вечер сижу и все-таки решаю... А вот эту не могу.

— Ну, давай, посмотрим.

— Может быть, и вам ее не решить?.. Давайте коллективно.

Николай взял тетрадь, карандаш, сурово нахмурил брови.

— Действительно, задача трудная... Хм... В бассейне проведены три трубы... Так... так... Очень трудные задачи вам дают.

— Очень трудные, но я всегда их решаю. Может быть, эта неверно составлена?

— А вот сейчас узнаем.

Батуrow быстро решил задачу.

«Новый мир», г. 4.

Девочка изумленно посмотрела на него.

— Вы больше меня знаете, а мне почему-то казалось, что слесаря в арифметике ничего не понимают. Вот дядя Афанасий — очень хороший слесарь, а простых задачек не может решить... Ну, спасибо, товарищ Батуrow.

В тот вечер Вера походила на робкую ученицу, а сейчас на Советской площади Николай вдруг заметил в движениях ее тела девическую гибкость, а во взгляде недетскую серьезность и как будто ожидание чего-то большого и волнующего.

Вечером в клубе Батуrow узнал, чего ожидала девочка. После торжественного заседания пионеры передавали старших своих товарищей в комсомол, в числе их была и Вера. Какой радостью светилось ее лицо, когда она вышла на сцену и звонко бросила в зрительный зал:

— Я вступаю в ряды комсомола!.. Вместе с ним я буду работать на благо нашей Советской страны, вместе с ним под руководством коммунистической партии я буду отстаивать наши завоевания и бороться за социализм. Да здравствует коммунистическая партия! Да здравствует наш вождь, товарищ Ленин!

Этот день, наверное, был счастливейшим днем в жизни Кургановой, и, может быть, клубная сцена была для нее сказочным порогом, по одну сторону которого осталось детство, а по другую начиналась юность. Прошлое казалось неповторимо прекрасным, жаль было с ним расставаться, а будущее вставало волнующе огромным, но таким манящим, что хотелось скорее сбегать с порога и броситься навстречу неизведанному.

Из клуба Вера возвращалась домой вместе с Батуrowым. Всю дорогу она молчала, думая о чем-то своем. У крыльца девочка остановилась, растерянно оглядела темную улицу и тихо сказала:

— Комсомолка... Как будто во сне все это.

И вдруг закрыла лицо руками, и плечи ее задергались.

— Вера, что с тобой?

Не отвечая, она вбежала на крыльцо, широко распахнула дверь, и по

темному коридору торопливо простучали ее шаги и смолкли.

У себя в комнате Батуров долго сидел у стола, но не читал и не писал в тетрадах, а напряженно смотрел в окно на темное небо и не замечал ни звезд, ни неба. Он думал о девочке, дошедшей до порога детства и перешагнувшей в юность. Он как будто завидовал ей: будущая ее жизнь ясна и определена, — работать, учиться, учить других, отдавая свои силы и полученные знания великой перестройке мира. В этот вечер Николай впервые почувствовал себя одиноким, и та задача, которую он поставил перед собой, поступая на завод, показалась вдруг неимоверно трудной и почти нерешимой. Правда, два года вдумчивой и упорной работы в мастерской сделали его одним из лучших слесарей завода, на него уже поинимому смотрит мастер и техник Рогов, среди мастеровых он пользуется большим авторитетом. Но ведь это только начало, только первые шаги к будущему. Когда же и как начать это будущее?

Николай рассеянно скользнул взглядом по белой занавеске окна, над ней в темных стеклах увидел осенние яркие звезды, и они напомнили ему ту ветренную мартовскую ночь, когда в эту комнату пришел председатель завкома и неожиданно заговорил о партии. Вспомнились слова Караяя:

— Дело только тогда на лад пойдет, когда все работники согласованно работать будут, когда над всеми ими единое руководство будет.

Батуров закрыл глаза, некоторое время сидел неподвижно, сдвинув брови и плотно сжав губы, потом выдвинул ящик стола и, достав чистый листок бумаги, решительно и быстро начал писать:

«В ячейку РКП(б) Механического завода...»



Батуров работал в мастерской, когда подбежал к нему мальчишка и сказал:

— Тебя в ячейку вызывают, заведующему по телефону звонили.

Николай положил на прилавок молоток и зубило, спокойно ответил:

— Сейчас иду.

А сердце тревожно забилося, и пальцы ненужно и торопливо одергивали блузу и смахивали с бровок железные опилки.

Ячейка помещалась рядом с заводом в двухэтажном доме главной конторы. До нее от мастерской было не больше пяти минут ходу, но знакомая тропинка, пересекающая заводской двор, показалась Батурову странно удлинившейся и он шел по ней дольше обычного. С отчетливой ясностью воспринимал Николай каждый камешек, каждый обломок ржавого железа, тусклые осколки стекла, попадающиеся на тропинке. В высоком здании паровой, в длинном корпусе сборочного цеха видел он новые детали, которых никогда не замечал раньше. Его мысли были обострены и четки, но они не задерживались в сознании, сменяя одна другую. Картины прошлого переплелись с настоящим, вспомнились: первый день поступления на работу, Вера Курганова, плачущая у крыльца, незаконченная сегодняшняя работа, старый напильник, который нужно сменить. Но когда подошел Николай к конторе, ему казалось, что думал он только об одном: что скажут в ячейке. Он немного задержался у двери, как бы не решаясь войти, потом распахнул дверь и шагнул через порог.

Рызванов сидел за столом и синим карандашом отмечал в газетах статьи и заметки. Перед ним стоял комсомолец Гришин. Секретарь молча кивнул вошедшему и, подобрав стопку газет, подвинул ее Гришину.

— Вот я тут сделал отметки. Это тебе материал для доклада. В неделю подготовишься?

— Постараюсь.

— Если будут какие затруднения, — приходи, вместе обдумаем.

Комсомолец забрал газеты и, проходя мимо Николая, с любопытством взглянул на него.

Рызванов выдвинул ящик стола, достал заявление и анкету Батурова и положил их перед собой.

— Садись, товарищ Батуров, поговорим. — И, откинувшись на спинку стула, в упор взглянул на слесаря.

Николай твердо принял взгляд темных монгольских глаз.

— Вчера на бюро разбиралось твое заявление, — негромко и медленно заговорил Рызванов. — Мы оставили вопрос о принятии тебя в партию открытым до следующего заседания. Бюро поручило мне переговорить с тобой и выяснить некоторые вопросы.

— Я этого ожидал.

— Нас смутила заполненная тобой анкета. Одни отнеслись к ней недоверчиво, другие — подозрительно. — Взгляд Рызванова скользнул по анкете и снова остановился на Батурове. — На вопрос «образование» ты отвечаешь: «инженер». Как нужно это понимать?

— Так, как написано: я — инженер, окончил высшее техническое училище.

— И?

— И поступил на завод рабочим.

— В каком году вы стали инженером?

— В восемнадцатом.

— На завод вы поступили в конце двадцать первого... Чем занимались вы с восемнадцатого по двадцать первый год?

— Был в Красной армии, в железнодорожных войсках. В анкете это указано.

— У вас есть какие-нибудь воинские документы?

— Конечно. Я могу их предоставить в бюро... Точно так же и свой диплом.

Скуластое лицо Рызванова было невозмутимо спокойно, обыденно спокоен был его голос, но то, что секретарь с товарищеского «ты» перешел на холодное и отчуждающее «вы», неприятно подействовало на Батурова. Он вдруг почувствовал: мастерская, рабочие, весь завод — такие близкие, сроднившиеся с ним. — стали чужими и далекими. Стараясь опять вернуть их близость и рассеять какое-то подозрение, Николай пододвинулся вплотную к столу и заговорил торопливо и волнуясь:

— Я объясню вам все, товарищ Рызванов... Каждый по-своему устраивает свою жизнь, каждый по-своему прокладывает дороги в будущее. Я расскажу вам о своей дороге и о том, какие вехи я наметил на ней... Мой отец — конторщик, рос я в полуинтеллигентной семье. Я не знал рабочих, их

быта, их труда... И я сказал себе: «Нельзя работать с людьми, не зная их». Рабочий класс в России творит невиданное дело. Я так же хочу быть участником этого творения, хочу внести в него свои силы и знание. Я начал с азбуки. Я узнал рабочих, два года я жил в условиях их быта и их трудом. Я сочетал в себе инженера и слесаря. Я могу создавать различные проекты, конструировать машины и наравне с мастерами могу работать у тисков... Теперь о моем заявлении. Желание вступить в партию не случайно, я думал об этом не один год. Я всегда хотел быть в передовых рядах строителей, но мне казалось: еще не пришло время, еще недостаточно подготовлен я для этого... А потом неожиданно, — это было ночью в праздник МЮДа, — я почувствовал: пора!.. Вам конечно странно: инженер два года работал слесарем. Вам покажется подозрительным мое желание вступить в партию. Скажите: как я могу доказать свою честность и искренность?

Батуров замолчал, нервно хрустнул пальцами.

В углах губ и в темных монгольских глазах Рызванова затеплилась едва заметная улыбка.

Николай заговорил опять:

— Если меня не примут в партию, то все равно я буду работать и создавать... Правда, мне будет труднее...

Секретарь положил заявление и анкету в ящик стола.

— Не кажется ли тебе, товарищ Батуров, что ты украл у революции эти два года? Ведь в это время, работая инженером, ты мог бы принести гораздо больше пользы.

— Возможно, мог бы принести больше пользы, но я был бы заурядным инженером, кабинетным работником, человеком, не знавшим подлинной жизни... Таких инженеров тысячи. Я хотел быть иным. Два года работы в мастерской дали мне не меньше того, что получил я в техническом училище. Для меня и для будущей моей работы, а стало быть и для революции, эти два года не потеряны.

Неожиданно Рызванов сказал:

— А ведь это хорошо?

— Что? — не понял инженер.

— По-новому войти в жизнь... Так вот, товарищ Батуров, твоё заявление мы вторично рассмотрим в четверг на заседании бюро. В пятницу утречком зайди ко мне.

Батуров через стол крепко пожал протянутую руку Рызванова.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Очень скоро на опушке Волчьей гривы выросла большая бревенчатая контора и рядом с ней огромный сарай—склад. Медведев жил в конторе вместе с производителем работ техником Шахраем. Вечерами, когда затихали Красные горы, Алексей Петрович и техник подолгу сидел за столом, пили чай и беседовали. И почти каждый вечер Шахрай с увлечением говорил о работе и о том, что будет в этой глуши через несколько лет. Своей настойчивостью и верой в победу он напоминал Николая Ивановича. Так же, как и тот, видел Шахрай в грядущих днях то, чего ещё не было в действительности.

— Люблю я вздымать целину, — говорил он. — Что может быть лучше и радостнее этого? Вот здесь, в непроходимых гиблых местах, тысячелетия лежали колоссальные запасы торфа, колоссальные запасы законсервированной энергии солнца. Человек узнал об этом, человек пришел и начала творить сказку. Что вы улыбаетесь? Конечно—сказку. В диких урочищах выросла целая улица бараков, больница, клуб, почта и электростанция.

— Да ведь ничего этого еще нет.

— Что значит — нет? Не было две недели назад конторы, а теперь она есть. Росли в прошлом году сосны, а теперь их нет.

Медведев любил иногда поспорить с техником. В спорах Шахрай побеждал своей горячностью, молодым задором. В эти минуты хорошо было лицо Шахрая: розовели щеки, сдвинутые брови сдавливали на переносье морщинку, глаза задорно блестели. И голос его крепчал во время спора, и жесты были размашисты и убедительны.

— Ведь кипит!.. Везде кипит... — Техник широким взмахом руки очерчивал комнату. — Сейчас во всей стра-

не ночь, но разве эта ночь похожа на ночи прошлого? Пятнадцать лет назад ночами над Россией была первобытная тишина: и в деревнях, и в селах, над гнилыми соломенными крышами, и в пустынях, и в тайге, в туманах и трясинах, и даже в городах... А теперь?.. Вот если бы взлететь сейчас на такую высоту, чтобы можно было окинуть взглядом весь СССР, и прислушаться. Мы увидали бы туманные пятна электрических огней, разбросанные по темному пространству. Мы услышали бы смутный хаос звуков... Это—стройка! Переделывают первобытную землю. Переделывают мир! Понимаете?.. Днепрострой, Турксиб, Урал, Сибирь, Кавказ, Север, — везде кипит работа. Ведь это настолько огромно, что стоит только на секунду представить себе мощь строительства и на всю жизнь заразишься его пафосом... Вы были на каком-нибудь большом строительстве?

— Нет, не был.

— Очень жаль. Вот когда здесь понастоящему закипит работа — вы поймете, о чем я говорю.

Шахрай взволнованно подходил к окну и открывал фортку. Густой шум сосен плыл из ночи. Этот непрерывный, первобытный шум еще более подчеркивал глухую тишину Моховых болот и Красных гор...

Утра начинались однообразной песней топоров и пил.

Днями на месте работ одуряюще пахло смолой. На участке, где сводили лес, зелеными колючими шапками лежали вороха сосновых ветвей. Около огромных пней кротоми копались пенщики, подрубали узловатые корни, подсовывали под них ваги и с песнями и уханьем выкорчевывали пни, похожие на окаменевших спрутов. Ближе к строящимся баракам на высоких козлах пильщики распиливали бревна на доски, тес, палубу.

Десятки людей ломали старую гать. Прозеленевшие и ослизлые бревна с чавканьем выдирали из топи, сваливали в кучу; трухлявые и черные, они громоздились поломанными ребрами допотопного чудовища. Рядом в топь загоняли сваи. Первый ряд свай ушел в тину, как в масло. На него встал второй и наконец — третий. Топь нена-

сытно глотала бревна, вздувалась и опадала, пуская пузыри. Она дышала гнилостными залахами, — будто разлагалось под тиной чрево земли, — рождала тучи комаров. От комаров спасались дымом, и все дни во время работ по обеим сторонам гати горели костры.

Измазанные тиной и грязью, искушенные комарами, люди, стиснув зубы, боролись с топью. Но гиблое место, казалось, было непобедимо. Еще ряд свай ушел в утробу земли, и плотники, бросив топоры, растерянно и злобно смотрели на буро-зеленое страшное болото.

— Не можно здесь строить, — качнул головой широкогрудый старик в посконной рубахе и соломенной шляпе. — Дна не достанешь.

— Можно, — упрямо сказал Шахрай. — Ступайте, заготовляйте сваи.

Ночью Шахрай пришел к топи и долго сидел на смолистом бревне, смотря на развороченную старую гать. В тишине тяжело вздыхала топь, булькала, стонала. Гнилые бревна светились в темноте. Справа от гати, там, где темнота, казалось, не имела предела, вспыхнул зеленоватый огонек. Он поплыл над землей, погас и снова вспыхнул. Вот уже несколько огоньков заиграли над топью. Число их увеличилось с каждой минутой.

— Видишь, — вздохнул кто-то за спиной Шахрая. Техник, вздрогнув, оглянулся и увидел лесника.

— Видишь, — повторил дед. — Ишь, как нечисть разыгралась. Свят, свят, свят... Отступись, парень, не тревожь матушку-землю.

— Ерунда, — сказал Шахрай и на следующий день наметил иное направление гати. Опять глухо загрохали бабы, завизжали пилы, застучали топоры, опять два ряда свай легко ушли в топь, а третий ряд пошел туго и медленно. Люди почувствовали, что в этом месте топь победима, работали дружнее. Через две недели новый помост, блестя на солнце свежими бревнами, прочно лег в камышах и тине. По нему ежедневно прибывали с полустанка подводы, груженные продовольствием, паклей, гвоздями, железом, стеклом, кирпичами. По нему впервые пришел

на Моховые болота автомобиль. В тот вечер Алексей Петрович и лесник сидели на крыльце сторожки. Дед был угрюм, неразговорчив. Он молча смотрел на груды бревен, досок, на сотни людей, собравшихся перед ужином у недостроенных барачков. Медведев заметил: в темных волосах Терентия гуще блестели серебряные нити, а на лице глубже врезались морщины. Подумал: «Жаль деду своего леса» — и, желая утешить лесника, прогнать гнетущую его тоску, рассказал, как вчера утром он прошел за Белое озеро и спугнул лося. Лесник оживился, вспомнил, как за Белым озером он бил лосей. Он по-видимому хотел рассказать о каком-то случае, происшедшем на лосиной охоте, но вдруг замолчал и, недоумевая, посмотрел на небо.

— Гром... Слышал?

То, что услышал Медведев, напомнило ему шум города.

— Гром, — повторил старик, оглядывая болота и зажженные вечерним солнцем верхушки сосен. Но ни на земле, ни на небе не было признаков надвигающейся грозы.

— Ошибся, дед... Смотри-ка вон туда.

Из леса, глухо рокоча, вынырнул автомобиль, осторожно прошел гать и, сразу увеличив скорость, подкатил к сторожке.

Лесник испуганно смотрел на машину, он ничего не ответил, когда шофер, молодой парень, заметив пристальный взгляд старика, задорно крикнул: — Хороша лошадь, — не пьет, не ест, только бензином закусывает.

Он видел: на грузовике было навалено столько мешков и ящиков, сколько не сvezти и пяти лошадям.

Молча поднялся со ступеней крыльца и, согнувшись, точно неся на спине большую тяжесть, ушел в сторожку.

С того вечера во взгляде лесного деду Терентия навсегда застыла испуганная настороженность, как будто каждую минуту ожидал он: еще что-то невиданное, быть может, угрожающее его жизни, придет и властно встанет у сторожки.

Невысокий широкоплечий человек с огромной головой, обритой наголо, вошел в склад и густо пробасил:

— Есть тут кто-нибудь?

Медведев вылез из-за груды ящиков.

— Вам кого надо?

— Должно быть, вас и надо. — Незнакомец протянул Медведеву руку. — Еле вырвался к вам на болото. Время-то вон сколько ушло: лето на зените. Вот тут и крутись... Приказывать-то все мастера: чтобы через год болото было готово к эксплуатации... Шутка?

Алексей Петрович понял: голова-стый, широкоплечий человек — это главный торфмейстер Копнов, о котором он много слышал от Николая Ивановича. Копнов был выходец из Рязанской губернии, с детства работал «на торфу», — сначала мальчишкой «секарем», потом — ящиком. Своей расторопностью и сметкой он обратил на себя внимание одного конторщика. Конторщик научил парня грамоте, и на следующий год Копнов уже работал десятником, а через пять лет был заведующим этих разработок. С весны и до осени он кипел в работе, осень и зиму — дни и ночи — просиживал над книгами. На болоте зимними ночами выли волки, бушевали метели, и под волчьими и метельными воями Копнов учился. Он поставил целью своей жизни быть ученым торфмейстером и достиг этого. О Копнове, об этом необыкновенно талантливом самородке, вышедшем из темной деревни, узнали в Главторфе. В первые годы революции Копнову предлагали крупные должности в Москве, но он отказывался, предпочитая живую работу на торфоразработках сухой кабинетной работе. У самоучки торфмейстера не было никакого диплома, не было даже удостоверения об окончании сельской школы, но когда в центре встал вопрос о приглашении опытного руководителя для разработки Моховых болот, пригласили Копнова.

В личной своей жизни Копнов был по-мужицки прост, женился на рязанской девке «торфянице», работавшей у него на болоте, «неописуемой», как говорили, красавице.

Копнова знала вся Рязанская губерния и всю Рязанскую губернию знал Копнов. Зимними месяцами жил он в Михайловском, Касимовском, Скопинском уездах, проезжая из села в село, нанимая артели мужиков и баб. Среди

торфяников он пользовался таким уважением, что его слову верили больше, чем договорам и соглашениям. — «Что нам грамотка, — говорили рязанцы, — мы не грамотке, а Сергею Михальчу верим. Как он скажет, так и будет». У Копнова всегда были лучшие условия работ, лучшее продовольствие, честный расчет по окончании сезона.

Слышал Медведев и о необыкновенной физической силе Копнова, и сейчас с любопытством рассматривал его.

У торфмейстера были густые запорожские усы, орлиный нос и мохнатые черные брови. Под бровями блестели внимательные, чуть-чуть насмешливые глаза; их цепкий взгляд быстро перескакивал с предмета на предмет.

— Я вам скажу, — Копнов понизил голос, будто выдавал большой секрет и боялся, что его подслушают, — я вам скажу: торф здесь отменный, а брач местами до семи метров доходит. Шутка?.. И еще скажу по совести: рад я, что мне это дело начать доверили. Уж я раскачаю болота, загудят, миленькие... Великое это дело с толком работы начать. Был у меня в практике такой случай. Знал я одного торфмейстера, важности у него было — не подходи, говорить начнет, — ну, думаешь, — умней его на свете нету... Доверили ему прекрасное болото, а он так его изуродовал, что хуже и нарочно не сделаешь: канав нарыл где не следует, выработку начал чорт-те как... Потом меня позвали на это болото. Посмотрел я и чуть не заплакал. И, знаете ли, не удержался, по-мужицки сказал инженеру: «Что же ты наоверкал?.. Бить за это мало!..» И не обиделся инженер, смолчал...

Копнов грузно опустил на табурет, отер платком лицо и продолжал говорить неторопливо и доверчиво, будто знал Медведева многие годы:

— Жаркий день сегодня... Я со станции пешком шел, хотелось посмотреть характер здешней местности... Часа три плелся. При моей комплекции трудно вато ходить.

Алексей Петрович предложил торфмейстеру чаю.

— До чаю я не охотник, а вот водички студеной выпил бы. Да вы не хлопчите. Вот вздохну немного и пойдем...

Я вас хотел попросить со мной прогуляться. Вы здешние болота хорошо знаете, вот и походите вместе... На будущей неделе артели канавщиков придут, канавы осушительные рыть будут, березняки сводить... Чтобы через год болото, как облупленное яичко было — подходи и ешь...

Копнов пробыл на Моховых болотах три дня, осмотрел гать, затоны, выгора. Неторопливо вразвалку шагал он в мелком и чахлом сосняке, часто останавливался, казалась, рассеянно поглядывая по сторонам. Иногда срывал кусочек мха, разминал в пальцах, нюхал.

— Вот посмотрите, — торфмейстер искоса поглядывал на Медведева, — вот он, производитель торфа... Этот мох по-ученому сфагнум называется... Слабый он, никудышный, а какие дела делает!.. Было вот там когда-то огромное озеро, и мох победил его... И нет озера, а мох превратился в торф... А вот здесь была лес, — и нет его: мох победил лес.

Опять шагал и опять говорил неожиданно:

— А вы знаете: СССР имеет 78 проц. мировых залежей торфа. Эти торфяники могут дать 207 миллиардов тонн воздушно-сухого торфа, то-есть 31,1 процента всех наших топливных запасов.

Медведева поразила эта цифра. Он переспросил:

— Тридцать один процент?

— Тридцать один и одна десятая.

— А каменный уголь, нефть?

— Наши запасы каменного угля исчисляются в 393 миллиарда тонн, то-есть — 58,9 проц. Торф на втором месте. За ним идут дрова, потому горячие сланцы и наконец нефть.

Копнов сердито погрозил пальцем и, помолчав, заговорил опять:

— Торф на втором месте!.. Это и верно и неверно. — Глаза торфмейстера лукаво заиграли, как будто он готовился сказать что-то такое необычайное, что должно ошеломить его спутника. — Запасы угля, нефти ежегодно уменьшаются, запасы торфа ежегодно возрастают. Образование торфяников не закончилось, оно продолжается и будет продолжаться. Предполагают, что ежегодно толщина торфяных массивов уве-

личивается на полсантиметра. Это значит: при огромной площади болот годовой прирост торфяников СССР равен приблизительно 90 миллионов тонн воздушно-сухого торфа. В 1913 году было добыто торфа 1.667 тысяч тонн; в настоящее время добыча увеличилась в три с половиною раза. Для ровности счета возьмем — пять миллионов тонн. Пять миллионов тонн — это одна семнадцатая годового прироста. В семнадцать раз мы должны увеличить торфяную промышленность, чтобы использовать только естественный прирост торфа, только проценты с этого топливного капитала. Шутка?

Сергей Михайлович, сдвинув брови, смотрел на Медведева, и в его взгляде была гордость человека, обладающего несметными сокровищами. И опять расходились брови, и опять лукаво играли глаза.

— А торф здесь отменный, «смеляк», как масло мажется... И зольность его, я думаю, больше пяти процентов не будет. А?

Изредка Копнов вынимал из кармана потрепанную записную книжку и, остановившись, что-то записывал в нее. Запишет, подумает, скажет: «Так» — и еще что-то черкнет. В толстых и сильных его пальцах карандаш казался тонким, как соломинка.

Торфмейстер долго и много ходил по болотам, сделал на кальке отметки, взглянул на стройку барачков, побывал у далекого Белого озера. На озере вспугнули утку. Копнов быстро вскинул руки, будто прицеливался из ружья и крикнул: — Бух!

— Охотитесь? — спросил Медведев.

— С детства. У меня в жизни две радости: торф и охота.

Окинул взглядом поверхность воды.

— Вот что осталось от огромного озера, вот только эта отдушина. Остальное все заросло, как погреб, набито торфом.

Под ногами зыбились земля. У берега с топкого дна быстро поднимались пузыри воздуха.

Старый лось жил в чернолесье за Белым озером. Ранними утрами, когда над мелким березняком зеленело небо, он высовывал голову из чащи

осинника, смотрел на таявшие звезды и чутко слушал. Его рога, перепутавшись с ветвями, казались в туманном предутре толстыми сучьями засохшего дерева. Знакомо шипел в чашуге ветер, трепетали на длинных черенках листья, с Белого озера доносилось кряканье утки, а с болота — звонкие голоса журавлей.

Лось медленно поворачивал голову встреч ветру и раздувал ноздри. Если ветер дул с запада — пахло влажной и горькой корой осины, перегнивающей листвой, болотными травами; ветер с востока был суше и приносил смоляные запахи соснового бора. В предутренних этих запахах и звуках было обычное спокойствие и, не чувствуя опасности, лось вылезал из осинника и шел к болоту. Влажная земля и прошлогодние коричневые листья мягко оседали под его ногами. Он скусывал молодые ветки берез и осин, лениво пережевывал их, а придя на болото, начинал есть старый серовато-зеленый мох.

Однажды на рассвете восточный ветер принес запах гари. Старый лось зафыркал и чутко запрядал ушами, смутно ощущая в этом тревожном запахе неведомую опасность. А когда солнце тугим и тяжелым шаром выкатилось из-за мохнатых верхушек Волчьей гривы, — лось услышал, как на Красных горах необычно громко застучали дятлы и с хрястом начали падать деревья. Так было в прошлом году в бурю: деревья стонали, трещали и ломались. Но в это утро по небу не ходили тучи, — было небо синее и ласковое, а деревья падали....

Испуганный непонятым, лось не пошел на обычное свое пастбище, — он побежал на восток, дальше от враждебных звуков и запахов. Инстинктом найдя дорогу в тростниках и трясинах, он выбрался на суходол, в котором никогда не был раньше.

Лось переселился на новое место, но старое болото и осинник манили к себе, и лось казался, что там вкуснее мох и сочнее молодые ветки берез и осин.

Много раз всплывало над суходолом солнце, много раз синяя ночь опускалась на землю, но лось все еще не мог привыкнуть к новым местам. И вот однажды, толкаемый властным и непонят-

ным желанием, он основа пошел тростниками и трясинами к Белому озеру.

Недалеко от озера лось наткнулся на человека и испуганно метнулся в сторону. Захрустел под его ногами валежник, затрещала поросль березняка, и снова было тихо.

Медведев долго стоял, затаив дыхание, как будто ожидая, что вот опять из чащи молодняка покажется большая рогатая голова. Но вокруг было обычно глухо.

На следующий день Алексей Петрович рассказал об этой встрече Терентию. Леснику вспомнилось прошлое и захотелось хотя на несколько часов уйти от суеты и людей, захотелось увидеть сохатого и проледить, где он пастется. Старик знал: за Белым озером растет темный ельник, за ельником — чернолесье, за чернолесьем — непроходимые болота. Дальше чернолесья Терентий никогда не заходил, но незнакомые места казались ему прекрасными и дикими, как прекрасны и дики были Моховые болота в дни его молодости.

Старик с вечера зарядил ружье, положил в суму хлеб, соль, спички, приготовил топор и рано утром вышел из сторожки.

На Красных горах просьшались люди, голубым столбом поднимался с опушки дым, одиноко стучал топор, — должно быть, кололи дрова для костра.

Терентий шел краем болота, потом свернул в еловую чашу. В сизом полусвете стояли ели, на колючих их лапах оседала роса. Над озером недвижные лежали туманы, за ними нельзя было разглядеть противоположного берега. В туманах что-то залпескалось и затихло, — не видно, утка или рыба.

Уже совсем рассвело, когда лесник подошел к чернолесью. Солнце всплыло над краем земли, оно было молодое и румяное, пахнущее свежестью и сочностью трав. В это утро все было необычно, все напоминало прошлое, и чем дальше от Моховых болот уходил Терентий, тем прекраснее и ярче казались ему деревья и травы, сладостнее воздух, безмятежнее тишина.

Он с трудом пролезал в чащах осинника и, выходя на небольшие полянки, срубал одно или два деревца, вбивал на опушках колья, делал затесы на деревь-

ях, чтобы не заблудиться на обратном пути.

За чашугой открылись болота с тростником и осоками, за болотами лежала туманно-синяя полоса мелколесья. За чашугой старик нашел следы лося, глубоко вдавленные в мягкую землю.

— Старый лось, матерый, — подумал Терентий, рассматривая следы.

Он пошел по ним, держа наготове ружье и настороженно осматриваясь. Следы привели к заросли тростника и пропали в ней.

Раньше Терентий думал, что этими болотами нельзя пройти, что трясины и топи тянутся на десятки верст, — теперь же, осторожно идя лосиным следом, старик увидал, что можно добраться до синевшего вдали мелколесья. Скоро следы лося заплыли жидкой тиной, в которую по колену проваливался старик. Он шел медленно и, прежде чем сделать шаг, смотрел: нет ли сломанных лосем сухих камышей и помятой осоки. Иногда ему попадались раздавленные копытами кочки, и лесник убеждался, что идет верным следом.

Неожиданно под ногами стало суше. Терентий шагал как бы по твердой гряде, лежащей на болоте. Он думал:

«Лось чутьем нашел дорогу... А человеку никогда не найти бы... Господь умудряет зверя...»

Твердая гряда поворачивала то вправо, то влево и наконец вывела лесника на суходол. Терентий развел костер, разулся и повесил на воткнутые в землю сучья портянки и лапти. Потом вынул из сумы хлеб и начал есть. Вокруг была ничем ненарушимая тишина, и старику казалось, что сидит он на неведомом людям острове, схороненном в топких болотах. Наверное на этом суходоле не была еще нога человека и впервые огонь костра опалает здесь землю..

Солнце разморило старика, в теле была давно неиспытанная здоровая усталость. Терентий лег у костра, закрыл глаза, и ему почудилось, что его тело сильно и молодо телу приятно и сладостна усталость после многих исхоженных верст. Вот отдохнет он у костра на перепутье и опять заторопится к молодой жене.

Вспомнилось, как жил он мальчишкой

с отцом, как стал жить одиноко после смерти отца, как тосковал, видя любовь зверей и птиц и сам хотел любить по-звериному грубо и просто. Но не было вблизи деревень и не заходили в сторожку женщины. Терентий бродил по лесу, искал, как дикий зверь, самку. Однажды наткнулся он в брусничнике на молодую девку и в этот день впервые изведал любовь. С тех пор брусника всегда напоминала ему упругое девичье тело, кровь на укушенной руке и мягкую перину мха, на которой растрепались девичьи косы. Лесник привел девку в сторожку. Две недели плакала девка, две недели лесник не выходил из избы, караулил пленницу. А потом они пошли в деревню к девкиным родителям просить благословения на супружескую жизнь.

Пять лет прожила в глухомани молодая жена и все тосковала о деревне, о людях и зачахла от тоски. Ее могила недалеко от сторожки в березовом перелеске, рядом с могилой отца...

На невысокой березке прокричала желна, вспугнула прошлое. Лесник открыл глаза. Костер угасал, испепелялись угли, лениво плыл над суходолом синий дымок и медленно таял в кустах. Старику подумалось: вот так же, как дымок костра развеялось по лесам и болотам прошлое. Семьдесят два раза весны ломали снега, семьдесят два раза одевались и раздевались березовые перелески, — а как будто одним годом расцвела и увяла молодость... Да и была ли она?... Не рассказал ли кто старику сказку о брусничном болоте и молодой девке... Быстрой птицей пролетела молодость, а вот старость, — кажется, — многие годы тянется...

Старик опять закрыл глаза и опять пришла к нему дрема.

Проснулся он под вечер и не мог сначала сообразить, где находится. Потом увидал ружье, суму и вспомнил, как переходил болото. Возвращаться в сторожку было уже поздно, — ночь могла застигнуть на болоте. Терентий решил переночевать на суходоле. Перед сном он долго молился на запад, где тускло багровело небо. Ночью было свежо, лесник зябко ежился и плохо спал, но костра не разжигал, боялся вспугнуть лося. Под утро он услышал шаги за

кустами у окраины болота. Быстро схватил ружье и, прячась за кустами, начал подкрадываться. В зеленом подрастветле, в сизых туманах увидал лося. Лось мирно щипал мох. Терентий вскинул ружье и опять медленно опустил его. Подумал:

«А как отсюда в сторожку доставишь?.. Невозможно. Пусть живет. Один, должно быть, и остался-то...»

И долго смотрел, как лось кормился. Поднялось солнце и теплым розовым светом одело лося. Подул ветерок и донес лося запах человека. Лось вскинул голову, чутко насторожил уши и, как подброшенный пружиной, скакнул и скрылся в кустах.

К чернолесью у Белого озера лесник добрался знакомой грядой. Чтобы заметить дорогу, он вбил на гряде несколько высоких кольев и привязал на их концах пучки осоки и камыша.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

«1 — Паросиловая станция в Лос-Анжелосе, штат Калифорния. Мощность — 35.000 квт. Через 10 месяцев после рытья котлованов станция была сдана полностью в эксплуатацию».

«2 — Паро-электрическая станция в г. Бостоне, принадлежащая Бостонской железной дороге, имеет: паросиловую установку 45.000 квт., механизированное углехранилище в 100.000 тонн, систему распределения энергии, включая 65 км. подземного кабеля и несколько подстанций. Все строительство закончено, и станция пущена в 307 дней».

«3 — Ричмондская паросиловая станция в Филадельфии. Мощность — 240.000 квт. По проекту будет добавлено еще две таких же единицы, так что общая мощность всей станции по окончании постройки достигнет 720.000 квт. Станция оборудована по последнему слову техники. Котельная — образец поразительной чистоты. В котельной нет ни одного кочерага. Уголь подается автоматически из бункеров. Уборка золы механизирована. Силос для угля имеет пропускную подачу 650 тонн в час. Станция поглощает 1.700.000.000 литров воды в день, т.-е. в полтора раза больше, чем весь город

Филадельфия за тот же промежуток времени. Генераторы могут осветить 4.000.000 пятидесятиваттных лампочек. Если эти лампочки расставить на расстоянии 10 метров, то получится электрическая гирлянда, которой можно опоясать земной шар. Сооружение стоило около 38 миллионов рублей и было закончено, включая проектирование, в 1 год и 8 месяцев».

«4 — Гидроэлектрическая станция в Коновинго, вторая по мощности в Соединенных Штатах, — 378.000 лощ. сил. (Ниагарская станция имеет мощность 425.000 лощ. сил.) Станция построена для обслуживания города Филадельфия. Ежегодная подача энергии в город равна 1.250.000.000 квт.-час. Сбережение угля — 750.000 тонн в год. Высота падения воды — 27 метров. Ширина плотины почти полтора километра. Площадь резервуара — около 3.600 га. Семь турбин по 54.000 лощ. сил. Тринадцать трансформаторов по 26.667 киловольтампер каждый. Линия высокого напряжения 220.000 вольт длиной 95 км. с мачтами на расстоянии 400 м. каждая. Сооружение потребовало выемки около 330.000 кубометров твердой породы, около 160.000 кубометров земли, 115.000 куб. м. бетонных работ, 500 тонн стали, 650.000 куб. м. цемента, 6.400 тонн стальной арматуры. Кроме того, для подвоза материалов потребовалось построить железнодорожный мост и железную дорогу в 15 километров длиной. Максимум занятых рабочих — 5.300. На это грандиозное строительство, включая установку и пуск, ушло без одной недели два года».

Записная книжка в потертом кожаном переплете, и эти заметки в ней так отчетливо и выпукло напомнили инженеру Батурову его поездку в Америку, как будто всего лишь несколько дней вернулся он из-за границы. Он живо представил себе тяжелую с плоской крышей, похожую на два ящика слепленных вместе, станцию в Лос-Анжелосе; паро-электрическую станцию с двумя высоченными трубами в Бостоне; полукруглую Ричмондскую и гидроэлектрическую в Коновинго. Последняя особенно запомнилась. В 1926 году Коновинго был маленьким городком,

а теперь его больше нет. На его месте выстроена огромная электростанция, с озером в 35 кв. километров. Из озера воды реки Сускехан устремляются в мощные турбины, рождают электроэнергию и по высоковольтным алюминиевым проводам подают ее в Филадельфию.

Батуров захлопнул записную книжку и посмотрел в окно. По обеим сторонам железнодорожного пути тянулись глухие леса; изредка на полянах темными кучами стояли гнилые избушки, хлевы, покосившиеся плетни. Все это напоминало плохо исследованную страну, и Николаю Ивановичу на мгновение представилось, что он — путешественник, который когда-то наткнулся в нетронутых дебрях на драгоценную руду и теперь возвращается бороться с дебрями и добывать миллионы тонн этой руды. Нескончаемые леса, ветхие избы, болотистые низины казались ему страшной изумительного и такого близкого будущего, что в него можно перенестись чуть ли не с быстротой уэллсовской машины времени. Очень скоро в этих лесах и топяx вместо непролазных болот, гнилых изб, беспросветных осенних ночей протянутся шоссе и железные дороги, на берлогах и логовах диких зверей зашумят машины, осенние ночи вспыхнут тысячами электрических лампочек. Будущей весной тысячи рабочих, десятки инженеров и техников во главе с Николаем Ивановичем Батуровым начнут создавать будущее в местах, где еще не вымерли домовые и боги, где еще верят в заговоры и молитвы. Будущей весной для Николая Ивановича откроется то широкое, почти безграничное поле деятельности, о котором мечтал он с юности.

Вспомнилось, как шесть лет назад работал он слесарем на механическом заводе и как вступил там в коммунистическую партию. Теперь, вспоминая Schritte свои шаги в необычной той жизни, Николай Иванович еще раз убеждался в том, что он был прав, начиная свою карьеру рядовым рабочим. Два года работы в мастерских, два года закалки в рабочем быту не пропали даром, — они ускорили дальнейшее продвижение Батурова к намеченной им

цели: слесарь, заведующий механическим цехом, видный работник треста, крупный инженер Главэлектро, командировка в Америку для знакомства с электростанциями и их сооружением — вот вехи этого пути.

Полгода, проведенные за границей, познакомили русского инженера с американскими методами и темпами работ. Эти темпы ошеломляли, осуществить их в условиях русской действительности казалось невозможным. Но, вернувшись из командировки, Батуров отчетливее увидел то, чего нет у Америки: многомиллионную и единую волю рабочего класса к победе. Воля к победе и вера в победу — вот что будет творить чудеса. И когда Николаю Ивановичу поручили проектировать электростанцию на Моховых болотах, он создал до дерзости смелый проект. В два с половиной года он предполагал построить станцию мощностью в 240.000 киловатт, а Моховые болота превратить в грандиозные электрифицированные торфоразработки. Проект был утвержден, и Батуров назначен начальником будущего строительства.

На Красных горах и Моховых болотах уже начались подготовительные работы: топоры, лопаты, пилы вышли на борьбу с первобытьем. Николаю Ивановичу пока нечего было делать на строительстве: топорами, пилами, лопатами с успехом управлял Шахрай. Около года еще оставалось до того времени, когда вместо топоров, пил и лопат вступят в бой машины, электричество, пар, и когда в широченном размахе строительства необходимо будет посредственное руководство начальника. Но и сейчас биение новой жизни, зародившейся в трущобах семнадцатого века, волновало Батурова, и ему, как полководцу, хотелось оглядеть поле, предназначенное для сражения и мысленно представить себе это сражение. Может быть, на месте какое-либо незначительное обстоятельство осветит то, что еще не совсем ясно в плане работ, и может быть, это незначительное обстоятельство сэкономит десятки и сотни тысяч рублей. И хотя Батуров получал от Шахрая подробные и точные сведения о ходе работ; — все же, спешно за-

кончив неотложные дела, начальник выехал на Моховые болота.

Подъезжая к полустанку, Николай Иванович увидел длинные тесовые сараи, бочки цемента, нескончаемые ряды клеток белого и красного кирпича. Весной ничего этого здесь не было, весной под соснами дремало низенькое станционное здание, — теперь же на запасных путях, где разгружались вагоны, у складов, где стояли десятки подвод и навалены груды ящиков, — снова и громко разговаривали грузчики, звякали полосы железа, мягко шлепались на землю тяжелые мешки и возбужденно дрожал готовый к отправке грузовой автомобиль.

Николай Иванович вышел из вагона и не мог сдержать довольной улыбки при виде этого движения. Он вспомнил, как пять месяцев назад он и Медведев шли от этого полустанка до Моховых болот, вспомнил, какая была здесь тишина, и ему захотелось скорее попасть на место работ, увидеть, что сделали люди в непроходимых и гиблых местах.

От полустанка до гати он ехал на грузовике. Лес мало изменился, только кое-где были настланы новые мосты и торчали пни от свежесрубленных деревьев, но когда дорога свернула вправо к гати, Батуров не увидел знакомого: пестрого полотнища болот и высокой стены Волчьей гривы. За прямой, точно по линейке проложенной новой гатью блестели на солнце бараки; справа от широкой их улицы на огромной, очищенной от березовой поросли поляне стояли кладницы дров и пней. За ними осушительные и картовные каналы разрезали болото на правильные прямоугольники. Там, где в болота вдавался отросток Волчьей гривы, стаяй птиц белели палатки. У палаток дымились костры. Из перелесков, из мелкой березовой поросли доносились стуки топоров, хрипы пил и мягкий гул человеческих голосов. Николай Иванович слез с грузовика и долго смотрел на бараки, кладницы, каналы, слушал drobный перестук топоров и смутный хаос звуков, похожий на гудение потревоженного пчелиного роя. Его глаза блестели, ноздри широко раздувались. Вчера перед отъездом из Москвы Бату-

ров чувствовал себя очень утомленным. в поезде ночь без сна не подкрепила его, но сейчас он вдруг ощутил прилив новых сил и бодро зашагал по гати. Он прошел мимо бараков, — от них пахло смоляной свежестью, — и направился к сторожке. Из бочки вылез Полкан, но не залаял, а угрюмо взглянул на приближающегося человека и лег, положив морду на мохнатые лапы.

«Привык к людям» — подумал о собаке Батуров.

В сторожке так же пахло мятой и все на том же месте — в углу за печкой — стоял светец.

Терентий сидел у окна и чистил ружье. Он похудел, сделался как будто меньше и на вопрос инженера: «Как живешь?» — ответил сумрачно:

— Беспокойно стало: с утра и до ночи крик да грохот... Какое уж тут житье!

— На охоту, что ли собираешься?

— Охота, — усмехнулся лесник. — Тут нетокмо зверю — скоро комару тесно жить будет... — И, помолчав, добавил: — Убираю ружье, не нужно стало.

Николай Иванович спросил о Медведеве.

— Он на Красных горах живет, ступай туда.

От Красных гор к баракам неторопливо шагали артели плотников. В их руках, отражая заходящее солнце, вспыхивали топоры. Плотники с любопытством смотрели на Батурова, и Николай Иванович, проходя мимо одной из толп, услышал, как молодой парень негромко спросил:

— Чей такой?

И кто-то ответил:

— Должно из начальства, вишь, с портфелью.

На Красных горах день заканчивался обычным отдыхом, ужином из закоптелых котелков, гармошкой. Солнце упал за лес, когда инженер подошел к конторе. Синели болота, а за конторой между шапками сосен багровела заря и над нею бледнозеленым огоньком вспыхнула звезда.



Казалось, что в эту осень люди навсегда вспугнули тишину Моховых бо-

лот и Красных гор, и ночами чудилось: тишина, как огромная черная птица, кружилась над болотами и лесом, но громкий крик, огни костров, стук топора о дерево вспугивали ее и она металась над землей, не находя себе места. Только в конце октября, когда ушли артели канавщиков и пеньщиков, пустынное и тихо стало на Моховых болотах. Там, где весной зеленели березняки, наполненные птичьими песнями, и там, где рос чахлый сосновый лес, лежала угрюмая пасущая площадь, участок № 1, предназначенный для выработки машинно-формовочного торфа. Эту площадь геометрически правильно разрежали картовые канавы, под прямым углом они сходились с валовыми канавами, а те соединялись с главной магистралью. Вода из земли сочилась в канавы и магистралью стекала в речку Веснянку.

После месяцев шума, криков, грохота тишина легла на болота. Только лес непрестанно и густо шумел. Летом не было слышно его песен, а сейчас они невидимым листопадом осыпали землю. Странно немыми, будто умершими, стояли бараки и склады, около них не поыхали костры, и дым не туманил небо.

Лесник Терентий каждый вечер, накинув на плечи овчинный тулуп, выходил из сторожки и подолгу сидел на дряхлых ступенях крыльца. Он отдыхал в тишине вечера, ласково и печально смотрел на темную площадь участка № 1. Старику жаль было исчезнувших березовых перелесков, множества срубленных деревьев, а кладницы пней и дров напоминали ему о кладбище. Все изменилось: и лес, и болото, и даже тишина. Прежде тишина была необычайно глубокой и в то же время была она тишиной жизни. В прежней тишине засыпали на зиму деревья, осторожно бродили звери, жили птицы, и семена трав и деревьев разбухали в земле, чтобы на будущую весну дать новые ростки. Теперь же тишину беспокоил смутный гул, плывущий от Красных гор: иногда в него врывался приглушенный расстоянием и туманами грохот падающего дерева, и этот грохот и все чуждые лесу звуки говорили о смерти. О смерти леса, зеленых полян, зарослей тростника, осоки...

Пришедшие люди жестоко и властно хозяйничали в глуши, изменяя все, что хотели изменить. Только небо было прежним, вечерами багряное на западе, днями бледно-голубое, а иногда низко опустившееся, похожее на серое сито, из которого сеялся мелкий, как пыль, дождь.

И больше всего любил старик смотреть на небо.

Туманы подползали к ступеням крыльца и леденили босые ноги лесника, но он не замечал этого. И только когда уже совсем темнело и на небе вспыхивали осенние крупные звезды, Терентий как бы просыпался, зябко поводил плечами и, согнувшись, медленно шел в избу.

Изредка с Красных гор приходил в сторожку Медведев, но и он как будто изменился, как будто люди и его заразили безумием. Алексей Петрович заходил ненадолго, был тороплив и в беседах с ним старик не находил прежнего успокоения. И говорил теперь Медведев больше о враждебном и непонятном, а не о земле, как раньше. Он рассказывал, как плотничьи артели на суходоле за Диким озером строят бараки для поселка № 2; недалеко от них на низинном болоте предполагается начать выработку фрезерного торфа. На опушке Волчьей гривы построены огромные склады, куда по санному пути будут возить материалы, инструменты, машины. Скоро начнут прорубать широкую просеку от Красных гор до полустанка, по этой просеке будущим летом протянется узкоколейка. Все это было чуждо леснику и, чувствуя, что прошлое никогда не вернется, старик в воспоминаниях о нем искал радости и успокоения. Несколько раз он заговаривал о тишине прошлых лет, о зверях, птице, охоте, но Медведев не загорался охотничьей страстью, и равнодушные его ответы обижали старика:

— Да, уж охоты настоящей здесь не будет.

Или:

— Теперь не до охоты.

Или:

— Ничего не поделаешь, на земле все меняется.

Люди заразили Медведева безумием, — казалось леснику. Да и сам Алексей

Петрович чувствовал: что-то изменилось в нем. Это «что-то» подкралось незаметно, неизвестно когда и с каждым днем росло и крепло. Может быть, началось это в ежедневной суматохе новых дней, может быть, захватил Медведева дробный перестук топоров, бодрая и спорая работа артелей, а может быть, так повлияла на него последняя встреча с Батуровым. С тех пор прошло два месяца, но Алексей Петрович до мельчайших подробностей запомнил: бревенчатые стены конторы, облитые красноватым светом керосиновой лампочки, на стенах уродливо большие тени от сидящих за столом. На столе закоптелый чайник, стаканы, куски сахара на газетной бумаге и ломти хлеба на деревянной тарелке. Батуров говорил о своей поездке в Америку, об американских электростанциях, о сказочно быстрых темпах их строительства и о том, что такими же темпами нужно строить и Красногорскую электростанцию, — самую мощную в мире из станций, работающих на торфе.

Шахрай слушал, облокотившись на стол и подперев ладонями щеки. Его глаза, не отрываясь, смотрели на Батурова. Остывший стакан чаю стоял позабытым.

Говоря о строительстве Красногорской станции, Батуров заметил улыбку Медведева и вдруг лицо его стало необычно строгим.

— Ты все сомневаешься? — спросил он.

— За Америкой гонимся, а напрасно, пожалуй: капиталов нехватит.

Батуров сухо ответил:

— Да, капиталов у нас немного, но не в одних капиталах дело. В Америке строят капиталисты, строят золото, у нас строит вся страна... И поверь, это ценнее золота.

— Нельзя же в два с половиной года построить такую махину.

— Можно! Мы будем бешено работать, работать так, как никогда еще не работали. Мы доведем наш план до каждого рабочего, чтобы каждый рабочий знал, что мы творим, чтобы каждый знал, что от него требуется... Мы верим в победу. Нельзя начинать никакого дела, не будучи уверенным в том, что мы его закончим.

И перед сном, оставшись вдвоем с Медведевым, Батуров сказал ему:

— Ты не победитель, Алексей. Ты холоден и далек от сегодняшнего дня. В колоссальной перестройке страны нельзя быть сомневающимся. Нужно верить и быть среди победителей, иначе...

Инженер на мгновение замялся, потом твердо закончил:

— ... иначе ты окажешься только попутчиком рабочего класса... До первой остановки... Может быть, даже ненужным попутчиком... Не сердись, Алексей, я говорю это тебе дружески.

Тогда Медведев ничего не ответил. Он с горечью почувствовал какую-то невидимую, но во всем осязаемую преграду, отделяющую его от победителей. Тогда он не знал, чем и как разрушить эту преграду, но сейчас она почти разрушена: каждый прожитый день точил ее, как солнце ледяную глыбу, и каждый прожитый день крепче связывал Медведева с новой, кипящей, грохочущей, вздыбившей страну жизнью.



Зима пришла неожиданно.

Однажды, проснувшись рано утром, Медведев почувствовал: на земле что-то изменилось. За окном рассветало, и рассвет был необычно белес и мягок. Быстро одевшись, Алексей Петрович вышел из конторы. Еще в сенях ощутил он влажность воздуха, а когда распахнул дверь на крыльцо, — в лицо мягко ударил сырой ветер. На ветру в сером предутре крутились хлопья снега, и за частой их сеткой не видно было ни бараков, ни штабелей досок и дров, ни темной стены Волчьей гривы. На пушистых и белых ступенях крыльца подошвы сапог оставляли синие глубокие следы. Алексей Петрович, подняв воротник куртки, пошел к баракам, но метель была так сильна, что он потерял направление и вместо бараков вышел к бане. Одна стена бани была сплошь залеплена снегом, на крыше лежала высокая снеговая шапка. За баней смутно мерещились две сосны, и Медведеву почудилось, что серые силуэты сосен летят вместе с хлопьями снега по воздуху и — то скроются из глаз, то снова появляются. От бани он про-

шел к баракам. Бараки казались оставленной людьми, заносимой снегом деревней. По широкой улице ветер нес тучи снега, бросая их на Волчью гриву. Грива сердито отряхалась, но ветер снова засыпал ее снегом.

Медведев долго стоял под шапками сосен. В небе чуть заметно прояснялось белесое пятно солнца и, по мере того, как стихала метель, оно делалось ярче. Из серой крутящейся мглы выступали очертания сосен, бараков, кладницы дров и пней. А когда ветер угнал снеговую тучу и в небе вспыхнуло солнце, — вокруг все было белым и радостным. Рыхлый и сырой снег скоро начал таять, и на белых простынях, устилающих землю, появились черные дыры. К полудню весь снег стаял.

Через две недели установился санный путь. С полустанка на Красные горы пошли нескончаемые обозы, груженные кирпичом, железом, цементом. С обозами приходили мужики, тепло закутанные в полушубки, в ушастых шапках, нахлобученных до бровей, в толстых серых валенках. Красные от мороза, с занидевшими усами и бородами, мужики глухо хлопали рукавицами, громко говорили, и от них несло здоровьем и бодростью. Эта зима обещала им большие заработки. Почти все крестьяне окрестных деревень пошли «на извоз».

Выгрузив материал, мужики набивались в контору. От их полушубков крепко пахло овчиной и морозом. Дождаясь, когда Алексей Петрович распишется на ордерах в получении имущества, мужики начинали разговоры. Было заметно, что их интересует, почему в этих лесах и болотах надумали строить целое село. Они не прямо подходили к интересующим их вопросам. Почти всегда первым заговаривал Иван Сажнев, рыжий мужик в желтом, с яркооранжевыми заплатами полушубке. Смахнув с бороды и усов сосульки, он ядрено кричал и говорил:

— Хорош морозец... А что, когда электрическую станцию построят — теплей от этого в нашей местности будет аль нет? — И, зажав в кулаке рыжую бороду, Сажнев хитро смотрел на Медведева.

Медведев понимал, что мужикам хо-

чется обо всем расспросить его, что для этого Сажнев прикидывается глупеньким, улыбаясь, отвечал:

— Нет, дядя, не потеплеет.

— Может, поспеет?

— Светлее будет, это верно.

Ерофея Мохова всегда интересовал один и тот же вопрос:

— Если станцию построят, — запустят или не запустят в деревни электричество?

И всегда в толпе откликались:

— Должны запустить.

— На чугунке мы слышали: все деревни осветят.

— А кто говорит — только для фабрик.

Десятки внимательных насторожившихся глаз впивались в лицо Медведева, и Алексей Петрович чувствовал: все эти Сажневы, Моховы, Колдобины ждут, чтобы он рассказал им о станции, о торфе, о том, что будет в этих местах через несколько лет.

Мужики жадно слушали его рассказы.

Январь был морозен и ярок. Белые, будто засахаренные, стояли перелески. От перелесков, бараков, конторы лежали на снегу синие тени. Вечерами вся площадь участка № 1 была розова от заходящего солнца. Но теплый розовый свет быстро тускнел, сменяясь сумерками. Ночами над соснами высыпали звезды, они казались холодными, как льдинки. Деревья в бору, стены конторы громко трещали от мороза, а в промежутках между этими тресками стояла такая тишина, что от ее беззвучности и глубины начинало звенеть в ушах, начинало казаться: что-то не умолкая сухо шелестит, потрескивает, как электрические искры. Может быть, это шелестели морозные звезды и шелест невидимым снегопадом осыпал землю.

Однажды в такую ночь Алексей Петрович видел волков. Он собирался спать и потушил лампу. В темноту комнаты упал из окна широкий поток лунного света, и это заставило Медведева подойти к окну, посмотреть на белую землю. То, что он увидел, было похоже на рисунки старых рождественских открыток: синяя ночь, белые шапки бараков, за ними — темная масса бора.

Над бором — серебряная луна. Лунный свет вспыхивал на снегу, как блески на открытках. Синие тени стлы на белом. Все было недвижимо, мертво, но недвижимость и мертвенность зимнего пейзажа вдруг исчезла, когда из леса вышли волки. Их было семь. Не спеша, один за другим, прошли они тихой улицей, ярко освещаемые лунным светом. Сбоку плыли их тени, ломаясь на неровностях снега. Волки повернули к клубу, там что-то привлекло их внимание: несколько минут они стояли неподвижно, потом передний слегка пригнулся и прыгнул, за ним — второй, и вся стая помчалась куда-то в голубые просторы болот. И опять мертвенно было за окном. Алексей Петрович подумал: «Да проходили ли сейчас волки?». Но утром на снегу он нашел цепочку их следов.



Шахрай почти не жил в конторе, днями он был на месте работ, где строились новые и новые бараки, домики для инженеров и техников, точта, временные мастерские; ночами часто спал с десятниками и плотниками в бараках и вместе с ними ел из общей деревянной чашки. И внешне изменился он и мало походил на техника: носил овчинный полушубок, обшитые кожей валенки, шапку с ушами. Его лицо на ветру и морозах огрубело, обросло бородой и только голубые глаза были юношески веселы, как будто никогда не знал он печали и в будущем не ожидал ничего тревожного и злого. Только однажды эти глаза гневно потемнели, сузились и смотрели напряженно и твердо. Случилось это в тот день, когда Медведев впервые почувствовал себя «победителем». Утром в жестокий мороз Шахрай пришел в контору и, сорвав с головы шапку, хлопнул ею о стол.

— Безобразие!

— В чем дело? — взглянул на него Медведев.

— Артель лесорубов не вышла сегодня на работу.

— Почему?

— Бузят... Есть там два-три зачинщика... Артель работает на просеке, которую ведут к полустанку. Вчера и се-

годня ночью метель намела сугробы, а до места работ нужно идти четыре версты. Ну, вот и отказались. Какие-то требования несуразные выставляют.

И, нахлобучив шапку, решительно сказал:

— Пойдем! Поговорим с ними, до чего-нибудь договоримся.

В бараке лесорубов было жарко и душно. В голландке полыхали дрова, над койками синим туманом плывал мажорочный дым. Около печки сидели на полу трое парней и мужик в синей рубахе, подпоясанной веревкой. На койках, у стола лежали и сидели лесорубы. В углу кто-то раскатисто хохотал.

Войдя в барак, Шахрай остановился у порога. Голоса и хохот смолкли. Угрюмая тишина нависла над койками. — Ну, что же — так и не пойдете? — негромко сказал Шахрай.

Мужик в синей рубахе встал и, почесывая живот, подошел к двери.

— Да ведь как же иттить-то, Иван Никанорыч? Посуди сам: нешто можно иттить. Вишь намело-то, по пояс лезть придется.

— Не пойдете?

— Не пойдем! — подскочил от печки невысокий парень, рыжеволосый, со шрамом на левом виске. — Ну, не пойдем!.. Сказали не пойдем и не пойдем. Нешто мы на такую работу нанимались?.. Рукавицы рваные, лапти истрепанные... Да что же эта такое?

— Неправда, рукавицы вам на прошлой неделе новые выдали.

— Все равно не пойдем! — лицо парня побагровело. — Ребята, не ходи!

— Подожди, не горячись, — подошел к парню Медведев. — Криком много не наделаешь.

— А ты кто такой? Твое тут какое дело? Ты в конторке сидишь, в тепле... На нашем месте поработал бы.

— Вот что, товарищи, — так же негромко и спокойно заговорил Шахрай, но в его голосе чувствовался сдержанный гнев, — это не дело. Нам дано определенное задание: к такому-то сроку закончить просеку. Если мы этого не сделаем — получится срыв работы. Так нельзя...

— Слыхали, сто раз... Ты нам про это не рассказывай.

— Заплатишь вдвойне — пойдем.

— Этого сделать я не имею права.

— Ну и нечего разговаривать.

— Что ж, староста, и ты так думаешь? — повернулся Шахрай к мужику в синей рубаше.

— Да ведь я что ж?.. Я штука маленькая, — девята кость от задницы... Как артель, так и я.

— За срыв работы отвечать придется, — в упор взглянул Медведев в алые глаза парня.

— Ну ты не грози!.. Не запугаешь... Ишь ты... — Парень повернулся к столу и крикнул: — Ишь, ребята, грози! — И махнув отчаянно рукой, будто разрубал что-то, шагнул к Алексею Петровичу. — Ты, братишка, не вякай! Не тебе про нашу работу рассуждать, ты ее не знаешь. Ты в тепле сидишь, перышком помахиваешь.

— Пущай с нами поработает — узнает, — лениво сказали с коек.

— Верно: поработает — узнает! Не бойсь, в такой мороз не вытащишь... А нас гонит.

Парень налезал на Медведева.

— Пойдем!.. Докажи!.. Пойдешь — и мы пойдем.

— Пойдете?

— Пойдем.

— А ну-ка спроси артель — пойдет?

Несколько человек встало с коек, с любопытством разглядывая высокую фигуру Медведева.

Парень, задетый за живое, еще раз рубанул рукою:

— И спрашивать нечего. Пойдут!

— Ну, так одевайтесь.

— Идешь?

— Иду.

— Идем, ребята, поглядим, как он сбежит.

С коек, от печки лениво поднима-

лись, надевали лапти, напяливали полушубки. Подсмеивались:

— Сбил он нас.

— Поддел, чорт.

— Ничего: поглядим, поглядим.

До места работы шли, увязая в глубоких сугробах. Староста шагал рядом с Медведевым и ласково говорил:

— Они ребята ничего, иногда только дурят... Митька всех больше. Он и в деревне первый коновод. — И сбоку бросал внимательные хитроватые взгляды.

Когда по морозным стволам сосен застучали топоры, Медведев, не глядя, чувствовал со всех сторон направленные на него выжидающие взгляды. Он с размаху вонзил топор в дерево, от дерева отскакивали пахнущие смолой щелки, и этот запах, и морозный солнечный день, и дробный перестук топоров бодрили тело. Подрубив дерево, Алексей Петрович со старостой подпиливали его с противоположной стороны. Дерево вздрагивало, медленно накренялось, потом стреском стремительно падало на землю, вздымая облака снежной пыли. Свалив сосну, Медведев тут же переходил к другой и опять широко и сильно взмахивал топором. Спустя час, староста добродушно сказал ему:

— Не гони, куда гонишь?.. Замаешь. — И крикнул: — Покурим, ребята!

Подошли лесорубы. Их лица, раскрасневшиеся от мороза и работы, с заиндевевшими бородами и ресницами, были очень добродушны. Даже Митька, пододя, подмигнул Алексею Петровичу:

— Ну, как, братишка? Покурим, что ли? Махорка есть?

Вечером от давно неиспытанной усталости ныло тело, но было весело и радостно, точно вот он, Медведев, в прошедший день совершил что-то очень большое и хорошее.

(Продолжение следует)

Энергия

Роман

ФЕДОР ГЛАДКОВ

(Продолжение 1)

XXI

Аспидное здание управления строительства вздымалось на самой высокой выпучине холма. Оно блистало огромными стеклами, которые размыто отражали и синеву неба, и целые планы строительных ажуров, и кудрявую зелень бульвара, и жирные волны озвов в пустырях. Чтобы погасить пыль и опрохладить жару, всюду на пустырях строительства засеяны были целые поля овса, и они дышали теплыми запахами солода. Здание управления строгим фасадом смотрело сверху на реку, на четкую аркаду бычков плотины в путанице кранов и дерриков, на гранитные террасы разработок на том берегу, на рабочий город каменных и железобетонных зданий на равнинах той стороны, мреющей в знойных струях и лиловой дымке далекой перспективы. Позади управления — тоже до самого горизонта — большой город кирпичных и голубых коттеджей и многоэтажных корпусов общежитий, и их твердые ряды разграфлены широкими улицами в мостовых и тротуарах с аллеями лип, берез и тополей. По обе стороны управления густые заросли скверов в перепутанных дорожках, посыпанных гравием, будто пшеничным зерном, — продукт размола гранитов на камнедробильных заводах. Этот гравий хрустел под ногами, как замороженный снег. Всяду — газоны, куртины и радужные

клубы цветов. Мимо здания упруго горбилось шоссе. Здесь пронеслись мимо и стояли у подъезда глянцевого автомобиля. Здесь же неподалеку оставались пассажирские автобусы. Хрипели тяжелые грузовики, сотрясая почву, грохотали мажары, и толпами сновали заботливые люди — служащие, рабочие, инженеры. Здесь постоянно бился напряженный пульс строительской жизни, здесь многолюдный административный аппарат, с многочисленными секторами, в прохладе просторных белых комнат, в массе света, работал по строгому плану под трепетный шелест пишущих машинок. Это был гигантский пульт, где точные приборы отражали все сложные и многообразные процессы совершающихся работ на строительстве. Очень далеко на горизонте пылится и реет ажурными лесами заводской комбинат. Там — тысячи людей, сотни техников и инженеров, там грохочут экскаваторы и поют локомотивные краны, там курсируют десятки поездов с материалами, там перепутанные шеренги думпкаров, площадок и вагонеток, — отсюда ничего не видно простым глазом, кроме призрачных золотых вспышек и застывших на небосклоне строительных лесов, а пульт чутко и четко отражает все процессы, все перемены, весь сложный переплет далекого труда.

В комнате заседаний технического совета, прозрачно-голубой (стена на восток — вся из стекла), за длинным красным столом в два ряда лицом друг

¹⁾ См. «Новый мир», кн. 1, 2 и 3 с. г.

к другу сидели инженеры, заведывающие разными объектами строительства, два заместителя начальника — Шлиппе и Стрижевский. Оба сидели на конце, с угла на угол. Все было в сборе, и в комнате, строго деловитой, только с двумя портретами — Ленина и Сталина в дубовых рамах — рокотал приглушенный рой голосов. Все говорили друг с другом вполголоса, соблюдая чинность и почтительное уважение к месту. «Хозяин» не допускал гама и развязности, и все вспоминали по привычке, когда входили в эту комнату, как однажды Балеев, когда все непринужденно и непоседливо толкались по комнате, кричали наперебой и смеялись, распахнул дверь своего кабинета и стал на пороге, колючий и властный.

— Я предполагаю, товарищи, что вы собрались на деловое собрание. Нельзя ли держать себя более достойно? Уважайте и место, и себя, и дело.

И скрылся, а потом выбежал к сконфуженным спецам с обычной стремительностью.

Шлиппе, с длинной черной бородой, с глянцевым черепом, играл бровями в переглядке со Стрижевским. У Стрижевского — бледное лицо, барская чистоплотная седина, с заботливо выбритыми щеками и подбородком. Шлиппе уморительно прятал свою усмешку в бороду, в молодые самолюбивые глаза и с пригворной строгостью встряхивал бородой. И те, кто встречался с ним взглядами, тоже прятали улыбки в усы и бородки, склоняли головы над столом и старались быть серьезными. Стрижевский с достоинством сидел над каким-то делом и читал внимательно и бесстрастно. Одет он был в белый костюм. Впрочем большинство инженеров были в приличных костюмах, только геолог Борзый, с сухим опечаленным лицом, неопратно открывал тощую грудь, да старик-архитектор Митрохин, зеленый от седины, был в косоворотке, Митрохин прислушивался к соседям и одобрительно кивал головою: он не понимал, что говорили другие (они на него не обращали внимания), но жадно слушал и улыбался. Он был среди людей полных жизни, чувствовал теплоту их тел, ощущал их затруженные мозги и был умиленно до-

волен. И никто не удивился, когда он пропел старчески дрябло:

— В мое время молодежь работала не так: с прохладцей работала — когда и как хотела. Жизнь была меньше, а люди неторопливы. Теперь же посмотрите: откуда что берется — переворачивают целый свет. Какая интересная и значительная стала жизнь и какие большие стали люди!..

Инженер Бубликов с квадратной черной бородой, с сердитым ершиком и наркотическими глазами, сварливо оборвал его, гримасничая:

— Вы лучше расскажите-ка о бродячей собачке, которая возродила вас к новой жизни.

— Что же, дорогой мой, у каждого из нас есть своя собачка.

— Это только у вас — собачка, а у других — грязные крысы.

Совсем неожиданно, незамеченный никем, вытянул над столом длинную жилистую шею Игнатий Игнатьевич Шагаев. Носик его горел жарком, и острые глазки ядовито искрились навстречу Бубликову.

— Но всем между прочим, известно, что крысы живут только в подполье и во всяких прочих темных местах.

Бубликов мгновенно спрятал от него свои наркотические глаза, повернулся всем телом к Кряжичу и зашептал ему что-то на ухо, прихлопывая ладонью по красному сукну. Кряжич отпрянул от него, и в глазах его метнулся ужас. Но он мгновенно оправился и засмеялся громко, со вздохами. Все удивленно повернули к нему головы, кроме Стрижевского, а Шлиппе уморительно заиграл бровями и строго метнул в него шелковой бородой. Шагаев, не отрывая воспаленных глазок от Кряжича и Бубликова, ехидно щекотал их подмигивающей улыбочкой. Кряжич нервничал: он непоседливо метался на стуле и нетерпеливо рыскал глазами по рядам разноцветных голов — молодых и старых. Бубликов очевидно душил его и своим сердитым ершиком, и дыханием своего тела. Видно было, что Кряжич не в силах вынести его около себя: порывистый, живой, он тосковал в этой суровой комнате, принужденный сидеть плечом к плечу с людьми в нудном ожидании Балеева. Он ежился и опасно от-

странялся от Бубликова, который прилипал к нему, как заговорщик. Соображая про себя, будто его осенила какая-то внезапная деловая мысль, Бубликов заботливо и неторопливо вынул из бокового кармана блокнотик и, закрывая его левой рукой, начал быстро производить какие-то вычисления и набрасывать неряшливые схемки чертежей. Подумал, написал какие-то неразборчивые слова, вырвал листок, а книжку спрягал обратно в карман. Опять просмотрел записочку, посообразал и быстро подвинул листик Кряжичу. Бумажка коснулась руки Кряжича, и он болезненно отдернул ее, точно от ожога. Но так же порывисто схватил ее и впился в нее глазами, и опять в зрачках его метнулся ужас. Он спрятал бумажку в карман и, не замечая тревожного порыва Бубликова, вскочил со стула и подбежал, размахивая руками, к гигантскому стеклу. Он волновался. Из этого окна он любил смотреть на строительную путаницу плотины, на стрелы кранов и дерриков, на величественную гребенку бычков, красиво и упруго вздыбленных из хаоса строительной суматохи того берега. Это — его произведение, которое пойдет в века: оно дышит и живет, оно смотрит на мир его глазами. Это сооружение стало родным. В химическом сцеплении с инертными материалами, в этом сооружении составным вяжущим элементом заключена его кровь и энергия его мозга. Его жизнь неразрывно связана с жизнью этой громады, и его судьба — это судьба голубеющего, судорожно врастающего в жизнь членистого чудовища, которое неизбежно сожрет и его самого. Он много строил и всюду оставлял себя по частям, а здесь он принесет в жертву всего себя без остатка. Для чего? Во имя чего?

Борзый молча следил за ним своими опечаленными глазами, далекий всем, ушедший в себя.

Несколько инженеров тянулись друг к другу через стол и разговаривали с сосредоточенным вниманием. Митрохин тоже устремлял к ним зеленую голову с обожженным лицом и, улыбаясь изумленно, тоже ловил ладошкой беседу инженеров. Весь стол дрожал от тел и мутного гула голосов. Говорили груп-

пами, смеялись, где-то в конце стола сдавленно хохотали — должно быть, кто-то рассказывал анекдоты. Архитектор и туда тянулся ладошкой уха и тоже смеялся — так, беспричинно, заражаясь чужим смехом. Но он больше ловил разговор инженеров на середине стола. Там спорили о причинах, отлива рабочей силы со строительства. Громче всех, воодушевленно и напористо, рассуждал Баранников, молодой инженер с комбината, весь бритый, с синим глянцем на черепе и открытой грудью. Когда он улыбался, выпуклые серые глаза его и крупные редкие зубы заливались горячей влагой. Архитектор любовался только им и смотрел на него восторженно, с любовью и любопытством.

— Деревня деревней, урожай урожаем... все это — так... О чем это говорит? Очевидно о росте благосостояния мужика. Но не в этом дело...

— А в чем же, по-вашему, дело? — насмешливо и снисходительно басил путеец Дугин с двойным черепом, странно насаженным один на другой. Нос у него длинный и прямой, как у грача.

— А в том, дорогой мой, что мы с вами не умеем организовать технические процессы. Мы — люди рутинные. Наши знания и опыт — это наше цеховое священнодействие: это — жречество. Нам дико сделать его достоянием масс. Это, дескать, профанация. В этом и есть противоречие в положении технической интеллигенции наших дней. Но процесс ее деформации идет все-таки бурно и неудержимо. Это — во-первых. А во-вторых, наши организации еще не рассчитались для широкой рационализации труда. Социалистическое соревнование и ударничество...

— Ох, ударничество, соревнование!.. Я — о дисциплине, а он...

— Станный вы человек, Илья Савельич, честное слово. Ведь дисциплина не создается сверху. Скажем о вас например: почему вы не создали этой дисциплины на своем участке? Вот именно вы, который отвечает за свой объект? Ведь железнодорожный сектор у нас весьма неахтительный.

— Да просто потому, что я — пешка в наших условиях. Я пикнуть не могу, потому что мне свернут голову и, может быть, сошлют в Соловки.

— Ну, как вам не совестно говорить эти пошлости? Просто вы не умеете работать, как не умеют работать люди, которыми вы распоряжаетесь.

— Ох, боже мой! — пренебрежительная насмешка в голосе Дугина вздрагивала гневом и обидой. Казалось, что у него раздувается верхняя, наставная часть черепа. — Я инженерствую, позвольте вам сказать, тридцать лет, а вы — без году неделя. Какой может быть разговор...

— Это вовсе ничего не значит, — Баранников засмеялся весело и самоуверенно. Горячая влага залила его глаза и зубы. — Уверяю вас. Где же этот ваш тридцатилетний опыт на практике? Рутинка. Вы привыкли пользоваться мускульной силой и иметь дело с подрядчиками. А где у вас новые методы труда? Где у вас десятники и прорабы, которые бы смогли организовать этот накопленный опыт? Не сомневаюсь, что вы даже не знаете, как расставить живые силы и механизмы, не знаете расчета их работы. Я например сплошь и рядом сталкиваюсь с людьми, которые так же, как и сырые сезонники, заражены машинобоязнью и предпочитают пользоваться первобытными способами в работе.

— Сначала, милый человек, вы сами накопите этот опыт, а потом учите. Слишком уж неумеренно берете высоту. Поучитесь, потрубите с наше, тогда и разводите радеи.

— Но вы ничего не возразили мне, Илья Савельич... Смешной вы человек. Этот опыт есть. Мы уже три года ломаем горб на этом строительстве. Признайте, что опыт за эти годы — огромный, но он благодаря нам пропадает впустую. Ведь позор! Мало того, что мы этот опыт и навыки не передали новым кадрам, но раздраконили и последние силы из низшего технического персонала. Растаяли подпальщики, бурильщики, десятники... Почему не сохранили этих сил?

— А потому самому...

— Ну, скажите... Дайте более вразумительный ответ.

— А вот потому самому, что вы ораторствуете. Вы сами разогнали эти силы и день ото дня ставите высший технический персонал под удар всех и

каждого. У нас есть обязанности, но прав — никаких. Права, но не обязанности имеют люди, подобные вам, которые в строительстве ни черта не смыслят. Нет гарантий для нормальной работы. Вот в чем дело.

Баранников смеялся весело, от души, точно Дугин рассказывал ему забавнейший анекдот.

— Какая чепуха, помилуйте! Какое смехотворное отсутствие здравого смысла!

Митрохин в восхищении кивал зеленой головой и улыбался. Он дотронулся пальцем до плеча соседа, скусающего бритого инженера-мостовика Старателева, и улыбка его плакала в старческом умилении.

— Ведь какой острый парень, а? подумайте! Как хорошо рассуждает! Богатое время! Илья Савельич перед ним — тускловат, и словечки пахнут собачьей старостью. Знаете, мне кажется, что у всех у нас, этих корпорантов, изо рта очень дурно пахнет.

Старателев с одряблевшими наплывами кожи на лице, но с хитрой, затаенной мыслью в глазах молчал и даже не слышал прикосновения руки архитектора. Он всегда молчал и даже на техническом совете никогда не выступал в прениях.

— Старателев — мудрец, — ехидно насмешничали инженеры. — Это человек с иммунитетом. В наше время молчанье — большое искусство.

Кряжич бежал вокруг стола и с горячим порывом врвался в группу спорящих инженеров. Он с разбегу оперся о край стола и вызывающе крикнул прямо в ухо Баранникову:

— Нет, вы мне лучше скажите, куда вы всунете человека? этакое простого, маленького, — такого, который хочет жить?.. жить! понимаете?

— То-есть, и цыпленок хочет жить?

— Хотя бы. Где, скажите, сейчас место этому человеку? Да хотя бы цыпленку... Сейчас человек — техническое понятие и — только.

Баранников повернул к нему залитое смехом лицо, но спокойно, холодно, без всякого смеха в голосе, одернул его:

— Человек — не клин, в жизнь его не вобьешь: он сам должен создать се-

бе свое место. Вам, Кряжич, говорить это непристойно.

Кряжич негодуяще и презрительно фыркнул и опять убежал к окну.

А Баранников оглядел всех с веселым сожалением и крутнул бритой головою.

— По-вашему, в конце концов выходит, товарищи, что кризис рабочей силы только и определяется лишением прав и преимуществ технической интеллигенции. Социология, что называется, от собственного лица. С таким, с позволения сказать, научным анализом общественных сил далеко не ускачешь. Барон фон-Грюнвальдус на камне сидит и с места не сходит.

— Вы-то уж очень далеко ускакали... — голос Дугина брюзгливо и озлобленно мычал в стол и в головы инженеров. — Мы сидим на камне, а вы, с своим полноправием и новой социологией, этот камень ворочаете с боку на бок. Чем Грюнвальдус хуже Сизифа?

— Этот Сизиф, разрешите вам напомнить, совершает такие неблагодарные дела, как созидание этого гиганта, этих наших комбинатов уральской металлургии, тракторостроев, сельмашей, Днепростроев, мощных совхозов, о которых и мечтать не думали все те, кто скорбит об утрате гражданских прав и преимуществ и о какой-то метафизической человеческой субстанции. Все это, товарищи, от того, что кому-то неудобно стало от народа, который перестал безмолвствовать, а пожелал действовать. Он просто не хочет, чтобы им распоряджались как скотом, а напористо и немножко грубо заявляет о своих творческих правах на создание иной системы жизни. Извольте это принять, как неизбежный исторический акт. А вы обижены и на этот народ, и на историю, а больше всего на большевиков, которые сами являются исторической активной категорией.

Все раслабленно откинулись на спинки стульев и нудно замолчали. Шлиппе взметнул бородою, насмешливо и сердито поиграл бровями.

Неожиданно Бубликов с насмешливым упреком, с вызывающей наглостью в глазах, громко крикнул, вытянув руку и отталкиваясь от стола:

— Ну, я-асно, я-асно, граждане... чего вы спорите? Разуме-ется, новые ме-

этоды... новая техника... организованное изучение опыта... Как вы этого не понимаете...

Кто-то быстро и несмело проворчал:

— Да ведь морды бить инженерам вошло в привычку... Мы это хорошо знаем...

Баранников рванулся на этот голос:

— Но вы так же хорошо знаете, что хулиганы садились на скамью подсудимых.

Шагаев раздраженно выкрикнул с дребезгом в горле:

— Но, товарищи, надо же признать, что интеллигенция еще не научилась работать в новых условиях. А пора уже научиться. Таких широких возможностей для проявления своих сил и талантов, как в наши дни, еще никогда не было в прошлом. Мы — люди малых масштабов и низких производительных сил. Это же — аксиома. Мы росли и жили под постоянной опекой. Теперь нам просто страшно и жутко и от больших размахов, и громадных темпов, и от отсутствия привычной, охранительной опеки. Мы слишком свободны. Да-с. И от того, что мы слишком свободны, нам кажется, что мы — в неволе. Непосильная свобода редко кому по плечу. Надо иметь мужество быть свободным.

Архитектор взмахнул руками и весь так и ахнул от изумления.

— Вот! Именно так... Превосходно сказано. Чудесные слова. Работать, только работать надо. Замечательное время, великие возможности. Как это можно не видеть этого?.. Надо почувствовать это, господа... нутром... всем существом, господа...

В разных местах засмеялись и отмахнулись от него, как от шута, который сморозил уморительную глупость.

— Были господа, да сплыли... Что это вы... с крыши свалились, что ли?..

Митрохин не понимал и смущенно оглядывал всех. Он покраснел по-стариковски, и лицо его в зелени волос стало сизым.

— Ну, что тут, боже мой!.. Вырвалось по старой привычке... Вот эти нас привычки-то и губят. Была бы душа чиста и стремления благородные, а слова — это только отрыжка. Я однажды

попугая видел: сидит, стервец, в клетке и на всю улицу похабщину жарит: дармоеды, мать перемать...

Смеялся уже все с удовольствием, точно разорвалась внутри у всех какая-то липкая паутина. Митрохин тоже смеялся заливчато, радостно, смигивая мутные слезы.

— Ну, вот... вот и хорошо... Я вот так над собачкой бродячей смеялся в 23-м году, когда она ножонку на мусор подняла... С собачкой это тогда бывает, когда она сытенная да довольная... Ну, думаю, оживает народ...

Смех неудержимо потрясал всех. Даже Бубликов скалил лошадиные зубы и брызгал ершиком. А у Борзя опечаленные глаза стали вдруг младенчески ясными. Шагаев хлопал в ладошки. Только Стрижевский не отрывался от дела и был безучастен и глух. Шлиппе играл бровями, и смех его струился по борде.

XXII

А в кабинете помощника начальника объединенного строительства, Глеба Чумалова, сидели дружеской компанией: Мирон, Дубяга, Осокин и Шалнин. Этого Глеба Чумалова, своего соратника по фронту, Мирон вырвал зубами у областкома и добился назначения его сюда через ЦК. Работал он здесь уже год, и они, по старой дружбе, жили душа в душу. Чумалов ночью возвратился из Москвы, где он пробыл полмесяца по делам строительства (подтакивал через ВСНХ и ЦК исполнения заказов на заводах, доставку стройматериалов и производственное снабжение для рабочих), а теперь стоял за своим столом, в военной (по старой привычке) рубашке, высокий, плотный, заряженный Москвою, здоровый и свежий. В углу рта — неизменная трубочка. Одна рука в кармане, другая принимала участие в разговоре. В открытое окно глубоко и воздушно горел июль. Чумалов больше раз'езжал по Союзу, чем сидел в этой комнате: полмесяца — здесь, месяц — в раз'ездах. Мыкался он по заводам, где выполнялись заказы, оттуда — в Северолес, потом — в Ураллес, потом мчался в Югосталь, в Северосталь, в Гипромет. Возвращался усталый, но бодрый.

Говорили о Москве — о новостях в политической и хозяйственной жизни, о том, чем дышит сейчас столица.

— Сейчас в центре внимания — новостройки... Куда ни сунешься — в ЦК, в ВСНХ, к приятелям, — везде одна тема — новые строительства. Металл. Кузбасс, Магнитогорск, Урал... Потом — нефть, уголь, транспорт... Одним словом — то, чем и мы волнуемся с вами... Ну конечно, и коллективизация, сельскохозяйственный фронт...

— А нас совсем забыли... — вздохнул Осокин. — Сколько сделано, сколько труда положено... и массы здесь выросли...

— Да, к нам уже стали относиться с прохладцей. Ведь мы же, говорю, создаем огромный промышленный район на основе широкой электрификации, а вы нас, к чертовой матери, в грош не ставите... А когда-то орали на весь Союз. Заводы чихают на свои обязательства. (Он вынул трубку и оскалился смехом). Вы сейчас, говорит, на твердой базе — о вас беспокоиться нечего. Вот какая в нас вера!

— Ох уж эта вера!.. — заморщился улыбками Осокин. — Вера-то осталась только у чиновников да у старух: она с бюрократизмом — за одной скобкой. Организованный пролетариат не веры требует, а внимания. Уж позвольте ему самому верить в свои силы.

Осокин смотрел на Чумалова и любовался им: какой бравый парень, как люди сбились крепко и добротны! Вот он: был когда-то слесарь, потом где-то возглавлял завод, потом — на хозяйственной работе, и — смотри: уверен в себе, горд. Гнется, кажется, под тяжестью обязанностей и забот, а становится еще крепче, мозолистее, и во всей фигуре — строгость и сознание ответственности, но парень — простяга, без гонора, без самолюбования, — рубашка парень. Еще молодой, а седина уже брызжет искрами по волосам...

— В ЦК удивляются, Ватагин, что ты за этот год ни разу не показал носа в Москве. Надо съездить и показать как следует. Мельчаеш, брат. Авторитет туснеет. Как? Согласен?

— А ты согласен?

— Я не согласен, но оговорочки есть.

— Поеду, но не теперь. Сейчас трудное время.

— А у нас кулаки здорово зашалили на местах. — Дубяга был не в духе: глаза как будто смеялись, но усы были тяжелы и угрюмы. — В нашем районе четверо работников сложили свои головы. Горят поля... Надо мобилизовать у вас человек пятнадцать.

— Мы-то, милуша, мобилизем... речи нет... А вот ты-то, голубчик, меры прими, чтобы двинуть нам из деревень тысячонок пять...

— Вот и пусть ваши ребята вербуют на местах. Одно — к одному.

Шалнин потянулся к Дубяге с обычной заискивающей улыбкой.

— Мы, товарищ Дубяга, своих вербовщиков пошлем. Мобилизованные товарищи, это — особо. Ты бы директиву дал на места. Сейчас мой доклад на техническом совете, а я — как мыльный пузырь в воздухе. Помогай.

Байкалов встал и прошелся по комнате, прислушиваясь к самому себе. Все посмотрели на него молча, с участием, и всем было неловко: вот они — здоровые, бодрые, с жизнерадостной шуткой на языке, а он умирает на их глазах, и ничем они ему помочь не могут. И когда он опять шел от двери к столу, костлявый, измученный недугом, с печалью в глубине глаз, глухой его голос был похож на стон.

— Гляжу вот: какие невиданные чудеса! Борьба гигантов. Не могу утерпеть и трех дней, чтобы не побывать здесь. Хожу и впитываю в себя. Какие мы переживаем счастливые дни! Просто надрываешься от жизни. А давно ли мы дрались на этих пустых полях? Помнишь, Мирон? Время начинено, как бомба. Большое время должно создавать больших людей. Но мы еще не научились экономить свои силы. Трагично их часто совсем производительно. Скажем, наши прорывы... Есть социализация сил, но социалистическое их проявление еще туго оформляется.

— Не все сразу дается... ты очень нетерпелив, друг. — Засмеялся Чумалов. — Еще не овладели культурой... Рванули, брат, здорово... Так рванули, что прошлые революционные эпохи — чепуха в сравнении с нашей... Своим

умом приходится до всего доходить. Кстати: этак с осени надо покрыть строительство густой сетью курсов по разным квалификациям.

Осокин вздохнул и горестно взмахнул рукою.

— А тут без тебя, Чумалыч, отступила наша сезонная армия. Но зато какой энтузиазм охватил рабочих! Вот дела-то какие! Видел, как котлован-то затопило?

Чумалов пристально поглядел на него, как на ребенка.

— Ну, а чего ты глядел? Массы разбежались, как крысы, а ты где был? Очень ты любишь толкаться среди людей, а они у тебя утекли сквозь пальцы. Взгреть тебя надо с Ватагиным.

— Все виноваты, Чумалыч... Все мы плохо заботились о массах... все... и ты в том числе... Кто должен устраивать бытовую сторону? Плохо кормили, плохо с жильем...

— Придется, к чертовой матери, перещерстить кое-кого... — Глеб злобно выпучил глаза и долбанул в стол кулаком. — Я знаю, кого гвоздить в первую голову. Тут ползает всякая вредительская гнусь. С котлованом без гнуса не обошлось, факт. Выужу гадов.

Мирон не слушал. Он как будто считал весь этот разговор пустым и ненужным, и люди как будто совсем не интересовали его. Он сосал трубку и смотрел мимо всех.

Чумалов перевел на него глаза, и они вдруг опять брызнули смехом, точно он вспомнил о чем-то очень приятном и радостном.

— Да, Ватагин... встретил я однажды твою жинку...

Мирон дрогнул, но лицо повернул к Чумалову медленно и равнодушно.

— Хорошая баба. Этакая размашистая русачка. Иду по коридору в ЦК, вдруг она — прямо на меня. Так всего и накрыла. Сильно заинтересовалась тобой. Просила напомнить, что пора уже тебе заявить в загс о расторжении брака.

— Успеем — время не ушло.

И всем было непонятно, шутит он или говорит серьезно.

— Ну, а у тебя как, Чумалыч? С жинкой вы тоже, кажется, на разных фронтах?

— С Дашкой мы — ничего. Обтесались. Орудует в крайкоме — шурует по отделу кадров.

— Ну, а мой семейный роман еще не подошел к концу.

— Прихромов тебя здорово костил... Ежели, говорит, придет — выпорю, а не придет — за душу вытащу, и не будет ему пощады.

Мирон засмеялся, глаза блеснули радостью и стали вдруг прозрачными и глубокими. Он даже встал от возбуждения.

— Вот человек!.. Редчайшей чистоты!.. В жизни моей играл он исключительную роль... Бешеный я был на войне. Однажды даже застрелить его хотел. Вмешался в мои действия. Выхватил я револьвер, а он идет на меня, смотрит прямо в глаза и очень спокойненько, дружески этак говорит: «Ватагин, не забывай, что непоправимая ошибка — цена жизни». И обнял меня.

— Знаю, знаю эту вашу историю... — оскандалился Глеб, — об этом много тогда говорили.

Байкалов ожил — он даже выпрямился и помолодел.

— Да, да, Мироша... при мне это было... Хорошо это у вас кончилось: вместо стрельбы целовались взасос. Замечательно было время.

Глеб, не угашая улыбки, опять перешел на деловой тон.

— Ну, так вот. Прихромов поговорил со мной насчет моей работы и — вдруг: почему ты — помощник? Ты должен быть заместителем. Что это у вас там за робкая политика? Ну, звонок в ВСНХ. И сейчас же распорядился отбить назначение.

— Ого, милоти!.. — взволновался восторгом Осокин. — Теперь мы заживем. Это, родной, теперь — наши высоты.

— Не радуйся, Осокин. Хозяин будет рвать и метать. Он всегда грозил отставкой, когда приходилось отвоевывать от него некоторые функции. Поваландаться придется.

— Обломаем... — Мирон вынул трубку, сказал весело. Но с угрозой: — Шутить не будем. Довольно!

Шалнин встал и на цыпочках, вбирая голову в плечи, вышел. Все взглянули в его спину и улынулись в переглядке. Глеб подмигнул Мирону и засмеялся.

— Пошел... куда бы ты думал?

— Загадка простая: к хозяину... информировать...

Дубяга стоял у окна и молчал. Сегодня он был необычно тревожен. Он думал упорно и боролся с какой-то тяжестью внутри. Но он был хорошо дисциплинирован — держал себя ровно и спокойно.

— Да, развернули здорово, ребята! Не окинешь глазом, а давно ли здесь были дикие поля? Пигмеем каким-то чувствуешь себя, а ясно ощущаешь, что растешь вместе с этими махинами. Мне кажется, что в каждый свой приезд я здесь проверяю свой рост. Возвращаешься домой — и меняются масштабы. Но еще острее это ощущение, когда ныряешь по полям. Старая деревня разрушена, а в каких муках рождается новая... Я знаю дореволюцию с детства, и эти муки ее чувствую и понимаю немножко глубже, чем вы.

— Вот это замечательно! — Глеб взмахнул трубкой от удовольствия. — Сегодня ты впервые сказал самое жизнерадостное слово. Муки родов! Лучшие звуки на человеческом языке! Вот туда к чорту! Ты же — акушер, Дубяга: помогай мучительным родам. Радостная обязанность.

— Да. Радостная и мучительная обязанность. Прямо больным становишься, когда возвращаешься в город. Нервы разбалтываются вдрызг. Некоторые наши работники не выдерживают... Много ненужных страданий. Извращения и дикость на каждом шагу.

— Какой же ты акушер, Дубяга, ежели страдаешь от этих родовых мук и хватаешься за сердце? Чувствительного акушера нужно по принудилровке отправить мостить дороги.

— А я вот изолирую тех акушеров, которые рубят с плеча. — Дубяга озлился, и у него запрыгали усы. — Ты мне читаешь азбуку, а забыл об основном качестве нашей работы — об осторожности и чуткости.

— Не забыл, Дубяга. Не волнуйся, друг. Мы, большевики, ни перед чем не смущаемся и ничему, брат, не удивляемся. Чорта с два нас возьмешь на мушку. Мы умеем страдать похлеще всех чувствительных алхимиков, но мы из этих своих страданий умеем делать борьбу. Мы очень хорошо знаем, что

при таких родах бывает и грязь, и кровь, глубокие раны. Не это важно, а важно, чорт те возьми, ускорить роды новой жизни и диалектически их осмыслить.

— Ты, Чумалыч, рассуждаешь, как герой гражданской войны. А у нас сейчас мирное строительство. Не забывай принципа равновесия.

Дубяга замолчал, но от окна не оторвался. Глеб расправил мускулы—дернул руками, плечами, шеей, точно рубаха была тесна ему. Мирон был невозмутим, но в глазах его переливалось веселье.

— О каком это ты равновесии говоришь, Дубяга? Не забывай, что эту теорию Бухарин развил лучше тебя.

— Какой ты хороший, Мироша! Какой ты умный! Только нельзя ли пограмотнее наступать на ноги?

— Нет, ты не вилай, Дубяга, а говори прямо. О каком ты равновесии толкуешь? Когда в деревне взрываются глубокие пласты и бушует буря, какой может быть разговор о равновесии? Решать проблему равновесия—значит нейтрализовать борьбу. А большевики—это сердце драки. Деревня переживает революцию—этим гремят наши дни. Здесь слышится голос Энгельса, который еще задолго до твоего рождения говорил нашему времени, что фабрика, построенная в деревне, неизбежно рождает город, то есть уничтожает различие между городом и деревней. Ну, вот мы и уничтожаем мышиные гнезда.

Усы у Дубяги сердито царапали подбородок, но глаза смеялись над Мироном.

— Согласен, ты умеешь бить на шарап. Но я же ведь не из простачков. О чем я говорю? Я констатирую факт, что в деревне мы форсируем разрушение в ущерб созиданию: наш эквивалент не покрывает разрушения.

— Ну, и что же из этого? Всякий эквивалент создается в процессе борьбы. Не мне бы тебе это говорить. Какой тебе нужен эквивалент? Разве наша стройка—не эквивалент? Этот наш эквивалент и громит к чорту ста-

рые производственные отношения. А тебя жалость обуяла к мужичку: обижаем мы с тобой мужичка. Ты что? болен? или у тебя мутится башка?

Глеб с пристальной улыбкой изучал и Дубягу, и Мирона и будто ждал, что через мгновение они опять вцепятся друг в друга. У Осокина дрожали морщинки на лице: он страдал, и ему невыносимо было видеть, как эти два человека, которых он любил и высоко ценил, вдруг оскалили зубы, как враги.

— Мы—люди, Мироша...—вздыхнул Осокин,—Владимир Ильич обладал сердцем великой чуткости и глубины.

— Ну, знаешь...—Мирон прищурился и усмехнулся,—с сердцем в революции далеко не уйдешь. Сердце только прыгает на месте. В борьбе оно должно быть вырвано к чорту. В борьбе я растопчу первого, кто останавливается перед стенами и кровью. Я свое сердце расстреливаю в упор.

Дубяга уже овладел собою, и усы его вздрагивали от усмешки.

— Революция, Ватагин,—это политика. Без осторожной и мудрой тактики никакая революция не делается. С твоим прямолинейным радикализмом мы в два счета угробили бы нашу политику в деревне. Лучше сиди уж здесь.

Глеб скалил зубы, но он волновался и все время порывался врезаться в спор.

— Ты, Дубяга, что-то подозрительно играешь в осторожность. Меньшевики из этой осторожности сделали себе фетиш и превратились в лакеев буржуазии. Наши оппортунисты тоже помешались на осторожности. А куда эта осторожность их приводит? К отрицанию дальнейшего углубления революции и к стабилизации капиталистических элементов.

Байкалов задумчиво, как бы про себя, отметил:

— Дубяга страдает одной слабостью, ребята. Он склонен к эмпиризму. Он слишком чуток к фактам.

— Все эмпирики—сердечные люди...—насмешливо заключил Мирон.—Они всегда вешают собак на систему, то-есть фактами принижают идею.

— Марксизм — не догма... — опять помрачнел Дубяга, и опять глаза его стали страдальчески мутными, будто взволновалась в нем боль, которую он подавлял в себе упорно и постоянно. — Мы обязаны проверять нашу работу и выпрямлять линию. А ты, Ватагин, хочешь факты подчинить догме. И получается круто, напористо, но глупо. Все события, которые произошли на стройке, бьют тебя в хвост и в гриву. А почему? Потому что ты смотришь на факты с высоты своего величия.

— Перестань, Дубяга. Смешно. Зачем ты это говоришь?

— А затем... — Дубяга уже говорил озлобленно, наступая на Мирона, — затем, что ты прешь, задравши голову кверху, и не видишь, что вокруг тебя совершается. На бюро райкома тебя и хлестали за это — поделом хлестали.

Мирон безнадежно отмахнулся от него и обменялся улыбкой с Чумаловым. А Глеб уже бунтовал: у него раздувались ноздри, прерывалось дыхание, и он не знал, что делать с своими руками.

— Ты эти свои факты, Дубяга, делаешь поводьями слепых. Ты ползаешь перед своими фактами. А я, как большевик, эти факты делаю своим оружием. Я... понимаешь ты?.. Я хочу быть хозяином всех фактов. Хозяином! Вот как надо ставить вопрос. Не они, как стихия, должны меня бить, а я вот хватаю их за башку (он сжал кулаки и потряс ими изо всех сил и сам затрясся), заставляю их служить мне так, как требуют наши революционные цели. И чорта с два смутить меня какими-то там трагедиями. Тебя угнетают страдания деревенских людей? Но Осокин вон тоже толкует часто о страданиях рабочих, зараженных потребительством. Это — зараза прошлого. Это лищит раздавленная революцией гадина личного стяжания. И не ты, Дубяга, прав, когда тоскуешь о равновесии, а Ватагин, для которого цель — все, а настоящее — это движение... И — к чортовой же матери! — никакие стоны домовых, никакие их страдания и козни не смущают меня... Не смущают они и Ватагина.

Дубяга, оледеневший, смотрел мут-

ными, но возбужденными глазами мимо всех, и усы его дрожали от снисходительной насмешки.

— Выходит, что Ватагин и сына потерял из-за презрения к фактам? Слишком уж накладно для идеи.

Мирон жестко, в упор, надавил глазами на лицо Дубяги. И в своем спокойствии и неподвижности был страшнее, чем в бешенстве.

— Да, ты — прав. Для целей революции я не только сына, но себя раздавлю, если нужно, без всякого колебания. Если нужно, и тебя, и других уничтожу, как кровных друзей... при первом же случае, когда увижу, что эти друзья путаются под ногами и мешают движению к цели.

Дубяга не вынес его взгляда и опустил глаза. Он впервые понял Мирона: этот человек не способен бросать слова на ветер, и с ним придется бороться не один раз. Он чувствовал, что с этой минуты между ним и Мироновым пришла тревожная тень, и Мирон уже не спустит с него этих своих тугих, пригвождающих глаз. Этот человек запоминает и слова, и поступки навсегда и не простит ему ни одной мелочи. Глеб иной: он — горяч, но отходчив, его бешенство быстро переходит в веселье. С ним — легко, но он тоже в борьбе прямолинеен и бьет без рассуждения со всего плеча. С ним нельзя поделиться своими задушевными мыслями. А жизнь сложна и противоречива, и многое кажется не таким легким и простым, как они представляют себе. Он больше связан с деревней, сам вырос в деревне, знает ее, и многие мероприятия ему казались ненужными, преждевременными и вредными для дела революции. Вот хотя бы лихорадочное форсирование сплошной коллективизации, методы раскулачивания. К нему толпами вваливаются крестьяне — и активисты, и местные партработники — всякие: и растерянные от событий, и бесшабашные энтузиасты, и рассудительные хозяйственники, и просто крестьяне — колхозники и единоличники. Они выкладывают перед ним все свои мысли и чувства — целые груды трудных, запутанных, сложных вопросов — и требуют немедленного разрешения:

как организовать труд и его оплату в колхозах? как обслуживать скот? кто подлежит раскулачиванию? как выйти из крутого проложения, в которое поставили деревню слишком рьяные наездники? нельзя ли в деревню послать военную охрану, потому что работникам грозит самосуд? вот вчера ночью забили до смерти комсомольца-избача—как на это реагировать? нужно ли еще нажать покрепче или ослабить пружину?.. Нескоролько человек спорят об этом до хрипоты, до ненависти друг к другу... И так — каждый день, а на местах — буря и землетрясение, и события совершаются с невероятной быстротой. Каждую минуту надо быть на чеку — не терять самообладания и авторитета.

Осокин сидел подавленный и немой. Он не знал, как держать себя, на чью сторону стать: ему казалось, что и Дубяга, и Мирон с Чумаловым были одинаково правы. В Мироне и Глебе было много революционной непримиримости: это — беззаветные бойцы-энтузиасты. Но Дубяга — осмотрительный руководитель, чуткий ко всяким событиям, учитывающий каждую мелочь, чуждый горячности и увлечений. Разве это плохо? Вот соединить бы чуткую трезвость Дубяги с боевым темпераментом Мирона и Глеба, и он, Осокин, не мучился бы от дилеммы: с кем ему быть, он не терзался бы от этого нестерпимого раздвоения.

Совсем неожиданно вошел в комнату Балеев. Он никогда не заходил к Чумалову, а с остальными встречался только в тех случаях, когда нужно было согласовать некоторые хозяйственные и трудовые вопросы. Мирон встретился с ним глазами равнодушно и безучастно. Балеев был как будто немножко смущен, но видно было, что он в хорошем настроении и ему приятно видеть всех этих людей. Он стремительно пожал всем руки и ринулся к Чумалову.

— Слышал, слышал, товарищ Чумалов, что возвратились. Очень рад. Ну, как? Что — в Москве? Как с выполнением заказов?

Глеб, не меняя позы, немного подбрался и ответил с почтительным достоинством:

— Добился специального постановления ВСНХ о твердых сроках выполнения заказов. Но заводы загружены, Викентий Михайлович. Нам придется собрать что-то в роде конференции исполнителей, чтобы с ними договориться.

— Правильно. Мысль хорошая. Это мы разрешим сейчас на техническом совете. Вы уж возьмите это на себя.

Мирон незаметно наблюдал Балеева и удивлялся: в «хозяйине» совершились какие-то странные перемены. Откуда такая дружеская простота? Куда девалась его величавая неприступность? Испугался последних событий? Нуждается в поддержке организаций?

— Мне бы, товарищи, хотелось поговорить с вами особо. Было бы хорошо, если бы вы этак вечерком пожаловали ко мне на чашку чая. А теперь прошу вас на заседание. Публика ждет. Кстати, я слышал, что вы, товарищ Чумалов, назначены ЦК третьим заместителем начстроя. Я только удивлен, что это произошло без моего ведома. Кроме того, ведь вы — не инженер.

Чтобы удобнее было глядеть на Балеева, Мирон встал и веско, с холодной предупредительностью сказал, подчеркивая трубкой слова:

— Мы это назначение рассматриваем, товарищ Балеев, как укрепление связи между организациями и вашим руководством. Здесь инженер не при чем.

Они поборолись глазами и улыбнулись друг другу. И в этот момент почувствовали оба, что они связаны какими-то новыми нитями, что между ними вдруг разрушилась былая стена глухого непонимания. Опять столкнулись глазами и опять улыбнулись.

XXIII

Все заворошились, задвигали стульями. Мирон и Байкалов сели около Стрижевского, а Дубяга и Осокин — рядом со Шлиппе. Чумалов и Шалнин — отдельно, за Балеевым. Даже и в эту минуту Стрижевский остался неподвижным и бесстрастным, не отрываясь от бумаг, а Шлиппе уморительно заиграл бровями, щупая ими новых соседей. И борода его заволновалась на

груди, точно он вздохнул от страха. Изумленные переглядки спрашивали безответно: какой это бес в хозяине играет? что это ему вздумалось вдруг выказывать вождям такое благоволение? И в этих переглядках была и лукавая усмешка, и тревожное ожидание: Балеев ничего не делал без цели. Вероятно и в этом случае он готовил какой-то неожиданный шахматный ход. Все знали, что между ним и Мироном была скрытая вражда и отчуждение, и Балеев всегда держал себя с ним пренебрежительно и сухо и никогда не слушал его. Значит есть что-то экстравагантное в этой резкой перемене фронта: очевидно, в виду катастрофы с рабочей силой он решил потрепать их за уши. Дубяга добродушно шевелил усами, и смех играл в его хитреньких глазах острой прищуркой. Улыбался конфузливо всеми морщинками на лице и Осокин. Только Байкалов сидел с лихорадочным лицом чахоточного, и черные глаза его страдали по обыкновению от каких-то внутренних ожогов и неизлечимых болей.

Подозрительно было то, что Балеев был необычно возбужден и переживал какую-то большую радость. Это не вязалось с той панической тревогой, которая насыщала воздух: депрессия на всех объектах строительства и событие в котловане совсем не располагали к веселому настроению. И поэтому такая странная живость Балеева ничего не предвещала, кроме грозы. Он сел уверенно и властно и потер ладонями перед своими глазами.

— У нас на повестке, товарищи, стоит доклад отдела экономики труда. Насколько я с ним ознакомился, все положения этого доклада устарели, хотя еще декаду назад они могли быть вполне реальными и соответствовать соотношениям сил на строительстве.

Он на мгновение остановился, улыбаясь своим мыслям, а Стрижевский с холодной вежливостью бархатно и смело вставил свою реплику:

— Но заслушать доклад все-таки не мешало бы, Викентий Михайлович. Это облегчило бы техническому совету задачу организованного и пунктуального обсуждения распорядка работ, хронометража и движения рабочей силы. Я

сейчас ознакомился с этим докладом и, признаюсь, немного удивлен вашей позицией.

И он красиво показал в предупредительной улыбке свои белые, ровные зубы.

Балеев нервно уколол его электрическим блеском усов и бородки.

— Я вам говорю, что это — лишняя графа времени. Мы должны в виду чрезвычайности событий, поставить сейчас вопросы совершенно по-новому. Обстановка изменилась вдребезги. Специального доклада не будет. Вы не возражаете, Шалнин? (Шалнин растерянно и беспомощно взглянул на Мирона и покорно курлыкнул: «Да, да... разумеется Викентий, Михайлович...») Ну-с, так вот. Дела обстоят так, что мы все должны прямо и бесстрашно посмотреть правде в глаза и признаться, что мы работали до сих пор плохо. И я сам, несмотря на свой революционный опыт, механически следовал всем традициям прошлого и механически переносил старые инженерские установки и всю систему инженерского дела в новые условия. Я только сегодня понял, что мы — банкроты, что всю эту систему надо поставить с головы на ноги.

— Значит, вся наша энергия, все то, что ухлопано за эти годы,—это впустую? Эффектно, нечего сказать!— крикнул с противоположного конца Кряжич. Он был бледен, и лицо его дергалось судорогами. Он фыркнул и возмущенно отшатнулся к спинке стула. На него смотрел Бубликов и что-то настойчиво внушал ему глазами. Он досадливо ерошил ежик длинными пальцами. Инженеры сидели подавленные и страдали от ожидания. Баранников торжествующе смеялся Дугину и дразнил его.

— Ну? Ну?... что вы на это скажете? Слышите, что говорят авторитетные люди?

Балеев беспокоился, не мог сдержать той вспыхнувшей силы, которая потрясала его нутро. Он старался высказаться обычно — кратко, деловито, бесстрастно, методически, но никак не мог сладить с своими порывами. Он еще был горяч от пережитого за эти дни, еще не знал, что он может дать этим людям,

какой путь укажет им и как сумеет поставить их в новые отношения к труду, к миру, к самим себе. Не знал еще, какой нужно бросить лозунг, чтобы они оказались еще более связанными со стройкой, чтобы не было дезорганизации, чтобы авторитет его не только не поколебался, а сразу вырос до неотразимой мощи. Он все время навязчиво думал о Мироне и даже об Осокине, которого он до сих пор считал смешным ничтожеством. И уже не было у него горделивого пренебрежения к ним. Удивляясь сам себе, он чувствовал, что в эти минуты нет никого ближе и нужнее ему, как эти простые рабочего облика люди. И совсем уже несообразные ощущения ныли в сердце — неосознанный стыд и смутная вина перед ними. То, что он видел и пережил в котловане и, на плотине, было крушением его вчерашних основ. Он увидел, что ни его власть, ни крепко слаженный аппарат, ни эти опытные мастера своего дела не в силах предотвратить катастрофы. Те силы, которыми он привык повелевать и распоряжаться по своей воле, живут по своим законам, и он сам, глава этого созидания, находится в их власти. Его сила и власть — это только отражение тех сложнейших процессов, которые совершаются в недрах этих человеческих множеств. Взятая же обособленно, сама в себе, эта сила — ничтожна и эфемерна. И он впервые почувствовал себя смешным и глупым. Он шел до сих пор уверенно, привык видеть, что все совершается так, как он хотел, система соотношений сил на строительстве считалась им незыблемой: план работ делается мудро, предусмотрены все мелочи, под его руководством неустанно трудились целые батальоны специалистов и иностранных консультантов, механизированы все виды труда, материальные возможности были крепки. Как будто все было околочено и слажено превосходно, и живые силы были распределены четко и безошибочно: с одной стороны — инженерские кадры, подобранные тщательно и строго, — люди, которых он хорошо знал и высоко ценил. С другой стороны — десятки тысяч людей, занятых физическим трудом, — мускульная сила — квалифицированные рабочие и сырой ма-

териал из деревень. И вот оказывается, что эти силы живут независимо от него — не как стихия, которая подчинялась его воле, не как наемная масса, которая два-три года назад валила сюда в поисках заработков и забивала своими дорожными телами пустыри и улицы, а как энергия высокого напряжения и большого сознания. Сверкнула молния в тучах этого множества и ослепила его. Он все-таки воображал себя неким Сольнесом, — в этом был прав Константин, — а оказалось, что он был до сих пор только жестким администратором, оторванным от живых сил организованного труда. Он скептически относился к уму этих масс — он считал их еще первобытно аморфными, лишенными культурного воспитания, которые живут еще личным ежедневным стяжательством — рвачеством, склонностью к водке, к низменным удовольствиям — к дракам, к гармошке, к насилиям над женщинами... Это относилось особенно к деревенскому люду — к сезонникам, к чернорабочим. Но многочисленные конфликты квалифицированных рабочих с ТНБ из-за расценок всегда вызывали в нем брезгливость, возмущение и презрение к ним. С давних пор такие понятия, как «пролетариат», «рабочий класс», он воспринимал как отвлеченную политико-экономическую категорию, как какую-то философскую сущность, и сам орудовал этими понятиями в своих отчетах, докладах и в обычном разговоре. Но конкретные люди — вот те, которых он встречал ежедневно в рабочих блузах, в проезде и в цехах, — эти люди сами собою выпадали из этих понятий, потому что они часто кричали о шкурных делах, спорили и ругались. А эти их руководители — Вагагин и Осокин — потворствовали им и разрешали конфликты в их пользу, создавая недоразумения между администрацией и своими организациями. И вот маленькие события на перемышках и в котловане смяли его и опрокинули все обычные его мысли.

— Вы напрасно возмущаетесь, товарищ Кряжич... — глаза Балеева были металлически остры. — Вся наша и в частности ваша энергия, которую мы высоко ценим, не только не пропала

впустую, но дает все основания гордиться ею. Мы совершаем мировое дело — это вы хорошо знаете. Но вот поэтому-то мы и должны быть требовательны к себе и критически подвести наши итоги. Вы сами видите, что строительство переживает глубокий кризис.

Инженеры сидели хмуро, замкнуто и прятали свои глаза. Только архитектор смотрел на начстрой с восхищением, улыбаясь всеми морщинками своего лица, да Шагаев колал всех нервными глазками. Но и по его лицу видно было, что он изумлен, что в Балееве он увидел что-то новое и поразительное. Несколько раз он встречался глазами с Мироном и таращил их от изумления. Баранников смотрел на Балеева насмешливо, точно не верил ни одному его слову. Борзя сидел спокойно и ясно, точно он давно это уже слышал и знал, что иначе и быть не может. Опираясь локтем на спинку стула, Бубликов ловил глазами каждое движение Кряжича. А Кряжич стоял, прислонившись спиной к стене и нервно улыбался. Руки его за спиною ходили ходуном и подталкивали тело.

— Я не умею ходить на ходулях, Викентий Михайлович, — опять крикнул Кряжич: — Я согласен с одним — рабочие наши не умеют работать. В Америке их быстро бы научили — ручаюсь. Я имел честь наблюдать лично.

Балеев, к удивлению всех, не вскипел, не одернул Кряжича, как это обычно с ним случалось на заседаниях, когда кто-нибудь перебивал его несдержанной репликой, а добродушно выслушал Кряжича, шевельнул усами и как будто прислушался к себе.

«Что же с ним все-таки произошло? — думали многие, исподтишка вглядываясь в него. — Какая ему вожжа попала под хвост... Что-то здесь — неспроста. Вероятно, на него надели эти партийные фигуры... Не даром они приехали даже из города...»

— А вот и научите нас, Николай Николаевич, как рационально организовать труд.

— При наших условиях это — невозможно...

— Какие же вы предъявляете требования для создания необходимых вам условий?

— Я никаких требований предъявлять не могу: ваш вопрос не имеет смысла. — Какой же выход?

— Я устрояю этот вопрос. Я работаю честно: то, что мне поручено, я выполняю с любовью, я живу этим. Этого вполне достаточно.

— Прекрасно, Кряжич. Я вас очень хорошо знаю и высоко ценю. Но я прошу заметить одно: мы не просто строим электростанцию. Мы возводим мощный опорный пункт для социализма. Поэтому ваша работа приобретает значение не только чисто профессиональное, но и общественно-историческое.

— Повторяю, Викентий Михайлович, что для меня как для инженера-гидротехника эти ваши слова не имеют никакого смысла. В мои обязанности входит одно — знать консистенцию бетона, грануляцию инертных материалов и прочее, но строить социализм — принудить меня нельзя, ибо в этом роде инженерского искусства я ничего не понимаю.

Лица над красным столом замкнуто заулыбались в переглядках, а некоторые посматривали на Кряжича и на Балеева с тревогой и страхом в ожидании скандала.

Дубяга смеялся хитрыми глазками, сидел неподвижно и как будто никем и ничем не интересовался. Но каждая морщинка на его лице чутко вздрагивала и от слов Балеева, и от выкриков Кряжича. Хитренькие глазки его следили за каждым и не упускали ни одного движения и выражения лиц всех этих людей — высоких специалистов. Байкалов впервые улыбнулся на реплику Кряжича и взглянул на него со скорбным выражением. Мирон вскинул голову и раздул ноздри.

— Вы своими рьями и бетоном закладываете великолепные основы для этого страшного социализма. А окисливитом бомбардируете века. На своем социалистическом участке вы свое дело проводите неплохо. А это уж что-нибудь да значит.

Осокин наслаждался и цвел задушевной улыбкой, слушая каждого. Вот Кряжич — замечательный работник, горячий человек, — поговорить бы с ним с глазу на глаз, проникновенно,

задушевно. Бездушны мы, отталкиваем людей, а они нам не верят и ненавидят, потому что мы для них — пугалы, не видят и не чувствуют они нас.

«Обязательно надо с ним потолковать по-человечески».

Балеев и теперь удивил всех: он не раздражился, не прикрикнул на Кряжича и не заглушил слов Мирона, а даже как будто ласково протянул свою руку в его сторону и похлопал пальцами по его руке.

— Не будем спорить по этому вопросу, товарищ Кряжич. Если вы не согласны с замечанием Ватагина, то согласитесь со мной и на этом покончим. Вы продолжаете свою хорошую работу по сооружению плотины, и насильно вас строить социализм вместо бычков и шлюза никто не собирает. Важно только вот что: надо котлован приготовить к сроку, надо к осени закончить основания всех пятидесяти бычков и смонтировать часть раковин гидротурбин.

Баранников не выдержал и оглядел всех со смехом в глазах.

— Рутинга заела — вот в чем дело. Мы давили рабочие силы, администраторы, по-старинке... Рабочие массы были вне поля нашего внимания: мы не только не организовали труд, но даже не кормили рабочих, не поставили их в человеческие условия.

— Это — не мое дело, Баранников, — опять озлился Кряжич. — Я выполняю свои задания, а дело управления предоставить мне рабочую силу. Мне некогда либеральничать.

Эта смелость Кряжича всем была известна, и у всех она вызывала тревогу за его судьбу. Этой его смелости радовались и боялись ее. Но теперь Кряжич точно с цепи сорвался. Чем больше он нервничал и бунтовал, тем больше остальные замыкались в молчании. Балеев снисходительно усмехался, и радость его не гасла в жестких глазах.

— Я не понимаю, о чем вы спорите, Кряжич.

— Мне спорить не о чем, Викентий Михайлович. Я только хочу работать в нормальных условиях. Будьте любезны, предоставьте мне рабочую силу.

— А об этом мы спросим у товарищей, которые руководят массовыми ор-

ганизациями. Какие у вас соображения на этот счет, товарищ Ватагин?

Мирон встал, почему-то вскинул руки и засучил рукава. Все — даже Балеев — посмотрели на этот его жест.

«Это — жест сильного и уверенного человека, — отметил Балеев, — этого я в нем не замечал раньше».

Он вспомнил, что Мирон раза два переглянулся с ним в веселой улыбке здорового парня, который чувствует нутро Балеева.

«Он — не злопамятен, и в нем есть культура».

А Мирону хотелось сказать очень многое. Он видел перед собою другой мир, который жил как будто в пустоте. Вот люди работают, строят, но они не видят и не понимают, что они строят, во имя чего создается вся эта махина. Они переживают трагедию людей, которые попали в чужую среду. Это он видел постоянно, и это их молчание и нейтральность — только особый вид иммунитета. На этот счет хорошо выразился Игнатич. Тут нужно действовать не словами: слова воспринимаются каждым по-своему — одно и то же слово одних потрясает энтузиазмом, а других бьет, как топор. Действие увлекает само по себе. Слова — это действия, прошедшие через мозг человека: слова вне действия — бессмыслица, ничто. Слова рождаются так же, как шум потока, как грохот работы механизма. Надо организовать жизнь так, чтобы эти люди невольно были захвачены ее движением и превратились в действующие молекулы этого движения. Они ищут связи с жизнью, но она идет мимо них, а они, изолированные, прячутся в обломках прошлого, а буря громоздит на них эти обломки былой их жизни.

Удивлял его и Балеев. Он, по существу жил тоже в гордом отчуждении — жил их жизнью и не чувствовал нутром того, чем жил Мирон. Он был в одиночестве — над всеми, над самой жизнью. Для него только своя воля была законом. Хозяин был только он один. Отсюда — его жестокость и самодурство. С Миронем он был пренебрежительно-официален — краток, сух, терпел его, как некий необходимый атрибут. Он никогда не приглашал ни

его, ни Осокина на заседания технического совета, а когда они приходили и садились за стол — не замечал их. И вот теперь Мирон понял, что Балеев переживает какой-то переворот и что он теперь нуждается в его силе, как организатора масс.

«Он побит, это — ясно. Он переживает крах и хочет сдаться с нашей помощью. Он — не трус, а это уже победа».

Большинство речей в техническом совете не допускалось — давно создавалась такая традиция: Балеев не любил многословия. Каждый брал слово только для того, чтобы внести короткое и четкое предложение. Если кто выходил из двух-трехминутного срока, он грубо обрывал и переходил к другому. А Миرونу хотелось немножко распоясаться. Но он не хотел нарушать этого правила, чтобы не попасть впросак.

— Говорите, Ватагин. Только конкретно и пунктуально. Что вы решили предпринять? Итак, голубчик?

И это «голубчик» прозвучало с необычайной теплотой и изумило всех.

— Я не могу сказать, товарищи, что работы на строительстве шли плохо. Наоборот: за эти три года строительство выполнило свое календарное задание. Мы можем гордиться нашими строительными планами, потому что это дело наших советских инженеров. Мы победили огромные трудности. В этом — ваша заслуга перед страной. Но практика жизни изменилась и изменяется каждый день. И мы забыли одно важное обстоятельство — диалектику действительности: свою работу, свои методы мы не связали с практикой жизни, и получили катастрофический прорыв. У нашей технической интеллигенции есть один тяжелый порок: это — полная недооценка творческой роли рабочих масс на строительстве. Рабочие вас не уважают, товарищи. Раньше они тоже не уважали вас, но боялись. А теперь и не уважают, и не боятся. Почему? Потому, что не уважаете их вы. Можете ли вы требовать их уважения к себе, если у вас нет уважения к людям, к хозяевам страны, которые своей кровью завоевали свободу создавать по-своему свою систему жизни? Вы смо-

трите на них, как на слепую наемную силу, как на живой механизм. А ведь это — человек, который с первых же дней революции настойчиво заявляет о своих правах на активное проявление своих творческих сил. Вы этого не понимаете и жалуетесь на утрату своего первородства. Примеры: вот у нас существует и работает ячейка изобретателей. Было много ценнейших изобретений и усовершенствований. Вы смотрите на работу этих рядовых рабочих с хорошей смекалкой, как на баловство, на блажь, и ни одного предложения их не провели в жизнь без попукивания. Вот производственные комиссии и совещания. Кто бывает из вас на их заседаниях? Единицы. Баловство. Блажь. И когда рабочие сами, помимо вас, рационализируют труд, вы или не хотите видеть этого, или, что еще хуже, устраняете нововведения, ибо это противоречит вашим навыкам. Вы душили до сих пор рабочую инициативу...

— Ну, это уж слишком...—выкрикнул кто-то в дальнем углу стола; — это — оскорбление...

— Это мы уже слышали... скажите, что-нибудь поновее...

Баранников крикнул вызывающе, громче всех:

— Вы это слышали, да не думали. А теперь не мешает поразмыслить и встать с головы на ноги.

Балеев строго и жестко прикрикнул:

— Не время и не место препираться здесь. Дорожите временем, товарищ Ватагин, и говорите о ликвидации прорыва.

— Я уже давно этого добиваюсь, и я очень рад, что брешь наконец пробита. У вас — замкнутый, оторванный от практики, бюрократический аппарат, для которого живые интересы строительства и интересы рабочих — неслышанные вещи. Рабочие видят в этой системе бездушную силу, которая давит их. Все надежды и стремления найти и создать себя, как творческую силу, убиваются, и в результате — отлив старых кадров и прилив новых сырых сил, которые предоставлены сами себе: они не приспособлены для работы на механизмах, они не знают условий интенсив-

ного труда. Машинобоязнь — болезнь не только сезонников, но и отчасти технического персонала.

— Знаем... это вы насчет Вихляева прохаживаетесь... он не характеризует всего инженерства... Не Вихляев проводил механизацию...

— Дело — не в Вихляеве. И как это ни дико, Вихляев скорее бы привил эти навыки механического труда и любви к механизмам, чем вы. Вы вводите механизмы. Прекрасно, но что к чему, как произвести сращение людей с машиной, — в ваши обязанности очевидно это не входит. Вот у нас есть фабзавуч, вот мы в этом году открываем втуз. Но фабзавуч не оборудован, и никто им не интересуется, а втуз, возникший по инициативе масс, пока еще в зародыше. Давайте подведем итоги и наметим пути дальнейшей работы. Хозяйственное руководство строительства зашло в тупик. Между массами и хозяйственным руководством — зияющий разрыв. Мы мешали друг другу и часто сознательно противодействовали работе той и другой стороны. Этого больше не должно быть, иначе нас надо разогнать. Надо в корне перестроиться: надо в основу работы положить инициативу масс и руководить ею. Мы не могли до сих пор развить методы ударничества и соревнования. На это было много причин. Выдвигаю следующие положения: по бетону у нас по плану определено 500 тысяч кубометров. Мы должны во что бы то ни стало положить до 600 тысяч.

— Что за смехотворщина!.. Зачем вы говорите чепуху? — Это не утерпел Кряжич и фыркнул брезгливо. Мирон уверенно кивнул ему головой.

— Вместо того, чтобы над бычками в среднем протоке работать в тепляках, мы должны закончить их осенью.

— Да это же — чистейший вздор!.. Как вы можете говорить, когда вы не имеете об этом никакого понятия?

— Парторганизация и профорганизация поведут работу на умножение ударных бригад. Технический персонал должен быть впереди и объявить себя с этого дня мобилизованным для выполнения этих задач. Надо поставить и научно организовать весь опыт нашего строительства. Надо немедленно же открыть

краткосрочные курсы по всем специальностям, т.-е. приняться за спешную подготовку кадров. Массы рвутся к этому. Надо поднять на большую высоту работу по рационализации труда. Сегодня же мы приступим вместе с товарищем Дубягой к организации бригады по вербовке рабочей силы по территории Союза. Основные кадры рабочих и их семьи уже самообмобилизуются. Инженеры на своих объектах должны быть на высоте и сами проявить максимум энергичной инициативы. Мы обязаны построить и станцию, и комбинаты раньше срока — построить дешево и превосходно. Надо искренне проявить взаимное уважение друг к другу и честно, с открытой душой, с подлинным вдохновением воплотить наше творчество в жизнь. Только при этих условиях обеспечен успех и бесперебойность в нашей общей работе.

О! сел и вытер рукавами пот с лица. Глаза его были немного пьяны от возбуждения. Как всегда, он говорил с темпераментом — всем нутром и переживал нервную радость. А Балеев переживал двойственное чувство — и неприязнь к Миرونу, и восхищение перед ним.

«Он дерзок, груб, но искренен. Почему я раньше его не знал?»

— Ну, что же, товарищи, будем обсуждать те положения, которые выдвинуты Ватагиным?

Стрижевский сверкнул красивыми зубами и вкрадчиво, очень тихо, с достоинством спросил:

— Но какое отношение эта горячая речь имеет к функциям технического совета? Это — дело общественных организаций. На мой взгляд, выступление секретаря партии обсуждению не подлежит.

Баранников, не прося слова, заявил твердо и решительно:

— Вы ошибаетесь, товарищ Стрижевский. Это имеет прямое отношение к техническому совету. Время не ждет — оно бьет нас по всем пунктам. Это — не только дело организаций, но и наше дело. Я предлагаю принять все положения товарища Ватагина к немедленному выполнению. Лично я объявляю себя мобилизованным на ударную работу до конца пятилетки.

Опять — молчание, тревожное и неловкое. Мирон видел, что многие из

этих людей ненавидят его и выступление его считают ловушкой. Но выявить себя не в силах: от этого зависела их судьба и жизнь.

Архитектор вдруг встал и торжественно, с дрожащими руками и головой, пропел, срываясь с голоса и задыхаясь от волнения:

— Я вот, друзья мои, — старик... прожил три царствования... и опыт жизни моей и моего труда — не из легких... Многое я видел на своем веку... Но то, что привелось мне увидеть, пережить в эти великие годы, я никогда не переживал так богато и так глубоко... Великое, чудное время!.. великие люди!.. замечательные силы и умы!.. Страна наша сидела сиднем, и народ был по горло закопан в землю... И я сам начинаю жить только теперь...

— Нельзя ли без декламаций? — грубо прикрикнул Балеев. — Что вы хотите сказать?

— Разрешите мне, друзья, объявить себя вместе с инженером Баранниковым тоже мобилизованным... с восторгом отдаю все свои силы...

Это было и смешно, и трогательно, и Осокин с влагой на глазах не утерпел и захлопал в ладоши.

— Очень хорошо, товарищ Митролин... очень хорошо... от души...

Это выступление архитектора, хотя и казалось всем глупым и шутовским, как и все, что он делал, но оно немного встревожило всех. Некоторые засмеялись, но сразу же почувствовали, что смех их — нехстати, и сразу же сделали серьезные, глубокомысленные лица.

— Ну, что скажете вы, товарищ Кряжич? — Балеев тонко, но строго улыбался. — Вы нетерпеливо перебивали меня, вам по праву принадлежит слово.

— Мне нечего мобилизоваться. Я уже давно мобилизован. Я работаю честно, не покладая рук, и эту работу считаю делом своей чести. Да-с, если хотите это знать. Мало этого, я, позвольте вам заметить, страдаю одной слабостью: я живу этой работой, я — ее пленник... и как бы я ни желал освободиться от этого плена — я не в со-

стоянии этого сделать. От этого меня могут оторвать только какие-нибудь внешние силы, которые от меня не зависят.

Мирон почувствовал горячее дыхание у своего уха и жаркий шопот Байкалова:

— Ты понимаешь... этот тип... он же — откровенен, как дурак... Он — благо-роден, понимаешь, Мироша... Ведь он же — совсем не опасен... он — ребенок...

Байкалов — сам глуп: он не понимает этого фрукта. Байкалов воспринимает людей нервами и обостренной впечатлительностью. Мирон же едва сдерживался от вражды к Кряжичу. Он уж слишком играет своим благородным пылом. В нем какое-то вызывающее отчаяние, точно он сам просится на мушку. Этот человек не стесняется открыто являть о себе, как о непримиримом враге. Он с легким сердцем, с наслаждением будет вредительствовать, если уже не вредительствует. Не на него ли намекал Игнатьич? С него нельзя спускать глаз. Почему ничего о нем не говорит ни Татьяна, ни Феня? Он способен очаровать этих девиц. Неужели ничего не видит Балеев? Впрочем, он смотрит на эту публичку глазами касты. Он верит им безраздельно, потому что он не желает в них видеть ничего, кроме их технических знаний. Что за типы, эти вот его заместители — Стрижевский, непроницаемый, как идол, и Шлиппе, который безнадежно прячется в своей бороде?

Общее изумление потрясло все собрание — все даже шарахнулись головами назад. Бубликов брызнул своим ершиком, встал, как-то по-военному вытянув руки по швам, и отрапортовал сухо, бездушно, но с явной насмешкой в голосе:

— Я следую за нашим старцем архитектором и красным инженером Баранниковым... которые так сильно выразили свой пафос. Мобилизуюсь на все сто процентов. Как это ни странно, но оказывается, что и я строю социализм. Это — лестно.

И сел опять спиной к столу и опять устоялся на Кряжича.

(Продолжение следует)

Поднятая целина

Роман

М. ШОЛОХОВ.

(Продолжение¹)

ГЛАВА 22

На сельсоветском крыльце, спиной к подходившему Давыдову, стоял приземистый человек в черной, низко срезанной кубанке, с белым перекрестом по верху и в черном, дубленом, сборчатом полушубке. Плечи человека в кубанке были необъятно широки, редкостно просторная спина заслоняла всю дверь вместе с притолоками. Он стоял, раскорячив куцые, сильные ноги, низкорослый и могучий, как степной вяз. Сапоги с широченными морщенными голенищами и сбитыми на сторону каблуками, казалось, вросли в настил крыльца, вдавили его тяжестью медвежьковатого тела.

— Это, — командир нашей агитколони, товарищ Кондратько, — сказал паренек, шедший рядом с Давыдовым. И заметив улыбку на его губах, шепнул: — Мы его между собой в шутку зовем «батько Квадратько»... Он — с Луганского Паровозостроительного. Токарь. По возрасту — папаша, а так — паренек хоть куда!

В этот момент Кондратько, заслышав разговор, повернулся багровым лицом к Давыдову, под висячими бурными усами его в улыбке бело вспыхнули зубы:

— Оце, мабуть, и радяньска власть? Здорово булы, братки!

— Здравствуйте, товарищ. Я — председатель колхоза, а это — секретарь партячейки.

— Добре. Ходимте у хату, а то вже

мои хлопцы заждались. Як я у цей агитколони — голова, то я з вами зараз и побалакаю. Зовуть мене Кондратько, а колы мои хлопцы будут казать вам, шо зовуть мене Квадратько, то вы им пожалуйста не давайте виры, бо они у мене таки скаженни, та дурны, шо и слов нема... — говорил он громовитым басом, боком протискиваясь в дверь.

Осип Кондратько работал на юге России более двадцати лет. Сначала в Таганроге, потом в Ростове н Д., в Мариуполе и наконец в Луганске, откуда и пошел в Красную гвардию, чтобы подпереть своим широким плечом молодую советскую власть. За годы общения с русскими он утратил чистоту родной украинской речи, но по облику, по нависшим шевченковским усам в нем еще можно было узнать украинца. Вместе с донецкими шахтерами, с Ворошиловым шел он в 1918 году сквозь пылавшие контрреволюционными восстаниями казачьи хутора на Царицын... И уже после, когда в разговоре касались отлетевших в прошлые годов гражданской войны, чей отзвук неумираемо живет в сердцах и памяти ее участников, Кондратько с тихой гордостью говорил: «Наш Клементий, луганьский... Як же, колысь булы добре знакомы, та, мабуть, ще побачимось. Вин мене зразу взнае! Пид Царицыном, як воювалы з билами, вин зо мной стике разив шутковав: «Ну, як, каже, Кондратько, дило? Ты ще живой, старый вовк?» — «Живой, кажу, Клементий Охримыч, николы зараз помырать, бачите, як з контрой рубаемсь? Як скаженни!» Колыб побачи-

¹ См. «Новый мир», кн.кн. 1, 2 и 3 с. г.

льсь, вин бы мене и зараз пригорнув» — уверенно заканчивал Кондратько.

После войны он опять попал в Луганск, служил в органах Чека на транспорте, потом перебросили его на партработу и снова на завод. Оттуда-то по партмобилизации и был он послан на помощь коллективизирующейся деревне. За последние годы растолстел, раздался вширь Кондратько... Теперь не узнать уж соратникам того самого Осипа Кондратько, который в 1918 году на подступах к Царицыну зарубил в бою четырех казаков и кубанского сотника Мальмагу, получившего «за храбрость» серебряную с золотой насечкой шашку из рук самого Врангеля. Взматерел Осип, начал стариться, по лицу пролегли синие и фиолетовые прожилки... Как коня быстрый бег и усталъ кроют седым мылом, так и Осипа взмылило время сединой; даже в никлых усах — и там поселилась вероломная седина. Но воля и сила служат Осипу Кондратько, а что касается неумеренно возрастающей полноты, то это — пустое. «Тарас Бульба ще важче мене був, а з ляхами як рубався? Ото-ж! Колы придется воювати, так я ще з'умию з якого-небудь хвицера двох зробити! А пивсотни годив моих, що-ж таке? Мий батько сто жив при царьской власти, а я зараз при своей риднесенькой пивтораства проживу!» — говорит он, когда ему замечают по поводу его лет и все увеличивающейся толщины.

Кондратько первым вошел в комнату сельсовета.

— Просю тыше, хлопци! Ось — председатель колхоза, а це — секретарь ячейки. Треба нам зараз послухать, яки тутечко дила, тоди будемо знать, шо нам робить. А ну, сидайте!

Человек пятнадцать из состава агитколонны, разговаривая, стали рассказываться, двое пошли на баз, видимо, к лошадям. Рассматривая незнакомых лица, Давыдов угадал трех районных работников: агронома, учителя из школы второй ступени и врача: остальные были присланы из округа, некоторые — судя по всему — с производства. Пока рассказывались, двигая ступнями и покашливая, Кондратько шепнул Давыдову:

— Прикажи, щоб нашим коням сынца кинулы, та щоб пидводчики не отлучались.—И хитро прижмурился.—

А мабуть, у тебе и овсом мы разживемось?

— Нет овса, остался лишь семенной, — ответил Давыдов, и тотчас же весь внутренне похолодел, остро ощущая неловкость, неприязнь к самому себе... Овса кормового было еще более ста пудов, но он ответил отказом потому, что оставшийся овес хранили к началу весенних работ, как зеницу ока; и Яков Лукич, чуть не плача, отпускал лошадям (одним правленческим лошадям!) по корцу драгоценного зерна, и то только перед долгими и трудными поездками.

«Вот она, мелкособственническая стихия! И меня захлестывать начинает... — подумал Давыдов. — Ничего подобного не было раньше, факт! Ах, ты... Дать что ли овса? Нет, сейчас уже неудобно»

— Мабуть ячменя е?

— И ячменя нет.

Ячменя в самом деле не было, но Давыдов вспыхнул под улыбчивым, понижающим взглядом Кондратько:

— Нет, серьезно говорю, — нету ячменя.

— Гарный с тебе хозяин був бы. Тай ще, мабуть, и кулак... — смеясь в усы, басил Кондратько, но, видя, что Давыдов сдвигает брови, обнял его, чуть-чуть приподнял от пола.—Ни-ни! То я шуткую. Нема, так нема! Соби ховай бильше, щоб свою худобу було чим годувать. Так, ну, братики, — к дилу! Шоб мертву тишину блюлы.—И, обращаясь к Давыдову и Нагульнову: — Приихалы мы до вас, шоб якусь-то помогу вам зробить, це вам, надиясь, звистно. Так от докладайте, яки у вас тутечко дила?

После сделанного Давыдовым обстоятельного доклада о ходе коллективизации и засыпке семенного фонда Кондратько решил так:

— Нам усим тут ничего робить, — он, кряхтя, извлек из кармана записную книжку и карту-трехверстку, повел по ней толстым пальцем, — мы пондемо у Тубяньский. До цього хутора, як бачу я, видциля блызенько, а у вас тутечко кинемо бригаду з чотырех чоловик, хай вони вам пидсобляють у работи. А шо касаемо того, як скорийше зобратъ семфонд, то я хочу вам присовитувать так: уначали провести собрания, рассказать хлиборобам, шо воно и як, а вже

тоди о так развернете массовую работу,—говорил он подробно и не спеша.

Давыдов с удовольствием слушал его речь, временами не совсем ясно разбираясь в отдельных выражениях, затемненных для него полупонятным украинским языком, но крепко чувствуя, что Кондратько излагает в основном правильный план кампании по засыпке семенного зерна. А Кондратько все так же неспешно наметил линию, которую нужно вести в отношении единоличника и зажиточной части хутора, ежели, паче чаяния, они вздумают упорствовать и так или иначе сопротивляться мероприятиям по сбору семзерна; указал на наиболее эффективные методы, полученные из опыта работы агитколонны в других сельсоветах; и все время говорил мягко, без малейшего намека на желание руководить и поучать, по ходу речи советуясь то с Давыдовым, то с подошедшим Разметновым, то с Нагульновым. «Це дило треба о так повернуть, як вы, гремяченци, думаете? Ото-ж и я так соби думал!»

А Давыдов, улыбочиво глядя на багровое в прожилках лицо токаря Кондратько, на шельмовский блеск его глубоко посаженных глазок, думал: «Экий же ты, дьявол, умница! Не хочет нашу инициативу вязать, будто бы советует, а начни возражать против его правильной расстановки,—он тебя так же плавно повернет на свой лад, факт! Видывал я таких, честное слово!»

Еще один мелкий случай укрепил его симпатии к товарищу Кондратько: перед тем, как уезжать, тот отозвал в сторону бригадира, остававшегося с тремя товарищами в Гремячем Логу, и между ними короткий возник разговор:

— Шось це ты надив на себе поверх жакетки наган? Зараз же скинь!

— Но, товарищ Кондратько, ведь кулачество... классовая борьба...

— Та шо ты мини там кажешь? Кулачество, ну так шо, як кулачество? Ты приехал агитировать, а колы кулакив взякався, так имий наган, но наверху его не смий носить. Вумный який! У его не у его наган! Як дытына мала! Цацкається з оружием, нацепив зверху... Зараз же заховай у карман, шоб той же пидкулачник не сказав про тебе: «Дывись, люди добры, ось як вас приихалы

агитировать, з наганами!» — и сквозь зубы кончил: — Таке дурне...

И уже садясь в сани, подозвал Давыдова, повертел пуговицу на его пальто:

— Я своих хлопцив добре надрачив, будут робить, як прокляти! Тике-ж и вы гарно робите, шоб усе было зроблено, тай скорийше! Я буду у Тубяньском, колы шо — повидомляй. Приидемо туда, тай ще нынче, мабуть, прийдеться спектакль становить. От побачив бы ты, як я кулака граю! В мене-ж така компликация, шо дозволяе кулака з натуры грать... Ось, як диду Кондратько пришлося на старости лит! А за овес не думай, сердця из-за цього дила на тебе не имию, — и улыбнулся, привалившись широченной спиной к задку саней.

— Что головой башковат, что в плечах, что ноги под ним! — хохотал Разметнов, — как трактор! Он один, впряги его в букарь, потянет, и трех пар быков не нужно. Даже удивительно мне: чем их, таких ядерных людей, и делают, как думаешь, Макар?

— Ты уж в роде деда Шукаря: бабабоном становишься! — сердито отмахнулся тот.

ГЛАВА 23

Есаул Половцев, живя у Якова Лукича, деятельно готовился к весне, к восстанию. Ночами он до кочетов просиживал в своей комнатухе, что-то писал, чертил химическим карандашом какие-то карты, читал. Иногда, заглядывая к нему, Яков Лукич видел, как Половцев, склонив над столиком лобастую голову, читает, беззвучно шевелит твердыми губами. Но иногда Яков Лукич заставал его в состоянии тяжелейшей задумчивости. В такие минуты он обычно сидел облокотясь, сунув пальцы в реденеющие, отросшие космы белесых волос. Сцепленные крутые челюсти его двигались, словно прожеывая что-то неподатливо-твердое, глаза были полузакрыты. Только после нескольких окликов он поднимал голову, в крохотных, страшных неподвижностью зрачках его возгоралось озлобление. «Ну чего тебе?» — спрашивал он лающим басом. В такие минуты Яков Лукич испытывал к нему еще больший страх и невольное уважение.

В обязанности Якова Лукича вошло ежедневно сообщать Половцеву о том, что делается в хуторе, в колхозе; сообщал он добросовестно, но каждый день приносил Половцеву новые огорчения, вырублявая на щеках его еще глубже поперечные морщины...

После того как были выселены из Гремячего Лога кулаки, Половцев всю ночь не спал. Его тяжелый, но мягкий шаг звучал до зорьки, и Яков Лукич, на цыпочках подходя к двери комнатушки, слышал, как он, скрипя зубами, бормотал: «Рвут из-под ног землю! Опоры лишают... рубить! Рубить! Рубить беспощадно!»—умолкнет, снова пойдет, мягко ставя ступни обутых в валенки ног, слышно, как скребет пальцами тело, чешет по привычке грудь и снова, глухо: «Рубить! рубить!.. — и мягче, с глухим клетотом в гортани: — Боже милостивый, всевидящий, справедливый!.. Поддержи!.. Да когда же этот час?.. Господи, приблизь твою жару!»

Встревоженный Яков Лукич уже на заре подошел к двери горенки, снова приложил к скважине ухо: Половцев шептал молитву, кряхтя опускался на колени, клал поклоны. Потом погасил огонь, лег и уже в полусне еще раз внятно шептал: «Рубить всех... до единого!» — и застонал.

Спустя несколько дней, Яков Лукич услышал ночью стук в ставню, вышел в сени.

— Кто?

— Открой, хозяин!

— Кто это?

— К Александру Анисимовичу... — шопот из-за двери.

— К какому? Нету тут таких.

— Скажи ему, что я — от Черного, с пакетом.

Яков Лукич помедлил и открыл дверь: «будь, что будет!» Вошел кто-то низенький, закутанный башлыком. Половцев ввел его к себе, наглухо закрыл дверь, и часа полтора из горенки слышался приглушенный, торопливый разговор. Тем временем сын Якова Лукича положил лошади приехавшего нарочного сена, ослабил подпруги седла, разнуздал.

Потом коннонарочные стали приезжать почти каждый день, но уже не в полночь, а ближе к заре, часов около

трех-четырёх ночи. Приезжали, видимо, из более дальних мест, нежели первый.

Раздвоенной диковинной жизнью жил эти дни Яков Лукич. С утра шел в правление колхоза, разговаривал с Давыдовым, с Наумовым, с плотниками, с бригадирами. Заботы по устройству базов для скота, протравке хлеба, ремонту инвентаря не давали и минуты для посторонних размышлений. Деятельный Яков Лукич неожиданно для него самого попал в родную его среду обстановку деловой суеты и вечной озабоченности, лишь с тою существенной разницей, что теперь он мотался по хутору, в поездках, в делах уже не ради личного стяжания, а работая на колхоз. Но он и этому был рад, лишь бы отвлечься от черных мыслей, не думать. Его увлекала работа, хотелось делать, в голове рождались всяческие проекты. Он ревностно брался за утепление базов, за стройку капитальной конюшни, руководил переноской обобщественных амбаров и строительством нового колхозного амбара; а вечером, как только утихала суета рабочего дня и приходило время итти домой, при одной мысли, что там, в горенке, сидит Половцев, как коршун-стервятник на могильном кургане, хмурый и страшный в своем одиночестве, — у Якова Лукича начинало сосать под ложечкой, движения становились вялыми, несказанная усталость боролась телом... Он возвращался домой и, перед тем как поветерять, шел к Половцеву.

— Говори, — приказывал тот, сворачивая цыгарку, готовый жадно слушать. И Яков Лукич рассказывал об истекшем в колхозных делах дне. Половцев обычно выслушивал молча, лишь единственный раз после того, как Яков Лукич сообщил о происшедшем распределении среди бедноты кулацкой одежды и обуви, его прорвало: с бешенством, с клетотом в горле он крикнул:

— Весною глотки повырвем тем, кто брал! Всех этих... всю эту сволочь возьми на список! Слышишь?

— Список у меня есть, Александр Анисимович.

— Он у тебя есть?

— При мне.

— Дай сюда!

Взял список и тщательно снял с него копию, полностью записывая имена, отчества, фамилии и взятые вещи, ставя

против фамилии каждого, получившего одежду или обувь, крестик.

Поговорив с Половцевым, Яков Лукич шел вечером, а перед сном опять шел к нему и получал инструкции: что делать на следующий день.

Это по мысли Половцева Яков Лукич 8 февраля приказал нарядчику второй бригады выделить четыре подводы с людьми и привезти к воловням речного песка. Песок привезли. Яков Лукич распорядился начисто вычистить земляные полы волеван, присыпать их песком. К концу работы на баз второй бригады пришел Давыдов.

— Что это вы с песком возитесь? — спросил он у Демида Молчуна, назначенного бригадным воловиком.

— Присыпаем.

— Зачем?

Молчание.

— Зачем, спрашиваю?

— Не знаю.

— Кто распорядился сыпать здесь песок?

— Завхоз.

— А что он говорил?

— Мол, чистоту блюдите... Выдумляете, сукин сын!

— Это хорошо, факт! Действительно будет чистота, а то навоз и вонь тут, как раз еще вола могут заразиться. Им тоже чистоту подавай, так ветеринары говорят, факт. И ты напрасно, это самое... недовольство выражаешь. Ведь даже смотреть сейчас на воловню приятно: песочек, чистота, а? Как ты думаешь?

Но с Молчуном Давыдов не разговаривался, отмалчиваясь; тот ушел в мякинник, а Давыдов, мысленно одобряя инициативу своего завхоза, пошел обедать.

Перед вечером к нему прибежал Любишкин, озлобленно спросил:

— Вместо подстилок быкам, значит, с нынешнего дня песок сыпем?

— Да, песок.

— Да он — этот Островнов — что? С... с... сорвался что ли? Где это видно? И ты, товарищ Давыдов?.. Неужели же такую дурь одобряешь?

— А ты не волнуйся, Любишкин! Тут все дело в гигиене, и Островнов правильно сделал. Безопасней, когда чисто, заразы не будет.

— Да какая же это гниена, в рот ее махай! На чем же быку надо лежать?

Гля, какие морозы зараз давят! На соломе ж ему тепло, а на песке поди-кась, полежи!

— Нет, ты уж пожалуйста не возражай! Надо бросать по-старинке ходить за скотом! Подо все мы должны подвести научную основу.

— Да какая же это основа? Эх!.. — Любишкин грохнул своей черной папашой по голенищу, выскочил от Давыдова с рожей краснее калины.

А на утро двадцать три быка не смогли встать с пола. Ночью замерзший песок не пропустил бычиной мочи, бык ложился на мокрое и примерзал... Некоторые поднялись, оставив на окаменелом песке клочья кожи, у четырех отломались примерзшие хвосты, остальные передрогли, захворали.

Перестарался Яков Лукич, выполняя распоряжение Половцева, и чуть-чуть удержался на должности завхоза. «Морозь им быков вот таким способом! Они — дураки, поверят, что ты это для чистоты. Но лошадей мне блюди, чтобы все были хоть нынче в строй!» — говорил накануне Половцев. И Яков Лукич выполнил.

Утром его вызвал к себе Давыдов, заложив дверь на крючок, не поднимая глаз, спросил:

— Ты что же?..

— Ошибка вышла, дорогой товарищ Давыдов! Да я... бож-же мой... Готов волосья на себе рва...

— Ты это что же, гад!.. — Давыдов побелел, разом вскинул на Якова Лукича глаза, от гнева налитые слезами, — вредительством занимаешься?... Не знал ты, что песок нельзя в станки сыпать? Не знал, что вола могут примерзнуть?

— Быкам хотел... Видит бог, — не знал!

— Замолчи ты с своим!.. Не поверю, чтобы ты — такой хозяйственный мужик — не знал!

Яков Лукич заплакал, сморкаясь, бормотал все одно и то же:

— Чистоту хотел соблюсть... Чтоб навозу не было... Не знал, не додумал, что оно так выйдет....

— Ступай, сдай дела Ушакову. Будем тебя судить.

— Товарищ Давыдов!..

— Выйди, говорят тебе!

После ухода Якова Лукича Давыдов уже спокойнее продумал случившееся. Заподозрить Якова Лукича во вредительстве — теперь уже казалось ему — было нелепо. Островнов ведь не был кулаком. И если его кое-кто иногда и называл так, то это было вызвано просто мотивами личной неприязни. Однажды, вскоре после того, как Островнов был выдвинут завхозом, Любешкин как-то вскользь бросил фразу: «Отровнов сам — бывший кулак!» Давыдов тогда же проверил и установил, что Яков Лукич много лет тому назад действительно жил зажиточно, но потом неурожай разорил его, сделал середняком. Подумал, подумал Давыдов и пришел к выводу, что Яков Лукич невиновен в несчастном случае с быками, что присыпать воловью песком он заставил движимый желанием установить чистоту и — отчасти, может быть, — своим постоянным стремлением к новшествам. «Если б он был вредителем, то не работал бы так ударно, и потом ведь пара его быков тоже пострадала от этого, — думал Давыдов. — Нет, Островнов — преданный нам колхозник, и случай с песком — просто печальная ошибка, факт!» Он вспомнил, как Яков Лукич заботливо и смекалисто устраивал теплые базы, как берег сено, как однажды, когда заболели три колхозных лошади, он с вечера до утра пробыл в конюшне и собственноручно ставил лошадям клизмы, вливал им вовнутрь конопляное масло, чтобы прошли колики; а потом первый предложил выбросить из колхоза виновников болезни лошадей — конюха первой бригады Куженкова, который — как оказалось — в течение недели кормил лошадей одной ячменной соломой. По наблюдению Давыдова, о лошадах Яков Лукич заботился, пожалуй, больше, чем кто-либо. Припомнив все это, Давыдов почувствовал себя пристыженным, виноватым перед завхозом за свою вспышку неоправданного гнева. Ему было неловко, что он так грубо накричал на хорошего колхозника, уважаемого согражданина члена правления колхоза, и даже заподозрил его — виновного в одной неосмотрительности — во вредительстве. «Какая чушь!» — Давыдов взъерошил волосы, смущенно крикнул, вышел из комнаты.

Яков Лукич говорил со счетоводом,

держа в руке связку ключей, губы его обиженно дрожали...

— Ты вот что, Островнов... Ты дела не сдавай, продолжай работать, факт. Но если у тебя такая штука снова получится... словом, это самое... Вызови из района ветеринарного фельдшера, а бригадирам скажи, чтобы обмороженных быков освободили от нарядов.

Первая попытка Якова Лукича — повредить колхозу — окончилась для него благополучно. Половцев временно освободил Островнова от следующих заданий, так как был занят другим: к нему приехал, как всегда ночью, новый человек. Он отпустил подводу, вошел в курень, и тотчас же Половцев увлек его к себе в горенку, приказал, чтобы никто не входил. Они проговорили до поздна, а на следующее утро повеселевший Половцев позвал Якова Лукича к себе.

— Вот, дорогой мой Яков Лукич, это — член нашего союза, так сказать, наш соратник, подпоручик, а по-казачьему — подесаул, Лятевский Вацлав Августович. Люби его и жалуй. А это — мой хозяин, казак старого закала, но сейчас пребывающий в колхозе завхозом... Можно сказать, — советский слушающий...

Подпоручик привстал с кровати, протянул Якову Лукичу белую широкую ладонь. На вид был он лет тридцати, желтолиц и худощав. Черные вьющиеся волосы, зачесанные вверх, ниспадали до стоячего воротника черной сатиновой рубахи. Над прямыми веселыми губами реденькие курчавились усы. Левый глаз был навек прижмурен, видимо, после контузии; под ним недвижно бугрилась собранная в мертвые складки кожа, сухая и безжизненная, как осенний лист. Но прижмуренный глаз не нарушал, а как бы подчеркивал веселое, смешливое выражение лица бывшего подпоручика Лятевского. Казалось, что карий глаз его вот-вот ехидно мигнет, кожа расправится и лучистыми морщинами поползет к виску, а сам жизнерадостный подпоручик расхохочется молодо и заразительно. Кажущаяся мешковатость одежды была нарочита, она не стесняла резких движений хозяина и не скрывала его щеголеватой выправки.

Половцев в этот день был необычно весел, любезен даже с Яковым Лукичом. Ничего незначущий разговор он

вскоре закончил, поворачиваясь к Островному лицом, заявил:

— Подпоручик Лятевский останется у тебя недели на две, а я сегодня, как только стемнеет, уеду. Все, что понадобится Вацлаву Августовичу, доставляй, все его приказы — мои приказы, понял? Так-то, Яков свет Лукич! — и значительно подчеркнул, кладя пухлую ладонь на колено Якова Лукича. — Скоро начнем! Еще немного осталось терпеть. Так и скажи нашим казакам, пусть приободряются духом. Ну, а теперь ступай, нам еще надо поговорить.

Случилось что-то необычайное, что понуждало Половцева выехать из Гремячего Лога на две недели. Яков Лукич горел нетерпением узнать. С этой целью он пробрался в зал, откуда Половцев когда-то подслушивал его разговор с Давыдовым, приняв ухом к тонкой перепорке. Из-за стены, из горенки чуть слышный уловил он разговор:

Лятевский. Безусловно вам необходимо связаться с Быкадоровым... Их превосходительство, разумеется, сообщит вам при свидании, что планы... удобная ситуация... Это же замечательно!.. В Сальском округе... бронепоезд... в случае поражения...

Половцев. Тсс!..

Лятевский. Нас, надеюсь, никто не слышит?

Половцев. Но все же... Конспирация во всем...

Лятевский (еще тише, так что Яков Лукич невольно утратил связанность в его речи)... Поражения... конечно... Афганистан... При их помощи пробраться...

Половцев. Но средства... ГПУ... (и дальше сплошное:—Бу-бу-бу-бу-бу...)

Лятевский. — Вариант таков: перейти границу... Минске... Минуя... Я вас уверяю, что... пограничная охрана... Отделе генштаба безусловно примут... Полковник, фамилия мне известна... условная явка... Так ведь это же мощественная помощь! Такое покровительство... Дело же не в субсидии...

Половцев. А мнение особого?

Лятевский. Уверен, что генерал повторит... много! Мне велено на словах, что... крайне напряженное... используя... не упустить момента...

Голова перешли на шопот, и Яков Лукич, так ничего и не понявший из от-

рывочного разговора, вздохнул, пошел в правление колхоза. И снова, когда подошел к бывшему титкову дому, и по привычке скользнул глазами по прибитой над воротами белой доске с надписью: «Правление Гремячненского колхоза им. Сталина», почувствовал обычную раздвоенность... А потом вспомнил подпоручика Лятевского и уверенные слова Половцева: «Скоро начнем!» и со злорадством, со злостью на себя подумал: «Скорее бы! А то я промеж ними и колхозом раздерусь, как бык на сколизи!»

Ночью Половцев оседлал коня, уложил в переметные сумы все свои бумаги, взял харчей и попрощался. Яков Лукич слышал, как мимо окон весело, с переплясом, с сухим чокотом копыт прошел-протанцевал под седлом застоявшийся половцевский конь.

Новый жилец оказался человеком непоседливым и по-военному бесцеремонным. Целыми днями он, веселый, улыбающийся, шатался по куреню, шутил с бабами, не давал покою старой бабке, досмерти не любившей табачного дыма; ходил, не боясь, что к Якову Лукичу заглянет кто-либо из посторонних, так что Яков Лукич даже заметил ему:

— Вы бы поосторожней... Неровен час, кто зайвится и увидит вас, ваше благородие.

— А у меня что, на лбу написано, что я—«ваше благородие»?

— Нет, да ить могут спросить, кто вы, откель...

— У меня, хозяин, липы полны карманы, а уж если туго будет, не повесят, то предъявлю вот этот мандат... С ним всюду можно пройти!—и доставал из-за пазухи черный, матово поблескивающий маузер, все так же весело улыбаясь, вызывающе глядя недвижным глазом, укрытым за бугристой складкой кожи.

Веселость лихого подпоручика пришла не по душе Якову Лукичу особенно после того, как, возвращаясь однажды вечером из правления, он услышал в сенях приглушенные голоса, сдавленный смех, возню и, чиркнув спичкой, увидел в углу за ящиком с отрубями одиноко блеснувший глаз Лятевского, а рядом красную, как кумач, сноху, смущенно одергивавшую юбку, поправлявшую сбитый на затылок платок... Яков

Лукич — слова не молвя — шагнул было в кухню, но Лятевский нагнал его уже у порога, хлопнул по плечу, шепнул:

— Ты, папаша,—молчок... Сынишку своего не волнуй. У нас, у военных, знаешь, как? Быстрота и натиск! Кто смолоду не грешил, кхе, кгм... На-ка вот папироску, закури. Ты-то сам со снохой не того? Ах, ты шельмец этакой! Яков Лукич так растерялся, что взял папироску и только тогда вошел в кухню, когда закурил от опички Лятевского. А тот, угостив хозяина огоньком, нравоучительно и подавляя зевоту, сказал:

— Когда тебе оказывают услугу, например спичку зажигают, надо благодарить. Эх, ты, невежа, а еще завхоз! Раньше я бы тебя и в денщики не взял.

«Ну и жильца чорт накачал на мою шею!»—подумал Яков Лукич.

Нахальство Лятевского подействовало на него удручающе. Сына—Семена—не было, он уехал по нрядю в район за ветеринарным фельдшером. Но Яков Лукич решил не говорить ему ничего, а сам позвал сноху в амбар и там ее тихонько поучил, отхлыстал бабочку чересседельней; но так как бил не по лицу, а по спине и ниже, то наглядных следов побоев не оказалось. И даже Семен ничего не заметил. Он вернулся из станицы ночью, жена собрала ему вечерять, и, когда сама приехала на лавку, на самый край,—Семен простодушно удивился:

— Чего это ты, как в гостях, садишься?

— Чирий у меня... вскочил...—жененка Семенова вспыхнула, встала.

— А ты бы луку пожевала с хлебом да приложила, сразу вытянет,—сердобольно посоветовал Яков Лукич, в это время сучивший возле пригрубка драгву. Сноха блеснула на него глазами, но ответила смиренно:

— Спасибо, батюшка, и так пройдет...

Лятевскому изредка привозили пакеты. Он читал содержимое их и тотчас же сжигал в грубке. Под конец стал попивать ночами, со снохой Якова Лукича уже не заигрывал, поугрюмел и все чаще просил Якова Лукича или Семена достать «пол-литровочку», со-

вал в руки новые хрустящие червонцы. Напиваясь, он склонен был к политическим разговорам, в разговорах—к широким обобщениям и—по-своему—объективной оценке действительности. Однажды в великое смущение поверг он Якова Лукича: зазвал его к себе в горенку, угостил водкой, циннически подмигивая, спросил:

— Разваливаешь колхоз?

— Нет, зачем же?—притворно удивился Яков Лукич.

— Какими же ты методами работаешь?

— Как, то-есть?

Какую работу ведешь? Ведь ты же диверсионер... Ну, что ты там делаешь? Лошадей стрихнином травишь, орудия производства портишь или что-либо еще?

— Лошадей мне не приказано трогать, даже совсем наоборот...—признался Яков Лукич.

Последнее время он почти не пил, потому-то стакан водки подействовал на него оглушающе, поманил на откровенность. Ему захотелось пожаловаться на то, как болеет он душой, одновременно строя и разрушая общественное хуторское хвзяйство, но Лятевский не дал ему говорить: выпив водки и больше не наливая Якову Лукичу, спросил:

— А зачем ты, дура этакая стоеросовая, связался с нами? Ну, спрашивается, зачем? За каким чортом? Половцеву и мне некуда деваться, мы идем на смерть... Да, на смерть! Или мы победим, хотя знаешь ли, хамлет, шансов на победу прискорбно мало... Одна сотая процента, не больше! Но уж мы таковы, нам терять нечего, кроме цепей, как говорят коммунисты, а вот ты? Ты, по моему, — просто жертва вечерняя... Жить бы тебе, да жить дураку... Положим, я не верю, чтобы такие, как ты, хамлеты, могли построить социализм, но все же... вы хоть воду бы взмутили в мировом болоте. А то будет восстание, шлепнут тебя, седого дьявола, или просто заберут в плен и как несознательного пошлют в Архангельскую губернию. Будешь там сосны рубить до второго пришествия коммунизма... Эх, ты, сапог! Мне понятно, почему надо восставать, ведь я дворянин! У моего отца было пахотной земли около пяти тысяч десятин. да леса почти восемьсот. Мне и

другим, таким, как я, кровно обидно было ехать из своей страны и где-то на чужбине в поте лица, что называется, добывать хлеб насущный. А ты? Кто ты такой? Хлебобор и хлебоед! Жук навозный! Мало вас, сукиных сынов казачишек, пошлепали за гражданскую войну!

— Так житья же нам нету!—возражал Яков Лукич. — Налогами подушили, худобу забирают, нету единоличной жизни, а то само собою, на кой вы нам ляд дворяны да разные подобные и нужны! Я бы ни в жизнью не пошел на такой грех!

— Подумаешь, налоги! Будто бы в других странах крестьянство не платит налогов. Еще больше платит!

— Не должно быть.

— Я тебя уверяю!

— Да вам откель же знать, как там живут и что платят?

— Жил там, знаю.

— Вы, стало быть, из-за границы приехали?

— А тебе-то что?

— Из интересу.

— Много будешь знать—очень скоро состаришься. Иди и принеси еще водчонки.

Яков Лукич за водкой послал Семёна, а сам, возалкав одиночества, ушел на гумно и часа два сидел под прикладком соломы, думал: «Проклятый морщениный! Наговорил, ажник голова распухла. Или это он меня спытывает, что скажу и не пойду ли супротив их, а потом Александру Анисимычу передаст по прибытию его... а энтот меня и рубанет, как Хопрова? Или, может, взаправди так думает? Ить, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке... Может, и не надо бы вязаться с Половцевым, потерпеть тихочко в колхозе годок, другой? Может, власти и колхозы-то через год распускают, усмотрев, как плохо в них дело идет? И опять бы я зажил человеком... Ах, боже мой, боже мой! Куда теперь деваться? Не сносить мне головы... Зараз уж, видно, одинаково... Хучь сову об пенек, хучь пеньком сову, а все одно сове не воскресать...»

По гумну, перевалившись через плетень, заходил, хозяйствуя, ветер. Он принес к скирду рассыпанную возле

калитки солому, забил ее в лазы, устроенные собаками, очесал взлохмаченные углы скирда, где солома не так плотно слеглась, смел с вершины приклада сухой снежок. Ветер был большой, сильный, холодный. Яков Лукич долго пытался понять, с какой стороны он дует,— и не мог. Казалось, что ветер топчется вокруг скирда и дует по очереди со всех четырех сторон. В соломе—потревоженные ветром—завозились мыши. Попискивая, бегали они своими потайными тропами, иногда совсем близко от спины Якова Лукича, привалившегося к стенистому скирду. Вслушиваясь в ветер, в шорох соломы, в мышиний циск и скрип колодезного журавля, Яков Лукич словно бы придремал: все ночные звуки стали казаться ему похожими на отдаленную диковинную и грустную музыку. Полузакрытыми слезящимися глазами он смотрел на звездное небо, вдыхал запах соломы и степного ветра; все окружающее казалось ему прекрасным и простым...

Но в полночь приехал от Половцева из хутора Войскового коннонарочный. Лятевский прочитал письмо, с пометкой на конверте «В. срочно», разбудил спавшего в кужне Якова Лукича:—Нака вот, прочитай.

Яков Лукич, протирая глаза, взял адресованное Лятевскому письмо. Чернильными карандашом на листке из записной книжки было четко, кое-где с буквой «ять» и твердыми знаками написано:

«Господин поручик!

Нами получены достоверные сведения о том, что ЦК большевиков собирает среди хлеборобческого населения хлеб, якобы для колхозных посевов. На самом деле хлеб этот пойдет для продажи за границу, а хлеборобы, в том числе и колхозники, будут обречены на жестокий голод. Советская власть, предчувствуя свой неминуемый и близкий конец, продает последний хлеб, окончательно разоряет Россию. Приказываю Вам немедленно развернуть среди населения Гремячего Лога, в коем Вы в настоящее время представляете наш союз, агитацию против сбора мнимосемного хлеба. Поставьте в известность о содержании моего письма к Вам Я. Л. и обяжите его срочно повести разъяснительную работу. Крайне необходимо во

что бы то ни стало воспрепятствовать засыпке хлеба».

На утро Яков Лукич, не заходя в правление, отправился к Баннику и остальным единомышленникам, завербованным им в «Союз освобождения Дона».

ГЛАВА 24

Бригада из трех человек, оставленная в Гремячем Логу командиром агитколлонны Кондратько, приступила к сбору семфонда. Под штаб бригады заняли один из пустовавших кулацких домов. С раннего утра молодой агроном Ветютнев разрабатывал и уточнял при помощи Якова Лукича план весеннего сева, давал справки приходившим казакам по вопросам сельского хозяйства, остальное время неустанно наблюдал за очисткой и протравкой поступавшего в амбары семзерна, изредка шел, как он говорил, «ветеринарить»: лечить чью-либо заболевшую корову или овцу. За «визит» он получал обычно «натурой»: обедал у хозяйина заболевшей животины, а иногда даже приносил товарищам корчажку молока или чугуна вареной картошки. Остальные двое—Порфирий Лубно, вальцовщик с окружной госмельницы, и комсомолец с маслозавода Иван Найденов—вызывали в штаб гремяченцев, проверяли по списку заведующего амбаром, сколько вызванный гражданин засыпал семян, в меру сил и умения агитировали.

С первых же дней работы выяснилось, что засыпать семфонд придется с немалыми трудностями и с большой натяжкой в сроке. Все мероприятия, предпринимавшиеся бригадой и местной ячейкой с целью ускорения темпов сбора семян, наталкивались на огромное сопротивление со стороны большинства колхозников и единоличников. По хутору поползли слухи, что хлеб собирается для отправки за границу, что посева в этом году не будет, что с часу на час ждется война... Нагульнов ежедневно созывал собрания, при помощи бригады раз'яснял, опровергал нелепые слухи, грозил жесточайшими карами тем, кто будет изобличен в «антисоветских пропагандах», но хлеб продолжал пестовать крайне медленно. Казаки норовили с утра уехать куда-либо из дома, то в лес за дровишками, то за бурьяном; или уйти к соседу и вместе с ним пере-

ждать в укромном месте тревожный день, чтобы не являться по вызову в сельсовет или штаб бригады. Бабы же вовсе перестали ходить на собрания, а когда на дом приходил из сельсовета сиделец, то отделивались короткой фразой: «Хозяина моего дома нету, а я не знаю».

Словно чья-то могущественная рука держала хлеб...

В штабе бригады обычно шли такие разговоры:

— Засыпал семенное?

— Нет.

— Почему?

— Зерна нету.

— Как это—нету?

— Да так, что очень просто... Думал прибить на посев, а потом сдал на хлебозаготовку лишки, а самому жевать нечего было. Вот и потравил.

— Так ты что же, и сеять не думал?

— Думалось да нечем...

Многие ссылались на то, что будто бы сдали по хлебозаготовке и семенное. Давыдов—в правлении, а Ванюшка Найденов—в штабе рылись в списках, в ссыпунктовских квитанциях, проверяли и изобличили упорствующего в неправильной даче сведений: посевной, как оказывалось, оставался. Иногда для этого нужно было подсчитать примерное количество обмолота в 29-м году, подсчитать общее количество сданного по хлебозаготовке хлеба и искать остаток. Но и тогда, когда обнаруживалось, что хлеб оставался, упорствующий не сдавался:

— Оставалась пашеничка, спору нет. Да ить, знаете, товарищи, как оно в хозяйстве? Мы привыкли хлеб исть без весу, расходовать без меры. Мне оставили по пуду на душу, на меслц едоцко-го, а я к примеру с'едаю в день по три-четыре фунта. А через то с'едаю, что приварок плохой. Вот и перерасход. Нету хлеба, хучь обыщите!

Нагульнов на собрании ячейки предложил было произвести обыск у наиболее зажиточной части хуторян, не засыпавших семзерно, но этому воспротивились Давыдов, Лубно, Найденов, Разметнов. Да и в директиве райкома по сбору семфонда строжайше воспрещалось производить обыски.

За три дня работы бригады и правления колхоза по колхозному сектору

было засыпано только 480 пудов, а по единоличному—всего 35 пудов. Колхозный актив полностью засыпал свою часть. Кондрат Майданников, Любишкин, Дубцов, Демид Молчун, дед Щукарь, Аркашка Менок, кузнец Шалый, Андрей Разметнов и другие привезли зерно в первый же день. На следующий с утра к общественному амбару шагом подехали на двух подводах Семен Якова Лукича, и сам Яков Лукич. Лукич тотчас же пошел в правление, а Семка стал сносить с саней чувалы с зерном. Принимал и весил Демка Ушаков. Четыре чувала Семен высыпал, а когда развязал гузырь пятого, Ушаков налетел на него ястребом:

— Это таким зерном твой батя собирался сеять?—и сунул под нос Семену горсть зерна.

— Каким это?—вспыхнул Семен. — Ты с косого глаза, видать, пшеницу за кукурузу счел!

— Нет не за кукурузу! Я—косой, да зрячей тебя, жулика! Обое вы с батюшкой хороши, зна-а-аем! Это что? Семенное? Да ты нос не вороти! Ты чего мне в чистую зерно насыпал, гадская морда?

Демка совал к лицу Семена ладонь, а на ладони лежала горстка сорного, перемешанного с землею и викой зерна.

— Я вот зараз людей кликну...

— Да ты не драчься!—испугался Семен. — Видно, по ошибке захватил чувал. Зараз вернусь и переменю... Чудной, ей-бо! Ну, чего расходился-то, как бондарский конь? Сказано, переменю, промашка вышла...

Демка забраковал шесть чувалов из четырнадцати привезенных. И когда Семен попросил его помочь поднять на плечо один из чувалов с забракованным зерном, Демка отвернулся к весам, будто не слыша.

— Не помогаешь, стало быть?—с дрожью в голосе спросил Семен.

— Совесть! Дома подымал, небось, легко было, а зараз почижелело? Сам подымай, таковский!

Малиновый от натуги, Семен взял чувал поперек, понес...

За два следующих дня поступлений почти не было. На собрании ячейки решено было итти по дворам. Давыдов накануне выехал в соседний район на селекционную станцию с целью вне-

плановым порядком добыть на обсеменение хотя нескольких гектаров засухоустойчивой яровой пшеницы, прервосходно выдерживавшей длительный период бездождья и давшей в прошлом году на опытном поле станции отменный урожай. Яков Лукич и бригадир Агафон Дубцов много говорили о новом сорте пшеницы, добытом на селекционной станции путем скрещиванья привозной «калифорнийской» с местной «белозерной», и Давыдов, за последнее время усиленно приналежавший по ночам на агротехнические журналы, решил поехать на станцию добыть новой пшеницы.

Из поездки он вернулся 4 марта, а за день до его возвращения случилось следующее: Макар Нагульнов, прикрепленный ко второй бригаде, с утра обошел вместе с Любишкиным около тридцати дворов, а вечером, когда из сельсовета ушли Разметнов и секретарь, стал вызывать туда тех домохозяев, дворы которых не успел обойти днем. Человек четырех отпустил, так и не добившись положительных результатов. «Нет хлеба на семена. Пушай государство дает». Нагульнов уговаривал вначале спокойно, потом стал постукивать кулаком:

— Как же вы говорите, что хлеба нету? Вот ты к примеру, Константин Гаврилович, ить пудов триста намолотил осенью!

— А хлеб ты сдавал за меня государству?

— Сколько ты сдал?

— Ну, сто тридцать.

— Остатный где?

— Не знаешь где? С'ел!

— Бреешь! Разорвет тебя—столько хлеба слопать! Семья—шесть душ, да чтобы столько хлеба с'исть? Вези без разговору, а то из колхоза вышибем в два счета!

— Увольняйте из колхозу, что хотите делайте, а хлеба—истинный христос—нету! Пушай власть хучь процент отпустит...

— Ты повадился советскую власть подсасывать! Деньги-то, какие брал в кредит на покупку садилаки и травокоски, возвернул кредитному товариществу? То-то и есть! Энти денюжки зажилал, да ишо хлебом норовишь поджиться?

— Все одно теперича и травокоска, и садилка—колхозные, самому не довелось попользоваться, нечего и попрекать!

— Ты вези хлеб, а то плохо тебе будет! Закоснел в брехне! Совестно!

— Да я бы с великой душой, кабы он был...

Как ни бился Нагульнов, как ни уговаривал, чем ни грозил, а все же пришлось отпустить нежелавших засыпать семена. Они вышли, минуты две переговаривались в сенях, потом заскрипели сходы. Немного погодя вошел единоличник Григорий Банник. Он вероятно уже знал о том, чем кончился разговор с только-что вышедшими из сельсовета колхозниками, в углах губ его подрагивала самоуверенная, вызывающая улыбочка. Нагульнов дрожжащими руками расправил на столе список, глухо сказал:

— Садись, Григорий Матвевич.

— Спасибо на приглашении. — Банник сел, широко расставив ноги.

— Что же это ты, Григорий Матвевич, семена не везешь?

— А мне зачем их везть?

— Так было же постановление общего собрания — и колхозникам, и единоличникам — семенной хлеб свесть. У тебя-то он есть?

— А то как же, конечно есть.

Нагульнов заглянул в список: против фамилии Банника в графе «предполагаемая площадь ярового посева в 1930 году» стояла цифра 6.

— Ты собираешься в нынешнем году 6 га пшеницы сеять?

— Так точно.

— Значит сорок два пуда семян имеешь?

— Все полностью имею, подсеянный и очищенный хлебец, как золотцо!

— Ну, это ты — герой! — облегченно вздохнув, похвалил Нагульнов. — Вези его завтра в общественный амбар. Могешь в своих мешках оставить. Мы от единоличников даже в ихних мешках примаем, ежели не захочет зерно мешать. Привезешь, сдашь по весу заведующему, он наложит на мешки сюржучевые печати, выдаст тебе расписку, а весной получишь свой хлеб целеньким. А то многие жалуются, что не соблюли, поели. А в амбаре-то он надежней сохранится.

— Ну, это ты, товарищ Нагульнов, оставь! — Банник развязно улыбнулся,

пригладил белесые усы. — Этот твой номер не пляшет! Хлеба я вам не дам.

— Это почему же, дозвошь спросить?

— Потому что у меня он сохранный будет. А вам отдай его, а к весне и порожних мешков не получишь. Мы зараз тоже ученые стали, на кривой не об'едешь!

Нагульнов сдвинул разлтые брови, чуть побледнел.

— Как же ты можешь сомневаться в советской власти? Не веришь, значит?

— Ну да, не верю! Наслухались мы брехнев от вашего брата!

— Это кто же брехал? И в чем? — Нагульнов побледнел заметней, медленно привстал.

Но Банник, словно не замечая, все так же тихо улыбался, оказывая ядренные редкие зубы, только голос его задрожал обидой и жгучей злобой, когда он сказал:

— Соберете хлебец, а потом его на пароходы да в чужие земли? Антанабилы покупать, чтоб партийные со своими стриженными бабами катались? Зна-а-ае, на что нашу пашеничку гатите! Дожились до равенства!

— Да ты одурел, чертняка?!.. Ты чего это балабонишь?

— Небось одуреешь, коли тебя за глотку возьмут! Сто шешнацать пудиков по хлебозаготовке вывез! Да зараз последний, семенной хотите... чтоб детей моих... оголодить...

— Цыц! Брешешь, гад! — Нагульнов грохнул кулаком по столу.

Свалились на пол счеты, опрокинулась склянка с чернилами. Густая фиолетовая струя, блистая, проползла по бумаге, упала на полу дубленого полушубка Банника. Тот смахнул чернила ладонью, встал. Глаза его сузились, на углах губ вспикели белые язеды, с задавленным бешенством он выхрипел:

— Ты на меня не дыкай! Ты на жену свою Лушку стучи кулаком, а я тебе не жена! Ноне не двадцатый год, понял? А хлеба не дам... Кка-тись ты!..

Нагульнов было потянулся к нему через стол, но тотчас, качнувшись, выпрямился.

— Ты это... чьи речи?.. Ты это чего, контра, мне тут?.. Над социализмом смеялся, гад!.. А зараз... — он не находил слов, задыхался, но, кое-как овладев

собой, вытирая тылом ладони клейкий пот с лица, сказал:

— Пиши мне зараз расписку, что завтра вывезешь хлеб, и завтра же ты у меня пойдешь куда следует. Там допытываются, откуда ты таких речей наслушался!

— Арестовать ты меня можешь, а расписки не напишу и хлеб не дам!

— Пиши, говорю!..

— Трошки повремени!..

— Я тебя добром прошу...

Банник пошел к выходу, но, видно, злора так люто возгорелась в нем, что он не удержался и, ухватясь за дверную ручку, кинул:

— Зараз приду и высыплю свиньям этот хлеб! Лучше они нехай потрескают, чем вам, чужедам!..

— Свиньям?! Семенной!?. — Нагульнов в два прыжка очутился возле двери, выхватив из кармана наган, ударил Банника колодкой в висок. Тот качнулся, прислонился к стене, обтирая спиной побелку, стал валиться на пол. Упал. Из виска, из ранки, смачивая волосы, высочилась черная кровь. Нагульнов, уже не владея собой, ударил лежащего несколько раз ногою, отошел. Банник, как очутившаяся на суше рыба, зевнул ртом раза два, а потом, цепляясь за стену, начал подниматься. И едва лишь встал на ноги, как кровь пошла обильней. Он молча вытирал ее рукавом, с обеленной спины его сыпалась меловая пыль. Нагульнов пил прямо из графина противную степлившуюся воду, лязгая о края зубами. Искоса глянув на поднявшегося Банника, он подошел к нему, взял как клещами за локоть, толкнул к столу, сунул в руку карандаш:

— Пиши!

— Я напишу, но это будет известно прокурору... С под нагана я что хошь напишу... Бить при советской власти не дозволено... Она—партия—тебе тоже за это не уважит! — хрипло бормотал Банник, обессиленно садясь на табурет.

Нагульнов стал напротив, взвел курок нагана;

— Ага, контра, и советскую власть, и партию вспомню! Тебя не народный суд будет судить, а я, вот зараз и своим судом. Ежели не напишешь, — застрелю как вредного гада, а потом пойду за тебя в тюрьму хоть на десять лет! Я тебе не дам над советской властью над-

ругиваться! Пиши: «Расписка». Написал? Пиши: «Я—бывший активный белогвардеец, мамонтовец, с оружием в руках приступавший к Красной армии, — беру обратно свои слова»... Написал? «свои слова, невозможно оскорбительные для ВКП(б)». ВКП с заглавной буквы, есть? «и советской власти, прошу прощения перед ними и обязываюсь впредь, хотя я и есть скрытая контра...»

— Не буду писать! Ты чего меня сильничаешь?

— Нет, будешь! А ты думал как? Что я, белыми израненный, искаженный, так тебе спущу твои слова? Ты на моих глазах смывался над советской властью, а я бы молчал? Пиши, душа с тебя вон!..

Банник слег над столом, и снова карандаш в его руке медленно пополз по листу бумаги. Не снимая пальца со спуска нагана, Нагульнов раздельно диктовал:

— «...хотя я и есть контра скрытая, но советской власти, которая дорогая всем трудящимся и добытая большой кровью трудового народа, я вредить не буду ни устно, ни письменно, ни делами. Не буду ее обругивать и досаждать ей, а буду терпеливо дожидаться мировой революции, которая всех нас—ее врагов мирового масштабу—подведет под точку замерзания. А еще обязываюсь не ложиться поперек пути советской власти и не срывать посев и завтра 3 марта 1930 года отвезть в общественный амбар...»

В это время в комнату вошел сиделец, с ним трое колхозников.

— Погодите трошки в сенцах! — Крикнул Нагульнов и, поворачиваясь лицом к Баннику, продолжал:—... сорок два пуда семенного зерна пшеничной натурой. В чем и подписуюсь. Распишись!

Банник, к лицу которого вернулась багровая окраска, расчеркнулся, встал.

— Ты за это ответишь, Макар Нагульнов!..

— Всяк из нас за свое ответит, но ежели хлеб завтра не привезешь, — убью! — Нагульнов свернул и положил расписку в грудной карман защитной гимнастерки, кинул на стол наган, проводил Банника до дверей. Он оставался в сельсовете до полуночи. Сидельцу не приказал отлучаться и с помощью его водворил и запер в пустовавшей комнате еще трех колхозников, отказавшихся от вывоза

семенного зерна. Уже за полночь, сломленный усталостью и пережитым потрясением, уснул, сидя за сельсоветским столом, положив на длинные ладони вскокоченную голову. До зари снились Макару огромные толпы празднично одетого народа, беспрепятственно двигавшиеся, полой водой затоплявшие степь. В просветах между людьми шла конница. Разномастные лошади попирали копытами мягкую степную землю, но грохочущий чокот конских копыт был почему-то гулок и осадист, словно эскадроны шли по разостланным листам железа. Отливающие серебром трубы оркестра вдруг совсем близко от Макара заиграли «Интернационал», и Макар почувствовал, как обычно всегда наяву, щемящее волнение, горячую спазму в горле... Он увидел в конце проходившего эскадрона своего покойного друга Митьку Лобача, зарубленного врангелевцами в 1920 году в бою под Каховкой, но не удивился, а обрадовался и, расталкивая народ, кинулся к проходившему эскадрону. «Митя! Митя! Постой!» — звал он, не слыша собственного голоса. Митька повернулся на седле, посмотрел на Макара равнодушно, как на чужого, незнакомого человека, и поехал рысью. Тотчас же Макар увидел скакавшего к нему своего бывшего вестового Тюлима, убитого польской пулей под Бродами в том же 20-м году. Тюлим окачал, улыбаясь, держа в правой руке повод Макарова коня. А конь, все такой же белоногий и сухоголовый, шел заводным, высоко и гордо неся голову, колесом изогнув шею...

Скрип ставен, всю ночь метавшихся на вешнем ветру, во сне воспринимал Макар как музыку, погромыхиванье железной крыши — как дробный топот лошадиных копыт... Разметнов, придя в сельсовет часов в шесть утра, еще застал Нагульнова спящим. На желтой Макаровой щеке, освещенной лиловым светом мартовского утра, напряженная и ждущая застыла улыбка, в мучительном напряжении шевелилась разлтая бровь... Разметнов растолкал Макара и выругался:

— Наворошил делов и спишь? Веселые сны видишь, ощеряешься? За что ты Банника избил? Он на заре привез семенной хлеб, сдал и зараз же мотнулся в район. Любишкин прибежал ко мне,

говорит, поехал Банник заявлять на тебя в милицию. Достукался? Приедет Давыдов, что он теперь скажет? Эх, Макар!..

Нагульнов потер ладонями опухшее от неловкого сна лицо и раздумчиво улыбнулся:

— Андрюшка! Какой я зараз сон вида-а-ал. Дюже завлекательный сон!

— Ты про сны свои оставь гутарить! Ты мне про Банника докладай.

— Я про такую гаду ядовитую и докладывать не хочу! Говоришь — привез он хлеб? Ну, значит подействовало... Сорок два пуда семенного, — это тебе не кот заплакал. Кабы из каждой контры посля одного удара наганом по сорок пудов хлеба выскакивало, я бы всюю жизнью тем и занимался, что ходил бы да ударял их! Ему за его слова не такую бы бубну надо выбить! Нехай радуется, что я ему ноги из заду не повыдергивал! — И с яростью, поблескивая глазами, кончил: — Он же, подлюка, с генералом Мамонтовым таскался! До тех пор нам супротивничал, покеда его в Черном море не выкупали, да ишо и зараз норовит поперек дороги лечь, вреду наделать мировой революции! А какие он мне тут слова про советскую власть и про партию говорил? На мне от обиды волосья дыбом поднялись!

— Мало бы что! А бить не должен ты, лучше бы арестовать его.

— Нет, не арестовать, а убить бы его надо! — Нагульнов сокрушенно развел руками. — И чего я его не стукнул? Ума не приложу! Вот об чем зараз я жалкую!

— Дураком тебя назвать — в обиду примешь, а дури в тебе — черпать не исчерпать! Вот приедет Давыдов, — он тебе разбукварит за такое-подобное!

— Семен приедет — одобрит меня, он не такой сучок, как ты!

Разметнов, смеясь, постучал согнутым пальцем по столу, а потом по лбу Макара, уверил: — Одинаковый звук-то, — но Макар сердито отвел его руку, стал натягивать полушубок. Уже держась за дверную скобу, не поворачивая головы, буркнул:

— Эй, ты, умник! Выпусти из порожней комнаты мелких буржуев, да чтобы хлеб они нынче же отвезли, а то вот умоюсь да возвращусь и обратно их посажаю.

У Разметнова от удивления глаза на лоб полезли... Он кинулся к пустовавшей комнате, где хранились сельсоветские архивы да колосовые экспонаты с прошлогодней районной с хозяйственной выставки, открыл дверь и обнаружил трех колхозников: Краснокутова, Антипа Грача и мухортенького Аполлона Песковатскова. Они благополучно переночевали на разостланных на полу комплектах старых газет, при появлении Разметнова поднялись.

— Я, граждане, конечно должен... — начал было Разметнов, но один из подвергшихся аресту, престарелый казак Краснокутов, с живостью перебил его:

— Да что там толковать, Андрей Степаныч, виноваты, речи нету... Отпущай, зараз привезем хлеб... Мы тут ночушкой трошки промеж себя посоветовались, ну, и порешили отвезти хлеб... Чего уж греха таить, хотели попридержаться пшеничку...

Разметнов, только-что хотевший извиниться за необдуманный поступок Нагульнова, учел обстоятельства и моментально перестроился:

— Вот и давно бы так! Ить вы же колхозники! Совестно семена хоронить.

— Пожалуйста, отпущай нас, а кто старое вспомянет... — смущенно улыбнулся в аспидно-черную бороду Антип Грач.

Широко распахнув дверь, Разметнов отошел к столу и, надо сказать, что и в нем в этот момент ворохнулась мыслишка: «А, может, и прав Макар? Кабы покрепче нажать, — в один день засыпали бы!»

ГЛАВА 25

Давыдов вернулся из поездки на селекционную станцию с двенадцатью пудами сортовой пшеницы, веселый, довольный удачей. Хозяйка, собирая ему обедать, рассказала о том, что в его отсутствие Нагульнов избил Григория Банника и ночь продержал в сельсовете трех колхозников. Слух об этом, видимо, успел широко распространиться по Гремячему Логу. Давыдов торопливо пообещал, встревоженный пошел в правление. Там ему подтвердили рассказ хозяйки, дополнив его подробностями. Поведение Нагульнова все расценивали по-разному: одни одобряли, другие порицали, некоторые сдержанно помалкивали. Лю-

бишкин например категорически стал на сторону Нагульнова, а Яков Лукич в оборочку собрал губы и был столь обижен на вид, словно ему самому пришлось отведать нагульновского внушения. Вскоре пришел в правление сам Макар. Был он с виду суровой обычного, с Давыдовым поздоровался сдержанно, но взглянул на него со скрытой тревогой и ожиданием. Оставшись вдвоем, Давыдов, не сдерживаясь, резко спросил:

— Это что у тебя за новости?

— Слышал, чего же пытаешь...

— Такими-то методами ты начинаешь агитировать за сбор семян?

— А он пушай мне такую подлость не говорит! Я зарок не давал терпеть издѣвку от врага, от белого гада!

— А ты подумал о том, как это подействует на других, как это с политической стороны будет высматривать?

— Тогда некогда было думать.

— Это не ответ, факт! Ты должен был его арестовать за оскорбление власти, но не бить! Это — поступок, позорящий коммуниста! Факт! И мы сегодня же поставим о тебе на ячейке. Ты принес нам вот какой вред своим поступком! Мы его должны осудить! И об этом я буду говорить на колхозном собрании, не дожидаясь разрешения райкома, фактически говорю! Потому что, если нам промолчать, то колхозники подумают, будто мы с тобой заодно и такой же терпимости веры держимся в этом деле! Нет, братишка! Мы от тебя отмежуемся и осудим. Ты — коммунист, а поступишь, как жандарм. Этакое позорище! Чорт бы тебя драг с твоим происшествием!

Но Нагульнов уперся, как бык: на все доводы Давыдова, пытавшегося убедить его в недопустимости для коммуниста и политической вредности подобного поступка, он отвечал:

— Правильно я его побил! И даже не побил, а только раз стукнул, а надо бы больше. Отвяжись! Поздно меня перевоспитывать, я — партизан и сам знаю, как мне надо свою партию от изпадок всякой сволочи оборонять!

— Да я же не говорю, что этот Банник — свой человек, прах его возьми! Я о том говорю, что тебе не надо бы его бить. А задятить партию от оскорблений можно было другим порядком, факт! Ты пойдн, остынь несколько и по-

думай, а вечером придешь на ячейку и скажешь, что я был прав, факт.

Вечером, перед началом ячейкового собрания, как только вошел насупившийся Макар, Давыдов первым делом спросил:

— Обдумал?

— Обдумал.

— Ну?

— Мало я ему, сукиному сыну, вложил. Мало бы надо!

Бригада агитколонны целиком стала на сторону Давыдова и голосовала за вынесение Нагульнову строгого выговора. Андрей Разметнов от голосования воздержался, все время молчал, но когда уже перед уходом Макар, набычившись, буркнул: «Остаюсь при своем верном мнении», — Разметнов вскочил и выбежал из комнаты, яростно отплевываясь и матерно ругаясь.

Закуривая в темных сенях, при свете спички всматриваясь в потускневшее за этот день лицо Нагульнова, Давыдов примиренно сказал:

— Ты, Макар, напрасно обижаешься на нас, факт!

— Я не обижаюсь.

— Ты старыми, партизанскими методами работаешь, а сейчас — новое время, и не налеты, а позиционные бои идут... Все мы партизанщиной были больны, особенно наши, флотские, ну, и я, конечно. Ты хотя и нервнобольной, но надо, дорогой Макар, себя того... обуздывать, а? Ты вот посмотри на смену: комсомолец наш из агитколонны Ванюшка Найденов какие чудеса делает. У него в квартале больше всего поступлений семенного, почти все вывезено. Он с виду такой не очень шустренький, конопатенький, небольшой, а работает лучше всех вас. Чорт его знает, ходит по двору, балагурит, говорят, что он какие-то сказки мужикам рассказывает... И хлеб у него везут без мордобоя и без сажаний в «холодную», факт.—В голосе Давыдова послышались улыбка и теплые нотки, когда он заговорил о Найденове, а Нагульнов почувствовал, как в нем ворохнулось нечто похожее на зависть к расторопному комсомольцу. — Ты из любопытства пойдешь с ним завтра по двору и присмотришься, какими способами он достигает, — продолжал Давыдов, — в этом, ей-богу, нет ничего обидного для тебя. Нам, браток, иногда и

у молодых есть чему поучиться, факт! Они какие-то непохожие на нас растут, как-то они приспособленней...—Нагульнов промолчал, а утром, как только встал, разыскал Ванюшку Найденова и — будто между прочим — сказал:

— Я нынче свободный, хочу с тобой пойтить, помочь тебе. Сколько в твоей третьей бригаде еще осталось невывезенного?

— Пустяки остались, товарищ Нагульнов! Пойдем, вдвоем веселее будет.— Пошли. Найденов двигался с непривычной для Макара быстротой, валко, путиному покачиваясь. Кожанка его, духовито пахнувшая подсолнечным маслом, была распахнута, клетчатая кепка накинута по самые брови. Нагульнов сбоку пылливо всматривался в неприятное, засеянное какими-то ребячьими веснушками лицо комсомольца, которого Давыдов вчера с несвойственной ему ласковостью назвал «Ванюшкой». Было в этом лице что-то страшно близкое, располагающее; то ли открытые, серые в крапинках глаза, то ли упрямо выдвинутый подбородок, еще не утративший юношеской округлости...

К бывшему «курошупу» — деду Акиму Бесхлебнову—пришли они в курень, когда вся бесхлебновская семья завтракала. Сам старик сидел за столом в переднем углу, рядом с ним — сын лет сорока, тоже Аким, по прозвищу Младший, по правую руку от него — жена и престарелая овдовевшая свекровь, на искрайке примостились две взрослых дочери, а обочины стола густо, как мухи, облепили детишки.

— Здравствуйте, хозяева! — Найденов стащил свою промасленную кепку, приглаживая сторчмя поднявшиеся вихры.

— Здравствуйте, коли не шутите, — отвечал, чуть заметно улыбаясь, простой и веселый в обхождении Аким Младший.

Нагульнов бы в ответ на шутовское приветствие сдвинул разлтые брови и — преисполненный строгости — сказал: «Некогда нам шутки вышучивать. Почему до се хлеб не везешь?», а Ванюшка Найденов, будто не замечая холодно-новатой сдержанности в лицах хозяев, улыбаясь, сказал:

— Хлеб-соль вам!

Не успел Аким рта раскрыть, чтобы, не приглашая к столу, проронить скупое «спасибо» или отделаться грубовато-шутливым: «Ем, да свой, а ты рядом постой!», как Найденов торопливо продолжал:

— Да вы не беспокойтесь! Не надо! А впрочем можно и подзавтракать... Я, признаться, сегодня еще не ел. Товарищ Нагульнов — здешний, он конечно уж подзаложил, а мы кушаем через день с натяжкой... как «птицы небесные».

— Не сеете, не жнете и сыты бываете, стало быть? — засмеялся Аким.

— Сыты не сыты, а веселы всегда. — И с этими словами Найденов, к изумлению Нагульнова, в одну секунду смахнул с плеч кожанку, присел к столу. Дед Аким крикнул, видя такую бесцеремонность гостя, а Аким Младший расхохотался:

— Ну, вот это — по-служивски! Счастлив ты, парень, что успел вперед меня заскочить, а то я было уж хотел сказать на твою «хлеб-соль», «мол, едим, свой, а ты рядом постой!» Девки! Дайте ему ложку.

Одна из девок вскочила и, пырская в завеску, пошла к загнетке за ложкой, но подала ее Найденову чинно, как и водится подавать мужчине, — с поклоном. За столом стало оживленно и весело. Аким Младший пригласил и Нагульнова, но тот отказался, присел на сундук. Белобровая жена Акима, улыбаясь, протянула гостю ломоть хлеба, девка, подававшая ложку, сбегала в горницу, принесла чистый рушник, положила его на колени Найденова, Аким Младший, с любопытством и нескрываемым одобрением посматривавший на веснушчатое лицо не по-хуторскому смелого парня, сказал:

— Вот видишь, товарищ, полюбился ты моей дочке, отцу сроду чистого рушника не подавала, а тебе — не успел ишо за столом угнездиться. Посватаешь ежели — дóразу отдадим!

Девка от отцово́й шутки вспыхнула, закрывая лицо ладонью, встала из-за стола, а Найденов, усугубляя веселое настроение, отшучивался:

— Она наверное, за конопатого не пойдем. Мне свататься можно, только

когда стемнеет, тогда я бываю красивый и могу девушкам нравиться.

Подали взвар. Разговор прекратился. Слышно было только, как чавкают рты да скребют днище обливной чашки деревянные ложки. Тишина нарушалась лишь тогда, когда ложка какого-нибудь парнишки начинала описывать внутри чашки круги, в поисках разваренной груши. В этот-то момент дед Аким облизывал свою ложку и звонко стучал ею провинившегося мальчика по лбу, внушая:

— Не вылавливай!

— Что-то тихо у нас стало, как в церкви, — проговорила хозяйка.

— В церкви тоже не всегда тихо бывает, — сказал Ванюшка, плотно подзакусивший каши и взвару. — Вот у нас под пасху был случай, — смеху не оберешься!

Хозяйка перестала стирать со стола. Аким Младший свернул курить, присел на лавку, собираясь слушать, и даже дед Аким, отрывая и крестясь, вслушивался в слова Найденова. Нагульнов, выказывавший явные признаки нетерпения, подумал: «Когда же он про хлеб-то начнет? Тут, как видно, дела наши — хреновые! Обоих Акимов нескоро своротишь, самые напряженные черти во всем Гремячем. И на испуг, — как ты его возьмешь, когда Аким Младший в Красной армии служил и — в общем и целом — наш казак? А хлеб не повезет он через свою приверженность к собственности и через скупость. У него середь зимы снегу не выпросишь, знаю!» Тем временем Ванюшка Найденов, выждав время, продолжал:

— Я — родом из Тащинского района, и был у нас под пасху один раз такой случай в церкви: идет стояние, приверженные религии люди собрались в церкви, душатся от тесноты! Поп и дьякон конечно поют и читают, а около ограды хлопцы играютя. Была у нас в слободе телушка-летошница, такая брухливая, что чуть ее тронь, — щукой кидается и норовит рогами поддеть. Телушка эта мирно паслась возле ограды, но хлопцы раздражили ее до того, что она погналась за одним и вот-вот его догонит! Хлопец той — в ограду, телушка — за ним, хлопец —

на паперть, телушка — следом. В притворе людей было до биса... Телушка разгонись, да того хлопца под зад ка-а-к двинет! Он — со всех ног, да к старухе под ноги. Старушка-то затылком об пол хлопнулась и орет: «Ратуйте, люди добри! Ой, лихо мини!..» Старухин муж хлопца костью по спячке: «А шо-б ты сгорива, вражъя дытына!..» А телушка: «Бе-е-е!» — и до того старика с рогами приступает. И такая пошла там паника-а-а! Кто ближе к алтарю стоял, — не поймут, в чем дело, а слышат, что в притворе шум, молиться перестали, стоят, волнуются, один у одного пытаются: «Шось це там шумлять?» — «Та шо там таке?» — Ванюшка, воодушевившись, так живо изобразил в лицах, как перешептывались его перепуганные односельчане, что Аким Младший первый не выдержал и захохотал.

— Наделала делов телушка!

Оголяя в улыбке белозубый рот, Ванюшка продолжал:

— Один парубок в шутку и скажи: «Мабудь, там бишена собака вскочила, треба тикать!» Рядом с ним стояла беременная баба, испугалась она, да как заголосит на всю церкву: «Ой, ридна моя маты! Та вона ж зараз нас усих перекусае!» Задние на передних жмут, опрокинули подсвечники, чад пошел... Темно стало. Тут кто-то и заревел: «Горым!» Ну, и пошло! «Бишена собака!» «Горы-ым!..» «Та шо воно таке?..» «Кониц свита!» «Шо-о-о?.. Кониц свита? Жинка! До дому!» Ломанулись в боковые двери и так сбились, что не один не выйдет. Ларек со свечами опрокинули, пятаки посыпались, титор упал, шумит: «Граблють!..» Бабы, как овцы, шагнули на амвон, а дьякон их кадилком по головам: «Тю-у-у, скажени!.. Куда?.. Чи вам, поганим, не звистно, шо в ялтарь бабам не можно?» А сельский староста, толстый такой был, с щепком на пузе, лезет к дверям, распыляет людей, уркотит: «Пропустить! Пропустить, прокляти! Це-ж я. голова слободьска!» А где ж там его пропустить, когда — «кониц свита».

Прерываемый хохотом, Ванюшка кончил:

— В слободе был у нас конокрад Архип Чохов. Лошадей уводил каждую

неделю, и никто его никак не мог словить. Архип был в церкви, отмаливал грехи. И вот когда заорали «Кониц свита! Погибаемо, браты!», — кинулся Архип к окну, разбил его, хотел высигнуть, а за окном — решетка. Народ весь в дверях душится, а Архип бегаёт по церкви, остановится, плеснет руками и кажет: «Ось колы я попався! От попався, так вже попався!»

Девки, Архип Младший и жена его смеялись до слез, до икоты. Дед Аким, и тот беззвучно ощерял голодёрскую пасть, лишь бабка, не расслышав половины рассказа и ничего не поняв с глухоты, нивесть от чего заплакала и, вытирая красные набрякшие слезой глаза, прошамкала:

— Штало быть попался, болежный? Чарича небешная! Чего же ему ишдела-ли?

— Кому, бабушка?

— Да этому страннику-то?

— Какому страннику, бабуся?

— А про какого ты, голубок, гутарил... про богомольца.

— Да про какого богомольца-то?

— А я, милый, и не жнаю... Тугая я на уши стала, тугая, мой желанный... Не дошлышу...

Разговор с бабкой вызвал новую вспышку хохота. Аким Младший раз пять переспрашивал, вытирая проступившие от смеха слезы:

— Как он, «воряга этот? «Вот когда я попался?» — Ну, парень, диковинную веселость рассказал ты нам! — наивно восхищался он, хлопая Ванюшку по плечу. А тот как-то скоро и незаметно перестроился на серьезный, лад, вздохнул:

— Это конечно смешная история, но только сейчас — такие дела, что не до смеху... Нынче прочитал я газету и сердце заныло...

— Заныло? — ожидая нового веселого рассказа, переспросил Аким.

— Да. А заныло от того, что так зверски над человеком в капиталистических странах издеваются и терзают. Такое описание я прочитал: в Румынии двое комсомольцев открывали крестьянам глаза, говорили, что надо землю у помещиков отобрать и разделить между собою. Очень бедно в Румынии хлеборобы живут.

— Что бедно, то бедно, знаю, сам видал, как был с полком в 17-м году на Румынском фронте,—подтвердил Аким.

— Так вот вели они агитацию за свержение капитализма и за устройство в Румынии советской власти. Но их поймали лютые жандармы, одного забили до смерти, а другого начали пытать. Выкололи ему глаза, повывергали на голове все волосы. А потом разожгли докрасна тонкую железяку и начали её заправлять под ногти...

— Про-ок-лятые! — ахнула Акимова жена, всплеснув руками, — под ногти?

— Под ногти... Спрашивают: «Говори, кто у вас еще в ячейке состоит? и отрекайся от комсомола». — «Не скажу вам, вампиры, и не отрекусь!» — стойко отвечает тот комсомолец. Жандармы тогда стали резать ему пашками уши, нос отрезали. «Скажешь?» — «Нет, — говорит, — умру от вашей кровавой руки, а не скажу! Да здравствует коммунизм!» Тогда они за руки подвесили его под потолок, внизу развели огонь...

— Вот, будь ты проклят, какие живодеры есты! Ить это беда! — вознегодовал Аким Младший.

— ...Жгут его огнем, а он только плачет кровавыми слезами, но никого из своих товарищей-комсомольцев не выдает и одно твердит: «Да здравствует пролетарская революция и коммунизм!»

— И мслодец, что не выдал товарищев! Так и надо! Умри честно, а друзей не моги выказать! Сказано, что «за други своя живот положиша...» — дед Аким пристукнул кулаком и заторопил рассказчика. — Ну, ну, дальше-то что?

— ...Пытают они его, стязают по-всякому, а он молчит. И так с утра до вечера. Потеряет он память, а жандармы обольют его водой и опять за свое. Только видят, что ничего они так от него не добьются, тогда пошли, арестовали его мать и привели в свою охранку. «Смотри, — кажут ей, — как мы твоего сына будем обрабатывать! Да скажи ему, чтобы покорился, а то убьем и мясо собакам выкинем!» Ударилась тут мать без памяти, а как пришла в себя — кинулась к своему дитю, обнимает, руки его окровавленные целует... — Побледневший Ванюшка за-

молк, обвел слушателей расширившимися глазами: у девок чернели открытые рты, а на глазах закипали слезы, Акимова жена сморкалась в завеску, шепча сквозь всхлипыванья: «Каково ей... матери-то... на своего дитя... го-о-ос-поди!» Аким Младший вдруг крякнул и, ухватясь за кисет, стал торопливо вертеть цыгарку; только Нагульнов, сидя на сундуке, хранил внешнее спокойствие, но и у него во время паузы как-то подозрительно задержалась щека и повело в сторону рот...

— «...Сынок мой родимый! Ради меня — твоей матери — покорись им, злодеям!» — говорит ему мать, но он услышал ее голос и отвечает: «Нет, родная мама, не выдам я товарищей, умру за свою идею, а ты лучше поцелуй меня перед моей кончиной, мне тогда легче будет смерть принять...»

Ванюшка вздрагивающим голосом окончил рассказ о том, как умер румынский комсомолец, замученный палачами-жандармами. На минуточку стало тихо, а потом заплаканная хозяйка спросила:

— Сколько ж ему, страдальцу, было годков?

— Семнадцать, — без запинки отвечал Ванюшка и тотчас же нахлобучил свою клетчагую кепку. — Да, умер герой рабочего класса — наш дорогой товарищ румынский комсомолец... Умер за то, чтобы трудящимся лучше жилось. Наше дело — помочь им свергнуть капитализм, установить рабоче-крестьянскую власть, а для этого надо строить колхозы, укреплять колхозное хозяйство. Но у нас еще есть такие хлебобобы, которые по неосознанности помогают подобным жандармам и препятствуют колхозному строительству, — не сдают семенной хлеб... Ну, спасибо, хозяева, за завтрак, теперь о деле, насчет которого мы к вам пришли: надо вам сейчас же отвезти семенной хлеб. Вашему двору причитается засыпать ровно семьдесят семь пудов. Давай, хозяин, вези!

— Да кто его знает... Его и хлеба-то почти нету... — нерешительно начал было Аким Младший, огорошенный столь неожиданным приступом, но жена метнула в его сторону озлобленный взгляд, резко перебила:

— Нечего уж там! Ступай, насыпай мешки да вези!

— Нету семидесяти пудов... Да и неподсеянный он у нас... — слабо сопротивлялся Аким.

— Вези, Акимушка. Стало быть, надо сдать, чего уж там супротивничать, — поддержал сноху дед Аким.

— Мы — люди негордые, поможем, подсеем, — охотно вызвался Ванюшка, — а грохот-то у вас есть?

— Есть... Да он трошки несправный...

— Эка беда! Починим! Скорее, скорее, хозяин! А то мы тут у вас и так заговорились...

Через полчаса Аким Младший вел с колхозного база две бычьи подводы, а Ванюшка с лицом, усеянным мелкими, как веснушки, бисеринками пота, таскал из мякинника на приклетку амбара мешки с подсеянной пшеницей, твердозерной и ядерной, отливающей красниной червонного золота.

— Чего же это хлеб-то у вас в полвне сохранялся? Амбар имеете вместительный, а хлеб так бесхозяйственно лежал? — спрашивал он у одной из Акимовых девок, лукаво подмигивая.

— Это батяня выдумал... — смущенно отвечала та.

После того, как Бесхлебнов повез свои семьдесят семь пудов к общественному амбару, а Ванюшка с Нагульновым, протрившись с хозяевами, пошли в следующий двор, Нагульнов с радостным волнением, глядя на усталое лицо Ванюшки, спросил:

— Про комсомольца это ты выдумал?

— Нет, — рассеянно отвечал тот, — когда-то давно читал про такой случай в мопровском журнале.

— А ты сказал, что сегодня читал...

— А не все ли равно? Тут главное, что такой случай был, вот что жалко, товарищ Нагульнов!

— Ну, а ты... от себя-то прибавлял для жалобности? — допытывался Нагульнов.

— Да это же неважно! — досадливо отмахнулся Ванюшка и, зябко ежась, застегивая кожанку, проговорил: — Важно, чтобы люди ненависть почувствовали к палачам и к капиталистическому строю, а к нашим борцам — сочувствие; важно, чтобы семена вывез-

ли, а остальное — чепуха... Да я почти ничего и не прибавлял. А взвар у хозяйки был сладкий, ка ять! Напрасно ты, товарищ Нагульнов, отказался!

ГЛАВА 26

Десятого марта с вечера пал над Гремячим Логом туман, до утра с крыш куреней журчала талая вода, с юга, со степного гребня, набегом шел теплый и мокрый ветер. Первая ночь, принявшая весну, стала над Гремячим, окутанная чернышми шелками наплывавших туманов, тишины, оваянная вешними ветрами. Поздно утром взмыли порозсвевшие туманы, оголив небо и солнце, с юга уже мощной лавой ринулся ветер, истекая влагой, с шорохом и гулом стал оседать крупнозерный снег, побурели крыши, черными просовами покрылась дорога, а к полудню по ярам и логом яростно всклокоталась светлая, как слезы, нагорная вода и бесчисленными потоками устремилась в низины, в левады, в сады, омывая горькие корневища вишенника, топя приречные камыши.

Дня через три уже оголились доступные всем ветрам бугры, промытые до земли склоны засияли влажной глиной, нагорная вода помутилась и понесла на своих вскипающих, кучерявых волнах желтые шапки пышно взбитой пены, вымытые хлебные корневища, сухие выводочки с пашен и срезанный водою кустистый жабрей.

В Гремячем Логу вышла из берегов речка. Откуда-то с верховьев ее плыли источенные солнцем голубые крыги льда. На поворотах они выбивались из русла, кружились и терлись, как огромные рыбы на нересте. Иногда струя выметывала их на крутобережье, а иногда льдина, влекомая впадавшим в речку потоком, относилась в сады и плыла между деревьями, со скрежетом налезая на стволы, круша садовый молодняк, раня яблони, пригиная густейшую поросль вишенника.

За хутором призывно чернела освобожденная от снега зябь. Взвороченные лемехами пласты тучного чернозема курились на сугреве паром. Великая благодатная тишина стояла в полуденные часы над степью. Над пашнями — солнце, молочно-белый пар, волну-

ший выщелк раннего жаворонка, да ма-
нящий клик журавлиной станицы, вон-
зающей грудью построенного тре-
угольника в густую синеву безоблачных
небес. Над курганами, рожденное теп-
лом, дрожит, струится марево, острое
зеленое жало травяного листка, от-
талкивая прошлогодний отживший
стебелек, стремится к солнцу. Высу-
шенное ветром озимое жито, словно на
цыпочках, поднимается, протягивая ли-
стки встреч светоносным лучам. Но
еще мало живого в степи, не просну-
лись от зимней спячки сурки и сусли-
ки, в леса и буераки подался зверь; из-
редка — лишь пробежит по старюке-
бурьяну полевая мышь да пролетят на
озимку разбившиеся на брачные пары
куропатки.

В Гремячем Логу к 15 марта был це-
ликом собран семфонд. Единоличники
сыпали свои семена в отдельный амбар,
ключ от которого хранился в правле-
нии колхоза, колхозники доверху на-
били шесть обобщественных амбаров.
Хлеб чистили на триере и ночью при
свете трех фонарей. В кузнице Ипполи-
та Шалого до потемок дышала широкая
горловина кузнечного меха, из-под мо-
лота сыпались золотые зерна огня, пе-
вуче звенело ковадло. Шалый принале-
г и к 15 марта отремонтировал все до-
ставленные в починку бороны, букке-
ра, запашники, сажалки и плуги. А 16
вечером в школе Давыдов, при большом
стечении колхозников, премировал его
своими привезенными из Ленинграда
инструментами и держал такую речь:

— Нашему дорогову кузнецу, това-
рищу Ипполиту Сидоровичу Шалову,
за его действительно ударную работу,
по которой должны равняться все
остальные колхозники, мы — правление
колхоза — преподносим настоящий ин-
струмент.

Давыдов, по случаю торжественного
премирования ударника-кузнеца све-
же выбритый, в чисто выстиранной фу-
файке, взял со стола разложенные на
красном полотнище инструменты, а
Андрей Разметнов вытолкал на сцену
багрового Ипполита.

— Товарищ Шалый к сегодняшнему
дню на сто процентов закончил ремонт,
факт, граждане! Всего им налажено ле-
мехов — 54, приведено в боевую готов-

ность 12 разнорядных сеялок, 14 букке-
ров и прочее, факт! Получи, дорогой
наш товарищ, наш братский подарок
тебе в награждение и, чтобы ты, прах
тебя дери, и в будущем так же удар-
но работал; что бы весь инвентарь в на-
шем колхозе всегда был на большой
палец, факт! И вы, остальные гражда-
не, должны так же ударно работать в
поле; только тогда мы оправдаем на-
звание своего колхоза, иначе нам пред-
стоит предание позору и стыду на гла-
зах всего Советского Союза, факт!

С этими словами Давыдов завернул
в трехметровый кусок красного сатина
премию, подал ее Шалому. Выразить
одобрение хлопаньем в ладоши гремя-
ченцы еще не научились, но когда Ша-
лый дрожащими руками взял красный
сверток, шум поднялся в школе:

— Следовало ему! Дюже работал!

— Из негодности обратно привел в
годность.

— И струмент получил, и бабе сати-
ну на платью!

— Ипполит, могоарыч с тебя, черный
бугай!

— Качать его!

— Брось, шалавей! Он и так возля
ковадлы накачался!

Дальше выкрики перешли в слитный
гул, но дед Шукарь ухитрился-таки про-
буровить шум своим по-бабьи резким
голосом:

— Чего же ты стоишь молчком? Го-
вори! Ответствуй! Вот уродился чело-
век от супругов — пенька да колоды!

Шукаря поддержали, всерьез и в
шутку стали покрикивать:

— Пушай за него Демид Молчун
речь скажет!

— Ипполит! Гутарь скорее, а то упа-
дешь!

— Гляньте-ка, а у него и на самом
деле поджилки трясутся!

— От радости язык заглотнул!

— Это тебе не молотком стучать!..

Но Андрей Разметнов, любивший
всякие торжества и руководивший на
этот раз церемонией премирования,
унял шум, успокоил взволнованное со-
брание:

— Да вы хучь трошки охолоньте!
Ну, чего опять взревелись? Весну по-
чуяли? Хлопайте культурно в ладошки,
а орать нечего! Цыцте пожалуйста и

дайте человеку соответствовать словам! — повернувшись к Ипполиту и незаметно толкнув его кулаком в бок, шепнул: — Набери дюжей воздуха в грудь и говори. Пожалуйста, Сидорович, длинней говори, по-ученому... Ты зараз у нас — герой всей торжественности и должен речь сказать по всем правилам, просторную...

Не избалованный вниманием, Ипполит Шалый, никогда в жизни не говоривший «просторных» речей и получивший от хуторян за работу одни скучные водочные могарычи, подарком правления и торжественной обстановкой его вручения был окончательно выбит из состояния всегдашней уравновешенности. У него дрожали руки, накрепко прижавшие к груди красный сверток, дрожали ноги, всегда такой уверенной и твердой раскорякой стоявшие в кузнице.. Не выпуская из рук свертка, он вытер рукавом слезинку и докрасна вымытое по случаю необычайного для него события лицо, сказал охрипшим голосом:

— Струмент нам конечно нужный... Благодарные мы... И за правление, за ихнюю эту самую... Спасибо и ишо раз спасибо!.. А я... раз я кузницей зараженный и могу... то я всегда, как я нынче — колхозник, с дорогой душой... А сатин конечно бабе моей сгодится... — Он потерянно зашарил глазами по тесно набитой классной комнате, ища жену и втайне надеясь, что она его выручит, но не увидел, завздохал и кончил свою непросторную речь: — И за струмент в сатине... и за наши труды... вам, товарищ Давыдов, и колхозу спасибо! Разметнов, видя, что взволнованная речь Шалого приходит к концу, напрасно делал вспотевшему кузнецу отчаянные знаки. Тот не хотел их замечать и, поклонившись, пошел со сцены, неся сверток на вытянутых руках, как спящее дитя.

Нагульнов торопливо сдернул с головы папаху, махнул рукой: оркестр, составленный из двух балалаек и скрипки, начал «Интернационал».

Бригадиры Дубцов, Любишкин, Демка Ушаков каждый день верхами выезжали в степь смотреть, не готова ли к пахоте и севу земля, пашни. Вес-

на шла степями в сухом дыхании ветров. Погожие стояли дни, и первая бригада уже готовилась к пахоте серо-песчаных земель, бывших на ее участке.

Бригада агитколонны была отозвана в хутор Войсковой, но Ванюшку Найденова, по просьбе Нагульнова, Кондратько оставил на время сева в Гремьячем.

На другой день после того, как премировали Шалого, Нагульнов развелась с Лушкой. Она поселилась у своей двоюродной тетки, жившей на отшибе, дня два не показывалась, а потом как-то встретилась с Давыдовым возле правления колхоза, остановила его:

— Как мне теперь жить, товарищ Давыдов, посоветуйте.

— Нашла о чем спрашивать! Вот мы ясли думаем организовать, поступай туда.

— Нет уж, спасибо! Своих детей не имела, да чтоб теперь с чужими нянчиться? Тоже выдумали!

— Ну, иди работать в бригаду.

— Я — женщина нерабочая, у меня от польской работы в голове делается кружение...

— Скажите, какая вы нежная! Тогда гуляй себе, но хлеба не получишь. У нас «кто не работает, тот не ест»!

Лушка вздохнула и, роя остроносым чириком влажный песок, потупила голову:

— Мне мой дружок Тимоша Рваный прислал из города Котласу Северного краю письмецо... Сулится скоро прийти.

— Ну, уж это чорта с два! — улыбнулся Давыдов, — а если и придет — мы его еще подальше отправим.

— Значит ему не будет помилования?

— Нету! Не жди и не лодырничай. Работать надо, факт! — резко ответил Давыдов и хотел было итти, но Лушка, чуть смутившись, его удержала. В голосе ее дрогнули смешливые и вызывающие нотки, когда она протяжно спросила:

— А может, вы мне жениха бы какого-нибудь завалыщенького нашли?

Давыдов злобно ощерился, буркнул:

— Этим не занимаюсь! прощай!

— Погодите чудок! Ишо спрошу вас!

— Ну?

— А вы бы меня не взяли в жены? — в голосе Лушки зазвучали прямой вызов и насмешка.

Тут уж пришла очередь смутиться Давыдову. Он побагровел до корней зачесанных вверх волос, молча пошевелил губами.

— Вы посмотрите на меня, товарищ Давыдов, — продолжала Лушка с напускным смиренным, — я женщина красивая, на любовь дюже гожая... Вы посмотрите: что глаза у меня хороши, что брови, что нога подо мной, ну и все остальное... — она кончиками пальцев слегка приподняла подол зеленой шерстяной юбки и, избоченясь, поворачивалась перед ошарашенным Давыдовым: — Аль плоха? Так вы так и скажите...

Давыдов жестом отчаяния сдвинул на затылок кепку, отвечал:

— Девочка ты фартовая, слов нет. И нога под тобой красивая, да только вот... только не туда ты этими ногами ходишь, куда надо, вот это — факт!

— Это уж где хочу, там и топчу! Так, значит, на вас мне не надеяться?

— Да уж лучше не надейся.

— Вы не подумайте, что я по вас сохну или пристроиться возле вас желаю. Мне вас просто жалко стало, думаю: «Живет молодой мужчина, не женатый, холостой, бабами не интересуется...» И жалко стало, как вы смотрите на меня и в глазах ваших — голод...

— Ты, чорт тебя знает... Ну, до свиданья! Некогда мне с тобой, — и шутиво добавил: — Вот отсеемся, тогда, пожалуйста, налетай на бывшего флотского, да только у Макара разрешение возьми, факт!

Лушка захохотал, сказала вослед:

— Макар от меня все мировой революцией заслоняется, а вы — севом. Нет уж, оставьте! Мне вы, таковские, не нужны! Мне горячая любовь нужна, а так что же?.. У вас кровя заржавели от делов, а с плохой посудой и сердцу оступал!

Давыдов шел в правление, растерянно улыбаясь. Подумал было: «Надо ее как-нибудь к работе пристроить, а то собьется бабочка с правильных путей. Будни, а она вырядилась и такие разговорчики...» — но потом мысленно махнул рукой: «Э, да прах ее возьми! Са-

ма не маленькая, должна понимать. Что я, в самом деле, — буржуйская дама с благотворительностью, что ли? Предложил работать, — не хочет, ну, и пусть ее треплется!»

У Нагульнова коротко спросил:

— Развелся?

— Пожалуйста без допросов! — бормотнул Макар, с чрезмерным вниманием рассматривая на своих длинных пальцах ногти.

— Да я так...

— Ну, и я так!

— И чорт с тобой! Спросить нельзя уже, факт!

— Первой бригаде бы выезжать пора, а они проволочку выдумляют.

— Ты бы Лужерью на путь наставил, она теперь — хвост в зубы и пойдет рвать!

— Да что я поп ей или кто? Отвяжись! Я про первую бригаду говорю, что завтра ей край надо...

— Первая завтра выедет. А ты думаешь это так просто, развелся и — ваших нет? Почему не воспитал женщину в коммунистическом духе? Одно несчастье с тобой, факт!

— Завтра сам на поля поеду с первой бригадой... Да что ты ко мне привязался, как репей? «Воспитать, воспитать!» Каким я ее чортом воспитал бы, ежели я сам кругом невоспитанный? Ну, развелся, еще чего? В'едливый ты, Семен, как лишай!.. Тут с этим Банником, в рот его махай! Мне самому до себя, а ты ко мне с предбывшей женой...

Давыдов только-что хотел отвечать, но во дворе правления зазвучала автомобильная сирена. Покачиваясь, гребя штангой талую воду в луже, в'ехал риковский фордик. Распахнув дверцу, из него вышел председатель районной контрольной комиссии Самохин.

— Это по моему делу... — сморщился Нагульнов и озлобленно озирился на Давыдова. — Гляди, ишо ты ему про бабу не вяжи, а то подведешь меня под монастырь! Он, этот Самохин, знаешь, какой? «Почему развелся да при какой случайности?» Ему — нож вострый, когда коммунист разводится. Поп какой-то, а не РКИ. Терпеть его ненавижу, чорта лобастого! Ох, уж этот мне Банник! Убить бы гада и...

Самохин вошел в комнату, не выпуская из рук брезентового портфеля, не здороваясь, полушутливо сказал:

— Ну, Нагульнов, натворил делов? А я вот через тебя должен в такую расторопь ехать. А это что за товарищ? Кажется Давыдов? Ну, здравствуйте, — пожал руки Нагульнову и Давыдову, присел к столу. — Ты, товарищ Давыдов, оставь нас на полчаса, мне вот с этим чудяком (жест в сторону Нагульнова) потолковать надо.

— Валяйте, говорите. — Давыдов

поднялся, с изумлением слыша, как Нагульнов, только-что просивший его не говорить о разводе, брякнул, видимо, решив, что «семь бед — один ответ»:

— Избил одного контрика, верно, да это еще не все, Самохин...

— А что еще?

— Жену нынче выгнал из дому!

— Да, ну-у-у?.. — испуганно протянул большелобый, тощий Самохин и страшно засопел, роясь в портфеле. молча шелестя бумагами...

(Продолжение следует)

Досрочное успокоение

Рассказ

Ив. ТРУСОВ

Бубновые листья летели с широкого клена, бушевавшего у крыльца, гнались за ветром.

Они стаями мелькали мимо окна.

Прядки пеньки то вспыхивали золотисто, то меркнули,—мнилось, что солнце мигает и вот-вот погаснет, как лампа.

Это угнетало Захара Карпыча.

Веревка нарастала вялая.

Извив полгорсти пеньки, он взял еще полгорсти, отделил длинную прядь. Она мела по полу, путалась. Он укоротил веревку, завязав ее петлей,— и руки его дрогнули. Он посмотрел на плоские свои ладони, ища занозу. Были изъедены землей и годами, в бороздах морщин его ладони. Он оделся в порывелый суконный армяк и тихо, снулой походкой, вышел в сени, не убрав пеньки.

В переднем углу лежал топор.

Захар Карпыч поднял его, повернув, осторожно потрогал загнутым большим пальцем блестящее лезвие.

Оно оказалось тупым, в зазубринах.

Было странно, что этого не замечал раньше.

— Давно надо бы поточить!

Подивясь, Захар Карпыч поставил топор обратно в угол—лезвием к ногам, как не полагалось,—и задумался, стоя у порога: каким бы заняться делом?

Думал долго и все не мог сообразить, найти, что необходимо сделать по хозяйству, словно бы оно было чужое.

В тоске и не веря себе, он прошел во двор: не требуют ли починки дощатые кормушки?

Имелись они в каждой закуте.

Наугад Захар Карпыч шагнул в

среднюю закуту, отепленную: с печкой и потолком в паз, и тут же, попятясь, хлопнул перед собой дверь: из полутьмы, лиливо светясь, смотрели большие коровьи глаза.

Он знал, что закута пуста.

Комолку и Белоголовую, из опаски и для примера мужикам, Захар Карпыч, скрепя сердце, зарезал в позапрошлую зиму, когда объявлено было про обязательный колхоз; а Красавку, самую удойную, недавно взяли за невыполнение им твердого задания по мясозаготовкам.

Этого он забыть не мог.

Красавка была последней его коровой, и она часто снилась ему.

Наклонив рога, она смотрела на него безнадежно и тяжело, как перед убоим, а он, хозяин, не мог, не имел сил встать и увести ее к себе во двор.

— Неужто и опять красавкины глаза?

Зябко приподняв плечи, как почему-то делал это и во сне, когда пытался очнуться, Захар Карпыч вышел на середину двора, открытую солнцу, на ясно лоснившийся соломинками сухой навозный настил, и тут только, потупись, нечаянно предположил:

— Может, просто гнилушка?!

Догадка эта ободрила его. Но итти ни в одну из закут охоты уже не было. И, постояв в солнце, он ищуще направился под косой широкий навес, что полпирали толстые дубовые столбы.

Вдруг словно бы фыркнула лошадь— да так и показалось сперва, хотя мерин пасся на зеленях,—вспугнуто вспорхнула стайка воробьев. Они взлетели в голубой прогал между крашенных сурь-

ком железных крыш и, сбитые ветром, как листья, сникли на огород.

«Бывало-то... — вздохнув, подумал Захар Карпыч.—Бывало кишат под ногами, хоть наступи. А то вот... одичали!»

В решетке длинных яслей, стоявших по-у стены под навесом, не доставало двух поперечных палочек. Но, заметив это, Захар Карпыч несколько не обрадовался вдруг найденному делу—вставить новые палочки, чтобы не выпадал корм. Он даже не подсадовал, спохватясь тут, что не взял с собой топора...

Раньше в ясли эти он наминал мягкого серо-зеленого сена сразу для четырех лошадей. А вот не выгодно стало иметь и одну пару, и, продав жеребца Игруна, он остался с одним и старым уже чалым меринком. Одной же лошади—место и кормушка в любой из опустевших закут. Но зимовать ли и мерину на этом дворе? И будет ли тогда Захар Карпыч хозяином?

Уйдут последние «диноличники» в колхоз, станет все село колхозным, а Захару Карпычу не понимать ли, что ожидает тогда тех, к каким причислен он?

Последний мерин, двор, просторный каменный, и лучший в селе дом, и все, чему он еще хозяин, на чем стоит его жизнь,—будут отчуждены от него, а ему, Захару Карпычу Шуякову, покачиваясь у люка теплушки, тоскливо считать белозубые столбы по неотвратимому железному пути...

Так может статься!

Стоя у яслей, Захар Карпыч смотрел на них недоуменно, с испугом, точно бы перед ним щерил ребра пустой лошадиный скелет, и вдруг, отвернувшись, он угнетенно, со злостью сказал:

— Веревку вил, а зачем? Повесить-ся, что ль, на ней!

Половинка высоких дубовых ворот отошла тяжело, с ржавым скрипом.

Выйдя со двора, Захар Карпыч повернулся закрыть ее, — ветер, ударив сналету, на-двое разделил легкую длинную его бороду. На два косых клина, дабы видно было медаль, расчесывал бороду и сам Захар Карпыч в бытность свою сельским старостой. И точно бы ветер этот дул из тех далеких лет, укатиившихся кругло, как счастли-

вый серебряный рубль с кону,—взяло вдруг Захара Карпыча неясное желание итти поперек грядок, навстречу ветру.

Но не широк, урезанный в передел, и острым частоколом обнесен был крайний от выгона огород.

За выгоном, ровным, как ток, пышными ометами, стоявшими в три ряда от поля, островерхими скирдами, похожими на новые двухэтажные срубы, богато и мощно громоздилось колхозное гумно.

«Хлеба-то, хлеба-то наворочено!—не сдержался Захар Карпыч. Восхищение его было невольным и искренним, как обмолвка, словно бы он впервые видел и не знал, чье это гумно. И, спохватясь, в досаде, он резко добавил:—Да. Но зато и поле-то колхозу отхвачено велико!»

Имел бы Захар Карпыч такое поле. разве бы...

А, может, и имел бы!

Но пусть и деньги, что копил в Поземельном банке, и право на покупку земли сгнули в первый год революции, пусть только с тесным наделом по числу едоков и с парой добрых лошадей остался он, Захар Карпыч,—сметлив, хозяйственен его глаз, цепки руки, а безлошадному хоть когда выгоднее сдать свои загоны исполу, нежели горько любоваться по весне, как цветет на них польнь,—и в революцию хозяйство Захара Карпыча долго было крепким, лучшим изо всего села!

От петушиной зари дотемна гудела, пыла, молотилка на просторном току... и гудела бы так она и в эту вот осень. и росло бы хозяйство, если бы не встал поперек колхоз.

Радовался Захар Карпыч, когда обреченно и легко, словно слепленная ребятней снежная изба, подмываемая вешними ручьями, распадался круто собранный, поголовный колхоз,—суматошно-решительные и злые уводили по мартовской растепели мужики и бабы зарпашивевшую на тесных общих дворах свою скотину домой! Но оказалось, что радовался он напрасно: колхоз возник вновь уже из одних добровольных и с новым распорядком, без обязательного обобществления овец и коров,—и вот через полгода этот колхоз вырос вдвое. Напрасно радовался Захар Карпыч и неполадкам, порой несуразным до

смеху неурядицам в работе колхозников на поле и на разделанных у реки огородах: вот оно мощно громоздится ометами и высокими скирдами, богатое колхозное гумно!

— Да, но обмолотить-то урожай не успели! — как бы в ответ себе, невеселым своим думам, злясь, сказал Захар Карпыч. — Не успели вот...

Пораженный новой мыслью, он ухватился вдруг за колья, привстал на носках мягких чуней, застыл так, глядя дико, как через решётку, и пальцы его рук, стиснувших колья, заняли щекотно и остро, как от ожога.

По вершинам ржаных ометов, пышных, еще не успевших осесть, были положены вдоль длинные слегги (чтоб не поддуло, не разворотило верха).

Подхватываемые ветром, над слеггами взметывались, хлестали блестящие желтые космы... и это не космы соломы, а яркое бездымное пламя металось над ометами.

Так казалось Захару Карпычу.

Письма Захар Карпыч ни от кого не ждал.

Но ему хотелось побыть на людях, поговорить, вспомнить, что в этот день приносят почту, — он направился в сельсовет.

Слободой он шел тихо, ссутулясь, с заложенными за спину руками, незаметно переняв привычку эту от Зосима Лотова, самого кроткого старика в селе, и все надеялся, идя неспеша, что его окликнет кто-либо из мужиков.

Но пуста была улица, запертыми стояли ворота сараев, и неприятно, холодно гудели древние вязы и ветлы у изб.

Нелюдно было и в сельсовете.

Председатель Шура Петрова, в бесшумной своей зеленоватой юнгштурмовке, сидела за столом, покрытым газетой, и выслушивала на кого-то жаловавшуюся ей длинноликую, худую Дарью Салиху. Секретарь Ефим Захаев, плоскоглазый молчаливый мужик с красными, не по характеру веселыми усами, горбясь, писал за другим столом, у заднего окна.

Все эти люди были неприятны Захару Карпычу, особенно Петрова.

В душе он не мог примириться с тем,

что председателем — девчонка. Это была как издевка над ним самим, ходившим некогда в сельских старостах, издевка над почетным его прошлым. И того, что Петрова, годившаяся в младшие дочери любому из мужиков, посмела быть председателем — этого он не мог ей простить. Сперва он ехидно ухмылялся: вот опозорится девка! Но вскоре село признало, что лучшего предсельсовета еще не было и не надо, хотя и не подвичьи настойчива, строга была она, Петрова, и он при встречах стал превеличенно отчески как бы ласков с ней. Даже как-то в ее присутствии, он заботливо сказал мужикам:

— Старательна дюже, горяча, а много ли у нее, у этакой кволой-то, силы?! Избегается, измытарится, бедная, с незознательными нами. Взвалили все дела на одно! Помощника бы...

Шура Петрова, верно, квола была с виду, тонкая, с сухим, без румянца лицом, и даже красива — какою-то непрочной, недеревенской красотой. Она слышала эти слова Захара Карпыча; сведя острые брови, взглянула на него настороженно, с усмешкой, и он, уловив понимающий ее взгляд, оробел и с того дня уже не рещался говорить с председателем ласково. Он, много выживший, и в этом оказался побежденным ею, комсомолкой, и оттого почувствовал к ней еще большую неприязнь.

Петрова, слушая Салиху, казалось, не заметила, как вошел Захар Карпыч, не подняв лица, продолжала чертить треугольники граненым карандашом. Не ответил на поклон и Ефим, только глянул мельком.

«Не молодой ведь, стыдился бы на таком зряшном деле сидеть да еще спесивиться!» — осуждающе подумал Захар Карпыч, однако, подойдя, осведомился мягко, с оттенком уважения:

— Почтарь приходил, Ефим Ваньч?

— Был, — обмакнув перо, Ефим кивнул к окну.

На подоконнике лежало с полдюжины отштмпелеванных конвертов да три-четыре газеты.

Кивок секретаря Захар Карпыч понял как указание, что и для него, Шуякова, есть письмо. «Вот как?! — изумился он. — От кого бы это?!» Он быстро перебрал все конверты, заглядыв-

вая на адреса,—письма для него не оказалось. Он почувствовал себя обманутым, обиделся на Ефима. «Но Ефим Захаев не такого характера, чтоб шутить?!» И верно: из-под газеты торчал углом бледносерый, с просвечивающими лиловыми полосками конверт. Захар Карпыч сразу поверил, что письмо это—для него от знакомого, из города письмо! Он взял его неспеша. На крышке конверта неровным почерком было косо написано: «Адр. Полухину».

«Адриану? Почему Адриану? Как же так?!»—удивленно, с испугом подумал Захар Карпыч. Он вновь прочитал адрес, и опять: «Адр.» и «Полухину», а не Шуякову!

Письмо было чужое.

Захар Карпыч устало сел на скамью, прислонился к стене, все еще держа конверт,—почему-то жалко было положить его обратно на подоконник. «Полухину? Что ж, отнесу Полухину!»—решил он, вдруг вспомнил: просторная горница в его доме оклеена серебристыми в лиловую полоску обоями. Он по дешевке приобрел их у своего городско-го знакомого, тайно ссыпавшего хлеб. Было это лишь два года назад,—и тогда он, Захар Карпыч, украшая горницу, и не думал, что придется ли ему до старости дожить, умереть в собственном доме!..

— Ты что пришел-то?—неожиданно спросил Ефим.

Захар Карпыч встал.

— По делу, что ль?

— Да как тебе... В роде бы по делу. Газетку вот... нельзя ли, Ефим Ваныч?

— С собой—нельзя! Подписчикам газеты...

— Про войну, слышно, пишут-то. Вот-вот, будто-бы—война! Правда это?

Ефим дышал на штемпель, округлив рот, раздуваемые усы его стали еще пышнее и ярче, как огонь.

— Вот гады! И чего бы им, жирова-ли бы у себя—ан нет, неймется!—продолжал Захар Карпыч со строгим осуждением в голосе.—Перевешать бы их всех, гадов!

— Кого это?—спросил Ефим, стукнув штемпелем.

— «Кого»? Буржуев, ясно! Мало им все, к нам норовят...

Ефим улыбнулся, вынул из разорван-

ной синей пачки папиросу и, закурив, принялся просматривать какой-то список; плоский, желтый глаз Ефима, сидевшего к окну боком, закачался, как маятник,—против столбца фамилий на листе стоял столбец цифр.

«Ведомость по обложению!»—догадался Захар Карпыч, искоса глянув на список. Так и не вызвав секретаря на разговор, он подошел к столу председателя, стал рядом с Дарьей Салихой. Баба, повеселевшая с виду, ждала прищеплеванную бумажку, что перечитывала Петрова.

Наклонясь к Петровой, Захар Карпыч негромко спросил:

— Скоро, что ль, раскулачишь-то меня?

— Подожди,—читая, ответила та.

«До коли же?! Истомился совсем!»—хотел было уязвить Петрову он, хотя ясно и не осознавал, чем эти слова были бы ей неприятны? Но она тут, подав Салихе бумажку, взглянула на него:

— Ну что?

— Обидела ты меня, товарищ! Обидела, говорю...

— Как это? Все о корове, что ль...

— Ну! Бог уж с нею, с коровой-то. Про собрание я... Слышал, злостным несдатчиком ты меня обозвала...

— Ну и что? Хлеб-то ты не вывез...

Но Захар Карпыч словно бы и не слышал.

— Обозвала. А мне... мне, может, это—вот, «злостный»-то!—махнул он рукой у шеи, развеяв бороду.—Меня и так чорт знает за кого считают!.. Обидно. Разве бы я не вывез? Мерин мой захромал...

— Вот оно что!—усмехнулась Петрова, сказала мягко, как и он ей раньше:—Потому, значит? Ну так уж и быть хлеб твой мы сами вывезем...

Захар Карпыч выкрутил глаза, пожал плечами.

— Зачем сами? Вот перекую мерина—и вывезу. Хоть и под метелочку почти, честно говорю—под метелочку, а вывезу сполна! Ведь государству хлеб нужен! Разве я не понимаю?

Петрова отодвинула от себя по столу краснопузое пресспапье, облокотясь, вопросительно посмотрела на Салиху, все

еще стоявшую перед нею. Та неуверенно сказала:

— А может, и без суда, как Шур? Может, уведестишь его, чорта...

— Суд «усовестит»! Да чего ты?

— Ведь сосед он мне, Шур! Подашь в суд, а потом-то как? Он же совсем тогда заест,—косясь на Захара Карпыча, со вздохом сказала Салиха.—Да и свидетели... Они тоже ему соседи, вдруг и откажутся: не видали, мол...

— О ком это? О Сергее, что ль, а?— полюбопытствовал Захар Карпыч.

— Нет. Об Акиме. Доски он у меня брал. Весной. С закрома доски... «Все равно, говорит, закром твой пустует. А мне, говорит, позарез сейчас нужны доски. К осени, мол, отдам, новыми...»

— И не отдал?

— Пять штук вернул, да и те короткие. Говорит, «пять и брал». Жадюга, чорт!

— Да, жадюга! Это правда, хотя и кум он мне. А вот насчет досок-то... Трудно будет доказать, что не пять ты дала. Трудно,—и, отставив ногу, потупясь, Захар Карпыч задумался.

Салиха и Ефим ожидающе смотрели на него. Петрова, балуясь, указательным пальцем раскачивала пресспапье.

Скашлянув, Захар Карпыч деловито спросил:

— Хлеб-то вы, колхозники, скоро домолотите?

— А вот-вот, на-днях!—поспешно, с какой-то надеждой ответила Салиха.— Уберем вот капусту, пока до морозца,—и прямо на молотьбу...

— Ну вот, Дарья! Как получишь свою долю из урожая—приходи ко мне за досками,—сказал Захар Карпыч.—Закромов-то у меня сколько, а все одно пустые. Задарма досок дам. Почему не помочь!

Петрова осторожно поправила коричневый ремешок на плече, потом свела узкие брови, как делала всегда, намереваясь отвечать, но сказать она ничего не успела.

— Счастливо оставаться!—попросался Захар Карпыч. Он сунул письмо за пазуху, надевая на ходу картуз, спокойно вышел из сельсовета.

«У меня одно счастье—детей нет!»— говорил Адриан Полухин в годы сво-

его пастушества. Но и горькое это счастье хитро изменило ему. Забрали Адрияна на войну, в том же четырехнадцатом году он попал в плен, а когда вернулся в родное село, почти уже забывшее о нем за семь лет,—встречен был у порога своей полусгнившей низкой избы белобрысым мальчуганом в продранных на коленках ситцевых штанишках. Воззрясь на Адрияна, мальчуган этот растопырил короткопалые ручонки, словно бы не пуская в сени, испуганно, во весь рот заорал: «Ма-ам, тятка от немца пришел!»

Он узнал Адрияна по блестящей карточке, что мать получила почтой незадолго перед тем,—узнал скорее не в лицо, а по одежде. Отощавший, почерневший за недели мыканья по вокзалам, езды на буферах и крышах теплушек, Адриан, однако прибыв на свою станцию, оделся в тот самый, в каком и заснят был в Германии, крапчатый, цвета лягушачьей спины, шерстяной костюм, надел мягкую с широким козырьком многоугольную кепи, хотел изумить село.

Село действительно изумилось: спева богатому костюму Адрияна, потом живучести его бабы. Мальчугана она прижила с одним из военнопленных, что работали у помещика, и, узнав это, Адриан избил бабу так, что ее едва отлили водой.

Щеголять же нарядом Адрияну пришлось недолго. Жить было нечем. Он обменял костюм на муку и снова оделся в уцелевший как-то свой пастушечий армяк, обул пеньковые чуни.

Но село ошиблось в дальнейшей судьбе Адрияна Полухина,—то ли потому, чтобы, не ходя по череду, меньше слышать обидных шуток, то ли, что, побывав за границей, он загордел,— Адриан наотрез отказался принять прежнюю обязанность пастуха.

Тогда Захар Карпыч проникся уважением к Адрияну, веселым уважением за храбрую его гордость. Он первым пришел к Адрияну. Сперва послушать о жизни немецких мужиков, а потом и на помощь пришел. Взяв в аренду Адрианову землю, какой тот наделен был по закону революции, самого Адрияна Захар Карпыч, приятель попу, устроил на нетрудное и почетное житье пономаря.

С той поры Адриан жил при церкви Умелым прислуживаньем он снискал благорасположение причта, прославился малиновым и веселым, как пастушьим заяц. трезвоном сразу во все колокола. И только одно событие за все эти годы произошло в спокойной жизни Адриана: выросши ему по плечо, белокуроый пасынок его сбежал в Тулу.

От пасынка и было Адриану письмо. Захар Карпыч полагал, что в письме этом будет упомянуто и насчет войны—будет ли она? в городе это известнее,—слушал напряженно, но ни одним словом не обмолвился о том паренек, скончивший письмо так:

«...а вечерами учусь, и скоро меня передадут в ленинский комсомол. А вам, родители, как уже писал я, опять разясняю: позорно жить от церкви, как есть она для трудящихся один обман. Вступили бы в колхоз. А то не ждите от меня писем, и не приеду к вам никогда».

— Сопляк! Указывать еще вздумал, старшим указывать!—заругался Адриан, дочитав письмо, и, помолчав, добавил равнодушно.—И «не приеду»! Да не приезжай...

Но пальцы его дрожали.

Исписанный лиловыми чернилами, полосатый листок вдруг выпорхнул из его рук, трепеща, полетел за ветром.

Адриан с пренебрежением, будто сам бросил, плюнул вслед листку, достал берестяную табакерку. Щурясь, он долго втягивал то одной, то другой ноздрей табак, затем сокрушенно вздохнул.

— Ну, и времена!

— Да чего еще хуже! Ни совести, ни бога,—поддакнул Захар Карпыч.

Они сидели на перевернутом плоскдонном корыте, у стены сторожки, лицом к паперти, одинокие в просторном церковном дворе.

— Оно в душе-то конечно не каждый охладел к вере, да толку-то что?—подумав, сказал Адриан и кивнул на церковь.—Вст она, матушка, какой год стоит без побелки, и хотя бы заикнулся кто о том, что побелить-де надо. Срам! Храм божий—и пегий весь. Будто не храм, а...

Он богобоязненно перекрестился, за-

пнувшись на слове.—Прости ты, господи!—Заговорил с большей обидой.

— Времячко! Бывало-то идешь по приходу... Иной, хотя и беден-беден, а стыдится дать меньше, нежели сосед. А ныне да ть стыдятся! Особенно колхозники...

— А вот войдут и остатние в колхоз, тогда вам с батей совсем крышка!—в шутку как бы заметил Захар Карпыч.

Адриан пристально поскреб синим ногтем пятышко воска на рукаве, похожее на чешуйку, и, не сковырнув, сказал неуверенно:

— Ну! а войдут, то не скоро. С чего ты взял?

Захар Карпыч не ответил, думая: сказал ли он «скоро войдут»? Слово «скоро» жило в нем, как отзвук только что сказанного, и было неясно, почему вдруг возникло оно, угнетающее это слово?

— Говорил что ли с кем, Карпыч?—переспросил Адриан.

Припомнив все за день, Захар Карпыч вдруг понял, откуда он знает, что единоличники села скоро вступят в колхоз, и, насупясь, ответил сердито:

— Без разговоров видно!

— Как это?

— Вот шел слободой. Почти у всех единоличников избы покрыты заново нынешней соломой. Все почти. А разве каждую нужно было крыть в эту осень? А сараи стоят, как и стояли, иные под худыми крышами...

— Да. Значит, решили,—поняв, задумчиво сказал Адриан.

— Значит и скоро войдут! Если ничто не помешает...

— Ну, а что может им помешать?!

— «Что»!..

Захар Карпыч встал, искоса, через плечо, со строгостью посмотрел на пономаря, разглаживавшего на колене надорванный мятый конверт; не сказав больше ничего, он в недовольстве отвернулся к сквозной, в крестообразных оконцах кирпичной ограде.

Широкий клен у ограды, подпаленный осенью, бушевал, как пожар.

Адриан не знал, угадал ли он мысль Захар Карпыча? Сказал нерешительно:

— Разве только перемена какая? Да и то—откуда она!

— Откуда? Ну, с войной или еще как... Не в том дело...

— А в чем?

— Продержаться-то до перемены как?..

— Бог милостив, проживем авось, — вздохнул Адриан, тоже встав.

— Голова!

Адриан, потупясь, молчал.

— Да ну тебя! — осердясь вновь, махнул рукой Захар Карпыч. — Ты вот к делу-то своему тоже так, на-авось...

— Зря это ты, зря! Аккуратно исполняю...

— Зря я ничего не говорю. Хотя бы и вот, — указал Захар Карпыч. Конец длинной веревки, привязанной сверху к языку набатного колокола, мотался над папертью, мимо двери, взлетал на ветру. — Не трудно бы захлестнуть за скобу или за перильца. Зацепится где, а то и на угол карниза ее вскинет... И вдруг всполох надо бить!

— Бог милует. Пожары теперь редки, самогон прикончен...

— Вот и толкуй с тобой. А вдруг да пожар! И не такая беда — мужицкое, а если колхозное гумно загорится?!

— Ну с чего бы ему? И на отшибе оно, — тихо усомнился Адриан.

— Здравствуй! Недовольных-то ай нету? Да вот хотя бы... и ты...

— Я? Как же это — я! Мне тут положено находиться, в набат бить.

Захар Карпыч ухмыльнулся.

— Как? Ишь ты ведь — «хитрость» тоже! — и поясняяще, вполголоса продолжал: — Позвонить-то я... к примеру и я за тебя смогу. Гумно-то колхозное всего через выгон от меня, из окошка увижу, как всполыхнет. В одном исподнем выскочу — да прямо к соседу. Горите-де! Да. И тут же, как и надо, коль первый увидел — бегом к церкви. Ударю в большой! Ох, и позвоню же для них, изо всех сил позвоню, земля будет гудеть! А?

Адриан отвел глаза в сторону, долго смотрел на плечистые намогильные кресты, что торчали между стеной церкви и оградой; потом, еще не глядя на собеседника, он всерьез, с пониманием дела сказал:

— Не стоит так, Захар Карпыч. Ведь это — жизнью рисковать. Язык-то в набатном — десять пудов. Взопреешь,

звонивши так, прохватит ветром — и готов! А жизнь-то, хоть кому она дорога...

— Ладно. Я пиджак надену, — все шутил Захар Карпыч.

— Все равно не стоит. Ну, постукал в один край, для порядку. А так, во весь размах-то, чтобы земля-то гудела, — для чего так? Все одно ни горя, ни убытку от пожара такого никому: хлеб-то колхозный застрахован...

Захар Карпыч опустил косматые вислые свои брови, завесив ими глаза, — против воли, будто принимая удар. Мир показался ему неясным и зыбким, как сквозь косою дождь. И слышно вдруг стало: дрожаще ноет от ветра колокол. (Так при похоронах. Звякнули раз, и ждешь не дождешься, ударят ли еще раз, а медь все звучит ноюще, и может быть, уже и не слышно совсем, а только чудится, что ноет колокол: ведь знаешь, человек умер, и вот несут его!) «А не сердце ли это во мне так?» — в оцепенении подумал Захар Карпыч.

— Вдвое застрахован хлеб-то, — повторил Адриан.

Услышав его, Захар Карпыч зло удивился:

— Ну и пусть, — ну?!

Полухин снова вынул табакерку. Захар Карпыч заложил руки за спину, собираясь итти.

— Погоди. Расспрашивали тут о тебе, — вспомнил вдруг Адриан.

— Это кому же я понадобился?

— Приезжая какая-то. В пальто сереньком, в кепке...

— Я-то ей зачем?

Адриан вынюхал щепотку табаку, после рассказал:

— Вышел я дровец поколоть, идет вон оттуда, с могил, она, эта в кепке-то. Подошла ко мне: «Извините, говорит, правда ли, что Шуяков Захар Карпыч жив?»

— Вот что!

— Да, жив, отвечаю. Она пожала плечами. «Странно» — говорит и тут же рассмеялась. Похоже, над этим словом своим. Веселая, видно, такая. Потом объяснила, а я и сам догадался, — про памятник. «Думала, говорит, что Петрова пошутила. Надпись-то, верно, есть, но ведь последние две цифры могли отпасть или просто кто сбил их. Оказы-

вается, и правда—жив Шуяков!» И опять она: «Странно». Но в этот раз уже не рассмеялась.

— А потом что?—перебил Захар Карпыч.

— Потом она про жизнь твою. Как живешь ты, спрашивала. Только без такого интересу...

— А про это ей и надо было! Не глупа, видать,—заклучил Захар Карпыч, с беспокойством спросил:—По какому делу-то она, не узнал?

— Нет, Карпыч. Не подпало как-то...

— Голова же у тебя, эх! А верезку-то привяжи...

В сердцах Захар Карпыч не попрощался с Адрьяном и пошел, сутулясь, не к шерботой пологой арке ворот, а в обратную сторону—дорожкой по-у плисово залесневелой снизу церковной стены,—пошел к пролomu в низкой каменке, замыкавшей ограду.

Среди редких, светлых кустов, терявших в ветер алые листья, торчали прямые литые кресты, блестели камни памятников с именами господ и попов. Захар Карпыч шел тихо, в досаде на тех, кто был похоронен тут,—ему хотелось сказать что-либо укоризненное и обидное над ихними могилами, да медлил, не снимая странной этой своей досады. Чугунные венки на крестах тяжелели, как память о невозвратном.

За каменной, сложенной крепостными, некогда стоял парк. Его вырубил в ту осень, когда и сгорел двухэтажный, с колоннами, помещичий дом, подожженный так, самосильно, вслепую делавшими революцию мужиками, и теперь отсюда, из ограды, был виден, пышно рдел уцелевший огромный старый сад.

Дорожкой, а потом тополевой аллеей можно было напрямик пройти к постройкам колхозного двора, возведенным на пустыре за садом.

Выйдя за церковь, Захар Карпыч задумался, не рано ли он придет на колхозный двор? Солнце стояло низко, наполовину за гребнем ограды, как накаленная печная заслонка. И колхозники скоро должны были вернуться с работ. Однако забывшись, Захар Карпыч свернул с дорожки.

Он прошел в угол ограды, стал у могилы своей первой жены.

Немало хлопот и денег стоило Захар Карпычу приобрести место для покойницы здесь, возле церкви, где хоронили только дворян и духовных. Но, похоронив ее, он закрепил это место и для самого себя. На темносером, с блестками, шершавом камне памятника была пририта золоченая медная надпись:

здесь покоятся

ЕЛЕНА НИЛОВНА ШУЯКОВА

сконч. 3-го мая 1912 г.

и благоверный супруг ее

ЗАХАР КАРПОВИЧ ШУЯКОВ

сконч. 19 г.

Село не знало, чему больше дивиться: то ли тому, что Захар Карпыч преобрел погостом и добыл место в церковной ограде, то ли тому, что на дорогом памятнике он обозначил и свое имя, лишь оставив пробел для указания времени кончины! Но, подивясь, поахав, мужики вскоре усмотрели во всем этом большой смысл, к Захару Карпычу относиться стали еще почтительней: видно, по достатку своему он не уступит и господам, и вряд ли правда, что не любил он жену, что умерла та, захиревши от расчетливых побоев,—мало что богато справил ее похороны, намерен и в могиле быть возле своей Алены, и видно также, хотя и хлопотливо его хозяйство и сам не стар, а все же больше о душе заботится, о смерти крепко помнит он, Захар Карпыч!

Все это было как раз то, на что и рассчитывал сам Захар Карпыч, заказывая памятник.

Широкоплечий чугунный крест стоял на камне прямо и крепко, незыблемый никакими ветрами. Попрежнему верно мерцал холодными блестками темноватый тесаный камень. Только буквы на нем потускнели, чуть позеленев.

«Не беда, можно бы и заново, по-настоящему позолотить! — рассматривая надпись, подумал Захар Карпыч,—ничего не пожалел бы...»

Да. Он ничего бы не пожалел. Ведь поставив памятник, он считал, что сделал самое верное и мудрое дело в своей жизни!

Вогнутые отвалы плугов жарко сияли, отражая закат. А когда Захар Карпыч, проходя мимо, затенял их, — они голубели, становились глубокими, как небо.

Напрямик от доьдги к воротам сбруйного сарая можно было пройти только среди наставленных во множестве перед ним двухлемешных конных плугов.

Обе бригады пахарей уже успели отвести лошадей в длинную каменную, с полукруглыми окошками, конюшню, убрать хомуты и разойтись со двора.

Лишь у открытых настежь ворот сарая, подле запряженной в низкие окованные дроги буланой лошади, стояло трое парней в густо запыленных сапогах да подвозчик горячего Илья Пойков с подвязанным промасленным фартуком.

Они разговаривали, затажно куря.

— Эх, наярили-то, куда те и зеркало! — кивнул к плугам Захар Карпыч, здороваясь, приподнял картуз.

— А ты как думал? — без улыбки усмехнулся Вася Казак.

Остальные колхозники не оглянулись.

Захар Карпыч пошевелил пальцами бороду и промолчал, вникая в разговор.

— ...что же, то — в пар. А теперь, в зябь — нашим оно будет! Обязательно возьмем, как они ни пыхти, — горячился чернявый Яшка Фомин. — Вот нонче. Мы га с четвертью на плуг, а у них на фордзон...

— Нонче! Что нонче, в пример не бери, — сказал Илья. — Соньки Салихиной трактор полсмены стоял. Подшипники сработала...

— Их дело. За пять пароконных шел фордзон, а вот — сдали! И еще сдают. А мы...

— Нонче и у нас один плуг не в строю был, — в ответ Илье сказал грежий парень и ощерил плотные зубы. — Никитыча плуг. Сами из борозды вывели.

Илья насмешливо фыркнул:

— Плуг? Сравнял! Оборвалась постромка — минутное дело, связал — и пошел. А с трактором-то поди...

Разговаривали колхозники не о том, услышать о чем ожидал Захар Карпыч, идя сюда. Их занимало совсем другое. Это вызывало в нем досаду, как ошибка. И неловко, обидно было стоять так,

молча, незамечаемым как бы не только парнями, но и пожилым, прежде почтительным к нему Ильей Пойковым. Но чтобы вмешаться в разговор, он решил поддержать Илью.

— Известное дело, машина — скрытая вещь! Встала, а отчего? — поди-ко смекни! Одних трубочек да клапанов разных сколько у нее внутри! Это не суньонь затянуть, — подхватил он слова Пойкова и, заметив тут, что тот хмуро взморшил лоб, добавил убежденно: — Зато в работе она, машина-то, — чорт! Как ни горячись, как ни рви себе жилы — впустую, ее не перегонишь!

Парни, кто скашлянул, кто отвернулся, гася окурки о каблук. Перемигнулись. А веснушчатый, с расплуснутым носом Ленька Захаев, улыбаясь, повторил свое:

— Сами из борозды вывели Никитычев плуг-то! Часа два лошади стояли...

— Это для чего же? — заинтересовался Илья.

— Не говорил тебе Пронин?

— Нет. После обеда я впервой еду...

Ленька рассказал:

— Пронин у их — самый ярый. Известно. Фордзон свой насквозь знает. Ни одного простоя. Круг за кругом порет — ровно бешеный, только рев да пыль пеленой. Ну, и надумал Никитыч: «Пойду-де будто за спичками, заговорю его, дьявола! Про попов, аль еще про что этакое. Развесит уши!» А трепунуться-то Никитыч ловок. Известно. Да и сам послушать охоч. Ребята-ему: «Не ходи!» А он свое: «Не мешайте, коль надумал! А лошади мои и без меня среди ваших походят». Значит, и ушел. На тот участок, к тракторам-то...

— Ушел, а мы его плуг — за борозду. Пусть стоит, коли так, — намекаяще посмотрев на Леньку, досказал за него Вася Казак.

Но тот продолжал с ухмылкой:

— Вывели его лошадей. А сами, понятно, пашем. Ждем — нету! Значит, и впрямь стоит с Прониным. Вдруг с пригорка видим: едет наш Никитыч на тракторе! Рядом с Прониным на крыле приломился. И так они вместе — круга три! Все рассказывал, разохотаясь, хотя и грехочет трактор, ай загляделся на его хол...

Пойков рассмеялся.

— Ловко! На обман хотели, а вышло—самих!

Рассмеялись и парни, смущенно чуть. Яшка Фомин тут же сказал:

— Ну! Плуг-то Никитыча стоял. Да все равно вот—по га с четвертью подняли. Так и передай им от обоих бригад: знамя наше будет!

Из сарая кто-то крикнул:

— Илья? Запираю сейчас...

Пойков ушел и вынес из сарая две доски. Он наклонно положил их на задок дрог, на ходу локтем толкнул Яшку в бок.

— Рогожное ваше? Так и не хвалясь вперед!

Бслед за ним ушли в сарай и двое парней.

Захар Карпыч серьезно, будто за тем и подошел, спросил закуривавшего вновь Леньку:

— Жнова-то где бы найти?

— А где ему теперь быть? В правление ступай...

— Заседание, что ли?

— Без того каждый вечер там. Сводки за день, наметка на завтра, да мало ли...

— Это уж конечно, при таком хозяйстве! Голова кругом пойдет, ежели по-настоящему, со смыслом ко всему,—соглашаясь, сочувственно даже сказал Захар Карпыч: ему хотелось попытаться через парня, что думают колхозники о скором распределении урожая, и, вздохнув, он добавил:—Особенно при таком непостоянстве, как у вас...

— В чем же непостоянство-то?—недоуменно вздернул брови парень.

Захар Карпыч, откашлянувшись, сказал тоже с недоумением, в поисках разъяснения как бы:

— Да вот взять хотя бы распорядок ваш. Сперва как убеждали? Всё—на всех. Каждому и на самого, и на ребяташек. И правильно, замечу, раз все общее! А то слышу—в роде бы наоборот. Кто больше выгнал трудодней, кто посильней значит,—тому и долю большую. Всяк для себя, значит? Как и поврозь, когда жили. К старому опять или я не понимаю, а?

Из ворот сарая выкатилась продолговатая, в стоячих обручах, железная бочка. Пойков и плосколикий с редкими усами кладовщик разом уперлись в

бочку ладонями, нутужась и постепенно выпрямляясь, покатали ее по прогнувшимся доскам на дроги...

— Диву даюсь, как же это так? Врозь опять, а называется—колхоз?!—досказал Захар Карпыч.

Парень затянулся из папироски так, что она, зардев с конца, затрещала, выдохнул пушму серого дыма, участливо, но со смеющимся лицом, как показалось в пльвшем дыму, ответил:

— Не понимаешь? Не беда, будешь у председателя, он тебя успокоит...

— А мне что? Мне только чудно! Не моя болячка. А к Жнову я по другой надобности...

Надобности во встрече со Жновым у Захара Карпыча не было. Но, сказав так, он направился прямо к небольшому кирпичному флигелю колхозного правления, что без крыши пока, под сквозившим решетником, стоял перед садом. «Что-нибудь да надумаю!»—решил он.

Отвалы плугов яснили голубовато, трава потемнела. А верха скирдов и ометов на широком гумне за выгоном еще желтели ярко. И, как и днем, зло трепал над ними ветер космы соломы.

Посмотрев от флигеля на гумно, Захар Карпыч взшел по ступенькам и дверь открыл решительно, как человек, входящий по делу.

В правлении было шумновато и накурено; свет семилинейной, с плоским, как луна, зонтом жестяной лампы, уже зажженной под потолком, казался зеленым.

Обсуждали вопрос о перевозке капусты с огородов на станцию, о погрузке ее в вагоны,—это надо было сделать завтра же и так, чтобы не сорвать срок вспашки зяби.

Но это не очень интересовало Захара Карпыча. Вскоре слова говоривших стали для него невняты, далеки. Слушая, он загляделся на плакат, наклеенный в простенке.

Небо и поле зрелой ржи изображены были в ярких красках погожего летнего полдня. Гладкие рослые лошади, попарно впряженные в три новые жнейки, шли, как живые,—все чалой масти, любимой Захаром Карпычем.

Он ехал на передней жнейке, как и надо хозяину. Сплошная рожь, подсекаемая в стальных зубьях, желтой лос-

вящейся волной падала на полоч, мерно взмахивали плоские грабли,—и звенел, ясен был его, Захара Карпыча, счастливый полдень...

У стола захохотали.

Захар Карпыч, вздрогнув, медленно отвернулся от плаката, бочком сел на подоконник.

— Кочаном? и прямо в голову?! — капая чернилами с пера трясущейся ручки, сипло выдохнул счетовод Семен Пантелеич.

— Прямо и влепила! — подтвердил кто-то из тех, кто сидели спиной к двери.

Бритый, с сизыми тугими щеками, зав огородами Дюков добродушно возразил:

— Не влепила! Увернулся я...

— А стоило бы! Да каким потяжелее бы, не забывай! — сказала казначей Марья Пойкова и встала со скамьи, грудастая, с худым строгим лицом. — Не одно фамилие, еще по имени, а иных и с отчеством прописывать надо. Вот выдавала аванс за июль, так Паньшины Арина да Аришка, какая за милиционером-то, — в драку прямо между собой. Одна: «Это у меня двадцать семь ден!» А другая: «Нет, паскуда, — у меня! Это ты день прогуляла!» Разберись! Жаль, ты тут не был, — кивнула она Сурневу, полеводу, — они бы тебе выдрали...

— Ну, у меня крепко, на гвозде.

На скамьях засмеялись.

Шура Петрова, в серебристом прорезиненном плаще стоявшая у переднего окна, заговорила вдруг сердито и горячо:

— Шутки шутками, а дело-то никуда! Ни к чертам дело! К какому! Еще к пятнадцатому было постановлено выдать труд книжки. А выданы ли? Вот они, — оперлась она локтем на одну из стоп сереньких книжек на подоконнике. — Лежат вот и в результате...

— Кочаном капуста по башке! — встал Сурнев.

— ...в результате такого нетерпимого, оппортунистического отношения со стороны правления...

Жнов, совещавшийся вполголоса с Дюковым за столом, поднял на Петрову удивленные глаза, ухмыльнулся:

— Ого!

— Да. Оппортунистического, това-

рищ Жнов! — резко повторила та. — Не ясно? Книжки не розданы, а в результате — подрыв сдельщины! Может быть сорвано и правильное распределение урожая, доходности. Больше! В результате всего этого по вине правления может быть снижен и осенний прилив единоличников в колхоз...

— Дело не в правлении. Пантелеич вот...

Семен Пантелеич обиженно выставил острую медную бородку вперед:

— Я? А мне что — разорваться?! С одними сводками да списками с утра вот до сих...

— Не причина! Такую большую, исключительного значения работу, как выполнение трудовых книжек, надо бы провернуть в первую очередь. Труд книжки необходимо выдать немедленно же! — окончила Петрова.

Жнов насупленно спросил счетовода, оттягивая книзу черный ус:

— Много у тебя осталось-то, Пантелеич?

— Не так уж, меньше трети. До буквы «у» дошел...

— Помощника бы ему, — предложила Марья Пойкова.

— Да. А где взять? В людях и так недостаток, а тут крепко грамотного надо, — сказал Жнов, помолчав, обратился к Петровой. — Слышишь? Крыть-то ты способная, а вот... Учительницам, что ли, предложила бы. Насчет помощи по труд книжкам. Тебе это удобнее, пригласи...

— Сделаю. Давно надумал бы, — согласилась та.

— Всех трех. В два, а то и в полтора дня заполнили бы...

— Всех четырех. Еще одну прислала, — сказал Семен Пантелеич.

«Учителька, значит?!» — удивленно, с удовлетворением подумал Захар Карпыч. Он потому и шел в правление, что беспокоился, не зная, кто она, по какому делу прибыла та, что осматривала его памятник, и вот оказалось, она — просто учительница! Он мог бы теперь идти домой. Но хотелось прежде сказать наверно уже заметившему его Жнову то, будто бы ради чего он, Захар Карпыч, пришел сюда, — сказать то, что взбрело на ум, когда смотрел от флигеля на колхозное гумно. Да еще и

удерживала неясная пока ему самому мысль о труднижках, чувствовал, что необходимо продумать ее сейчас же, не уходя из правления. Он прислонился спиной к косяку окна, сгорбясь, оперся подбородком в колено правой ноги, круто поставленной на подоконник, дремля, словно бы утомлен ожиданием он, Захар Карпыч.

— Значит так. Завтра перевозим капусту? — полуутвердительно спросил Жнов.—Один трактор перебросим на участок конных бригад, взамен лошадей. Все равно его к молотилке взяли бы. А молотьбу придется отложить еще на день—на два, как управимся с огородом. Решено?

— Решено. Скирды-то постоят, а капусту морозом может прихватить...

Полевод Сурнев встал, пожал плечами.

— Это—довод! Но ребята мои, пахари, будут недовольны...

Его не слушали. Вставали, двигали скамьями, шли к выходу.

Жнов застегнул каляный, брезентовый свой пиджак на все пуговицы, взял было кепку, но, увидев Захара Карпыча, опять сел за стол, принялся писать что-то. Захар Карпыч, думая, поднимал и опускал медную задвижку на новой створчатой раме окна. Встретившись глазами со Жновым, он убрал ту руку, зевая, перекрестил рот, оставив задвижку поднятой.

Колхозники, проходя к двери, обращались к нему непонимающе, с любопытством,—видимо, они только теперь заметили его в правлении. Захар Карпыч сидел неподвижно, и только когда Марья Пойкова, шедшая позади всех, бацнула за собой дверь,—он слез с подоконника, подошел к столу.

— Ну?—спросил Жнов.

Он сказал это равнодушно, даже со скукой в серых твердых глазах. Захару Карпычу стало обидно; он полагал, что председатель правления будет изумлен и насторожится,—ведь он же кулаком считается, Захар Карпыч! Став коленом на скамью, он наклонился вперед и ответил озабоченно:

— Насчет гумна я. Вашего гумна...

— Что такое?

— Беспокоюсь очень. В иную ночь и не заснешь никак...

Глаза Жнова стали шире, светлее; теперь он был удивлен:

— Про что ты?!

— Про гумно ваше, колхозное то есть,—терпеливо повторил Захар Карпыч.—Беспокойство берет. Мало ли недовольных, всякие есть, пусть иной и на хорошем счету... Вдруг да подожгут ваше гумно!

— А тебе то что за беда?!

— Известно. На меня прежде всего подумаете-то! Шуякова, мол, дело, он—кулак...

— А!—улыбнулся Жнов.—Понятно. А «беспокоишься»-то ты напрасно; на гумне у нас сторож...

— Беду не устроишь! Поджечь—это не воз ржи насыпать; кинул спички—и пошло драть, особенно при таком ветру!—Захар Карпыч подумал и дополнил с усмешкой:—Да и что сторож? Вот позавчера пошел я мерно своего искать, на рассвете уже. Обапол вашего гумна по зеленым иду, и хоть бы кто окликнул раз! Я даже нарочно подошел к самому омету—нету никого...

— Правда? Нагоняй дам сторожу. А ты... спи спокойно, сам пойду, проверю караул...

— Каждую ночь, каждый час ходи—и то не спасет. Уж молотили бы скорей!—вдохнул Захар Карпыч.

— Обмолотим. Для тебя—поторопимся. Обмоло-отим вот,—рассеянню, все улыбаясь, сказал Жнов, а сам искал что-то на столе.

Он рылся под бумагами, перекладывая большие конторские книги, и все бормотал: «Обмолотим!» Искоса следя за ним, Захар Карпыч думал: заметил ли Жнов, как он трогал задвижку на раме? «Если заметил, обязательно проверит, заперто ли окно?»

— Вот он, чорт, где был! Сронили,—обрадовался Жнов, подняв с полу плоский замок.

Надев кепку, он встал на скамью, дунул в горелку лампы.

Били часы.

Били мерно, с дребезжаньем—дрры-ын... дрры-ын... дрры-ын... удар за ударом; древнее «ы» плыло и зыбилось, и воздух ныл, как под колоколом.

— Неужели только двенадцать! — изумился Захар Карпыч, вдруг очнув-

шись.—А может быть, утро? Он открыл глаза. В доме темно и тихо, лишь чотко чокает мятник.

Или это почудилось, что бьют часы?! Нет, Захар Карпыч уже не дремал, когда последний их удар упал за тонкой перегородкой. А может, и не полночь, а одиннадцать или меньше пробило?—и еще рано итти ему...

Захар Карпыч встал с постели, пошел к двери горницы. Она заперта, заскрипит дверь; чтобы посмотреть на часы, надо вздуть спичку—проснется жена! из-за двери слышалось, ровными волнами шло спокойное дыхание. Да, она спит, баба! Наверное спят все и в слободе, да и не слободой итти ему, Захару Карпычу!

Армяк остался на постели; Захар Карпыч, обутый, накрывался им. Он вернулся к постели на помосте за печкой, одел армяк в рукава. Наидя и картуз, он тихо вышел из дому.

В небе иступленно горели частые звезды, дрожали от напряжения. А дорогу в черной траве можно было отличить только наощупь.

Захар Карпыч дорогой пошел к выгону, в сторону колхозного гумна. Пряди легкой бороды, разделенной ветром на-двое до подбородка, трепетали на плечах. Потом ее отнесло вправо,—Захар Карпыч свернул за угол сада, гудевшего туго, и пошел у каменки.

Построек двора точно бы и не было. Стояли только в черной стеге темноты ворота конюшни с бледно желтевшим над ними фонарем в проволочной сетке.

Под ногами захрустел в траве мелкий щебень, затем стали попадаться камни.

Впереди была яма, в которой замешивали известь.

Напамять Захар Карпыч обошел ее, остановился под окном флигеля, вслушиваясь в ночь.

Гудел сад и порывисто хлопал на месте над входом флаг.

Казалось, что это петух хлопает крыльями; вот-вот и закричит он, наконец-то поверив в рассвет.

Новые створки рамы сомкнуты были накрепко. Захар Карпыч снял с пояса под армяком складной с плоской деревянной ручкой ножик, что имел всегда при себе, наставил лезвие. Створки

пискнули. Выждав, Захар Карпыч отвел обе настезь; из помещения сдвохло пахнуло табачным дымом.

Половицы скрипели.

Захар Карпыч останавливался после каждого шага, хмурясь, протягивал вперед руку, словно шел по тонкой доске над ямой. Так, пока не натолкнулся коленом на скамью.

Когда Жнов искал замок, Захар Карпыч по квадратной наклейке приметил, что поименная запись трудодней—в самой толстой из книг, лежавших на столе; по увесистости и по шершавому переплету теперь он мог легко узнать эту книгу.

Стопы труднижек стояли на подоконнике и на полу под ним, у стены. Но какие из них заполнены, а какие с чистыми страницами?

«Вот не взял с собой спичек!»—потужил Захар Карпыч, в уверенности, что посмел бы зажечь спичку. Теперь вот, у стола, он чувствовал себя спокойным. Подумавши, он снял армяк и аккуратно постлал его по полу. «Заберу все, чтобы без ошибки!»

Узел книжек получился угловатым, большим, едва хватило связать накрест рукава с полами, был тяжел.

До открытого окна Захар Карпыч нес его на руках, в обхват; потом, вылезши наружу, с подоконника взял на плечо. Нести так было удобнее.

«Разберитесь-ко теперь, кто сколько заработал!—подумал он, идя от флигеля.—Всяк захочет больше получить! Перегрываются вдрызг. А решат уравнивать всех—недовольства будет еще больше, и мужиков-хозяев в такой колхоз тогда и силом не загнать!»

Звезд высыпало сплошь. Горели напряженно, трепетным блеском. Темный ветер глухо шел над слепой землей.

В такое время никто не мог встретиться Захару Карпычу.

В этом он не сомневался.

«Приду да в печку их, мигом сгорят!—подумал он, выйдя на дорогу.—А без улик—не вор!»

Но не забыл ли он чего в правлении?

Захар Карпыч переложил узел на другое плечо, в беспокойстве пошарил у пояса. Нет, ножик был при нем! Но все же мнилось, что недостает чего-то.

Это стало угнетать, и оттого, должно быть, вместе с беспокойством, невольно нарастало смутное чувство какой-то неполноты в своем поступке, неудовлетворенность им, словно бы он, Захар Карпыч, сделал что-то не так и будто и не то, что надо бы. «Может, и не очень важны они, труд книжки?» Нет, он сознавал, был уверен, что покража подневной записи и труд книжек вызовет среди колхозников распрю, неурядицы; не сомневался он и в том, что все это в конце концов, как сказала и Петрова, «подорвет прилив единоличников в колхоз». Однако полного удовлетворения поступком не было, как не приходило и успокоение к нему, Захару Карпычу.

Издали послышалось неровное скрежещущее рычание, обрываемое ветром. «Трактор наверно,—подумал Захар Карпыч и повернул в ту сторону лицо. На едва угадываемом горизонте блестяла крупная желтоватая звезда. За нею вспыхнула вдруг еще одна. Они двигались, вернее тихо спускались они по прямой, в черноте поля, две железно рычащих крупных звезды.

— Черти, дня им мало!—раздраженно сказал в ветер Захар Карпыч и вдруг ощутил всем телом, что озяб без армяка.

До тоски захотелось скорее очутиться дома, у печки.

И мнилось, зовуще гудел впереди старый клен.

У крыльца своего дома Захар Карпыч остановился в оторопи.

На нижней ступеньке сидел человек.

В темноте нельзя было узнать, кто он, и Захар Карпыч стоял молча.

Молчал и тот, даже не пошевелился.

Возможно, что ночной сторож Зосим Лотов присел с устатку, ну и задремал. Захар Карпыч опустил узел книжек с плеча, тихо подошел ближе.

— Думал, кто же?! Оказалось, сам хозяин!—сказал тот.

Сидел Адриян Полухин. Захар Карпыч зло выругался, но потом, спохватясь, сказал мягче, только с удивлением:

— За каким чортом ты тут? С ума спятил!

— Нет, в полной памяти,—сказал Адриян.

— Не похоже...

— погоди. Лег было спать, да—мысли всякие. Все о тебе думал. Ну-ко, мол, стгоряча-то и решишься ты... По-своему, значит, понял я твою шутку-то... Подождет, думаю, колхозное гумно, а за этакое ведь... Ну, и забеспокоился я, жалко стало тебя: благодетель же... и надумал. Пойду, мол, посижу на крыльце, а выйдешь ты—не пу-щу, отговорю...

— Чудишь, Адриян! Чудишь что-то,—усомнился Захар Карпыч.

Узел лежал у его ног, и он не знал, как быть с ним.

— А ты... Чегой-то ты припер?—заметил узел Адриян.

— Ни-чего. Молчи, и можешь итти спать. А за караул, за беспокойство о мне—в долгу не останусь...

Адриян встал, сказал с обидой:

— Ну что ты, Захар Карпыч! Ведь и так повек спасибо, что от заботы о наделе ты меня освободил, к церкви пристроил... Может, в колхозе был бы я теперь...

Прощаясь, он потрогал носком валенка узел с книжками.

— Тяжеленько, поди, нести было...

Утром Захар Карпыч сидел на крыльце, точил топор, посвистывая лезвием. Он увидел, как к флигелю колхозного правления прошел Адриян Полухин, и мокрый брусок выпал из его рук, стукнув о скамью. Он долго смотрел в сторону флигеля. Брусок, высыхая, ржаво желтел. Адриян не возвращался. «Или в колхоз он просится?!»—подумал Захар Карпыч, ободряя себя... Из-за угла конюшни вышла буланая лошадь; животом поперец ее спины лежал Илья Пойков. Перекинув ногу, Илья сел верхом и поскакал к верхней слободе, где жил милиционер.

Безусый, с веселым румянцем милиционер нашел Захар Карпыча в углу церковной ограды на могиле, охраняемой широкоплечим чугунным крестом.

Стоя на одном колене, Захар Карпыч сосредоточенно сбивал позеленелые буквы надписи на памятнике. Порою из-под зубила вылетала искра. Как искры, блестели и концы обрубленных

медных гвоздей, впаянных в темном камне. Лицо Захара Карпыча было спокойно.

В удивлении милиционер стал у могилы, ничего не сказав.

Захар Карпыч продолжал бить молотком по зубилу, одну за другой отдирав визжавшие буквы своего имени.

«Ненормальным прикидывается!»—наконец-то нашел объяснение странному занятию старика милиционер и, поправляя кобур, строго скашлянул.

— Барахлишь? Пойдем-ко!

— Погоди малость! Я сейчас,—тихо попросил Захар Карпыч.

Ему оставалось срубить последнюю строку надписи.

По ответу милиционер понял, что старик нисколько не притворствует и, довольный, что легко будет снимать допрос, закурил тонкую папироску и просто спросил:

— Мало дал, что ли, пономарю-то?

— Нет, не то. Он, видно, по иной причине...

— А надпись-то зачем портишь?

— Да так. Ошибка вышла; не лежать тут...

Захар Карпыч собрал ясные с той стороны, какой они были к камню, погнутые буквы, выбросил их из полы под сквозной куст, терявший на ветер бубновые листья, и, облегченно вздохнув, обернулся к милиционеру.

— Ну, теперь—все! Пошли...

Спит лирика¹⁾

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

Не жаль нам Лирики.
Пусть крепко спит она.
Мы черновою заняты работой.
Теперь проходят
за весной весна
Под скрип стропил
и под чугунный грохот.

Поэты есть,
но нет поэм совсем
О женских ласках,
о луне и музах,
Не даром же
красноармейский шлем
Сменили мы
на кепи
и на блузы.

Нет,
книжки наши
не альбомный хлам,
Где красовались
лунные сонеты, —

В них жизнь стегает
солнцем по глазам,
В них бьется пульс
рабочего поэта.

Я лично знаю
многих из ребят,
Не знавших (бедные!)
ни голода,
ни фронта,

Они еще сморчки
и на горшках сидят,
Но тянутся уже
за наши горизонты.

Так спи же, Лирика!
Спокойный сон тебе!
Мы рождены
не в тишине, а в грозах.
В такие дни
нам нечего скорбеть
О лунных вечерах,
о соловьях и розах.

Апрель 1932



¹⁾ От редакции: Печатаю стихотворение т. Александровского, редакция считает нужным оговорить, что она не согласна с поэтом в том, что лирика теперь не нужна.

О-кей

Американский роман

Бор. ПИЛЬНЯК

(Продолжение ¹)

21.

ИНЬЕ американцы скажут вам, что все написанное выше к Америке никакого отношения не имеет. Америку, дескать, следует искать не здесь и не там. И вместе с читателем сейчас я намерен пуститься в поиски Америки, в пространства, в безвестность дорог, чтобы найти наконец Америку. Я подписал договор с Голливудом, с М. С. М.

И мы с Джо двинулись в пространства, отъехав от Нью-Йорка на «двадцатом веке» таким образом, что «двадцатый век» есть интродукция к Голливуду, Голливудом данная.

«Двадцатым веком» называется поезд, такой же конвейер, как автомобильные дороги, только много пыльнее, имеющих от Атлантического океана до Тихого всего две остановки — в Чикаго и в Санта-Фе. От Нью-Йорка до Чикаго рельсы идут в четыре полотна. Поезд стремителен до утомительности, — отбрасывающий в час сто двадцать километров. Поезд идет в пыли и дыме встречных и обгоняемых поездов. Поезд на ходу берет воду: в положенных местах между рельсов проложен жолоб в полкилометра длиной, наполненный водой, — паровоз спускает ковш в воду, вода своим собственным напором лезет в фильтровые резервуары. За каждую минуту опоздания этого поезда пассажирам выплачивается по доллару. На

каждого пассажира моего вагона положено было по отдельной кабине с диванчиком, креслом, письменным столом, с двуспальных размеров кроватью ночью, с гардеробом и умывальником. В поезде было три обслуживающих вагона — вагон-обсервейшэн (сплошь стеклянный, с терраскою, на которой нельзя сидеть от пыли), вагон-ресторан и вагон-салон с комнатой для вязания, старухами джемперов, с комнатой для курения, с телеграфо-радиоконторой, откуда можно сообщаться с миром и куда с мира приходят телеграммы, и с баней, где можно помыться, где тебя побреют и причешут и где тебе вычистят обувь. Этот поезд предназначен для крупнокалиберных народов. Я отношу его за счет Голливуда. В поезде имеются все шумы, кроме человеческих слов, — негры, которые прислуживают, говорят шопотом. Поезд полупуст. Через города поезд жарит по улицам. Если в СССР, откуда ни глянь в небо, даже в метель, всегда видна Полярная звезда, то здесь за окнами поезда, также даже в метель, отовсюду торчат разные девушки и молодые люди рекламы, которые выстроились над шпалами, как у нас клоуны на крышах провинциально-ярмарочных балаганов. Воротничок хотелось менять каждые три часа и полоскать рот от гари и пыли — ежеминутно.

Так проехали от океана к океану, сохранив традиции и гари Нью-Йорка. От Нью-Йорка уехали в метель и в горы штата Пеннсилвания. Метель —

¹ См. «Новый мир», кн. 3 с. г.

как у нас. Пеннсилванские—Аллеганские — горы — в роде Валдайских. Когда глаз прорывался за рекламу, располагались за шпалами тверские земли. От Нью-Йорка до Чикаго, кроме реклам и тверской земли, путь заставлен был громадами корпусов фабрик, вышками каменноугольных шахт, пожарами домен да мелкорослыми вокруг них домишками в палисадах, острокрышиными и в черепице. Чикаго утвердил, что Чикаго и Нью-Йорк — одно и то же, одного ж лица прекрасные детали: Нью-Йорк — финансово-капиталистический центр, Чикаго — центр капиталистическо-финансово-промышленный. И Чикаго сломан пополам: на нищету, гораздо большую, чем нищета Баури, с лохмотьями в навозе человеческих отбросов и антисанитарией вшей на улицах, на дорогах, на каналах, в голый грязь полуголых, как в Шанхае, людей и на роскошь набережных Мичигана, похожего на море, забитого яхтами и гидропланами, университетских и музейных площадей, мест столь же колоссально-поразительных своею роскошью, как нищета. Немеханизированное на чикагских бойнях — борова — предатели — служит для раздумий о капиталистической культуре, раздумий о чумных бульонах. В серии американских банкротных крахов 31-го года Чикаго решающей своей роли не оставил, — чикагский муниципалитет обанкротился, — слово об этом будет дано Алу Капону, чикагскому бандиту.

За Чикаго поезд пошел в прерии, застрявшие в памяти от юношеских романов и географий. По эс-эс-эсеровским пейзажам прерии — это Украина. Переезжали Миссури. Ехали штатом Канзас. Пиджаки днем надо было снять и по-американски расстегнуть жилет — от удущья. Лет пятьдесят назад в штате Канзас жили еще индейцы и шла национальная война, как ее называют американцы, но которую следовало бы назвать истреблением индейцев. За эти пятьдесят лет воды утекло много. В феврале 1931 года человек пятьсот фермеров, белые и негры вместе, вооруженные винтовками, приходили в штатный город и требовали дать им пищи, потому что они голодали. Это тем паче замечательно, что этот штат является

пшеничной житницей и иные фермеры в этом штате и в этом году етапливались пшеницей.

За прериями возник Далекый (он же Дикий) Запад, штаты Нью-Мексико и Аризона. Прерии с ветряными водокачками и с башнями силосохранилищ около белых домишек сброшены были назад стад двадцатикилометровой стремительностью «двадцатого века». Поезд залез в горы, которые называются не то Скалистыми, не то Сьерра-Невада, — во всяком случае прошел и те, и другие. И пейзаж за окном вагона стал точь-точь таков же, как в Средней Азии, — особенно в пустыне штата Аризона. Пески, лишай, безлюдье, зной. Изредка оазы. И около оазов — домишки из глины, плоскокрышие, с окнами внутрь двора. Что такое? Турция? Средняя Азия?! Эти домишки суть домишки мексиканской архитектуры, — не случайно в утро того дня был штат Нью-Мексико. Мексиканцы — испанцы — мавры — арабы — турки — Средняя Азия. Все понятно! Иль, быть может, и индейцы? Ведь найдено ж в Сибири племя, антропологически совершенно похожее на американских индейцев, при чем корни языка этого сибирского племени оказались корнями языков нескольких индейских племен. Так или иначе, но целый день мчали азиатскими пейзажами. Перед вечером тогда возник на горизонте отвесный перевал в снегах. Поезд притих и закричал. Столбики за окнами у рельсов показывали высоту. Похолодало. Все кругом заросло пихтами и соснами, которые в СССР называются американскими. Места опервобытились. Даже на шоссе вдоль железнодорожного полотна прервался автомобильный конвейер. Автомобили поползли в одиночку. Раза два видели индейцев, они живут, еще живут в этих штатах. На перевале к вечеру стало совсем холодно и зазвенело в ушах. И на перевале видели ковбоев. Оказывается, это очень прозаично: «ков-бой» — коровий бой, коровий мальчик — пастух. Пастух, который охраняет коров верхом на лошади, в старину ловивший одичавшую скотину со своих мустангов при помощи лассо и постреливавший соседей-индейцев, а теперь оставивший себе от старины ши-

рочайшие панталоны, зонтикообразную шляпу да двустовку для зайцев. Видел под одной из скал в пихтовом лесу деревянный дом: точь-в-точь как у нас в архангельских землях. Ночью мерзли.

А утром — на рассвете свалились с гор к океану в Калифорнию. Ехали рощами апельсинов и аллеями пальм, лиловыми перечными деревьями, кактусами и эвкалиптами. Кактусы — в три человеческих роста — неприятны, как крокодилы. Эвкалипты ободраны и вызывают жалость, как верблюды. Под пальмами разместились пречистенькие домишки и автомобилишки, ночевавшие против под'ездов этих домишек. Все цвело. Впрочем говорят, что здесь все цветет круглый год, и цветы, и деревья мне известные и такие, которых я никогда не видел. На Нью-Йорк это чикак не походило. Надо было решить, что, мол, хорошо местный народ, сукины дети, устроился, — хорошие места подыскали и отняли — сначала испанцы у индейцев, затем американцы у мексиканцев. Приехали в Лос-Анжелес — в Архангельск, если перевести по-русски. В толпе на улицах много мексиканцев. Люди ходят в белом и в сомбреро. Пахло на улицах цветами, океаном и ленью южного безделья. Кроме нескольких небоскребов вокруг Билтмор-отэла, это — большая деревня под пальмами и эвкалиптами. Затем я узнал, что Лос-Анжелес не город, а — двадцать городов. От Лос-Анжелеса до Эптона Синклера — до Пасадэна — сорок километров. До Голливуда — тридцать километров. До прыгунов — двадцать. До Лонг-битча (лос-анжелесского Коней-айлэнда) — сорок пять. До Санта-Моника — пятьдесят.

Я поселился в Санта-Моника. И за окном моего Мирамар-отэла были — последовательно — пальмы, обрыв, океан. Пальмы вычерчивались на сини океана. Птицы в саду пели так, что можно было предвосхитить страдания Джо по поводу петуха — мистера куриных лэди. На океане у набережных плавали мои однофамильцы, гуся в три размера, с чемоданами для пищи под клювами, — пеликаны. Однофамильцы потому, что однажды в Берлине, когда я в смущении спрашивал: «Мне бы книгу Пильняка» — продавщица переспроси-

ла: — Кого, Пеликана?! — Пахло у меня в комнате эвкалиптами и розами.

Направо и налево от меня, вдоль океана, защищенные от севера горами, расположились города Калифорнии. Калифорния ж — это нефть, фруктовые сады, обыватель да Голливуд. Задолларовый, обыватель с'ехался сюда со всех американских концов, построил под пальмами коттеджи и гаражи, украсил себя памятниками формы апельсина, формы чайника, формы босой ножки кинозвезды, и живет под вечным солнышком, пиццеваря и посещая различные божественные моления, в роде прыгунских, методистских и Эмми Мак-Фёрсон. Солнышко здесь светит триста шестьдесят дней в году, и в море можно купаться круглый год. Апельсинные рощи пахнут апельсинами. Эвкалиптовые рощи пахнут эвкалиптом. Кроме памятника апельсину и чайнику, на одном памятнике изображена была доимая корова. Нефть, — она жила в тех традициях, о которых рассказано историей бутга в любовь индианской девушки, — подобных историй очень много рассказывает Эптон Синклер. Значалась Калифорния — Дикий Запад, — как известно, — золотом.

22.

Голливуд — он совершенно отличен от всей остальной Калифорнии, — двухэтажный так же, как Пасадэна и Санта-Моника, но архитектуры такой, какую может выдумать только Голливуд, — один сплошной национальный флаг!

В Нью-Йорке однажды, в бронкском парке, в проливной дождь и все же в дыму и копоти, мы встретили женщину. Я ехал с журналистом П., говорящим по-русски. Мы ехали на автомобиле. Около автобусной остановки, под дождем, без зонтика, безразличная к миру, стояла женщина. Лицо ее было мокро. Мы предложили женщине сесть в машину, чтобы укрыть ее от дождя. Она села. Тогда мы увидели, что лицо этой женщины мокро не только потому, что замочил дождь. Женщина плакала. Было видно, что слезы ее застарелы. Эта женщина забыла о слезах. Этой женщине было лет тридцать, не больше, этой чистокровной янки. Мы заговорили в соучастии, как говорят люди,

которые встретились в первый и последний раз. Она заговорила истерически. Она рассказала все, что могла рассказать. От нее ушел муж, такой же чистокровный пуританин, как она. У них был свой бизнес. Они не были очень богаты, но на курицу к обеду, слава богу, у них всегда были доллары, и марки их автомобилей никогда не спустились ниже Бьюика. У них был дом. Деньги для дела дали ее родители в качестве приданого. Муж — честный человек, — он ушел от нее, не взяв ни копейки денег и не взяв из дома ни единой вещи. Восемь лет они жили отлично. Он возвращался домой в пять. В семь они обедали. Вечером они были в кино. В воскресенье они отдыхали. В воскресенье они были в церкви. В воскресенье, в час между завтраком и чаем, они были в постели, иногда раз, иногда два, — так сказала эта женщина. Восемь лет дней их жизни были счастливы, как один. И все дни были одинаковы, равно как и все воскресенья. Они не пропустили ни одной знаменитой кинокартины. Ни муж, ни она ни разу не хворали. Она готовила семейный уют и очаг. Она вязала мужу джемперы.

— И он ушел. Он ушел, отказавшись от всего. И он ушел к женщине, которая курит табак и пьет вино. Почему он ушел? — почему он ушел! — Он ушел неделю тому назад, и с тех пор остановилась жизнь. Я не могу ездить на автомобиле, потому что слезы застыли мои глаза. За эту неделю я ни разу не была в кино. Я конечно не пью и не курю, ибо я истинная христианка. Я была абсолютно верной моему мужу женой. Почему он ушел?

Эта женщина указала тогда нам место, где мы должны были ее посадить. Дождь еще не перестал. Женщина пошла в противоположную сторону той, которую она указала. И — все. И — больше ничего. Кингман Бостон — американские традиции пуританства — моя зэволжская бабушка!..

Я получил, как сказано, телеграмму: «работать в Голливуде у фирмы М. С. М. стап договор десять недель стап столько-то долларов в неделю». — — Приятель мне раз'яснил:

— А вдруг вы написали бы что-нибудь для Факса или Парамоунта?! —

лучше вам заплатить даже в том случае, если вы ничего не напишете, чем если вы напишете Факсу.

И я приехал в Голливуд.

В Голливуде, за очень малым исключением, живут люди только двух порядков. Или отменные красавцы, мужчины и женщины. Или уроды всех видов, типажи. Будущие, настоящие, бывшие актеры. Это я видел.

Голливуд подобен золотым приискам. Это я тоже видел. Например. Ехал режиссер из Нью-Йорка в Лос-Анжелес, обдумывал новую кинокартину. Поезд проходил мимо полустанка. Рельсы перешла девушка с кулечком из магазина. Режиссер слез на следующей станции и вернулся на этот полустанок. Имени девушки режиссер не знал, он не знал, где она живет. Кинодей есть кинодей. Он поднял полустанок на ноги. Он нашел девушку, она служила горничной у адвоката. Кинодей предложил девушке сниматься в кинокартине, тысяча долларов в неделю, договор десять недель. Девушка снималась, ей делали публицити, она была счастлива. Но больше не было картин, где подходил бы ее тип. И она никогда не снималась больше. Второй — и сотый — пример. Девушка, насмотревшись кинокартин, убежала в Голливуд из дома, чтобы стать актрисой. Она убежала от отчаяннейшей обывательщины, обыденщины, размеренности — в счастье.

На фабрике, где я работал, я наблюдал однажды за режиссером. Он сидел в своем офисе, курил сигару и сосредоточенно рассматривал кипу от пола до потолка альбомов с фотографиями так называемых «экстра», то-есть актеров, имеющих в запасе, зарегистрированных в Голливуде, но постоянно не работающих, — тех самых, которые отснимали свое счастье или приехали за счастьем. Режиссер рассматривал фотографии, отмеченные номерами, выписывал номера с тем, что канцелярия вызовет завтра эти номера на просмотр и окончательный отбор для нужной режиссеру картины. Тогда канцелярия наймет их на неделю, на две. Эти номера будут зарабатывать по пять долларов в день. Все это я видел.

Я видел знаменитостей, звезд, которые зарабатывают в неделю по пять тысяч долларов.

Я не видел следующего, что показывается в Нью-Йорке в одном из театров, в пьесе, посвященной Голливуду. На сцене там показывается прераспутнейший, препьянейший, публично-домобразный бал, и над сценой надписано: «Голливуд, как он представляется американцам». Занавес опускается. Надпись над сценой меняется, сообщает: «Голливуд, как он есть на самом деле». Занавес поднимается, и на сцене то же, что на первой картине, только лишь в гораздо больших размерах. Этого я не видел.

В Москву в редакцию «Moscow News» прислала письмо одна американская голливудская кинознаменитость. Она писала, что в американской кинопромышленности кризис, что она сочувствует пятилетке и желала бы работать в СССР. А поэтому сообщает, что рост ее такой-то, вес — такой-то, цвет глаз и волос — такие-то, ширина в груди — такая-то, в бедрах — такая-то. И прочее о размерах. И больше ничего. Около тех фотографий, альбомы которых складывались от потолка до пола, всегда были написаны эти ж данные о цветах и ширинах. Номера этих фотографий были расположены по рубрикам: шатены, блондины, брюнеты, — великаны, карлики, уроды, — по типам национальностей — акробаты, ковбои, трубочисты, — слепые, больные волчанкой, татуированные, — специалисты по еврейским, католическим, квакерским, методистским, православным богослужениям, — специалисты по военно-морским делам Англии, СССР, Японии, — дублеры, похожие на знаменитых артистов и на великих людей, — русский царь Николай, он же Георг английский, — этой двойцы несколько человек актеров.

В актерских договорах с фирмами пишутся данные о расцветках и размерах, и, если какая-нибудь актриса или актер расплнели на четверть килограмма, эта четверть килограмма есть повод для расторжения договора. Знаменитости поэтому, казалось бы, должны жить в поспе и молитве. Так оно и

есть!.. Я знал актрису, звезду, при которой постоянно был врач, которая ела по расписанию, которую по регламенту мыли, растирали и протирали, — она была любовницей миллиардера.

Голливудские люди начинают быть людьми, когда они зарабатывают от пятисот долларов в неделю и больше.

В Голливуде собрано до десятка крупнейших американских кинофабрик — «студии», как там говорят. Наикрупнейшие из них: М. С. М. (Мэтро-Голдвин-Майэр), Факс и ПарамOUNT. И за заборами этих студий под субтропическим небом можно ходить по зимам канадских и арктических деревень, по деревьям французским, английским, немецким и даже русским, — по океанам и кораблям, — по свежим метелям зим и по самумам пустынь, — по громадным площадям декораций, где снимают эпохи крестовых походов и заветы Христа, чикагских бандитов, мировую войну, автомобильные скачки, мексиканские идиллии, американский пуританизм — все, что хочешь. По этим местам ходят средневековые рыцари, чикагские бандиты, пуритане-американцы, римские папы, пираты, индейцы, французы, американские пионеры, лопари, — кто угодно.

Исторические эпохи, климатические и географические особенности все собрано за заборами киночудес и под открытым небом и вываливается за заборы, делая Голливуд фантастическим, ибо артистический анархизм дает возможность славным раз езжать на своих ройсах в купальных костюмах, а экстра донашивает костюмы средневековых кинокартин.

Говорят, что Париж первенство в законодательстве мод передал Голливуду. Едва ли. Во всяком случае законодателем мод в Голливуде, портным на все кинофирмы работает портновско-художественная фирма Бернс. Этот Бернс имеет судьбу поистине голливудскую. В Сэнт-Луи на всемирной выставке 1905 года он, Бернс, выставлял десять индейцев в костюмах, сшитых им самим, которые не соответствовали тем костюмам, в кои ходят индейцы в Америке, но кои казались Бернсу наиндейскими. Эти десять наиндейско-дикарских костюмов Бернс повез в Голливуд, чтобы сдавать напрокат, подобно тому, как

сдаются напрокат в Голливуде актеры. С этих десяти костюмов и пошли миллионы Бернса. Если Бернс и до сих пор придерживается этих наиндейских принципов,—он голливудец и американец чистокровный. Но говорят, что теперь у него можно достать мундир Вильгельма II—не то что точную копию, но снятый прямо с плеча Вильгельма,—если так, то он и парижанин, и сверхамериканец.

Я хаживал по этим заборным чудесам. В иных павильонах и складах вдруг менялись пропорции. На полках лежали игрушечные корабли и поезда. На столах располагались чаны с океанами и горные хребты в дремучих лесах, ледниках и снегах. На других столах располагался Верден, и из окопов выглядывали пушки с дымом. Стоял на полу в углу Собор Парижской богоматери рядом с Вестминстерским аббатством. На проволоках у потолка висели эскадрильи аэропланов. Это все были декорации, за которыми снимаются живые артисты, пользуясь законами перспективы и путая ими зрителя. Горные хребты будут пугать зрителя своими снегами и просторами пропастей. В чане воды будут происходить бури и будут гибнуть на трепет зрителю дредноуты.

Летом тридцатого года на Памире я видел, как снималась одна русская киноактриса в роли таджички-комсомолки. Она должна была научиться ездить по-таджикски верхом на лошади, на таджикском седле. Она училась недели три, сбив себе все ноги. Она должна была по сценарию проскакать меж скалами и над обрывами с ребенком в руках. Она научилась. Она падала несколько раз с лошади. И в Америке, на скачках родэо, я видел, как скачут ковбойские женщины. И видел я, как скакала за забором студии некая знаменитая звезда. Конь ее не был конем, а электрической игрушкой в лошадиный рост. Он не двигался с места. Актриса размахивала плетью и всем телом неслась на месте вперед. Делается это, оказывается, гораздо упрощеннее, чем скакание русской актрисы по Памиру. Об'ектив открыт только для одной, предположим, пятой части пленки, которая и фотографирует скачущую актрису. В следующий раз на пленке, которая сняла эту скачу-

щую на месте актрису, эта одна пятая будет закрыта для об'ектива, и об'ектив на остальные четыре пятых пленки нанесет те самые страшные горы и пропасти, которые стоят в вышеописанных павильонах на столах и полках. Стоит кинографический аппарат, а в метре перед ним стоит Собор Парижской богоматери, а в метре за собором целуются-милуются двое актеров: на пленке получится, что эти двое чудачков целуются-милуются вовсе не в метре за картонной богоматерью, а на одном из портиков ее, за страшными химерами и в ясном небе прозрачных облаков,—ни в Париж, ни на Памир ездить не надо. А актриса на Памире, должно быть, потеряла в весе. Ее рассчитали в Голливуде из-за потери веса и широт.

В иных павильонах за заборами здравствует ледяная тишина, ибо там снимаются тонфильмы, когда записывается звук тиканья карманных часов. Химические лаборатории за заборами и монтажные—поистине алхимичны.

Водили меня по этим местам, знакомили со всяческими знаменитостями, от которых мои спутники приходили в ласковое состояние, на которых я смотрел, как баран на новые ворота. Познакомили меня с десятком звезд. Одна из них, страшно знаменитая, сказала мне, что я первый, который, знакомясь с ней, не говорит комплиментов,—с чем ее и следует поздравить.

Впрочем все, что за заборами, окутано страшной тайной—тайнами конкуренции и патентных секретов. И не следует спутывать с актерами, одетыми во все эпохи и этнографии, полицию, охраняющую заборы: в Америке человек и предприятие могут нанять себе свою собственную полицию, чтобы она охраняла. В канцеляриях же, когда надо машинисткам переписать сценарий, каждый отдельный листок сценария дают отдельной машинистке, чтобы машинистки не знали содержания сценария и не выдали бы тайны. На съемках актеры также не знают содержания сценария—по тем же причинам, и актеры узнают о своих ролях вместе с прочими зрителями. По этим же причинам, когда актер не знает своей роли и за него играет режиссер, от актера и требуются лишь четверти фунтов его веса. Когда

М. С. М. заключал со мною договор, в договоре был пункт, по которому я обязывался держать в строжайшей тайне мою работу до тех пор, пока фирма не найдет нужным тайну раскрыть в публицити.

Продукция американской кинопромышленности—известна. Пятьдесят примерно процентов посвящены бандитам и ковбоям. Остальное посвящается всему остальному американскому и мировому благополучию, где торжество добродетели обязательно и выражается предпочтительно в законном браке, где конец должен быть успокоителен и нравственен, где обязательно должен быть герой не старше двадцати пяти лет, где героиня должна быть не старше осмынадцати лет, где обязателен низкий злодей и благородный преступник, предпочтительно комик. Пороки в американском кино называются категорически, оценкой пороков взят пуританский стандарт, но социальные перспективы обязательно заимствованы у Лидии Чарской. Кинокартины сняты, проявлены, смонтированы отлично. Кинематографическая техника—на превысоте. Индейцы! ковбои! Голливуд помещается как раз на Диком Западе, и Голливуд не забывает своих праотцев, начавших судьбу с первого фермера Калифорнии Иоганна-Августа Сэттера. А поэтому—до двухсот фильмов в год из жизни Дикого Запада и ковбоев. Все они одинаковы. Благородный ковбой любит дочь такого же благородного старика ковбоя, — но имеется злодей, иногда также ковбой, иногда промышленник, иногда городской купец, который иль запугивает старика, иль ласкает его обманными ласками, — всегда дело кончается похищением девушки, отчаянными конскими скачками, в коих всех обгоняет молодой и благородный ковбой, в силу чего он и женится, распутав злодейства соперника и обогнав всех лошадей. Америка—страна с наибольшим количеством университетов. Студентов в университетах не должно спрашивать, какого они факультета, но—какой команды?—И студенческие фильмы стандартны, подобно ковбойским. Студент влюблен в ветреную девушку, она презирает, он страдает,—происходят спортивные состязания,—он победитель, хотя этого никто не ожи-

дал,—рука девушки в его руке,—все—о-кэй!—Владимир Иванович Немеирович-Данченко был в Голливуде, подобно Эйзенштейну и мне. Он предложил поставить в кино «Пугачевщину», картины из истории восстания русских завожан против империи, возглавленного Емельяном Пугачевым. Владимир Иванович представил на утверждение сценарий,—«синопсис», как там говорят. Синопсис был одобрен дирекцией и было предложено одно лишь исправление. Дирекция находила слишком страшным конец Пугачева и настаивала на том, что Пугачев, вместо плахи, встретился с Еккатеринной, они влюблись друг в друга и—о-кэй!—женились.—Не знаю, соответствует ли этот эпизод истине, мне его рассказывали в Голливуде,—но он, этот эпизод, как нельзя лучше характеризует голливудские традиции, тому я свидетель.

Это очень хорошо, что я был в Голливуде,—и не потому, что это замечательный материал миллионов и нищеты, невероятных карьер и невероятных падений, доллара и страстей, которого не придумаешь, ибо только Голливуд придумал такую социальную комбинацию пиротехники и искусства,—и не потому, что этот город более горячен, чем в Менте-карло Монако,—город больших и не менее шальных денег, чем Монако,—город страстей тщеславия, страсти не менее жестокой, чем страсть скупости,—ведь босая нога той самой звезды, которой я не удосужился сказать комплимента, отпечатана на память векам на цементе одного из подъездов кинотеатра в Лос-Анжелесе!

Я—писатель, и дела мои—писательские.

Кинопромышленность—все эти чудеса бандитов и свадьбы Емельяна Пугачева за заборами, где рядом расположены тропики и арктика, эросы древних и пуританизм современных, где сотни львов ходят с русскими белогадейскими генералами,—все это по-американски называется кратко: «муви».

Голливуд—муви—третья, как известно, индустрия Соединенных Штатов. Предметом этой индустрии, само собою понятно, является искусство. Искусство создается мозгом. Предметом индустрии является мозг. Искусство создает-

ся талантами. Предметом индустрии является мозг талантов. Американская промышленность идет стандартами, иначе она не может конкурировать. Текстильная промышленность производит метры ситцев. Форд с конвейера бросает серии машин. Кинопромышленность — третья индустрия.

Писатели существуют в частности к тому, чтобы создавать сюжеты. Когда я приехал, меня спросили, нужен ли мне офис. Я не понял в чем дело и отказался. В договоре моем было сказано, что мои предложения войдут в силу, когда супервайзер—вице-директор—скажет: — о-кей. О-кей, повторив в эхо, все же я заинтересовался, что такое писательские офисы?

За заборами муви я увидел некие длинные сараеобразные одноэтажные дома, соединенные внутри длиннейшими коридорами, направо и налево от которых идут малюсенькие комнатухи, похожие на конские стойла,—стул, стол, стул и больше ничего, кроме телефона. Эти денники называются офисами. В этих денниках сидят от девяти утра до пяти вечера—люди, которые предпочтительно ничего не делают, задирая ноги на столы, на подоконники, на спинки второго стула. Иногда они собираются по несколько человек и беседуют. Иногда пьют виски. Эти люди с задранными в тоске ногами—писатели. Писатели, зарабатывающие до двухсот пятидесяти долларов в неделю, должны сидеть в офисах обязательно. Писатели, зарабатывающие до тысячи долларов, должны быть здесь наездами. Писатели, зарабатывающие больше тысячи долларов, могут совсем не приезжать в Голливуд,—и даже лучше фирмам, если они приезжать не будут. В каждом таком баракообразном доме писателей человек по полтора. У каждой крупной фирмы есть такие свои писательские бараки.

Писатели сюда собраны со всех концов—не только Америки. Где-то, в каком-то городишке писатель написал книгу, книга обратила на себя внимание. И писатель получает краткую из Голливуда телеграмму:

«работать жить в Голливуде стап столько-то долларов в неделю стап пять лет отдавать все написанное для постановки в муви фирме такой-то».

И — все.

Пути господни неисповедимы, рассуждает фирма, человек талантливый, может быть, напишет еще что-нибудь такое, к нашему беспокойству, что выйдет из ряда вон,—лучше закупить его сейчас, чем платить ему впоследствии втридорога, и лучше, если он будет у нас, чем у нашего доброго соседа—конкурента Факса или Парамонта, или М. С. М. Да к тому ж, если он будет у нас получать жалование, кривая его таланта очень нас беспокоит не будет,—а то есть некоторые такие, такое антибандитское завернут, что нос вянет, а публика—довольна. Таланты и имена все же измеряются долларами. И именно поэтому высокодолларным лучше и не быть в Голливуде. Например Теодор Драйзер. Он куплен подобно всем. Фирма поставила в лето 1931-ое его рассказ за его именем с некоторыми переделками в роде конца «Пугачевщины». Сделано, по понятиям фирмы, как лучше, а Драйзер начал судиться, требовал снятия его имени, если не уничтожения картины иль переделки. Конечно лучше было бы, если бы Драйзер ни в Голливуд, ни в кино не заглядывал,—тем паче, что вообще-то одно беспокойство, ибо на суде Драйзер проиграл, ибо—разве можно судиться с третьей индустрией!?

Писатели, оказывается, приглашаются не только для того, чтобы писать и выдумывать. Писать или не писать—они вольны. Если ж напишут, киноинсценировать будет их фирма такая-то по усмотрению и вкусу фирмы, подобно тому, как с Драйзером. Разве до двухсот-пятидесяти-долларовые иногда пишут за особую приплату и без подписи.

Уже не разделенные на стойла, а собранные в залах, за рядами столов, разделенные по национальным культурам—англо-саксонские, германские, нормандские, романские, славянские,—сидят специальные читатели, и читают все новые, книги, вышедшие на земле. Сначала они читают рецензии, затем книги. Читатели устанавливают, какие книги подходящи для фильма, и они делают краткие конспекты книг (они ж, прочитав нового автора, решают, купить иль не закупать его впрок). Конспекты (и предложения о покупке) идут к—скажем так—столоначальникам. Национальные столо-

начальники делают свои выборки и передают отобранные конспекты (и предложения) заведующему. Заведующие отдадут свои заключения супервайзерам. Супервайзеры говорят или не говорят: о-кэй.

Если супервайзер сказал о-кэй, тогда рождается фильм, и машина муви приступает к тому, чтобы сделать картину, оставив рожки да ножки от того, что было написано писателем в его романе, повести или драме, подобно историям Владимира Ивановича и Драйзера.

Это—один путь возникновения фильма.

Есть второй путь.

У каждой фирмы есть свои выдумщики и свои писатели, помимо тех из барачков, находящихся в запасе.

Сидят этакie специальные выдумщики, комбинируют так и сяк всяческие сюжеты и—выдумывают, чтобы такое сыграть в кино, из какой жизни, из какой страны, из какого бытия, при чем злодеем будет тот-то, а герой и героиня—о них сказано, им в среднем не больше двадцати двух лет. Выдумщики—народ апробированный и доверенный. Свои идеи они сообщают прямо супервайзерам без бюрократических пирамид читателей.

Когда по поводу сюжета сказано супервайзером о-кэй, этот сюжет одевают в кровь кинокартинного мяса, составляют «стори», как говорят американцы, и «синописисы», — разрабатывают сюжет и расписывают его по явлениям. Это еще не сценарий, это:

«... молодой очаровательный блондин вошел в комнату. Навстречу ему вышла Т а н я. Н и к о л а й здоровается с Т а н е й и говорит ей о той опасности, которая предстает М о р г а н у».

Здесь не разработаны звуки и шумы, в которых идет картина. Здесь не обуловлены декорации. Здесь не даны персонажам слова.

Когда «синописис» уже готов, приглашаются иной раз и писатели из стоил. Предположим, что такой-то писатель знаком с морской жизнью. Его приглашают. Ему таинственно поручают посмотреть синописис и опустить его в морские детали корабля, матросских привы-

чек и обычаев, капитанских повадок, штормов и штилей. Писатель в своей стойле пишет. Имя этого писателя не появится на картине. То, что писатель напишет, будет исправляться супервайзером, художником, музыкантом, опять супервайзером и—другим писателем, кинописательской какою-нибудь знаменитостью, одобренной кинозрителем. Этот писатель переработает совместно с режиссером все собранные до него материалы, этот писатель переведет их на язык кино и этот писатель подпишет картину.

«...молодой очаровательный блондин входит в кабинет директора Н и к о л а я. (Шум завода и отдаленные сирены. Близким планом лицо М о р г а н а. Вид завода за венецианским окном.)

Навстречу М о р г а н у вышла Т а н я.

(Морган улыбается. Глаза Тани строги, озабочены и в то же время любящи. Шум завода стихает. Слышна музыка Бетховена. На первом плане лица Тани и Моргана на фоне венецианского стекла и завода.) М о р г а н счастлив.

Н и к о л а й» — — и т. д.

Но этот сценарий будет дорабатываться другими, безыменными. Диалоги в частности всегда пишутся отдельно, специальным безыменным писателем. В тридцатом году все киноэкраны мира прошла фильма М. С. М. «Биг Хауз» — «Большой дом», — посвященная американскому тюремному быту: написал этот фильм писатель, бывший в тюрьме и имени своего не подписавший, исправлял его мой супервайзер Ал Люэн, подписала его моя соавторша — американская Лидия Чарская — Фрэнсис Марион.

Итак: если в кинофильме у американцев есть писательская работа, то — или писатель пишет и имени своего не имеет, или подписывает сделанное не им.

Писатели хоть и проживают в кельях оффисов суть писатели, в судьбах своих имеющие нечто роковое, и в прощальную мою голливудскую ночь чудесный писатель Р., бывший моряк, матрос, говорил мне:

— Ты, Пильняк, — тты шутишь, — американская индивидуальность!.. Я от девяти утра до пяти вечера сижу в офисе и делаю как-раз то, что по ночам, когда пишу для себя, а не для фирмы, я ниспровергаю в своих романах... Тты, Пильняк!.. но у меня дома всего-навсего лист бумаги да перо, да усталая за день голова, а у муви — аппарат, машина, миллионы денег и зрителей, которых муви стрижет своими картинками... Эх, тты, Пильняк! ты не хочешь с нами работать? ты уезжаешь? Голливуд мне платит деньги! — я приеду к тебе в Союз Советов, когда кончится договор!..

Второй разговор, бывший в ту ночь, я приведу дальше. Сейчас засвидетельствую, — я не встречал в Голливуде людей, которые не кляли б муви, — а я встречался с писателями. И слово здесь будет отдано понятию того, что американцы понимают в понятии — договор. Выше рассказывалась судьба рабочего Х., русского по национальности, работавшего принципами свободных посылок к миссис чортовой мамаше, — так бывает, когда нет договора. Когда же бывает договор, восстают — из гробов, казалось бы, в перспективе современности, но в Америке не из гробов, а именно из современности — восстают понятия рабства.

Договор! — актер или писатель — безразлично — заключает договор на пять лет. В договоре всегда оговорено, что фирма может порвать договор в любой час и может его пролонгировать, — но этого права нет у писателя (иль актера). В договоре всегда сказано, что фирма может перепродать свои права, — этого права, совершенно американски естественно, у актера нет. В договоре оговорено, что актер приглашается на такие-то роли и не может отказаться выполнять их или им подобные. Отказ от договора со стороны актера — это не только потеря куска хлеба и карьеры (ибо фирмохозяева, хоть в Америке и существует закон против трестов, тресты запрещающий, — картелированы), — но этот отказ от договора — и долговой хомут неустойки, и — возможно — долговая тюрьма. Это касается и кинозвезд, и писательских знаменитостей, и безыменных.

И в Голливуде можно услышать десятки историй о чудесных договорных комбинациях.

Писатель заговорен за фирмой такой-то. Он написал повесть. Его фирма не пользует этой повести для сценария. Соседняя фирма намерена повесть эту поставить. Супервайзер этого соседа не говорит с писателями, он телефонирует супервайзеру, заговорившему писателя:

— Хэлло!

— Хэлло!

— Мы хотели бы поставить такого-то!

— Но мы тоже об этом думаем!

— Уступите!

— Разве только из дружбы!

— Сколько беретесь!

— Сорок пять тысяч!

— Уступите!

— Разве тысячу, только из дружбы!

На тридцати пяти тысячах дружья сходятся. Писатель попрежнему получает от своей фирмы свои двести пятьдесят долларов.

Писатель — туда-сюда — рукопись, а не человек. И вот с человеком:

— Хэлло!

— Хэлло!

— Нельзя ли нам недельки на две вашу звезду такую-то!

— Но мы сами намерены!..

— Уступите!

— Разве только из дружбы!..

— Сколько беретесь?!

Писатели и актеры по договорам, так скажем, отдаются на подержание.

Молодой писатель (иль молодая актриса, иль актер) заключил три года тому назад договор на семьдесят пять долларов в неделю. Он пошел в гору. У него имя. Он получает прежние свои семьдесят пять долларов. Договор с ним, чего доброго, через два года будет пролонгирован.

Актеру иной раз хотелось бы проработать свою роль, хотелось бы роль себе выбрать, но у него есть договор, и роль выбирает не он, а супервайзер.

Режиссеров фирмы также дают на подержание.

Но актер не может проработать и выбрать себе роль не только потому, что за него думают другие. Актер не должен даже знать сценария во имя промышленной тайны. Раньше с родю.

с ковбойских скачек, выбирались лучшие для кино, — раньше кино собирало гимнастов в роде Дугласа Фербенкса, — теперь этого не надо, все заменено техникой, и никакой Фербенкс не прыгнет так, как скошенная перспектива.

В тех альбомах, которые лежали у моего приятеля-режиссера от пола до потолка, были альбомы дублеров, — экстра, похожих на знаменитых артистов. Некая бедная фирма берет на неделю на подержание знаменитости, фотографирует знаменитость в ответственных местах, — остальное ж за нее доигрывает дублер. Знаменитость получает три тысячи в неделю, экстра получает шестьдесят долларов. Некая богатая фирма ставит картину, где героине (конечно — звезда) надо прыгать со скалы в воду, вылезать из горящего здания, — там, где это дорого сделать фокусами, там звезду заменяет дублер, дабы звезда не мокла, не волновалась, не обжигалась и не ломала ребер.

Мужчины-актеры — не в счет, ибо они мужчины. Они сами должны сделать свои карьеры. Да их звездами и не называют. Что же касается звезд в подлинном смысле этого кинодейного слова, то-есть женщин, то надо засвидетельствовать, что подавляющее большинство их, за исключением трех-четырех (например Грэты Гарбо), создали свои судьбы не талантами и даже не красотой, но тем, что они — или жены киносекретарей и супервайзеров, или любовницы миллиардеров, акционеров кинофирм и вообще. Мужчины актеры подлинно талантливые (есть конечно и такие — Чарли Чаплин, тот же Фербенкс) не укладываются в режим муви, — тогда они организуют свои студии и работают за свои страх и риск. Талантливая молодежь, экстра, которая иной раз много играет, дублируя знаменитостей, сейчас объединяется около журнала «Experimental Sinema», протестующего против традиций муви. Но перспектив не надо путать: Чаплин исключение, а работа журнала — донкихотство.

И понятно, почему в Нью-Йорке показывается пьеса, где Голливуд показан таким, как он представляется американцам, — даже американцам! — и таким, как

он есть на самом деле. Экстра никогда не будут звездами, это не выгодно, экстра могут дублировать звезд. Звезды нужны для популярности фильмов. Создать публисити и заставить зрителя полюбить звезду — выгодней таким образом, чтобы это было всячески выгодно, и какому ж директору не приятно к своему жалованью прибавить жалованье жены, а подмышкой у себя иметь звезду, — миру во поучение?! Звезды стареют, вместо них под их именами играют экстра. Экстра получают шестьдесят долларов в неделю, пока-пока не выпадет счастье. И Алекс Гомберг, старый американский волк и мой друг, был совершенно прав, когда он меня напутствовал в Голливуд следующими словами:

— Вы, Борис, пожалуйста, как можно осторожнее с экстра. Экстра еще могут подумать, что вы богатый или сильный человек в муви. Скандалов не оберетесь.

В Голливуде я понял, что значило это предостережение. У нас, в СССР, была волна алиментных дел, — так это волна на Москва-реке по сравнению с великоокеанскими волнами алиментных дел Голливуда! — Эти алиментные дела суть пути в звездочество, ибо для экстра только один нормальный путь в славу — стать любовницей или женой киносилуимущих, — иных же путей два — голод или проституция, ибо из ста процентов экстра работали только пять, по кризисным временам. Все это — в американском понятии вещей. Договор есть мечта и:

— ...Тты, Пильняк, — американская индивидуальность!..

Что касается меня, то мои дела в Голливуде — лишняя иллюстрация к вышесказанному. Я имел отличие от остальных там работающих: я был советским гражданином, и в договоре у меня было оговорено право порвать сей договор в любые двадцать четыре часа. Выше же сказанное я расцениваю как любование капитализмом в собственные его глаза и иллюстрирую им американскую организацию — и труда, и промышленности. Муви — третья американская индустрия, — кто подлинный хозяин муви — супервайзеры? — дирекция? — акциодержатели? — Нет,

конечно. Муви замечательнейшая финансовая организация, не снисвавшая ни одной податной фининспекции, ибо все обыватели Америки (и мира) платят ежевечерне, ежедневно, еженедельно добровольный подоходный налог муви. Хозяин муви — зритель, всеамериканский обыватель. Муви — индустрия. Форд конвейером автомобилей угождает покупателям. Текстильная промышленность вырабатывает метры ситца. Муви вырабатывает футы пленки. Таланты писателей должны уложиться в эти пленки футов. Когда супервайзеры ставят свое о-кэй, они ставят это о-кэй на вкусы и в угоду вкусов обывателя. Мой пароходный спутник, король от свиных и телячьих кишек, мистер Котофсон, — безграмотен. Он в совершенстве знает кишечную технику, он любит все приличное, и он желает иметь совершенную технику кино, ибо намерен мирно спать, подобно героям Синклера Лянса с Майн-стрита.

Итак: мне говорили в Нью-Йорке, что Америка — не в Нью-Йорке. Что же, Америка — в Голливуде!? Я установил в Голливуде, что и Голливуд, и Нью-Йорк — всё одни и те же прекрасные черты прекрасного лица!

Если ж сбросить со счетов муви, как таковое, и оставить писателей, к сословию коих я принадлежу, как таковых, и если говорить об искусстве американского индивидуализма, — старые истины! — искусство активно только тогда, когда оно создает новые формы, новые идеи, новые эмоции, когда оно будит, но не усыпляет, — ибо искусство будет искусством только тогда, когда оно революционно, и искусство будет искусством только тогда, когда оно убежденно. Искусство создается в частности писателями. Для того, чтобы писатель мог работать, он должен верить в свою работу, в ее необходимость, в ее значимость. Это, разумеется, гораздо важнее денег: сколько гениальных произведений было создано на всяческих (и фактических, и психических) чердаках и в голоде? — И писатель подобен птице: птице легче лететь, когда ветер дует ей в грудь. И — подлинный хозяин футов американских талантов муви — господин капитализм, ницшеанец доллар.

Я приехал в Голливуд и пошел к мо-

им супервайзерам, смотрел Наполеонов от обывательщины и обывателей от Наполеонов. Мне сказали, что меня пригласили «в качестве большевика», как мне дословно было сказано, чтобы советизировать фильм. Меня спросили, нужен ли мне оффис. Мне сказали, что в моем распоряжении переводчица-секретарша. Мне дали право телеграфировать и радиографировать в любые концы земли за справками. Я мог отовсюду выписывать книги мне нужные. Я должен был понять, что раз я получаю столько-то, я уже в компании эксплоататоров. Мне сказали, что некий выдумщик надумал поставить про-советский сценарий. Я и Фрэнсис Марион должны быть авторами картины, режиссером будет Джордж Хилл, помощником режиссера (и моим помощником) будет Борис Инкстер, русский человек, советский гражданин, отставший от группы Эйзенштейна. Супервайзером будет Ал Люэн. Директорствует Ирвинг Толберг, директор М. С. М., муж Нормы Ширэр, человек, получающий миллион долларов жалования в год, голливудский Наполеон со скрещенными руками. Все перечисленные должны были составлять «конференс» — совет при картине. Я, кроме авторства, должен был быть и советником при фильме, дабы не было клюжв.

Понятие про-советский — следующее понятие. Америка, как известно, в 1931 году дипломатических отношений с СССР не имела. Те американцы, что были против признания Советского Союза, назывались антисоветскими. Те же, что хотели восстановить международную дипломатию, назывались про-советскими. Так же разделялась и русская в Америке колония. Большинство эмигрантов, приехавших до революции, были про-советскими. Антисоветскими были те, кто предал родину, бежав от революции. Что касается меня, я был просто советским.

И что касается меня еще раз, — мне не пришлось побывать ни соавтором всезнаменитой в кинодействе Фрэнсис Марион, ни советником при фильме.

Но по поводу фильма я советовался несколько дней. О политике, избави боже, до последней моей отъездной ночи мы не говорили ни слова.

К моему приезду основные черты сюжета были уже — так скажем — продуманы, и Фрэнсис Марион написала уже первоначальный синопсис, кой я должен был проработать в совете с сотрудниками и переработать в свете истины.

«... в кабинет директора вошел молодой очаровательный блондин...»

Содержание сработано было мадам Фрэнсис Чарской по всем американско-голландским правилам. Герой — американский инженер Морган. Героиня — очаровательная Таня. Злодей — ГПУ. Добродетельный комик — директор строительства Николай, рабочий, герой пятилетки, коммунист. Дело происходит в СССР. Морган едет в СССР работать, дабы «изучить великие принципы планового хозяйства, чтобы впоследствии применить свои познания у себя на родине» (выписано дословно). Таня («очаровательная шатенка!») высылается из Америки, — депортируется, как там говорят, — потому что она коммунистка и руководила забастовкой в Америке. Между Таней и буржуазным Морганом — классовая вражда, но — «взгляды их встретились, и они любят друг друга, сами не подозревая об этом» (выписано дословно). Они едут на одном пароходе, в разных конечно классах. Они проплывают мимо статуи Свободы. Таня с нижней палубы шлет проклятья американской свободе. Морган на верхней палубе насвистывает американский гимн. Глаза их опять встретились. И так далее. Сейчас же за советской границей начинаются чудеса. К Моргану сразу приставлен шпион (который впоследствии оказывается мужем сестры Тани, умирающей от чахотки и измен мужа). Этот шпион и неверный муж сразу влюбляется в Таню. Он конечно тайный чекист. Но кроме этого тайного чекиста, ходят по СССР чекисты и «явные» — они чернороды, увешаны бомбами, они в валенках, и у них глаза горят, «как угли». Явные чекисты на глазах у всех арестовывают профессоров, отрывая их от жен, которые тут же умирают. В Москве делаются чудеса не меньше. Там строятся небоскребы «более высокие, чем в Нью-Йорке» (выписано дословно). Морган работает на

строительстве завода Сталь, «который будет самым большим в мире». На заводе работает директор Николай (будет играть комик такой-то), коммунист, герой пятилетки, бывший американский рабочий, некогда работавший с Морганом (хотя Моргану не больше двадцати двух лет). Таня, для-ради свежего воздуха, с умирающей от туберкулеза сестрою едет на родину в деревню, как раз около строительства Стали. В деревне свежий воздух, большие, свежие, разукрашенные украинскими (хотя и на Урале) полотенцами избы, горами масло и яйца, кои поедают благоденствующие пейзаны. По деревне в одно революционное утро проезжают танки, сравнивая деревню с землей, дабы на голом месте строить колхоз. Деревенскому батюшке обрезают бороду. Коммунистка Таня возмущена. Но в Таню влюблен шпион, муж сестры, тайный чекист и злодей. Он доказывает, что двоеженство не есть порок, но что при настоящем коммунизме можно будет иметь хоть двадцать жен, и Таня, как коммунистка, немедленно должна ему отдаться. Но тут он догадывается, что Таня любит Моргану. Тогда он мстит Моргану, подводя его под уголовщину. Таня в это время возглавляет восставших крестьян совместно с бритым батюшкой. И над Таней, и над Морганом нависает гроза расправы ГПУ. Ни Таня, ни Морган об этом не подозревают, но об этом узнает Николай, красный директор и коммунист. Он зовет к себе Таню и Моргану и — он советует им бежать из СССР! — Они бегут. Их преследует ГПУ. — Зрители должны захлебываться от волнения, — догонят? — не догонят?! — точь-в-точь, как в индейских картинах. Они конечно спасаются. Когда пароход проходит мимо статуи Свободы, очаровательная Таня протягивает к ней счастливые руки, а Морган поет американский гимн (около той самой Свободы, под юбкой которой много лет помещалась тюрьма). В этом месте Таня, совершенно американски естественно, отдает Моргану руку с сердцем и со всем прочим, — недостает только национального флага!

Когда меня спросили на конференции, — после того, как синопсис был огла-

шен, — что я об этом думаю? — я совершенно чистосердечно сказал, что синопсис этот кажется мне совершенной ерундой. Моему утверждению, к удивлению моему, никто не удивился. И никого мое утверждение не обидело. Политики мы не касались, избави боже, — при чистом-то искусстве! — но уроки политграмоты я давал несколько часов подряд. Со мной соглашались охотно. Я говорил, что если злодей необходим, то следовало бы за злодея взять русскую контрреволюцию. Рассказывал о саботажниках и о процессе Рамзина. Толберг попросил меня перерассказать ему еще раз, что такое саботаж. Выслушал и сказал:

— О-кэй, пусть вместо ГПУ злодеем будет саботаж!

Я рассказал, что такое колхозное движение. Толберг выслушал и сказал:

— Уэлл, не надо крестьянского востания, — придумайте какую-нибудь волнующую, в роде бунта, картину! Шюэли!

Я говорил, что американец не может бежать из СССР, ибо, если он бежит, значит он дурак, а дурак не может быть героем, а если он герой и не дурак, то он не побежит, ибо ни один американский инженер еще не бежал из СССР. «Уэлл» — это значит: итак, стало быть, «шюэли» — конечно. С этих слов американцы начинают фразы, когда хотят быть глубокомысленными.

— Уэлл, — сказал Толберг. — Но побег нам необходим как трюк. Придумайте, каким образом может быть побег правдоподобен для героя, потому что побег очень нравятся американскому зрителю.

Я говорил, что можно, мол, придумать и такую комбинацию, когда на Гренландии будут созревать лимоны, но Гренландия тогда будет не Гренландией, а Голливудом, — а меня приглашали быть автором и советником в фильме про-советском.

— Уэлл, — сказал Толберг, — мы ставим фильм именно про-советский, и мы пригласили вас как большевика. Но придумать побег необходимо! Шюэли!

Следует сказать, что в картине работать я хотел, ибо понимал, какое громадное значение имеет кино в той же

Америке, — и сделать картину, в которой было бы правдоподобия хоть на семьдесят пять процентов, это мне казалось — по моим размерам — делом большим. Приехав в Голливуд, я изложил дирекции мою программу. Она была проста. Я говорил, что для меня приемлемы условия работы только в том случае, если мне дадут возможность сохранить исторические перспективы, — СССР строит социализм, СССР ведется коммунистической партией, — это есть исторические факты и их, фактов, перспективы. Мне сказали: о-кэй, уэлл! Я имел тогда уже представление о Голливуде вообще и, прослушав синопсис, склонен был считать его глупостью больше, чем политикой, тем паче, что спасти ГПУ от злодейства, а колхозы от восстаний не стоило никаких трудов.

Ночи две голливудских мы с Джо не спали, так и сляк придумывая побег! — С Морганом ничего не выходило. Тогда мы решили, что бежит Таня, а Морган бегаёт за ней из-за любви. Таню мы исключили из партии. То мы комбинировали так, что Таня никогда и не была в Америке, а так, русская буржуичка, переводчица и прочее. То мы оставляли ее первоначальное пребывание в Америке. — Ничего не выходило! — Ничего не выходило и с Николаем, ибо невозможно придумать комбинацию, когда коммунист помогает побегу, оставаясь коммунистом! — Действительно, надо было, сидя в Голливуде, придумать произрастание апельсинов на Гренландии.

Придумали мы лишь одно: речь, которую я сказал на следующем конференции.

Декарт однажды утвердил заповедь: «Я мыслю — стало быть я существую». И европейская философия века полтора билась с этой формулой, путая философию, ибо по этой формуле чрезвычайно трудно примирить человека с космосом и очень легко утвердить мир не как реальность, но как представление. Билась философия до тех пор, пока не пришел человек и не сказал, что корень зла находится не в примирении этой формулы с действительностью, а в самой формуле, ибо формулу надо переделать, — «Я существую — стало быть я — часть природы». — «Я мы-

слою — стало быть я существую» — в это самое у нас превратился побег. Гренландскими изысканиями заниматься не стоит. Лучше не в Голливуде придумывать сценарий и затем подгонять под него советскую действительность, но наоборот, сценарий подогнать под действительность, опустив гренландские лимоны побегов. Так говорил я.

— Уэлл, — сказали мне, — но мы хотим поставить про-советский фильм. — Именно поэтому я и не спал полторы ночи, — ответил я.

— Но про-советский фильм, — сказали мне, — это значит: пусть большевики делают у себя, что хотят, хотя бы и социализм. Мы признаем пятилетку и ваше строительство. Мы за признание Советов и восстановление дипломатических отношений, потому что нам выгодно с большевиками торговать. Но то, что происходит у большевиков, это никак не годится для американцев. В фильме надо показать, что у большевиков не могут жить даже американские коммунисты. Все это надо показать в фильме, который мы намерены крутить.

Я выслушал, понял, что это уже не глупость, но политика, хоть и очень глупая, вытащил мой договор, по которому я мог в каждые двадцать четыре часа порвать этот самый договор, и сказал: гуд-бай, до свидания! — выморочив имя свое из голливудских дел.

Мне сказали, что я могу откуда хочу выписывать и вытелеграфировывать книги и выдумывать, что я только вздумаю, лишь бы это было кинично и было чистым искусством. Напомнили мне, что я — привилегированный. И спросили удивленно: ужели действительно я не хочу работать? — ужели я на полпроцента не хочу отступить от истории, от той самой, перспективы которой я ставил условием своей работы?

— Нет, — сказал я, — я не предаюсь.

— Ну, а у нас, американцев, обмануть историю, а еще больше того государство, считается хорошим бинзэсом! — это мне сказал Ал Люэн, надо полагать всерьез.

С Алом Люэном я проводил последнюю голливудскую ночь. Я дружил с ним — главным образом не по службе.

В мои голливудские дни у Ала Люэна гостил его друг, молодой американский поэт Чарлз Резников, очень талантливый человек. Резников не оказался на золотом крючке муви и служил приказчиком в Нью-Йорке, в шляпном магазине. У Резникова хорошие книги стихов, которые плохо идут, потому что они хорошие. Ал Люэн дал возможность Резникову приехать в Калифорнию для отдыха. Я был свидетелем, как Ал покупал книгу Резникова экземпляров по двадцать пять и, потихоньку от Резникова, раздавал эти книги знакомым. Это он делал для того, чтобы поддержать тираж. Ал в совершенстве оценивал Марсэля Пруста, Джемса Джойса, русского Гоголя и расспрашивал меня о Пастернаке (о поэте, к слову, которого сейчас чтут лучшим из живых на земле). Ал, почти единственный в Голливуде, хотел внимательно знать об СССР. В свое время Ал был профессором литератур. Мне он предлагал в распоряжение его дом и его пикард, и мои книги, должно быть, он также покупает по нескольку сразу. Он — очень маленького роста, очень слаб физически и у него внимательные, умные, чуть-чуть усталые глаза. Он — умный и культурный человек.

В последнюю мою голливудскую ночь собрались друзья, чтобы мы распрощались. И в то время когда Р. говорил: «Эх, тты, Пильняк! — американская индивидуальность!» — Ал Люэн сказал мне:

— Ты не хочешь муви уступить полпроцента? но как же муви уступит тебе полпроцента? Дело не в людях, Бор, но дело в системе!

Ал Люэн совершенно прав, — дело в системе, но не в людях. Ал Люэн — хороший человек. Выше рассказано было о хорошем американском бутце в любви индианки, — это было в Калифорнии. Ниже рассказано будет о том, что Калифорния сыграла однажды роль ломового извозчика, который вывез Соединенные Штаты из лужи кризиса — калифорнийским золотом. Калифорния — и Голливуд — помнят историю заселения Калифорнии, Дикого Запада. Иоган Август Сэттер имел большую американскую судьбу, этот первый калифорнийский фермер. Он родился в

Германии, жил в Швейцарии, служил в Париже в гвардии, пока из гвардии его не выгнала Июльская революция. Он поехал в Африку купцом. Он приехал в Нью-Йорк трактирщиком. Сначала он искал счастья. Затем он стал искать покоя. Он поехал с семьей на Дикий Запад, чтобы уйти от людей. Из Сан-Франциско с двумя другими белыми, с семьей, и с несколькими индейцами, — пионер, — на лодке он поплыл вверх по течению реки Сакраменто, где до него не было еще белых. Он хотел там жить Робинзоном. По законам пустынь он сделал заявки на земли, и земли стали принадлежать ему. Он построил ферму, которую назвал Новой Гельвецией, которую окружающие называли Фортом Сэттера. Сэттер фермерствовал и сплавлял вниз по Сакраменто леса. Он прожил десять лет в этих диких местах один с двумя своими товарищами и с семьей. Он обрел покой. Но его ж товарищ Джеймс Маршалл 28 января 1848 года на его же, Сэттера, землях нашел золото. Золото! — то, ради чего и вообще-то европейцы поехали в Америку! — Через две недели тогда земли Сэттера превратились в лагеря золотоискателей и брошены были в быт, описанный Джеком Лондоном. Через полгода тогда на земли Сэттера собралась вся американская гольтепа, создав поселки, которые теперь называются городами и носят старые названия — Виски, Копи Дикого Янки, Портвейн. Новая Гельвеция оказалась в центре города Сакраменто, ныне столицы Калифорнии. Но Сэттер был фермером и хотел фермером остаться. Сэттер обратился к суду с требованием, чтобы власти прогнали с его земель непрошенных им людей. Суд подтвердил его права, но суд был бессилён. Сэттер поехал в Вашингтон за помощью, — и только поэтому Сэттер остался жив. Золотоискатели поступили с приказом суда законами пустынь и «дикого» Запада. Все владения Сэттера были сожжены, один его сын застрелился, другого убили, третий бежал и пропал без вести, его дочь изнасиловали, и она сошла с ума. Сергей Эйзенштейн, приглашенный, подобно мне, Голливудом, фирмой Парамаунт, предложил поставить в кино судьбу этого первого фермера Кали-

форнии. Ему отказали. Тогда он предложил поставить «Американскую трагедию» Драйзера, которую проработал вместе с Драйзером. С Эйзенштейном был порван договор, и порван был так, что Эйзенштейн должен был в двадцать четыре часа покинуть Американские Штаты.

В Америке много киносюжетов!

23.

Итак, утверждение иных американцев, что Америку надо искать не там и не сям, — отбыло. Предаваться изучению стран из окна вагона — даже и особенно «двадцатым веком» — дело по многим причинам неудовлетворительное. Я купил себе автомобиль, чтобы на нем переправиться от океана к океану и вплотную посмотреть Америку. Обучался управлять машиной я в Санта-Моника под пальмами. Совершенно ясно, в первые дни обучения, неожиданно наткнувшись на неожиданность, растерявшись, не сообразив выключить конуса левой ногою, правой ногой, вместо тормоза, стал отчаяннейше я давить на газ. Автомобиль, совершенно естественно, превратившись из автомобиля в танк, стремительно в'ехал в ту самую неожиданность, которая испугала меня и которая оказалась садовым заборчиком. Танк проехал этот заборчик и через второй, исковеркав обывательские клумбы и чудом повиснув над обрывом к океану, застряв в песке. Так я обучался американскому хладнокровию и юмору.

Все же, прежде чем покинуть Калифорнию, я ездил по ее достопримечательностям.

Я видел памяти соотечественников.

Я ездил по развалинам индейских поселков и по испанским миссиям («мишэн» — по-английски). Этими мишэнами испанцы завоевывали индейцев. Каждая такая мишэн — толстостенная, монастыреобразная — есть крепость, обязательно с громадным винным подвалом и с неменьшей братской столовой. В нескольких мишэн сохранились испанские картины памяти индейских здешних времен. Эти картины в наивной безграмотности и безвкусице мастерства очень реалистичны. На иных изображено превращение индейцев в католическую веру: в воде стоят голые ин-

дейцы, над ними на берегу стоит со крестом толстый ксендз, сзади ксендза вальяжно поستاивают испанские солдаты с фузеями, еще дальше под кустами командирствуют лошади и пушка. Так оно и было. Индейцев в веру загоняли порохом. Ну, так вот, в одной из «мишэн», в алтаре, в заалтарной комнате увидел я русский самовар, совершенно православный, ручной работы, красной меди, по всему — века семнадцатого. Самовар в католическом алтаре привел меня в недоуменье, я отправился в розыски и расспросы. Оказалось, что в семнадцатом веке здесь были русские, атаман русского корабля Резнов собирался даже жениться на некоей туземной принцессе, но не осмелился сделать этого без разрешения царской милости, поехал восвояси за этой милостью и обратно не вернулся. Испанское правительство, оказывается, имело из-за этого Резнова переписку с российскими приказными в страхе, что русские рыбаки и казаки заберут себе Калифорнию. Самовар остался от тех пор, и испанские монахи, не зная толкового самоварного применения, пользуются им как умывальником в богослужбное время. И крепости-мишэны строились, оканчивается, главным образом не против индейцев, а против русских. Чудеса в решете, хоть и не к славе мне этакий патриотизм! — русские в Калифорнии, русские прыгуньи!..

Видел я родэо, ковбоев.

Встарину, то-есть, лет десять тому назад, с этих родэо выбирали лучших ковбоев для кино.

Ехали в горы, за горы, к границе штата Аризона. С гор таборами семейств, от стара до велика, мужичьи и женщины, приехали ковбой. Их кони — мустанги! — стояли у коновязей, красавцы, пришедшие на состязание. Ковбой рассматривали коней. В загонах мычали быки и коровы. Женщины, многие в ковбойских штанах, с пестрыми шальями на плечах, гуляли вокруг ипподрома, наслаждаясь праздничностью. Девушки перепроверяли подпруги седел у своих коней. Все от времени до времени ели горячие сосиски и пили кола-кола. Председатель ковбойского общества спортсменов, знаменитый ковбой и не

менее знаменитый — ныне уже бывший — киноактер, распорядительствовал. Его костюм блистательствовал. От времени до времени он распускал свое собственное лассо, шпорил лошадь, и лошадь пропрыгивала через петлю лассо хозяина, — лицо киноковбоя не меняло ни единого мускула.

Начались состязания. Первым номером была езда верхом на диких быках. Быки неистовствовали в обладении, прыгали, копали землю рогами, лягались, иные ложились. Уздечки, естественно, никаких не было. Всадники, если так можно выразиться о ездящих на быках, держались исключительно при помощи ног, эквилибрируя руками в воздухе для равновесия. Победителем был тот, кто свалился с быка последним. Затем то же самое было повторено с необъезженными лошадьми. Затем были гонки со всяческими джигитскими ловкостями. Гонялись и девушки. Их ловкость заключалась в том, что они, так скажем, везли эстафету. Проскакав круг, каждая девушка перескакивала на полном ходу с одной лошади на другую и мчала дальше. Одну девушку с поля свезла карета скорой помощи. Прыгали девушки с одной лошади на другую на карьере замечательно: девушка-помощница разгоняла лошадь, и наездница с ходу прыгала с одной лошади на другую в тот момент, когда лошади равнялись. Гоняющаяся девушка хваталась за гриву второй лошади, на момент расплывалась в воздухе и во второй момент мчала уже дальше, нашпоривая коня. Девушки не были стриженолосы, и волосы их развевались по ветру. Затем были состязания с лассо. Из-за загона выпускалась корова, испуганная и бегущая. Ковбой должен был, стоя на коне, бросить на нее лассо, уронить на землю, соскочить с коня и связать ноги корове. Победил тот, кто сделал все это в наименьшее количество секунд. Надо сказать, что ковбоев и их коней, и их стад полудиких коров и быков было все же меньше, чем, скажем так, цивилизованных зрителей и автомобилей. Ипподром и скамейки для зрителей сколочены были наскоро из нетесаного теса, но в уборной была проведена вода и оборудована канализация, а над ипподромом для вечерних удовольствий ви-

сели электрические лампы. Часть ковбоев также приехала на автомобилях.

Со среднеазиатской байгой ковбойские развлечения сравнить нельзя, хоть быть может, они и не индейского, но азиатского (испанцы — мавры) происхождения. Костюмы ковбоев продаются в городах, в магазинах, фабричного производства, равно как и испанские их седла. Состязанья ковбоев наполовину уже театр. Не случайно председательствует у них ковбее-киноактер.

И видел я золотоискателя, потомка тех, которыми заналася Калифорния, которые нарушили некогда — и не так давно — покой Иоганна Августа Сэттера. Именно к таким старателям я и ездил. По существу говоря, я ничего не видел. Пасмурный и подозрительный человек вышел из пещеры, сухо сообщил, что делать нам здесь нечего. На нем была синяя рабочая блуза. В поры его лица и рук в'елась земля. Он ушел в пещеру и, уходя, глянул на нас подозрительно. Не знаю, какими законами преломления лучей его глаза блеснули синей искрой, как иной раз у лошадей от света автомобильного фонаря, — зловещим, испепеляющим светом страсти и скупости, и — голода, запуганного, отчаявшегося, подозрительно, — так мне показалось. Около пещеры стоял форд, окончательно изодраный, цена которому не больше двадцати пяти долларов. И непонятно было, то ли этот форд служит средством передвижения, то ли ючлежкой. На сиденье внутри форда шипел примус.

Лос-Анжелес, да и вся Калифорния, по воле Голливуда, украшена памятниками. Ножки звезд в цементе кинотеатров имеют прямую проекцию к громадным апельсинам, которые оказываются не апельсинами, но лавочками, в коих продается апельсиновый сок, к громадным чайникам, которые оказываются не чайниками, но ресторанами. Это — и искусство, и памятники, и реклама и бизнес, вместе взятые и размещенные под пальмами, эвкалиптами и перечными деревьями.

24.

В тот же час, как меня освободил Голливуд, не дожидаясь утра, в вечер, засучив рукава и нахлобучив на лбы

белые кэпи, включились мы в конвейер автомобильных дорог, чтобы искать ту самую Америку, которая есть ни Нью-Йорк, ни Лос-Анжелес. О дорогах рассказывалось. Дороги приняли нас в свой конвейер, когда надо было ощущать, что мы едем не по пространству, но по стандарту, ибо от океана до океана, повсюду, кроме природы, ничто не менялось. Всюду был один и тот же бензин, одни и те же завтраки и обеды, одни и те же отели. Менялись лишь пейзажи да климатические особенности. Но они не видны были из-за дорог, зашашенные конвейером движения. Был у нас рекордный день, когда в день мы прошли на автомобиле расстояние, равное расстоянию от Москвы до Одессы.

Ехало нас трое: Джо, я и Исидор К., голливудский киноактер, перекаати-поле, человек, отчаявшийся найти работу в Голливуде и помогавший нам вести машину за ночлег и хлеб, ехавший в Нью-Йорк, но готовый ехать куда угодно, американский гражданин. Всю дорогу Исидор пел американские гимны.

Так мы проехали всю Америку от океана к океану, с заездом в южные штаты, к Мексиканскому заливу, в штат Миссисипи, в город Нью-Орлеанс. И на автомобиле ж я был у Великих озер, в Детройте у Форда, в Бюффало на Ниагарском водопаде.

Два природных явления придавили меня, такие, которых доселе я не видел, которые замкнули мои пути по Америке началом и концом путей: кактусовая пустыня и Ниагарский водопад.

Кактусовая пустыня под горами Сиерра-Навада, в отчаяннейшем зное солнца, в желтом песке, никак не походила на реальную природу, но рисовала в фантазии мертвое морское дно, где кактусы, громадные и страшные, да юкки, дикие пальмы, казались морскими растениями и рифами морских животных. Юкка имеет не одну листовную шапку, но несколько, — вдруг из голого и ободранного ствола торчит такая ж шапка, как на венце. Кактусы были различны: колючие, желтые, как дикообразы, гладкие, зеленые, как огурцы, небольшие, в рост прерийной собаки, и громадные, в рост трех рослых индейцев. И пальмы, и кактусы торчат из песка, который ползет под ними, точно

они случайно и временно воткнуты в этот песок. В пустыне там мой автомобиль раздавил дикообраза. Видели мы однажды за кактусами стаю диких прерийных собак. И дикообраз, и эти собаки похожи на кактусы. Конвейер дороги пересекал пустыню, отсекая километры автомобильными станциями, плакатами реклам, зоопарком животных пустыни за зоомузеями индейцев — в этой пустыне, которая кажется морским дном и оживает только у оазов.

Ниагарский водопад был завершением моих путей. Он, Ниагарский водопад, — поистине величественен, неповторим, мужественен, эта громадища воды, падающая с гранитных высот. Он неопишуем, как всякие величественные своею простотою вещи и события. Падают с гранитных высот громадная река, падает отвесом, заглушает своим ревом все шумы фабрик и заводов, вокруг него поместившихся, создавая тишину грохота природы, когда человек в частности молчит около него, потому что человеческого голоса все равно не слышно, — и это почти все, чем можно описать водопад. Около него надо молчать, около этого механического (в отличие от вулканических например), механического проявления мощи природы, — колоссальной мощи завода геологии. Фабрики и заводы, построенные вокруг него, шумные городишки на берегах USA и канадском — щенки около этого завода воды и гранита. Они немеют в тишине его рева, — именно немеют и именно в тишине, потому что человеческий слух — мерло — отказывается воспринимать звуки около этой падающей громады серой воды. Иного поражают в Америке небоскребы, самые высокие строения в мире. Иного поражают подземелья Нью-Йорка, в механической их вежливости и в размерах, в несколько раз больших, чем римские катакомбы, когда в этих подземельях можно прожить жизнь, не видя естественного света. Ниагарский водопад величественнее. И он проще, он очень прост: с гранитных высот падает громадная река, падает так величественно, что около падающей воды даже американцы не ухитрились поставить ни ресторанов, ни плакатов реклам. Он очень прост.

Читал я книжицу некоего моего соотечественника Павла Свинына, изданную с дозволения цензуры в Санкт-Петербурге в 1815 году «Опыт живописного путешествия в Республику Северных Американских областей». Сей Павел Свинын описывает прелести Ниагарского водопада и пишет:

«...Между дикими, населяющими окрестности озер Онтарио и Эри, сохраняются многие странные и чудесные истории о водопаде Ниагарском. Я упомяну здесь об одном истинном приключении. За несколько верст выше от водопада проходил Английский Матроз одного военного корабля, и увидя на берегу спящую прекрасную Индианку, вздумал ее похитить. Индианка проснувшись хотела сокрыться в лодку, стоящую у берега, в которой спал ее муж, но Матроз успел, прежде, нежели она исполнила свое намерение, отрезать веревку, которою лодка была привязана к дереву; она понеслась мгновенно по течению и скоро попала в быстрину...»

Есть у американцев некоторое место, которое рекламируется во всех журналах и на станционных плакатах — Грэнд-Кеньон, — по-русски перевести — Большой овраг. Делали мы четыреста километров крюку, чтобы побывать около этого оврага, размытого в свое время рекою Колорадо. Я б не стал поминать об этом овраге, если б он не был преддверием к индейскому племени зуни. Овраг, действительно, очень большой, в два километра глубиной, по дну которого течет река Колорадо. Средних лет около него деревья. Средних лет под деревьями в отеле американцы, — или спускающиеся на ослах ко дну оврага, или собирающиеся туда спускаться. Примечателен этот овраг своею необоротностью: стояла бы среди ровного места гора в два километра высотой, это было бы как у всех, — тут же овраг в два километра глубиной, и для того, чтобы ощутить его глубину или высоту, надо спуститься на его дно при помощи ослов. Места вокруг Грэнд-Кеньона — дикие места — населяют еще индейцы. Рядом с барственным отелем на краю Грэнд-Кеньона располагался индейский вигвам. В афишке сообщалось, что в та-

кой-то день и час индейцы будут танцевать свои воинственные танцы.

Я не ездил на осле ко дну оврага. Индейские танцы можно повидать в Москве, полюбовавшись на цыган. Мы поехали в зоопарк племени зуни.

Христофор Колумб (еврей по национальности, как утверждают некоторые исследователи) добрался до первого американского острова 12 октября старого стиля в 1492 году. Некий парижский гражданин, издавший в Париже на русском языке в 1928 году книгу под названием «Америка», Р. М. Бланк (с твердым знаком на конце фамилии), в этой своей «Америке» пишет, с твердыми знаками:

«Высадился Колумб на этот остров тотчас же после своего прибытия к его берегам, утром 12 октября. Туземцы ждали его на берегу в крайнем возбуждении. Они были уверены, что то прибыли к ним из-за горизонта, — оттуда, где «небо сходится с землей», — небожители... Они распластались у ног Колумба и его свиты с выражением глубочайшего благоговения и полной покорности».

Этот же Бланк выписывает:

«следующий случай, отмеченный испанским историком XVI века, Геррера, в его «Historia des las Indias», изданной в Мадриде в 1601 году»:

«На острове Кубе стоял во главе одного индейского племени мудрый касик по имени Гэтуэй. Когда до него дошла весть о предстоящем прибытии в его княжество испанцев, он, имея уже вполне определенное представление об испанцах на основании рассказов своих сородичей, созвал всех старшин своего племени и, положив среди площади огромный слиток золота, обратился к собравшимся с таким воззванием:

«Вот это (золото!) бог белых, поклонимся перед ним, выразим ему наше благоговение и попросим его, чтобы он внушил белым доброе отношение к нам».

Горячо и страстно стали индейцы молиться «богу белых», выражая ему свое почитание всеми доступными им способами: подарками, танцами, песнями и проч.

Но этот бог был неумолим, и как только испанцы прибыли, они первым делом схватили самого касика и подвергли, во славу божию, ауто-да-фе.

Правда, когда этот злосчастный корчился на костре в предсмертных судорогах, к костру подошел католический патер и, поднося умирающему крест, предложил ему принять христианство, чтобы обеспечить себе царство небесное. Но индеец ответил, что если там господствуют христиане, он предпочитает быть подалее...»

Поучительный ответ! Поучительный приговор!

Мы поехали к племени зуни. От тракта надо было свернуть в сторону. Свернули и сразу попали в первобытность бездорожья, в суглинки и колеи, как поди-небось где-нибудь в Кара-Кумах. Полила нас гроза, и автомобиль наш пополз, как корова по льду, норовя в канавы и не желая держаться в колеях. Так мы и ехали — от канавы к канаве. Исидор даже бросил петь свои гимны. Прежде чем пускаться в окончательное бездорожье оаза, в долину меж гор, где живут зуни, заезжали мы — уж не знаю, как выразиться, — в европейски или американски оборудованные белые, сытые, с теннисными площадками дома чиновников индейского департамента. Там у чиновника, разумеется не индейца, но американца, мы получили разрешение проехать к зуни. Чиновник посоветовал нам у зуни не ночевать.

Я видел в этот день в Америке нищету не менее страшную, чем нищета турецких деревень двадцатого года. Пейзаж был один и тот же, что в Турции, — около оаза ханаобразные дома, всадники на низкорослых конях, грязь, антисанитария. Мы познакомились и нас сопровождал индеец, человек лет сорока с длинной косой, в мокасинах. Он фотографировался вместе с нами, затребовав с нас за это семьдесят пять центов. Улиц в поселке племени зуни не было. Дома стояли как придется. И в дом можно было войти, забравшись на стену дома по переносной, из жердей лестнице. Иных входов не было в эти дома из глины, когда каж-

дый дом — маленькая крепостица. Но печи для печения хлеба находились на улицах, за стенами домов. Эти печи, если их сфотографировать в упор, воспользовавшись голливудскими хитростями смещения перспективы, могут показаться магометанскими мечетями или киргизскими юртами. Они кудлообразны, в них пекут маисовые лепешки (маис — гаолян — кукуруза — это все одно и то же). Лазили по лестницам в дома. Хоть печи для лепешек только-что описаны, я узрел в одном доме чугунную плиту, перепосную, которая топится каменным углем. Видел швейную машину, никелированную кровать (без простыней конечно). Вещи от индустрии были случайны, как в турецких деревнях. В каждом доме на полу женщины ткали ковры, протекал в углу арык и пребывала ручная мельница, где, растирая один камень о другой, изготавливают маисовую муку. Меня угощали хлебом, лепешками, тонкими, как писчий лист бумаги. Я купил за двенадцать долларов ковер. Женщина, которая продавала его мне, сказала, что она работала над ним три месяца. Кроме конных, все же я видел нескольких индейцев на автомобилях старых марок. Наш спутник, который снимался с нами за семьдесят пять центов, а дочери разрешил сняться за полтинник, этот потомок страшных людоедов и Ястребиных Когтей, был тихим, добрым и забитым человеком. Он предлагал нам его дом для ночлега, и конечно там с нами ничего бы не случилось. Вокруг деревни зрели произрастала кукуруза. Национального флага над деревней я не видел, — он был над домом чиновников индейского департамента.

Итак, чтобы понять величие Грэнд-Кеньона американцев, надо спуститься на американское дно индейцев из кишлака зуни. Совершенно верно говорят американцы, что не только Нью-Йорк есть Америка, или — иначе — Америка не есть в Нью-Йорке. В Америке — просвещенность, свобода, все равны перед законом. А поэтому: индейцы не считаются американцами, индейцы не есть граждане USA, эти краснокожие, бывшие в Америке до американцев, должны быть, за тысячелетия. Индеец лишь может стать гражданином USA, если

он захочет зарегистрироваться таковым, подобно поляку, приехавшему из Лодзи. Там, где колонизовали Америку европейцы-северяне, саксы в первую очередь, индейцев нет. Говорят, что они вымерли. Правильнее сказать, что они вырезаны. Там, где колонизовали Америку испанцы, индейцы остались чистокровными или образовали индеевропейскую смесь, коею например являются мексиканцы. Испанцы ехали в Америку (Р. М. Бланк рассказал), говоря попросту, грабить, — и ехали без женщин, в расчете, понаграбив, вернуться домой. Они и грабили по мере сил. По мере надобности они приводили индейцев в христианское состояние. По мере темперамента они насильовали индианок. Они спешили, до индейцев им многих дел не было, — ни им, ни испанским королям, подкрепленным папами из Рима. И индейцы кое-как уцелели через изнасилованных женщин обретая испанскую кровь. Англичане ехали иначе, англичане ехали с семьями, ехали в пуританском благочестии на вечное житие. Англичане ехали по бессловесному уговору всячески хорошо жить. И там, где есть англичане, индейцев — нет. Хорошая жизнь англичан оказалась более смертоносной для индейцев, чем насилия испанцев. Войны с индейцами были еще в прошлом веке и, если индейцы кое-где еще остались, то живут они в карантине, как в зоологическом саду, во имя всяческого американского равенства. Индейцы живут в роде музейных экспонатов, на доньях грэндкенъоновских наоборотов. Во всяком случае в USA имеется индейский департамент, который охраняет индейцев.

Ниагарский водопад американских воль — величественен.

Еще раз вспомним Павла Свинына.

«...Между дикими, населяющими окрестности озер Онтарио и Эри, сохраняются многие странные и чудесные истории о водопаде Ниагарском. Я упомяну здесь об одной истинном приключении. За несколько верст выше от водопада проходил Английский Матроз одного военного корабля, и увидя на берегу спящую прекрасную Индианку, вздумал ее похитить. Индианка проснувшись хотела скрыться в лодку, стоящую у бере-

га, в которой спал ее муж, но Матроз успел, прежде, нежели она исполнила свое намерение, отрезать веревку, которую лодка была привязана к дереву; она понеслась мгновенно по течению и скоро попала в быстрину...»

Индеец, совершенно естественно, погиб, разбитый водопадом. Эх карамзински пишет Павел Свиньин! — оказывается, глагол похитить можно употреблять в смысле изнасиловать — а все вместе это есть «странная и чудесная история», равно, как и «истинное приключение». Эткими «приключениями» индейцы загнаны сейчас в зверинцы и танцуют, наподобие цыган, во утверждение своей экзотичности.

Я продолжу выписку из Павла Свиньи́на.

«...Индеец разбужен был колебанием лодки, схватил весло и с удивительною силою и искусством сделал оборот; но сила и искусство его были тщетны противу ярости волн. Увидя неизбежную смерть, он с удивительным хладнокровием положил весло, завернувшись в кожу и опять лег в лодку, которая низверглась в пропасть и навек исчезла!» —

Действительно, если в христианском рае проживают христиане, как заметил на костре мудрый касик Гэтуэй, то лучше в этот рай — не надо! —

Об индейцах в Америке я слышал легенду от нескольких радикалов, которая, казалось бы, подтверждается фактами. Читатель знает, что десятая часть американского населения — негры — была привезена в Америку из Африки. Казалось бы, зачем колесить за рабами через океан, когда можно было превратить в рабов индейцев!? — Радикалы утверждали мне, что индейцы не стали рабами, не подчинились белому человеку, не отдали ему своей свободы, эти Ястребиные Когти, умирившие на Ниагарском водопаде, заворачиваясь в кожу с «удивительным хладнокровием». Легенда, что говорить, в порядке Майн-Рида. Но каким же образом при таких обстоятельствах теперь индейцы находятся в зверином состоянии зверинцев, и они — даже не американские граждане!? — Войны с индейцами закончились лет пятьдесят тому назад. Об ин-

дейцах много писалось, что они вымирают естественной смертью, подобно зырянам и самоедам при российских императорах. Имеются три цифры, которые любопытны; мне не очень ясно, каким образом возникла первая цифра, но, по логике вещей, она преуменьшена: в 1492 году индейцев было на нынешних землях Соединенных Штатов 846 тысяч человек, в 1789 году их осталось 76 тысяч человек, к 1930 году (когда за прошлый век их не так уж усердно резали) их стало 340.541 человек.

На дно Гранд-Кеньона следовало опуститься для того, чтобы оттуда глазами индейцев глянуть на американцев. Ниагарский водопад действительно величественен! — индейцы ж похожи на кактусы с морского дна пустыни Аризона, если они — все же — живут, так же нереально, как нереальна кактусовая пустыня под горами Сиерра-Навада.

Америка — «страна великой демократии!» Исторический факт все же остается фактом: индейцы не были конституционными рабами, — рабами стали негры.

25.

Кто знает в СССР о городе Дэллас в Южном Техасе (иль Тэксесе)? Лет пятьдесят назад в этом степном городишке было тысяч десять жителей. Лет десять назад жителей было тысяч сто пятьдесят. Ныне — без малого триста. Этот город, о котором даже в Америке плохо знают, автомобилей имеет семьдесят с лишком тысяч, телефонов — шестьдесят пять с лишком тысяч, электрических счетчиков — шестьдесят с лишком тысяч. Новое строительство этого города за последние десять лет стоило триста двадцать с лишком миллионов. Банки в этом городе располагают четырьмястами миллионов долларов резервов. Последний prosperousный год имел выпуск продукции в год на триста тридцать миллионов долларов и оптовый оборот — в миллиард шестьсот восемьдесят миллионов тех же долларов. На юг, юго-восток и на восток от этого города, упираясь в Мексиканский залив и в Атлантический океан, идут так называемые Южные, негритянские Штаты. Прямо к северу от Дэлласа лежит штат Оклахома со штатным горо-

дом Оклахома-сити. Оклахома — это уже известный город, полезший в небо небоскребами и миллиардами. По геоэкономике этот город в роде нашего Днепропетровска: степь, хлеба и рядом с ними нефть, каменный уголь, индустрия, город заводов, шахт, нефтяных вышек, рабочих. И от Оклахома-сити на север и на северо-восток, до Чикаго, до Нью-Йорка — индустрия, индустрия, промышленность. Лет семьдесят тому назад, в дни гражданской войны, эти места были водоразделом Северных и Южных Штатов.

Штат Миссисипи — он весь в субтропических зарослях и заводях, во множестве рек и речушек, заросших лесом, где почти не видно человека и где величествует в ложе своей река Миссисипи. Леса, — чорт их знает, какие это деревья, — лианообразные ветви, поросшие седыми бородами мхов, спускаются до земли и путаются, и запутывают все, что под ними.

Штат Теннесси поднялся от Миссисипи на пригорки. Это тот самый замечательный штат, где несколько лет назад суд постановил, что человек не происходит от обезьяны, присовокупив, что утверждение сего есть беззаконие, караемое тюрьмою.

Нью-Орлиенс — порт, торгующий хлопком, тростниковым сахаром и бананами. Этими торговлями он на первом месте в мире. Хлопок в Америке съедается сейчас не червем, но кризисом. Город в свое время принадлежал французам, сюда бежали гугеноты, бежали враги, а потом друзья Наполеона. Из-под французской старины ползут американские небоскребы, заглушая узкие французские переулочки в решетках и жалюзи. Порт лег на Миссисипи, дымит, как все порты. Жилые переулочки тонут в цветах и проституции. Лавки завалились и развалились бананами, абрикосами, вишнями в грецкий орех величиной и прочими мне неизвестными фруктами, при чем бананы, оказывается, растут, выражаясь точно, на бревнах. Улица Лафайета заросла небоскребами и залита огнями не хуже нью-йоркских, и там падают огненные нигары и танцуют огневые ну.

Итак, мы — в Южных Штатах, в землях негров. И в Дэлласе, и в Батон-

Руже, и в Нью-Орлиенсе, в трамваях два отделения — для «колерных» и для «белых». На мелкокусочных полях среди лесов работают над хлопком негры, Белых, работавших на полях, я не видел. Белых, надсматривающих за работой негров, я видел многожды. Эти белые во всем белом — в белых шлемах, в белых крагах, и в руках у каждого из них — стэк. Во всех штатах, в штате Теннесси особенно, до сих пор «работают» Ку-Клукс-Клан и сук Линча.

Ку-Клукс-Клан. В семидесятых годах прошлого века, после войны Северных и Южных Штатов, — по существу говоря, войны южного, беглого из Европы дворянско-земледельческого класса, напуганного европейскими революциями, с северной индустрией, тогда уже народившейся, — войны, к слову сказать, начатой южанами, но не северянами, а стало быть возникшей никак не под лозунгом освобождения негров от рабства, разбитые Южные Штаты организовали тайное общество борьбы с неграми, названное Ку-Клукс-Клан. Членами этого общества были рабовладельцы. С позволения сказать, общество, считавшееся, как подобает, полумистическим и тайным, занималось «глупостями», как уверяют кое-какие историки, в роде пугания по полуночам негров белыми балахонами, при чем «глупостями» оказывались убийства негритянских общественных деятелей. «Общество» ставило своей целью доказательство замечательной истины о том, что белые превыше черных. Ку-Клукс-Клан изжил себя и помер было в середине девяностых годов прошлого века. В 1920 году, с началом сельскохозяйственного кризиса, Ку-Клукс-Клан возродился — в громчайших публичности, когда во всех одежных магазинах выставлены были ку-клукс-клановские балахоны, а по городам ездили комиссионеры с распродажей ку-клукс-клановских членских билетов. Ныне Ку-Клукс-Клан — организация уже не полумистическая, но просто фашистская, существующая для утверждения не только «белого» преимущества над неграми, но вообще белогвардейского преимущества, заботясь о бесправи всех «не-белых».

Суд Линча. Это суд без суда, самосуд, который до суда никогда не доходит, ибо в этих самосудах принимают участие и полиция, ибо убитого (или убитых) находят, но убийц не оказывается. Суд Линча «судит» только негров. Стандартным поводом для суда является утверждение белого, доказательств не требующее, что негр такой-то, кажется, покушался на честь троюродной бабушки или племянницы этого белого. Негра тогда избивают толпою. Это суд Линча. Негра тогда сажают на электрический стул. Это суд города Скоттсборо. Судить можно, как явствует по газетам, не только того, который «кажется», но и его соседа вместо него. Что касается покушения на «честь», к слову сказать, то каждый белый мужчина в Америке, склонный к распутству, негритянскую женскую «честь» обладал за два доллара. Негры ж мужчины американскими белыми «честями» обладают только в Париже. Со дней после войны повелся такой промысел, когда некие белые мерзавцы нанимают негров для мужской проституции. Эти негры обслуживают в Париже притонных американских лэди. Нанимают же негров американских потому, что они говорят по-английски.

Американские университеты и школы для белых — в садах, в свете, в солнце. Начальная школа — обязательно лучшее здание в поселке. Университет — не университет, а монастырское уединение для науки. Какое оборудование! — какие научные пособия! — Это конечно не мешает традиции, той, когда студента надо спрашивать не о том, на каком он факультете и прочее. Так вот, был я в сельскохозяйственном колледже одного из Южных Штатов. Колледж был для белых. Какие аудитории! — какая библиотека! — лаборатории — столовая — гимнастический зал, — какие опытные поля! —

Нас сопровождали два профессора. Эти ж профессора поехали с нами на соседнюю ферму, обрабатываемую «кроперами» — неграми-арендаторами.

Дорогой в деревьях подехали мы к барскому дому в зарослях сада, этакому французского стиля «шато». Хозяин качался на террасе в качалке под зонтиком, в американском изобретении,

курил сигару. Он надел белый шлем и пошел с нами, добродушный толстяк.

Он объяснил, что у него тысяча акров земли, а в природе кризис, хлопок не дает никакого профиту, он намерен изменить принципы своего хозяйства, собирается вместо хлопка образовать куро- и кролиководческую ферму. Но пока что кризис есть кризис, он сеет по-прежнему хлопок, и у него работает двадцать семей кропперов-негров, которые живут на его земле и в его домах, получают от него мула, семена хлопка, плуг и акры земли, — пашут, сеют, убирают, — и — отдают хозяину две трети урожая. Папаша-хозяин не утруждал негров продажей их трети, — он ее продает за них. Он делает это заботливо и чистосердечно.

Папаша-хозяин сообщил, что иногда он прогуливается по полям, в роде случая с нами, да для того, чтобы посмотреть, хорошо ли работают негры. Я вспомнил мои ощущения в те минуты, когда я видел в полях надсмотрщиков.

И негры — работают! — Дети от пяти лет собирают на полях хлопок. Женщины, из дружеских побуждений, стирают у папаша на кухне и подрезают цветочки в его саду. Папаша был человеком явно пикнического склада. Я попросил повести нас по негритянской деревушке. Папаша охотно согласился. Профессора засмутились, заверяли, что смотреть там нечего, негры, дескать, очень грязноплотны.

Сели на машины, поехали хлопковыми полями, приехали. Остановились около некоего деревянного ящика, оказавшегося негритянским домом, поистине «хижиной». Сделана была «хижина» из фанеры. Вместо окон воткнуты были картонки разных цветов. Против дома — глиняный чан с водой. К стене дома прилепилась дымовая труба. Над домом свисли ветви чудесного, мне неизвестного дерева.

Навстречу нам вышла дровяная и глухая старуха. Папаша приказывал ей тоном бога.

Профессора отошли в сторону. Старуха пребывала в беспрекословии. Хозяин желал зайти в свой собственный «дом». Вошли.

«Хижина» разделялась на два ящика. Оба ящика являлись спальнями с

востелями без всякого постельного белья. В одном из ящиков, на земляном полу, было углубление очага, труба которого уходила в стену.

Я спросил, сколько человек здесь живет. — Папаша сообщил, что живет здесь пятеро взрослых, две семьи.

Я попросил показать другие дома. Папаша отсоветовал, сказав чистосердечно, что жарко и все дома однотипны. Трещины в стенах дома замазаны были глиной. Глина была в грязи и копоти. Старуха была поистине в лохмотьях. Папаша предложил нам вернуться к нему, выпить сода-виски, — кризис, мол, кризисом, но виски для дорогих гостей у него всегда готово.

Мы поехали дальше, распрощавшись с пикническим папашей.

Я вызывал в профессорах инстинкты истинной учености. Они рассказали, что так именно живут 60—70 процентов черных кропперов, что прошлую зиму много кропперов перемерло в голоде. Молодой профессор впал в философическое настроение. Дескать, виноваты сами негры в своем свинском житии. Дескать, это почти не люди. Негры, дескать, все это находят нормальным, и все расходится от их нетрудолюбия, это их расовая особенность, — то, что они — полулюди.

Были мы в тот же самый день с теми же профессорами в негритянской школе. Опять фанерный ящик в одну единственную комнату, заставленную допотопными партами, сохранившими на себе многие поколения школьнических перочинных ножей. Кроме парт — не то в классе, не то в ящике — помещался стол для учительницы, пустой книжный шкаф и российская лет военного коммунизма буржуйка для зимнего отопления. На столе учительницы пылал яркий букет цветов. Детишки встали перед нами безмолвием.

В этом классо-ящике обучалось пятьдесят девять детишек, все возрасты вместе. Обучала их и все классы сразу одна учительница, негритянка конечно. На ногах учительницы были рваные чулки. Глаза учительницы были искуганы. Эта учительница имела высшее образование.

Мы отблагодарили профессоров, которые показывали нам замечательно

оборудованный сельскохозяйственный институт.

Я был в другой американско-негритянской школе, около Нью-Орлеанс. Нас встретил учитель-негр. Я протянул ему руку. Учитель растерялся, он отдернул было свою руку, затем крепко и чуть-чуть истерически мою руку сжал обеими своими руками. Ему, учителю, в первый раз в жизни белый человек подал руку!

В Южных Штатах на меня напала малярия. Был однажды вечер, когда меня знобила лихорадка в удушьи субтропиков. Сумерки в субтропиках отсутствуют, день переходит там в ночь сразу. В тех примиссипциских лесах по ночам пугались понятия космоса, потому что звезд на земле оказывалось больше, чем в небе, даже субтропическом. Звезды на земле, на полях, между деревьями начинали иной раз псходить на космический буран, на космические катастрофы, звезды летели миллиардами. Это летали светящиеся, как звезды, ночные насекомые. Мы ехали глухим проселком. Машину вел Исидор. Исидор сказал, что кончается бензин, мы завернули в негритянскую деревушку, убравшуюся под деревья. Негритянские хижины пребывали во мраке. К звездам неба, к звездам под деревьями примешались красные огоньки очагов. Лихорадка ломала мне руки и ноги. Запахи субтропиков разламывали мой череп. Звезды на земле пугали понятия космоса. Целую ночь, целую ночь напролет просидели мы тогда на бревнышке в этой негритянской деревушке. Целую ночь слушали мы, как пели негры хором. Мне думается, я никогда не слышал лучшего. Это пели те самые, которым белые не подают руки, которых белые оберегают Ку-Клукс-Кланом, но музыку которых, даже испохабив трактирами, виски и проституцией, выдают за свою национальную. Есть в России поэт, судьба которого предопределяет судьбу всей русской литературы. Имя этого поэта Александр Сергеевич Пушкин, этого русского гения, Пушкина, почти не знают не-русские литературы, он не вошел, подобно Толстому и Достоевскому, в мировое искусство. В той негритянской школе, куда меня возили профессора из сельскохозяйственного

колледжа, на стене я видел портрет Александра Сергеевича. Два народа в мире чтут Пушкина своим гением — русские и негры. И негры чтут Пушкина по праву: песни той ночи тому мне свидетель. Но Пушкину, если б он жил до сих пор и если б он сейчас приехал в Америку, — ему не подали б руки, потому что человек, имевший дедом негра, по американским понятиям, — не человек!

Радикалы из Нью-Йорка, которые чтут легенду о свободолюбии индейцев, верные заветам Авраама Линкольна, посылают в Южные Штаты желающих посмотреть безобразные отношения к неграм. Делают это они зря, ибо в Нью-Йорке безобразий не меньше. В Нью-Йорке, в частности в гостинице Сент-Моритц, пришли ко мне коммунистические журналисты, среди них был негр-журналист. Администрация отказалась пустить его ко мне. Я заскандалил, намереваясь сейчас же выехать из гостиницы. Администрация объясняла, что не она, дескать, против, что, дескать, никто не будет жить в гостинице. Этот негр-журналист пробрался ко мне по черному лифту. Когда я жил в частном доме и у меня возникли друзья-негры, они — в Нью-Йорке — не приходили ко мне — писатели, артисты — потому, что они рисковали не получить лифта в «белом» доме, — а я был бессилен.

Какой талантливый, эмоциональный народ — негры! — Негры конечно отличаются от американцев именно своей эмоциональностью. И совершенно верно, что американский главный бог и нищезащитник — доллар — в понятиях негров не стоит ломаного гроша. Негры многожды клали свои судьбы на весы американской истории. Впервые негры были привезены американцами в 1619 году. Картина, изображающая этот эпизод, хранится в Филадельфии, в музее при «Доме Плотника». «Дом Плотника» — это тот дом, в котором 4 июля 1776 года Джорджем Вашингтоном была провозглашена независимость Соединенных Штатов. Негров привозили в обмен на ром. В 1713 году английская королева Анна торговлю рабами объявила своей монополией. Штат Вирджиния к тому времени сам уже занимался рабоводством. Декрет о коро-

левской монополии был одной из (не решающих, но тем не менее) каплей дегтя в медах английского королевства, побудившего американцев отложиться от Англии. Американский историк и государствовед, президент Вудро Вильсон утверждал, что Америка не знала феодальной и дворянской культуры, сразу начав свои судьбы буржуазной демократией. Наглядным тому доказательством является рабоводство, которое поставлено было научно, капиталистически, теоретизовано, как сейчас например теоретизованы свиноводческие фермы и убой свиней в Чикаго. Наука рабоводства была разработана научно. Она применялась в действительности на латифундиях английских дворян, бежавших из Англии от революции Кромвеля, и французских гугенотов, которые в свою очередь также наглядно доказывали отсутствие в Америке феодализма. Государственный историк и президент Вудро Вильсон рассказывал, что война Северных и Южных Штатов, формально начатая из-за принципов единства Штатов, по существу была войною за освобождение негров. Поэтому — исторические справки фактического порядка: войну начали не Северные Штаты, но Южные, расстреляв форт Сэмтер; форт Сэмтер был обстрелян 12 апреля 1861 года, — и только через два года гражданской войны, с 1 января 1863 года президентом Авраамом Линкольном было отменено негровладельчество; война была закончена в 1864 году победой северян, — в дни, когда впервые был разбит главнокомандующий южных армий генерал Ли и когда сдался северянам укрепленный город Висбург, одна из цитаделей южан, — в эти дни в тылу у северян широчайшей волной, начатой в Нью-Йорке, прошла волна мятежей, протестов против северян, демонстраций сочувствия южанам, — в Нью-Йорке в частности громили воинские комиссии и охотились за неграми, как за дикими собаками, сжигая целые кварталы. Это — факты. В этой войне капитализм и индустрия северян дралась с дворянским феодализмом юга.

Вудро Вильсон, историк, писал:

«...Замечательно, как мало мирный труд негров нарушен был критически-

ми событиями того времени и отсутствием их господ. Как будто до сельских местностей не дошло и слуха об эмансипации. На поверхности народной жизни не было заметно ни малейшего отражения происходящей революции. С непоколебимым авторитетом царили в уединенных плантациях жены плантаторов в отсутствие своих супругов, сыновей и братьев, ушедших, стар и млад, на войну. Мирно и дружно продолжали толпы негров работать на полях, — пахать, сеять, жать, исполняя все приказы своих одиноких хозяек без усталости, с тихим усердием, даже с преданностью и привязанностью. Никаких волнений, никаких бунтов, никаких насилий. Как будто они не видели ничего несправедливого в своем положении и не ждали никаких перемен».

Странное дело, как это американский историк и президент не знает, а я, иностранец, знаю, что негры Северных Штатов обращались к Аврааму Линкольну с ходатайством принять их в армию, но президент отверг их ходатайство «с нравственным ужасом», как сообщалось в тогдашних газетах; как это историк запамätывал, что командный состав Северных армий относился к неграм не лучше, чем южане, и в цитадели северян, в дни побед северян, в Нью-Йорке, как только-что было сказано, был негритянский погром? — историк неизвестны факты, известные мне, когда все же негры прикладывали свою руку, как это было в городах южан Бьюфор и Нашвилл, уничтоженных неграми, при чем негры в свою очередь так же были уничтожены, как эти города? — Историк Вудро Вильсон был бы прав, если бы утвердил, что неграм не давали права принимать участие в войне, когда даже свободолюбивый президент Авраам Линкольн «с нравственным ужасом» пресекал эти права. И историк был бы прав, если бы сказал, с другой стороны, что негры не принимали участия в войне и потому, что они были забиты до собачьего состояния, поистине до состояния дворовых собак.

От дней гражданской войны до 31-го года прошло без малого семьдесят лет, охраненных Ку-Клукс-Кланом, — и я

встретил учителя-негра, которому я — первый не-негр — подал руку. Американцы из Ку-Клукс-Клана будут утверждать, что негры — вообще не люди. Американцы даже в Нью-Йорке ставят негров в полусобаачье положение. Негры — семьдесят пять лет назад — были освобождены от рабства так же, как если бы хозяин прогнал со двора собаку. Как живет масса негров — рассказано. Негры были освобождены со стопроцентностью безграмотности.

За семьдесят лет негры, даже кропперы Южных Штатов, сумели создать свою интеллигенцию, литературу, театр, адвокатов, врачей, инженеров. Белые ничего не делали для негров! Пушкину, если б он был жив и сейчас приехал в Нью-Йорк, ему б не подавали руки. Та ночь, которую я прослушал в негритянских песнях, когда на земле был звездный буран и земля пахла субтропиками, — такие ночи перенесены в Нью-Йорк, Гарлэм, в этот чудесный и фантастический город негров в Нью-Йорке, который живет ночами и непонятно, когда спит, в музыке, веселии, смехе, песнях, танцах. Не знаю, расового порядка или исторического, в порядке социальных законов или биологических, но негры действительно имеют отличия от американских белых: своею эмоциональностью в первую очередь, — я сказал бы — своею гуманитарной одаренностью. Каждый негр — музыкален, в первую очередь. Главный американский бог и ницшеанец — доллар — никак не дороже часа хорошей музыки, замусоленных страничек негритянского журнала, хорошего танца, хорошего разговора с приятелем, — так есть для негра, и это непонятно для американца. И Гарлэм, не такой уж многоэтажный, как остальной Нью-Йорк, и не столь уж залитый по переулочкам светом, — поет, хохочет, веселится, дымит сигаретками.

Я бывал у молодого драматурга Регины Анжул, ее пьеса шла в одном из гарлэмских театров, ее муж был адвокатом. Она все же, несмотря на то, что пьесы ее шли, потому что пьесы ее шли в молодом, новаторствующем театре, — служила — в даун-тауне, сиречь в городе белых, в нью-йоркском сити — библиотекаршей. Когда я приехал к ней

впервые, она, ее муж и их приятели играли около дома в мяч, стоя четырехугольником и бросая мяч друг другу. Когда я приезжал к ним, всегда повторялись традиции русского студенчества годов до тысяча девятьсот пятого. Люди оказывались на столах, на корточках у дверей,—за теснотой и за отсутствием чопорности. И разговоры были студенческими поистине. И какой это веселый, приветливый, товарищеский народ — негры! И безалаберный народ, потому что — тот-то забыл, этот опоздал, тот двое суток просидел у товарища, увлекшись книгой и отложив ради нее все прочее на свете. Это был уже круг дружбы, в котором нас, «белых», было трое. Ко мне, к стыду моему, мои друзья-негры не приходили, — мы встречались или в Гарлэме или в Гринвик-виллидж у Элен Винэр, журналистки. У Винэр можно было не заставить хозяйку дома, но найти Волтэра и Томаса, двух неразлучных друзей, актера и поэта, негров, с книгами и журналами (они — новаторы, они — Маяковский и Мейерхольд в молодости!). И дела у них — надо переварить Джемса Джойса, ассимилировав его в негритянской литературе, — надо уничтожить врага такого-то, написав в своем журнале искусств и литературы памфлет и манифест одновременно, надо выяснить точку зрения по поводу своего молодого поэта такого-то, который в поэзию переносит принципы «первоначальных ощущений» Марселя Пруста и хочет одновременно быть революционером. Быть же революционером, это — быть коммунистом. Быть коммунистом, это — в частности вырабатывать мораль, это — вырабатывать принципы и правила поведения и правила отношения к людям. Это: часами решать, останутся или не останутся при коммунизме, когда коммунизм пройдет по всему миру, останутся или не останутся тогда негодяи?! — Дел очень много! — Но, если вы оказались в Гарлэме, где-нибудь в подвале или во дворе под открытым небом ресторанчика, — тогда почему не натанцоваться вдосталь и не попеть!? — и почему не раз'езжаться потом по домам десятью человеками на четырехместной машине?

Деды Регины Анжул, Волтэра и То-

маса — были рабами. Белые и теперь не подадут им руки. Негры многожды клали свои судьбы на весы американской истории. Негритянская интеллигенция мне кажется интеллигенцией порядка не американского, но европейского. Ну, а если эта интеллигенция окажется в Америке — не негритянской, но — в городе Дэлласе столько-то электрических счетчиков, столько-то телефонов и автомобилей; на заводах в городе Дэлласе работают негры и на плантациях вокруг города Дэлласа живут кропперы — десять процентов всех американских рабочих — негры — совершенно естественно, что «белую работу делает белый, черную работу — черный» (Маяковский).

Однажды, в 1928 году, негритянская рабочая лига в городе Милвоки пригласила на свою конференцию для создания единого фронта милвокскую организацию социалистической партии. «Социалисты» ответили отказом, сообщив негритянской рабочей лиге, что движение негров не есть рабочее движение, но — расовое.

В Нью-Йорке ж, если вы захотите найти американский антиквариат, предметы искусства, то в сему соответствующих лавочках, в Гринвич-виллидже, вам покажут индейские ковры и индейские вазы. Если ж вы заинтересуетесь национальным американским танцем, национальной американской музыкой, вам покажут фокс и джаз, сексафоны, укулели и банджо.

Итак: Америка — «великая» «демократия», страна равенства национальностей, просвещенность и закон! —

26.

Мелочь. Я не случайно в моих записях о походе по Штатам оставил запись о малярии. Хина конечно вещь дешевая и — в Америке сладкая. Но одной хиной моей малярии прогнать нельзя. И я оставил лечебу до СССР. Излечение от малярии в Америке мне стоило б около тысячи долларов. Вещь простая: всяческие заболевания не есть провинность данного индивидуума, и охрана от заболеваний, лечение есть дело общества. Так принято у нас в СССР. У Форда в Америке при заво-

дах есть заводские больницы; рабочие за лечебу там — платят.

Но — вот никак не мелочь. От золотойной заводов в Скалистых горах (которые сейчас молчат), — от города Кингмана в тех же горах, через степные штаты (где хлеба, хлеба, хлеба, элеваторы на горизонте, силосные башни, ветряные водокачки, невероятных конструкций и сооружений сельскохозяйственные машины, длинноухие мурлы да степь, как скатерть), через города Адбукерк, Дэллас, Ритлидж, от города Батон-Ружа через Вашингтон до Бостона, до самой северо-восточной точки USA — я видел одно и то же. Я видел это во всей Америке. Это в Калифорнии и штате Юта. Это в штате Мичиган, около Великих озер. Это в штате Флорида. Это в штате Коннектикут. Это — больше национального флага, того, который, как известно, состоит из звезд и матрасной материи. Но это — под национальным флагом. Это, должно быть, сильнее всех вместе взятых американских автомобильных и прочих двигательных сил. Это: — о-б-ы-в-а-т-е-л-ь!

Я понял это в городе Кингмане, который находится на Диком Западе в Черных горах, в тех самых золото-серебрянойнойных местах, которые окутаны романтикой романов о золотых приисках, о диких мустангах и ковбоях. Мы ночевали в том городе в отеле Коммэршэл, где я писал на моей машинке, сдвинув кровати, сидя на одной из них и машинку положив на другую. В этом городе было всего две улицы, пересекшие друг друга крестообразно. Жизнь происходила на перекрестке. Ресторацию содержал китаец, который в Америке повторил анекдот Алексея Толстого о том, что: «что, мол у вас имеется? — все у нас имеется! — а такое-то у вас имеется? — этого у нас не имеется. — А что у вас имеется? — все у нас имеется! — а такое-то у вас имеется? — этого у нас не имеется!» — и так далее до бесконечности и до бифштекса. Самое большое здание на перекрестке — кино. Против кино — аптека, в окне которой выставлены открытки, швейные машины и рефрижератор. На улице — ни одной лошади, но против полисадов стоят автомобили, на скамеечках у калиток сидят вечерние

собеседники. Около кино толпится десятка поатора людей всех возрастов, предпочтительно парами. Они слушают излияния киноактеров, слышных на улице, ибо кино — говорящее. А за сим — все мертво, и город, и моя гостиница, и горы вокруг. До десяти часов слышны были разговоры около палисадов. После десяти все умерло до тла, вместе с кино. Я ходил по улочке от гостиницы до кино и делал открытия. В аптечном окне, кроме рефрижераторов и открыток, выставлены были брелоки для часов. Я купил себе брелок и открытку. На раскрашенной фотографии за столом сидел молодой человек с усиками и с поднятыми вверх глазами, в раскрашенном костюме, сшитом у среднечкаственного портного. Этот раскрашенный молодой человек с открытки курил, и из раскрашенного дыма его папиросы возникали женские качества и женская головка. Молодой человек смотрел в объектив фотоаппарата. Называлась эта открытка — «амор мио» — моя любовь. Я долго любовался этой открыткой и внимательно рассматривал брелок, подкову семейного счастья. Батюшки мои! — ведь я же знал, глядя на эти брелоки, какой суп был сегодня вот в том доме за палисадом и вон в этом без палисада! — Батюшки мои! — ведь я все это знаю очень давно! — ведь это ж не город Кингман в Америке, а город Катриненштадт за Волгой, город немцев-колонистов Поволжья дней дореволюции и моего детства! — ведь это ж Баронск (он же Катриненштадт), родина моего отца, где в 1931 году умерла моя бабушка фрау Анна Вогау, чистокровная немка, русская в такой же мере, как она была б американкой! Мои предки — немцы — пришли в Россию, в Заволжье, при Екатерине Второй, после Семилетней войны в Германии, тогда же, когда так же после этой Семилетней войны, волны европейцев уходили в Америку. Я смотрел на брелоки в окне аптеки города Кингмана, такие ж брелоки я видел в детстве, в магазине Карлэ в Катриненштадте, — и я знал: завтра в половине сельмого утра пробьет тощеголовый колокол на церкви, и вся колония сядет за свои столы питаться, — к рождеству папа-Джон подарит сыну-Джэку брелок к часам, — а на той неделе

у свояченицы судьи был понос, потому что она после компота из бананов выпила стакан холодного молока!.. В двенадцать соборный колокол пробьет полдни, и вся колония четверть первого сядет за обед. И жена колесника сообщит мужу, что жена мэра купила себе сегодня две курицы. А жена мэра передаст по секрету мужу, что заводчик Теодор Баккер опять был в кино с женой управляющего банковской конторой, не быть добру!.. В половине седьмого вечера соборный колокол тощим своим звоном возвестит вечер, вся колония будет ужинать. И после ужина колесник пойдет к калитке бондаря выкурить трубку отдыха и поговорить о том, что дела плохи. Жена мэра остановит на минутку свою машину против окон дома управляющего банкирской конторой и обсудит с женой управляющего вчерашнюю кинокартину, присвокупив невзначай, что дела заводчика Бэккера, в связи с кризисом, не очень хороши, впрочем сам мистер Бэккер очень приятен, и не зайдет ли миссис жена управляющего конторой послезавтра к пятичасовому чаю, когда будет и заводчик Бэккер.

Мещанин, обыватель, мелкий буржуа! — Это он уселся за стандартами американского благополучия и за национальным флагом, состоящим из звезд и матрасного типа материи. Он всюду — в Калифорнии, в Юта, в Оклахома, в Ричмонде, в Бронксе и Бруклине, в Бостоне. Это он написал при в'ездах в города остроуты для едущих на автомобилях, в роде следующей, написанной при в'езде в один из городов Тэксеса:

«Добро пожаловать! Если вы хотите узнать прелести нашего города, вы будете ехать по всем правилам автомобильной езды! Если вы хотите ознакомиться с недостатками нашей тюрьмы, вы будете нарушать наши правила автомобильной езды!

Мэрия.»

Это он свел нас с женщиной в Бронкском парке, которая недоумевала, почему от нее ушел муж, когда она никогда не пила и не курила, и была верной христианкой. Это он — обыватель, мещанин, мелкий буржуа, потребитель американской кинопромышленности, третьей американской индустрии, по поводу кото-

рой острят, что, если бы у американского рабочего не было б лишних десяти центов на кино, в Америке давно был бы уже социализм и не было б бандитизма.

Обыватель! — мещанин! — да, это самая большая Америка, которую я нашел в моих поисках Америки по предложению тех, которые говорили, что Нью-Йорк — не Америка. Это та самая Америка всяческих «мидл'ей» и «мэйнстритов» — середин — обывателя, знающего, что на обед у соседа, читающего иль утверждающего, что он каждый день читает библию. Не случайно по всей Америке, во всей Америке нет ни одного гостиничного номера, где не лежала бы у ночного столика библия! — Это Америка мелкогрешащего, мелкожульничающего читателя библии и заповедей американского пионерства, отца семейства в джемпере вязания его старшей дочери, сына с брелочными часами. Обыватель! — мещанин! — его гениально описал Синклер Люис, этого американского обывателя. Он интернационален, этот обыватель. Читатель СССР знает о нем по громадной европейской литературе, которая проливала свои чернила на эту обывательскую воблу. Этот обыватель страшен, оболваненный под колодку воблы парикмахерскими бога, стандартов, полузнайства, мелкой сытости, мелких инстинктов, мелкого довольства, — и этому обывателю самому страшно, ибо за вобельными парикмахерскими стандартов он один, одинок в этой громадной стране одиночества, «индивидуальной» анархии конвейеров, которые называются Америкой.

Этот обыватель охранен стандартами американской «демократии», логендами об индивидуальной свободе, мечтами оказаться в миллионерах, страхом и храбростью одиночества, сытым здоровьем.

Еженедельник «Либерти», крупнейший в Америке, издающийся в Нью-Йорке, проделал однажды трюк, которым он хотел узнать американскую честность. Ста американцам — пяти конгрессмэнам, пяти епископам, пяти фабрикантам, пяти лавочникам, фермерам, рабочим, и так далее редакция разослала конверты с пятью долларами в каждом. Я сейчас сознательно на ряду с редакцией рабочих ставлю на последнее место. Де-

лалось, все это конспиративно. Письма были разосланы по точным адресам. Конгрессмэны получили эти письма прямо в руки, помимо секретарей. Каждое письмо было составлено так, что получивший его и получивший стало быть доллары, видел, что письмо и доллары присланы ему по ошибке. В каждом письме был обратный адрес, по коему можно было бы вернуть эти доллары. Конгрессмэнам в частности писалось: «Многоуважаемый такой-то — полное имя—на прошлой неделе вы мне, бедному человеку, помогли в дороге расплатиться за ремонт автомобиля, а поэтому возвращаю», и прочее. Конгрессмэн в это самое число управлял государством. Редакция возвращением этих неправильно засланных пяти долларов намеревалась обследовать американскую честность, расписав ее на страницах своего журнала. На страницах «Либерти» никогда ни слова до сих пор не появилось об этих якобы ошибочно посланных долларах. Из ста человек только трое вернули свои пятерки. Это были—двое рабочих и один провинциальный мелкий лавочник. В порядке американской честности рабочие оказались... на последнем месте!

В походе своем через Америку, естественное дело, я перебивал в нескольких десятках почтовых и телеграфных контор. Телеграф в Америке—предприятие частное, конкурируют две компании. Но дело не в телеграфе, при помощи которого—телеграфом—можно пересылать из Лос-Анжелеса в Нью-Йорк почитаемым дамам и родителям к празднику цветы и галстуки,—пересылаются в таких случаях телеграфом не галстуки конечно и не цветы, но их фотографии. Дело в том, что в каждой, в каждой почтовой конторе есть витрина, где в фас и в профиль помещены фотографии людей, которых излавливает полиция, федеральная в равной мере как и штатная, и под фотографиями — надписи, что поймавшему—премии во столько-то долларов, от сотен до тысяч, в зависимости от преступлений тех, кого ловит полиция.

В походе своем через Америку, естественное дело, я видел множество провинциальных городов. Все они построены по стандарту. В центре—деловая часть—два или три небоскреба, автомо-

бильные магазины, кино, банки, бензинное удушьё, шум и теснота. Это называется—бизнес-секция. Вокруг же этой секции—двухэтажные коттеджики в цветниках и под деревьями, с террасами на улицы, с качалками на тротуаре, в мешанской, так скажем, уютности трафарета.

27.

Так мы приехали в некоторую скалистую местность, называемую Нью-Йорком, где скалами в небо торчат небоскребы. В иных местах в природе у нас такие места есть в Сибири, земля выпирает наружу залежами, хранящими в себе гелиевы, ураниевы, радиевые соли. Там ничего не живет, — ни травинка, ни зверь, ни птица, убитые альфа-бета-гамма-лучами радия. Там зимой тает снег, там смерть. На самом деле, представить бы себе на минуту, что человек покинул Нью-Йорк, но Нью-Йорк живет так, как живет при человеке,—ни единый зверь, ни единый волк не пойдет в эту скалистую местность, скалистую и изрытую пещерами, такими большими, что эти пещеры идут под Гудзоном,—в эту местность, задохшуюся бензином, без единой травинки на бетоне и железе. Волку страшно на этих камнях. Волку душно будет от бензинного и каменноугольного удушья. Нервы волка расстроются от грохота города и от миллионов тех радиоволн, длинных и коротких, которые опутывают город, проникая через все, опутывают рекламой, музыкой, речами президента Гувера о процветании. У волка, чего доброго, случится медвежья болезнь от всех событий этой скалистой противоестественной местности, расположившейся на индейском острове Манхэттен! Волк, надо полагать, подерет от этих местностей, что есть духу, из конца в конец Америки, просигнет единым махом через Канаду, окажется, с языком за ухом, в Аляске. Но в Аляске волк встретит быт и бычаи, описанные Джеком Лондоном и исправленные О'Генри.

В Нью-Йорке однажды вечером мы с Джо ехали по Шестой авеню, намереваясь проехать в Гринвич-виллидж, в нью-йоркский квартал антиквариата, искусства и богемы, на свидание с Майклом Голдом. Я вел машину по всем

американским правилам, шел с нормальной скоростью, против зеленого света. Шестая авеню—эта ужаснейшая улица бензинового удущья—улица, как известно, двухэтажная. По второму этажу мчит воздушная дорога. Второй этаж опирается на первый шеренгой колонн. Улицы людям следует переходить в Нью-Йорке только на углах и только по зеленому свету. Из-за колонны, никак не на углу, вышла женщина, в двух шагах от фар моего автомобиля. Она шла против красного света. Я загудел. Женщина не слышала. Все это произошло моментально. Я бросил машину и бросился помогать женщине. Я ж отвез ее в больницу. У нее были сломаны правая рука и ключица, лицом она ударилась о фонарь, и стекла фонаря изорвали ее лицо в клочья. Женщине было шестьдесят восемь лет, и она была глуха. Она не слышала моего гудка. Надо ж было быть такому!—я прожил империалистическую войну, революцию, гражданскую войну, исколесил все северное полушарие земного шара, не причинив никому ни одного синяка, — а тут, на Шестой аллее — —

Доктор, который делал перевязки женщине и исследовал ранения, приходил каждые две минуты и сообщал:

— Сломана ключица.

— Сломана правая рука.

— Сейчас рентгенизировали череп, череп цел.

— Сейчас исследуем ноги.

Доктор сообщил, что он любил какие-то сигары—я послал за сигарами. Когда я, вместе с полицейскими, уезжал в полицию, доктор подставил свою руку, измазанную в крови, к моим глазам и стал большим пальцем быстро тереть по пальцам безымянному, среднему и указательному,—я дал ему денег. Полицейские были возмущены.

В полиции разбирали мой «эксидэнт», как там говорят по поводу автомобильных аварий, вернули мне мои автомобильные документы и сказали, как сообщалось уже, истинно по-американски:

— Мистер Пильняк раздавил лэди по всем правилам, виновата в эксидэнте лэди, а поэтому мистер Пильняк может требовать с лэди стоимость разбитого об ее голову фонаря.

Меня отпустили с миром и веселыми

шутками. Один из полицейских попросил довести его до поста и стал на подножку машины. Когда мы прощались, он проделал перед моим носом тот же самый жест, что и доктор.

Управлять автомобилем я научился главным образом в походе через Америку, и «лайсенс»—документ на право управления машиной—получал в Нью-Йорке. Собравшись обзавестись этим документом, я спросил, как это делается. Знаюки спросили меня в свою очередь,—хочу ли я сдать экзамен на самом деле или хочу получить документ без экзамена?—Здание самоуправления города Нью-Йорка—сити-холл—здание величественное, со многими входами, и входы эти подперты колоннами эллинских традиций, равно как традициями не республиканской партии Гувера, но партии демократической. Так вот как раз против того входа, коим надо входить в отдел, где получают лайсенсы,—с угла на угол,—помещается веселая лавочка, она и автомобильная школа, она и фотоателье, где в пять минут можно заполучить фотографию для лайсенса. Она и контора для поручений по всяким автомобильно-лайсенсным делам. Можно притти в эту лавочку, выпить там кока-кола, взвеситься, отмерить рост, проверить зрение, заполнить бланки, сфотографироваться, уплатить двадцать пять долларов, поехать к себе домой и—получить по почте, без всякого экзамена и без хождений в мэрию, автомобильные документы, удостоверяющие, что ты есть драйвер, сиречь шофер, хөтя ты можешь автомобилем и не управлять. В лавочку эту я ходил в любопытстве и всему вышеписанному—свидетель. Но платить четвертного я не находил нужным и поэтому держал экзамен, уплатив взяткою только лишь пятерку,—ту самую пятерку, которую платит каждый американец: эта взятко-пятерка превратилась в силу своей массовости из взятки в чаевые экзаменатору.

В тот вечер, когда я раздавил женщину, до Гринвич-виллидж мы не доехали. А там американские писатели пьют водку. В Америке—прохибишен—сухой закон,—не какой-нибудь пустяковый закон, а такой, который внесен в заповеди американской конституции. Поэтому раза два приходилось мне, ино-

странцу, в незнакомых местах обращаться к полнсмэну и больше жёстами, чем словами, объяснять, что мне с моими друзьями следует выпить. Полнсмэны во всех этих случаях отвечали одинаково:

— О-кэй, бой!—о-кэй, парень!—это, бесспорно, очень просто. За углом, второе крыльцо. Скажи, что тебя при-слал полицейский Чарли! Шуэ!

Брат одного моего приятеля-журналиста, выходец из западных российско-царских губерний, открыл было в Нью-Йорке канонно-еврейский ресторан с различными фаршированными шуками, с обескровленными курицами, и—без алкоголя. Через месяц этот рестораниовладелец вынужден был взять бандитско-бутлегерский патент на алкогольную торговлю: различные инспекции и полиция его доняли штрафами,—за безалкогольность, должно быть. Не-американскому слушателю эта моя последняя фраза должна должно быть показаться бредом. Действительно, бред,—и тем не менее—факт!—человек поступал по законам, и полиция, охраняющая законы, заставила его эти законы нарушить. Факт—американский.

Дела ж такого порядка — дела размаха американского. Выше говорилось о разнообразии американских ресторанов, и, кроме причин сытости, указывались две причины—национальная и алкогольная. Об алкогольной причине говорится сейчас. Действительно, разнообразие невероятное, никак не стандартное,—мексиканские трактиры с токило, итальянские с киянти, французские с бордо, японские с сакэ, шведские с ромом, китайские с ханшином, английские с джином и виски, русские с водкой, немецкие с пивом,—от миллиардерских роскошей до нищеты портовых притонов. В иных местах питухи сидят в старых ореховых стойлицах немецких традиций. В других — по-итальянско-испански — пьют из бочек и на бочках. Такие учреждения называются «спик изи»—«говори тихо», но шуметь в них можно по мере выпитого алкоголя. Это на континенте, но вокруг Америки на морях выросло целое государство вне государств—в двенадцати милях от американских берегов. Воды морей и океанов являются, как известно, нейтральными. За пределами двадцатимильной полосы

на морях действуют международные — или никакие не действуют—законы. И в двенадцати милях от берегов Америки разноцветной гирляндой стали на якоря корабли, превращенные в пловучие распойные дома, где пьют, играют в карты и наслаждаются денежным соитием полов. Канада за реками и озерами против Ниагарского водопада, против Детройта. Чикаго—также в гирляндах ресторанов. Из Лос-Анжелеса ежевечерне автомобили мчат в Мексику, на мексиканскую границу. Мексиканская деревушка Тиагона была просто кищей деревушкой. Она ею и осталась. Но рядом с нею и под ее именем возникли горбы ресторанов—горбы и гробы.

Бизнес размахов грандиозных, американских!

Несколькими ж фразами выше сказано—«бандитско-бутлегерский патент»,—сказано совершенно точно, без всяких образований. Сложнейшая система, государство в государстве, армии людей, свои флотилии, свои короли, свои солдаты, свои пулеметы и пушки.

Рассказано выше, что банкир Z хотел познакомить меня с Алом Капом. Ал Капон не мог припятать меня в тот день, когда я был в Чикаго, ибо он был занят на выборах.

Ал Капон—бандитский король. Он дает интервью журналистам, в коих указывает, как надлежит произносить его фамилию—Капон, а не Капонэ и не Капони, ибо е на конце его фамилии—е мертвое. В одном из последних своих интервью он высказывался против коммунизма в СССР, призывая за собою своих последователей. Он ездил по Чикаго в блиндированном автомобиле, с мотоциклистами охраны. Если ему нужно было убрать нежелательных ему людей,—его молодцы убивали их не при помощи устарелых револьверов, но пулеметами. Однажды так Ал Капон расстрелял (человеческая жизнь у молодых Ала Капона расценивается от двадцати пяти долларов и выше),—однажды Ал Капон расстрелял—днем, в гараже на люднейшей улице шестерых ему непокорных сразу, при чем расстрельщики были одеты в полицейскую форму, и до сих пор неизвестно, то ли расстрельщики были переодеты, то ли носили форму по праву. Жизнь человека

расценивается от двадцати пяти долларов и выше, но, если Ал Капон случайно подстреливает—шальнойю пулеметной пулей—посторонних, он шлет наследникам от тысячи до десяти тысяч долларов и венки на гроб. Ал Капон живет и работает точь-в-точь так, как это показывается в голливудских бандитских фильмах. Под озером Мичиган у Ала Капона была проложена труба, своего рода канализация, коя конвейером перекачивала из Канады в Северные Штаты виски. Ал Капон выбирал губернаторов штата Иллинойс и мэров города Чикаго. Ал Капон не бывал на приемах президента, но его друг и ставленник мэр города Чикаго мистер Вильям Томпсон, по прозвищу «Большой Билл», у президентов в гостях бывал.

Ал Капон сделал ошибку, не приняв меня: на этих выборах ставленник Ала Капона мистер Вильям Томпсон, по прозвищу «Большой Билл», провалился. Победил другой бандит. Ал Капон наказал Чикаго строжайше: он обанкротил самоуправление города Чикаго. Тогда чикагские власти привлекли Ала Капона к суду. Но привлечь Ала Капона к суду в качестве бандита чикагской суд не осмелился. Капон был привлечен как рантье, который не уплатил подоходного налога. Откуда у Ала Капона доходы,—это не интересовало суд. Ему предъявили миллионы. Ал Капон пришел на суд в качестве пострадавшей овцы. Журналисты гнали телеграммы и радио, и газеты сообщали, что мистер Ал Капон в неуплате подоходного налога виновным себя—признал. Но дел своих не покинул. В Нью-Йорке проживал бывший друг Ала Капона бандит Дэймонд, по прозвищу «Длинноногий». Дэймонд командовал пивным трестом Восточных Штатов. Дэймонда двадцать восемь раз судили за убийства—и двадцать восемь раз оправдывали. Несколько лет назад Ал Капон оповестил мир, что Дэймонд, по прозвищу «Длинноногий», не отдал Алу Капону семидесяти пяти тысяч долларов, данных Дэймонду для поездки в Монтекарло. Летом 1931 г. в Дэймонда стреляли неизвестные люди. Это было в фешенебельнейшей нью-йоркской гостинице. Дэймонд был изранен, остался жив и стрелявших в него опознать отказался,

—совсем как в кино. Стрелявшие найдены не были. В декабре 1931 года Дэймонда в бессчетный раз судили. Суд происходил в Области, в штатном городе штата Нью-Йорк. Штатный республиканский суд в бессчетный раз оправдал Дэймонда, по прозвищу «Длинноногий». Друзья Дэймонда «построили» в его честь—в ночь после суда—банкет. В пять часов утра в номер гостиницы, где банкетировали бандиты, ворвались шестеро. Четверо из них стреляли в Дэймонда. Дэймонд, по прозвищу «Длинноногий», убит. Убит Дэймонд, по сведениям знатоков, молодцами Ала Капона. Ал Капон пока подтвердительного «стэйтмента» не дал.

Проживает в городе Гопуэл Чарлз Линдберг, знаменитый пилот, американский герой, перелетевший Атлантический океан. Женат он на дочери сенатора Морроу, недавнего покорителя Мексики. У Линдбергов родился сын, первый их ребенок. В марте 1932 года этого полуторалетного ребенка украли. Укравшие прислали письмо, где требовали пятьдесят тысяч долларов выкупа. Линдберг—национальный герой. Он сообщил полиции о краже ребенка. Газеты загремели сенсацией. Было по этому поводу заседание кабинета министров. А ребенок—исчез. Линдберг, который отказался дать пятьдесят тысяч долларов, напечатал в газетах, что он даст полтораста тысяч долларов, если ему ребенка вернут. Кабинет министров заседал. Газеты неистовствовали. Полиция взиалась с ног. А ребенка—не было. Ал Капон напечатал в газетах, что, во-первых, он даст нашедшему двести тысяч долларов, а во-вторых, если ему поручат, берется найти ребенка.

Ал Капон—большой человек!—у него в руках была алкогольная монополия на Средний Запад, у него в рабстве были десятки притонов-трактиров и притонов-публичных домов. Все это не только было, но и есть, судя по делам Дэймонда и Линдберга, несмотря на суды самого Ала Капона. Ал Капон—не один, он любит лишь популярность, но пока памятник ему не поставили. В Детройте же имеется памятник мистеру Скотту, не менее поучительный, чем заводы Форда, Паккарда и «Дженерал-Моторс-компани». Памятник этот стоит по соседству

с памятником Шиллеру. Над памятником развевается американский флаг. Мистер Скотт был бутлегером и притоносодержателем. За часы его проституток, растасканным по коленам его гостей, и за стаканы виски мистер Скотт скопил миллионы. Умирая, он завещал городу Детройту миллион долларов с тем, что часть этих денег потрачена будет на монумент, увековечивающий память мистера Скотта. Памятник мистери Скотту поставлен. Над памятником реет американский флаг. У Ала Капона памятника еще не имеется.

Исследователь американско-бандитских дел К. пишет, что вопрос об отмене «сухого» закона поднимается в Америке на каждом новых выборах, на каждом открытии сессий штатных и федерального конгрессов. Сухой закон сверху донизу, вдоль и поперек пронизал Америку бандитизмом. Исследователь К. пишет, лирически конечно:

«Сухой закон существует 11 лет. За это время народились сильнейшие организации, имеющие в своих руках пружины, регулирующие движение отдельных влиятельных групп как среди демократов, так и республиканцев. Неограниченные денежные средства возможность выдвигать своих людей, на крупные муниципальные и федеральные посты, система безнаказанных убийств— вот, чем располагают эти организации. Мы говорим о бутлегерах».

Так пишет исследователь К. Он дает также объяснение, почему сухой закон не отменен,—он констатирует:

«В контрабандскую торговлю спиртными напитками с момента введения сухого закона перешли убийцы, взломщики и «политики». Сотни тысяч людей занимаются этой профессией. Америка платит им налоги, Америка содержит их в истинно королевской роскоши. Если упразднить сухой закон, то через 24 часа эта безработная армия, то-есть сами бандиты и часть кадров полиции, займется основным своим ремеслом, от которого она частично отказалась за время бутлегерства. Сейфы будут вскрыты. Радикальная отмена сухого закона несет с собой призраки убийств и грабежей».

Совсем как в голливудском кино, где добродетель обязательно торжествует!

Примеров и историй можно рассказать множество. Бандиты и муниципалитеты живут в содружестве. Ал Люэн был прав, когда сказал мне, что обмануть историю и власть есть бизнес и вещь, по американским понятиям, моральная. Впрочем история здесь не обманывается. В Нью-Йорке в частности бандиты бандитствуют, начиная только с 14-ой стрит. На первых улицах, включая четырнадцатую, можно жить спокойно: там находятся банки. Или там тоже грабительствуют?

В Нью-Йорке в частности, когда я приехал, в день моего приезда в Сентрэл-парке нашли убитую женщину с веревкой на шее. Эта женщина за сутки до смерти пришла в следственную комиссию, приехавшую из Вашингтона, и указала на людей, на организацию, состоявшую из судей, полиции и бандитов, которые имели бизнес, учиняя его пуританскими американскими законами о браке и нравственности. Делалось это несколькими способами. Иной раз соблюдалась проформа, — то-есть некоторый мерзавец, по аналогии с чикагскими военными боровами, начинал ухаживать за женщиной, назначал свидания, зазывал к себе, приходил к ней. В минуты, когда женщина должно быть любила, появлялась полиция нравов, — и: — или суд, скандал, опороченное имя, или — плати доллары! — Не в американском кино, но в действительности имеются — частная полиция и частные сыскные, шпионские конторы, работающие не только на Америку, — крупнейшие из них Бернса и Пинкертона. Иной раз любовники выслеживались этой полицией, — опять полиция нравов, — опять — или суд, или деньги. А иной раз просто требовались деньги. Иной раз денег у женщин не было. Иной раз женщины не были повинны даже в любви. Иной раз их судили, об этом печаталось в газетах, женщин обвиняли в проституции и — повинных только в любви или неповинных даже в этом — ссылали в тюрьмы на исправление. Та женщина, которую нашли в день моего приезда с веревкой на шее, пришла — к суду же! — чтобы рассказать, как она, ни в чем неповинная, три года про-

сидела в тюрьме. Суд отложил ее допрос на завтра. Ночью она была убита. Это было в Нью-Йорке.

Банкир Z, по мощи равный английскому королю, имеет телефонную связь с Капоном. Капон «выбирал» в мэры Чикаго своего друга мистера Вильяма Томпсона, «Большого Билля» по прозвищу. Чикагские фабриканты и купцы приглашали Ала Капона в компании. Некий мистер Бэккер, владелец красивых предприятий Чикаго, пригласивший Капона в компании, сострил журналистам, что он «нанял чорта, чтобы избавиться от чертей». — Чем Ал Капон, председатель треста бандитов, отличается от прочих председателей трестов!? — Мистер Бэккер, красильщик, заключив договор с Алом Капоном, сообщил журналистам в интервью:

«Теперь мне не нужны ни прокурор, ни полиция, ни ассоциация предпринимателей. Я имею лучшую защиту в мире!»

У Ала Капона бир бизнес — большое дело! Ему надо собирать дань с покорных и расстреливать непокорных. Ему надо управлять своею промышленностью, — такую громадной промышленностью, как производство алкоголя, в коем заняты фабрики, заводы, конвейеры, рационализация и стандартизация. Ему надо заботиться о правильном распределении товара. Рационализация промышленности — это уже подсобный бизнес.

Дел, действительно, много! — не надо думать, что Чикаго чем-нибудь отличается от Нью-Йорка или Лос-Анжелеса. И не надо думать, что все дела ограничиваются только водкой и проституцией. В Чикаго, равно как в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе, кроме бутлегеров, водоторговцев, работают — так скажем — ракетеры, ракетчики, занимающиеся промыслом, который называется ракетирование.

Свободный американский бизнесмен, живущий в Нью-Йорке ниже 14-ой улицы, собрался открыть на углу 27-ой, предположим, улицы и 2-ой аллеи молочную лавочку, чтобы продавать покупателю как-раз то самое молоко, которое препровождается в рот покупателя из коровьего вымени без прикосновения человеческой руки. 27-ая стрит и Вторая авеню имеются и в Чикаго, и

в Санта-Фэ, и в Питтсбурге. Бизнесмен собрался открыть молочную лавочку или хлебную, или вообще любую. Надо было бы полагать, по традиции вещей, что бизнесмен обратится прежде всего в самоуправление за разрешением. Это неверно. Раньше всего он должен обратиться к районному бандиту, к ракетчику. Он, бизнесмен, должен получить разрешение у районного бандита. Районный бандит, ракетчик, должен решить, целесообразно или нецелесообразно открывать здесь молочную лавочку. У районного бандита на учете все районные лавочки, и, когда он давал разрешение на открытую уже в его районе молочную лавочку, он брал на себя заботы об устранении в его районе молочной конкуренции. Районному бандиту надлежит осведомиться, сколько намерен ему платить новый молочный торговец, — и надлежит взвесить, стоит ли закрыть старого торговца, предоставив права новому, или же не стоит новому торговцу давать разрешения.

Я был полусвидетелем дел районных ракетиров. С разрешения ракетера был построен в наших местах в Нью-Йорке гараж. У американцев есть обычай оставлять по летам машины на улицах у подъездов. Дело было летом, вновь отстроенный гараж пустовал. Гаражевладелец разослал по своему району сообщение об открытии гаража. Гараж пустовал. Тогда приступил к делу районный ракетер, который санкционировал построение гаража. Все камеры на автомобильных колесах каждую ночь были прокалываемы. Гаражевладелец разослал вторую серию открыток. Гараж оказался переполненным.

С молокоторговцами поступается аналогично. Когда старому молокоторговцу предлагается закрыть его торговлю в виду того, что патент на этот район передан новому молокоторговцу, этот старый должен проворно убраться с места, ибо вместо шин у него проколот будет его собственный бок.

Штатные власти издают указы по поводу ракетирования и создают особые суды. На первом месте, совершенно естественно, Чикаго. Чикаго создал ракетный суд. В особом акте указаны функции этого суда. Они воучительны: суд судит за:

- «1) уничтожение взрывами имущества граждан,
 2) причинение увечья лицам в результате взрывов,
 3) преднамеренное вредительство домов,
 4) сбор денег в виде штрафов,
 5) бросание бомб,
 6) конспиративные действия с целью производства незаконных актов — бойкота или шангажа,
 7) производство или продажу взрывчатых веществ,
 8) увоз с целью получения выкупа,
 9) запугивание служащих и рабочих».

Совсем как в голливудском кино! — Исследователь американских бандитских дел К., скрывшийся за псевдоним единой буквы, пишет:

«При муниципальных, штатных или феодальных выборах эти (ракетные) банды несут «политическо-государственные» функции. Эти банды берут на себя заботы о массовом избирателе. Мелкие торговцы, шоферы, служащие содовых и аптечных магазинов, мелкота большого города платит дань банде: откажут ли они этой банде в маленькой любезности голосовать за такого-то республиканца или демократа!?» —

Все происходит совершенно так же, как в голливудских кино. Камеры ж на автомобильных колесах, по поручению ракетира и по центу за прокол, прокалывали районные мальчишки, насмотревшись кинокартин из бандитской и индейской жизни и наслушавшиеся историй о частной деятельности частных сыщичьих контор Бернса и Пинкертон. И — уже не полусвидетелем, а своими собственными ушами — я знаю рассказ молодого коммунистического журналиста Т. Он вырос на этих самых нью-йоркско-детройтско-охлахомско - американских улицах. Мальчишки их кварталов — «блоков», как по-американски называются кварталы, — мальчишки были строго организованы в индейско-ковбобандитские шайки. У них было свое поле ракетирования. Они организованно воровали апельсины с лотков. За рубашками, у сердец, они — особенно итальянские и испанские мальчишки — носили

ножи, оттачивая их для будущего. Они выполняли поручения старших, в роде прокалывания автомобильных камер. Каждый блок вел войну с соседними блоками, и объединения блоков происходили, подобно объединению индейских племен, когда иной раз уже несколько блоков объединялись для разных крупных дел, в роде воровства на демонстрациях в день Независимости и шибания соломенных шляп с зевак 16 августа. В школу дети всегда ходили отрядами, дабы не быть избитыми в одиночку. И ножи из-за пазух появились на свет, когда мальчикам исполнилось лет по четырнадцать. Мой молодой друг Т. один из его класса окончил колледж и стал коммунистом. Остальные его одноклассники не добрались до колледжей. Один из его одноклассников кончил жизнь, убитый на электрическом стуле. Половина его товарищей стала бандитами-профессионалами, бутлегерами, ракетирами. Они не выпали из американских законов кино и Ала Капона. Мой друг Т. пошутил, рассказывая свою историю: он сказал, что если бы у друзей его детства не было лишних гривенников на кино, в коммунистической партии оказался бы не он один.

Исследователь К. пишет о любезности голосовать за такого-то республиканца. Имею дополнить, что некоторые банки и предприятия пользуются бандитскими шайками вместо полиции для охраны своих имуществ. Имею сообщить, что бандитские шайки принимают участие в политической жизни не только приказывая так, а не иначе, голосовать, но и иными способами. Например известны случаи, когда не только партии демократическая и республиканская, но и Американская Федерация Труда нанимали бандитов для избивания коммунистических демонстраций. Друг друга ж партии республиканская и демократическая — кулаками бандитов — избивают регулярно в порядке традиций. Следует вспомнить написанное многими страницами выше, где говорилось о «технологических» концертах и безработице: там строился мост, гораздо более грандиозный, чем Бруклинский, — мост от «технологического» индивидуализма в бандитизм.

Я не видел ни одной гостиницы в Америке, ни одного гостиничного номера — во-первых, тринадцатого, а вторых, такого, в коем не лежала бы Библия. Если даже ванная не всегда имеется, то Библия — всегда абсолютно рядом с телефонной книгой. И совершенно американски естественно, что съезды республиканской в Америке партии, поставившей ныне в президенты Герберта Гувера, начинаются с молебствий госуду богу. Открываются съезды предпочтительно методистскими епископами, но затем выступают с молитвами патеры епископальной и римско-католической церквей, а завершает молебствие еврейский раввин.

Ал Капон! — ракетиры! — дела президента Гардинга не следовало б и поминать! Но нынешний президент Герберт Гувер был при Гардинге — в стране торговцев — министром торговли, правейше-правая рука, так же, как при Але Капоне правую руку Ала Капона работал Гарри Гузик. Неизвестно, то ли Гардинг умер от простуды, то ли его отравили, то ли он отравился сам. Да и дела Гардинга полуизвестны. Но из полуизвестного известно, судами установлено и судами же запутано — следующее.

Морской министр Дэнби и министр внутренних дел Фолл (президент Гардинг и—тогдашний министр торговли—нынешний президент Гувер — они не при чем!) — минвудел и морской министр сдали нефтяникам Синклеру и Догени в аренду и в эксплуатацию нефтяные земли Типот-Дома в штате Вайоминге и Элькс-Хильс в штате Калифорния, забронированные за государством для нужд военного флота. Министром Фоллу и Дэнби помогал генеральный прокурор Догерти, маститый и активный антикоммунист. Синклеру и Догени помогал Стандарт-Ойл-компани. Под эти нефти и сбоку этих нефтей возникло фиктивное, сиречь в реальности не существующее, акционерное нефтяное общество Континенталь-Трейддинг-компани. Три миллиона долларов этой «компани» были распределены между членами правительства. Двести тридцать три тысячи долларов в акциях найдены были у Фолла, они были запучены ему за проданную им дачу.

Министр почт — министр Гардинга — Вильямс Хэйс получил лишь семьдесят пять тысяч, — и то не для себя, но для передачи партии. Этот же Хэйс (почта!) передал некий пакет с акциями министру финансов Гардинга, миллиардеру и вождю республиканской партии, Мэллону — также для внесения этого пакета, от имени Мэллона в кассу республиканской партии. (О Вильямсе Хэйсе надо сказать, что, ушед в отставку, он пошел работать в кино, так скажем, в качестве «морального» диктатора, где и работает до сих пор). Миллион шестьсот тысяч долларов были внесены в кассу партии помимо министерско-партийных пакетов). Имя Гардинга — имя президента — свято, президент, как бог, ошибаться не может! Гардинг от всех этих неприятностей не то умер в простуде, не то отравился, не то его отравили. Герберт Гувер — нынешний президент — был при Гардинге министром торговли. Он не-при-чем, как Гардинг — —

Был назначен суд, которому надлежало разобраться во всем этом деле «в общем и целом». Суд не закончен до сих пор. Верховный суд сгоряча расторг сделку на нефти, как «мошенническую и подкупную». Это была предварительная мера. Суд до сих пор еще не разобрался «в общем и целом». Но в частностях — такой-то американский законный суд — оправдал Фолла и Догени. Это оправдание было отменено, ибо установлено было, что через контору вышеупомянуемого сыщика Вильямса Бернса были подкуплены присяжные заседатели. Но Синклер не был министром, Синклер был капиталистом, — и Синклер — таким же законным республиканским судом, как все прочие суды — оправдан! — —

Герберт Гувер — он не-при-чем! — он не только не примешан к этим делам, но он даже ничего не знает об этом: ни разу, ни в одной речи, ни в одном выступлении он не обмолвился об этих делах! — он так же, должно быть, не знает, что разбор этого дела не кончен до сих пор, несмотря на многолетнюю давность, на быстрый и справедливый американский суд и несмотря на то, что дело это должно было бы разбираться под его руководством!

28.

«Белый Дом» — это такое же промышленно-капиталистическое предприятие, как и все прочие в Америке. Хозяин Америки — и главный ее нищелюбец — доллар. Бюджет «Белого Дома» — семь миллиардов долларов, бандитско-ракетирско-бутлегерский бюджет — девять миллиардов долларов. — Кто хозяин? — Казалось бы, бандиты, раз они богаче. Но это неверно. Хозяин — доллар, который, как известно, особенно в Америке, запаха не имеет. «Белый Дом» в Америке есть такая же промышленность, как и все прочие в Америке, да в придачу еще никак не свежая политика. Из десяти американцев, которых я расспрашивал, девять отвечали:

— Уэлл, политика! — это грязное дело! — я им не интересуюсь. Шуэ, боссы, которые занимаются политикой, занимаются ей не ради чьих-либо прекрасных глаз, не говорите мне о их честности! Шуэ!

Американские газеты отличны от европейских. Европейские газеты, предпочтительно, являются газетами различных партий и содержатся этими партиями. Американские газеты есть газеты промышленных предприятий и содержатся этими предприятиями. Газете, которая выходит на средства резиновой промышленности, важнее всего, чтобы продавались шины для автомобилей и галюши. Прессе, поддерживаемой «Дженерал-Моторс-компани», существенно загнать в бараний рог Форда. Моргановской прессе надо укрепить моргановские дела против рокфеллеровских, рокфеллеровской — против моргановской. Что касается политики и партий, то партии и политика гораздо менее бизнесны, чем резина, автомобили, сталь, банки и прочее. И Морган, и Рокфеллер дают деньги на содержание и республиканской партии, и демократической, обеим сразу, этим двум партиям, заведующим политикой Соединенных Штатов. «Форд-Моторс-компани» так враждует с «Дженерал-Моторс-компани», что Форд дает только республиканской, а Дженерал — демократической.

Политика — плохой бизнес.

Некогда республиканская и демократическая партии имели различие. В годы гражданской войны Севера с Югом партия республиканцев работала с северянами, партия демократов — с южанами. Утверждалось, что республиканская партия есть партия северных промышленников, что демократическая партия есть партия финансового капитала, что так было и есть, мел, и до сих пор в Нью-Йорке, в финансовом центре, командует партия демократическая. Хрен редьки не слаще. По существу говоря, даже в годы гражданской войны, эти партии различались не по социальному своему существу, но тактически и территориально, что не мешало тем же республиканцам, в дни окончательных побед Севера над Югом, поднимать в Нью-Йорке, как сказано, восстания против северян, в защиту «демократического» Юга. Ныне же эти две партии — два конкурирующие треста — тресты, заведующие американской политикой, не отличающиеся даже тактикой, тресты, строящие свои программы на отрицании программы конкурентов, на промахах конкурентов, на политиканстве, на территориальных традициях, на капиталистической конкуренции. И тресты не особенно бизнесные, рокфеллеро-моргановские имеют обе эти партии у себя на содержании. Глубокоуважаемый мистер Котофсон, тот, у дочери которого в прошлом бородавка на глазу, а в будущем писательство, равно как и остальные восемь вместе с ним из десятка, скажет:

— Уэлл, политика! — это грязное дело! — я им не интересуюсь! — Шуэ!

Американские газеты заботятся о «резине» (случайно ли!), и в каждом номере газет читатель установит, что спорту там посвящено вчетверо больше места, чем политике, внутренней вместе с международной, не говоря уже о резине!

В Вашингтоне имеются посреднические конторы (без вывесок конечно!), покупающие и продающие, в розницу и пачками сенаторов, членов конгресса, республиканцев и демократов, правительственных чиновников и судей. Аппараты демократической и республиканской партий в дни, свободные от выборов кампаний, заняты единствен-

ным — распределением постов и должностей между членами своих партий. Делается это для защиты трех китов американской демократии — библии, конституции и национального флага. От члена партии никак не требуются политические убеждения, — требуется аккуратно регистрироваться и — по формулировке сенатора мистера Пенроза — «стоять за своего собственного мерзавца». По американским понятиям в партии следует видеть не принципы или программы, но — источник существования. Для членов партии партия всегда облечена в реальные формы пищи, одежды, текущего счета в банке.

Все президенты большую часть своего времени и сил отдают не государственным делам, но — организации своей партии во всех 48 соединенных штатах. Четыре пятых времени президента заняты обсуждением вопросов о должностях, начиная с должностей четвертого класса в почтовом ведомстве и кончая членами своего кабинета.

Есть книга, написанная американским журналистом Ф. Кэнтон, человеком никак не революционным. Книга называется «Political Behavior» — «Политическое поведение». Книгу следует расценивать как учебное пособие и как справочник для буржуазных, ныне командующих, политических деятелей Америки.

Кэнт пишет, разбив, как полагается, книгу на главы, заглавия которых американски лаконичны: «Повинуйся закону, и ты будешь побит». «Необходимо быть верным своей шайке». «Задевать интересы деловых кругов невыгодно». «Когда вода достигает верхней палубы, следуй за крысами». «Благосостояние уничтожает всякую критику». «Партия не ответственна за взяточничество в ее рядах». «Действительная сила в руках пловцов». «Дайте избирателям хокум». И прочее.

Хозяевами партий Кэнт считает людей, состоящих

«из участковых и районных исполнителей, из комитетчиков, или «капитанов», и из бесчисленного множества мелких чиновников, служащих государственного аппарата — муниципального, штатного и федерального».

В главе, которая называется «Жирные коты», Кэнт сообщает, что нормальным, естественным путем на выборные должности является принадлежность к партии,

«единственный ключ к которому является в руках аппарата. Другими словами, первый шаг состоит в том, чтобы заставить организацию, — под которой подразумеваются лидер или лидеры аппарата, — выставить вашу кандидатуру».

Кэнт иллюстрирует это обстоятельство партийными судьбами президентов Куллиджа и Гувера. О Куллидже он говорит, что этот

«никогда, ни при каких случаях не сделал ничего, что было бы противно его организации».

Кэнт иллюстрирует это обстоятельство другого порядка делами, тем, что

«один из членов конгресса, богат одного из восточных штатов, ныне отбывающий уже седьмой или восьмой срок в палате представителей, регулярно и притом конечно секретно, помимо своего жалованья, предоставляет 10 тысяч долларов аппаратному боссу того города, в котором он живет. Это все, что он когда-либо делал. Ему никогда не приходится заботиться о своей кандидатуре».

Судьба этого конгрессмена приводит Кэнта к информации о «жирных котях». «Политика», как сказано, в Америке не считается большою честью,

«это грязная игра, с которой благородные американцы не желают иметь ничего общего».

Быть торговцем эмалированной посуды или производить на фабрике колбасу — не менее почетно, чем быть избранным — смотря по чину и рангу — на муниципальные, штатные и федеральные должности. Но возникают иной раз чудачки-богачи, которых зудят почести мэра или губернатора.

«Такие люди известны в политических кругах под названием «жирные коты». «Эти капиталисты имеют то, в чем нуждаются организации, — деньги». «Их появление приветствуется организацией, как цветы в мае». Кэнт информирует:

«До сих пор ни один «жирный кот» еще не добился президентского поста, хотя в 1920 году, а затем снова в 1928-ом один или двое из них были очень близки к назначению в кандидаты. Но их достаточно много в конгрессе».

В главе «Что случается с кандидатом, который захочет быть смелым и искренним» доказываем, что смелым и искренним кандидатам в американском парламентаризме места нет, они всюду проваливаются. Кэнт аргументирует свое утверждение в частности президентом Кулиджем (выше говорилось о президенте Гувере).

«От начала до конца своей кампании Кулидж не произнес ни одного звука, который мог бы задеть католиков или ку-клукс-кланцев, мокрых или сухих, мошенников-нефтяников или пламенных патриотов». «Он строго придерживался принципа — защищать лишь то, что не подлежит (американскому) сомнению: режим экономии, снижение налогов, уменьшение задолженности, процветание страны, мир, библию, национальную конституцию, закон о правах гражданина».

В главе «Партия не ответственна за взяточничество в ее рядах» сообщается:

«...масса рассматривает обвинения в мошенничестве, выдвинутые против господствующей партии элементами, не находящимися у власти, как на вполне естественное явление, как на составную часть игры. В массах существует убеждение, что лица, находящиеся у власти, берут конечно понемногу взятки, но то же самое будут делать и другие, когда они доберутся до тех же постов. И в действительности обвинения во взяточничестве часто вызывают со стороны публики сочувствие к обвиняемому. Средний избиратель думает при этом, что у других дело сходит более гладко, но он не верит, чтобы они были честнее обвиняемого во взяточничестве. Поэтому обвинение не приносит особого вреда попавшемуся «бедному парню». Наоборот, обратившись за поддержкой к своим избирателям, он требует от них реабилитации. В своих речах он кричит о «заговоре с целью

отнять от него его доброе имя», и в конце концов обвиняемый избирается большим количеством голосов, чем раньше. Если избиратели не могут переизбрать самого «бедного парня», например в случае, если его посадили в тюрьму, они, с целью продемонстрировать свое сочувствие ему, избирают его жену. В качестве примера может послужить дело бывшего члена палаты представителей от Кентукки — Лангли. В то время как мэр Лангли находился в тюрьме, избиратели его округа выбрали на его место в палате представителей его жену».

«Великопепное, всех поразившее молчание всей республиканской партии по вопросу о мошенничествах в нефтяной промышленности, то обстоятельство, что ни один из признанных лидеров республиканской партии — ни Кулидж, ни Дауэс, ни Юэз, ни Гуввер, ни кто-либо из остальных — не проронили ни одного слова в осуждение этих скандальных событий... все это несомненно очень сильно способствовало устранению всяких неприятных политических последствий этих преступлений».

В главе «Когда вода достигает верхней палубы, следуй за крысами» сообщается:

«В применении к политической жизни это (эта поговорка) означает, что для человека, занимающегося политикой, глупо продолжать придерживаться своих убеждений после того, как они стали непопулярны». «Ни один желающий преуспевать политик, а также ни одна политическая партия не может позволить себе твердо придерживаться своих убеждений, и они действительно этого не делают».

Глава «Задевать интересы демоэзых кругов невыгодно» своим собственным названием иллюстрирует свое содержание. Экспонаты, разбираемые Кэнтом, разумеется, есть экспонаты американского обывателя, и Кэнт краток в формулировках:

«Во-первых, никакие нападения на «плутократию», на «больших богачей», на «хищных капиталистов», на «Уолл-стрит», на «тресты», на «гигантские комбинаты»... не могут

иметь успеха... Если кто-либо — в особенности женщина — владеет хотя бы одной акцией, она сейчас же начинает отождествлять свои интересы с интересами капиталистического класса и тайно противодействует всяким нападениям на последний». «Мы превратились в нацию мелких держателей акций и облигаций». «В стране имеется свыше 5 миллионов держателей акций одних только предприятий общественного пользования». «Мелкий держатель неизбежно переходит психологически в ряды капиталистического класса. В нем исчезает всякий социалистический и большевистский дух».

Только-что цитированное — это одна сторона дела, касающаяся всеамериканской воблы обывателя, того, который расселен по всем Соединенным Штатам именно воблой, но который помнит об американском равенстве, о «хижинах», из которых происходят президенты и миллионеры, о демократии и о пионерских делах. Другой стороной дела — той, что «деловые круги» есть хозяева страны, стало быть, их «не трожь» — об этом Кэнт не пишет, хоть это и явствует из его книги, особенно из дальнейших глав.

В главе «Текущие расходы» Кэнт мягко сообщает:

«Ни один президент не был выбран в нашей стране без того, чтобы его избирательная кампания не финансировалась хотя бы в такой степени, чтобы имелась возможность покрыть «текущие расходы».

«...относительно продажных голосов. Я при этом имею в виду главным образом не тех избирателей, голоса которых можно купить за двухдолларовую и пятидолларовую ассигнацию. Необходимо объяснить, что термин «текущие расходы» не касается так называемых законных расходов во время избирательной кампании — они не охватывают расходов на собрания, на музыку, рекламу, помещение, пропаганду, жалованье, почтовые и канцелярские расходы. Этот термин не охватывает даже и тайных сделок... например сделок, гарантирующих кандидату поддержку со стороны

различных газет». «Текущие расходы» — это расходы в день выборов». «Действительная сила находится в руках пловцов» — сообщает Кэнт в главе под таким названием.

«Он (кандидат) может провести великолепную кампанию. Он может преподнести избирателям самые тонкие виды хокума и давать для них самые лучшие зрелища, — и все же, если в день выборов у него дело с избирательным фондом («текущими расходами») обстоит слабо, то с уверенностью можно сказать, что он провалится».

«...о «текущих расходах». В каждом из ста пятидесяти тысяч участков, с четырьмястами приблизительно избирателей в каждом, всегда можно найти десять-двадцать мужчин, иногда также одну или двух женщин, рассматривающих день выборов главным образом как случай легко подработать. В прежние времена эти люди были известны под названием «пловцов». Впоследствии они превратились, согласно областной терминологии, в «работников», или «сторожей», или «вестников». Некоторые из них принадлежат к определенной партии, другим же — этих огромное большинство — совершенно безразлично, для какой партии работать, лишь бы им платили за это деньги. Демократические пловцы, естественно обращаются в день выборов к демократическому участковому капитану; республиканские ж — к республиканскому». «Участковый капитан, заключая сделку, говорит: «Хорошо, уэлл, десять долларов за этот день, Джон, но ты должен в шесть часов быть в участке и привести туда всех твоих Джонсонов!» — Все, что пловец должен сделать, это — доставить свое собственное семейство».

Двадцатая глава книги Кэнта называется «Повинуйся закону, и ты будешь побит». Ее не следует комментировать в виду ясности ее заглавия и потому, что истинность этого положения наглядно вытекает из вышесказанного. В главе «Отряды отравителей» Кэнт рассказывает о принципах и практике клеветы, применяемой американскими — республиканскою и демократическою —

партиями. Кэнт оговаривается фразой, которой может быть исчерпан его труд:

«Честность в политике — неосуществимая мечта. Политика представляет собою игру... с бесчисленным множеством призов, начиная с самого важного в мире поста — президента Соединенных Штатов, — кончая двухдолларовой ассигнацией, которую жадно ищет продажный избиратель в день выборов».

Для того, чтобы оживить рассказ об американской политике, следует привести наглядные картинки.

Первая. Иллюстрирует «хокум», то есть, всяческую чепуху, которая развлекает избирателей и устанавливает между кандидатом и избирателями теплые отношения.

«Войдя гордой поступью в переполненный зал, Хилл шел к находившемуся на трибуне столу, на котором, по его распоряжению, стоял графин с воюю и стакан. Подняв графин, он начинал наливать воду в стакан, как будто для того, чтобы выпить немного воды. И вдруг он с драматическим жестом выливал воду в окно или бросал стакан об пол. — «Что такое?! — восклицал он. — Вода? — Мы не хотим воды в этом районе. Мы хотим пива, и если вы, ребята, пошлете в конгресс Джона Филиппа Хилла, то он достанет для вас пива!» — Тут он схватывал американский флаг (также заготовленный заранее), музыка начинала играть национальный гимн, и толпа сходила с ума от удовольствия».

Вторая. Рассказ участкового «капитана» о своих боях.

«Когда в субботу перед выборами я получил от окружного лидера для своего участка тридцать долларов вместо ста двадцати, то это явилось для меня тяжелым ударом. Я уже тогда понял, что дела идут не как следует, но лишь впоследствии я понял истинное положение дела. В день выборов, еще до девяти часов, я уже знал, что мы побиты, и притом сильно побиты. В этом участке была дюжина парней, все — демократы, которых я на каждых выборах нанимал за плату от двух до десяти долларов. Обычно они показывались на месте, где производились выборы, около шести часов. На этот раз мне лишь

в девять часов удалось найти одного из них. Он был пьян и в прекрасном настроении. И у него-то я выведал правду. Оказалось, что он имел в своем кармане двадцать пять долларов республиканских денег. То же самое сделали все остальные из дюжины «вестников» моего участка. Впрочем один или двое из них умудрились получить по пятьдесят долларов. Они никогда не видали таких денег, да и я тоже. Против таких денег бороться было невозможно. Они провели бы на выборах рыжего пса против апостола Павла!»

Мистер Котофсон прав:

— Уэлл, политика! — это грязное дело! — не говорите мне о их честности! — не станут же боссы заниматься политикой ради чьих-либо прекрасных глаз! Шуэ!

Прав и я, утверждая, что президенты избираются за взятку, что равнозначно утверждению, что Белый Дом диффундирует с бандитами. Работа американских, ныне командующих, партий заключается только в одном — в проведении выборов кампаний. Так оно и есть на самом деле. Дальше для партий начинаются отдых и жизнь — они распределяют между членами посты и никак не постные куски, — в роде нефтей Типот-Дома. Речь идег о деятельности партий — республиканской и демократической — партий американских капиталистов, промышленников и воблы обывателя: стало быть, по партиям следует судить и об этих самых капиталистах, промышленниках и обывательских вобле. И американские эти партии — не партии, но тресты, отличающиеся от треста, предположим текстильной промышленности, тем, что у текстилей мануфактура и мануфактурные фабрики, а здесь — властишка от мэра (иль судьи) города Кингмана до президента из города Вашингтона. Тресты эти — не особенно бизнесны: быть заводчиком и миллиардером почетнее, чем быть конгрессмэном. Бандиты порядка Синклера и Ала Капона переплетают свои дела с Белым Домом. Ракетиры (и Ал Капон) озабочены всяческими выборами. Торговля алкоголем, бандито-буглегеры имеют больший бюджет, чем бюджет Белого Дома. Обыватель, прежде чем итти в мэрию, к за-

конным властям, идет к районному бандиту. Есть царско-русский анекдот — купец третьей гильдии города Москвы Иван Фаддеевич, после интеллигентско-еврейских погромов 1905 года, в субботу перед пасхой, попарившись в бане, причастившись, выпив рябиновки перед заутреней, на цыпочках зашел к себе в спальню, посмотрел в шкаф, под кроватью, — нет ли кого в комнате? — припер дверь на ключ, внимательнейше стал рассматривать свою физиономию в зеркало, бороду, нос и глаза. Он сказал наконец сам себе шопотом в зеркало: — Иван Фаддеевич! — прошептал он. — Мы с тобой одни. Признайся перед святой пасхой, как на духу, — один из нас служит в охранке! — —

Чего доброго, этот анекдот применим и к американцам. Этак, под день Независимости, надравшись виски, американский гражданин на пятнадцатом своем этаже, приперев двери и выключив радио и рефрижератор, чтобы не мешали, в ванной комнате спросит себя в зеркало:

— Уэлл, Джон! — Мы с тобой в четьре глаза. Признайся перед днем Независимости, — бандит я или нет!?

29.

Выше рассказано, как в Бронкском парке однажды журналист П. и я, мы встретили плачущую женщину, от которой ушел муж к женщине, пьющей вино, когда она, встреченная нами жена, была верной христианкой и верной женой. Через неделю после той встречи, в праздник утром, пораньше, чтобы застать его дома, я приехал к П. Он жил один. Он отпер мне несоро и был чуть-

чуть смущен. От вечернего ужина в столовой у него остались два прибора, в кабинете лежала женская шляпка и некая туалетная подробность, так же явно оставшаяся от вечера. То, что пришел именно я, как видно, успокоило П. Жестом он информировал меня о событиях. Я хотел было уйти. Он сказал, что делать этого не стоит. Он ушел на минуту в спальню. Через минуту за ним вышла та самая женщина, которую мы встретили в дожде в Бронкском парке. Она увидела меня, лицо ее стало горестно. Я предложил ей папиросу. Она отказалась со всей пуританской строгостью. Вдруг ее глаза наполнились слезами, и она заговорила, чтобы сообщить мне о последних ее событиях.

— С тех пор как ушел муж, я ничего не знаю о нем. Он ушел, отказавшись от всего. Он ушел к женщине, которая курит табак и пьет вино. Почему он ушел! — Он ушел, и с тех пор осталась жизнь. А я — видиг бог! — верная христианка, я верная жена и конечно я не курю и не пью.

Я посмотрел на некоторую туалетную подробность, забытую на диване, и на две недопитые рюмки около наполовину выпитого литра ликера, на табурете около дивана. Женщина перехватила мой взгляд. В святой, должно быть, простоте она села на диван, как-раз на свои подробности.

— И что же муж? — спросил я.

— Ах, видит бог, как я жду его! — сказала она, подняв глаза к небу.

Президенты — бандиты — доктор и полиция около той лэди, с которой я мог бы получить стоимость автомобильного фонаря, разбитого об ее голову. Гипокритство! лицемерие!

(Продолжение следует)

Черный консул

Историческая повесть в трех частях

А. ВИНОГРАДОВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I.

Тени парижской вочи

Да, впрочем, можно ли в том сделать ей упрек,

Что меж приезжих Адонисов,
К несчастью, такой нашелся человек,

Что в сумерки гулять под тенью кипарисов

Они уводят дам, что с ними за стеной

Уж восемь дней живут под кровлею одной.

(Виланд, «Вастола». Изд. Александра Пушкина. СПб. 1836).

В отличие от зимы 1788 года революционный декабрь Парижа сопровождался большим снегопадом. Снег начался с внезапного налета бури; облака закрыли солнце, яркое небо потускнело, и наступили серые сумерки. Монах из конгрегации св. Мавра записывал в «Анналах страшных событий», что снег падал, не останавливаясь ни минуты, пятьдесят два часа, то-есть «всю мессу, повечерие, литанию, полунощницу, отпевание маркиза д'Абевиля и часы Блаженной Девы Марии дважды». А парижские ремесленники отметили в своей памяти, что в этот день прекратилась доставка муки в город, и обыкновенный ливр грязного хлеба обошелся им в булочной в семь с половиной су.

Снегопад кончился в полнолуние, Париж почти опустел. На глубоком негашущем снегу копыта верховых лошадей ступали без стука, а кареты почти бесшумно оставляли длинный след. Ку-

чера не кричали «гарр», пешеходов почти не было. В поздний час по улице Генего пробирался с фонарем человек в треуголке, в черной маске, усталый, судя по тому, как он опирался на высокую трость, а впереди, освещая и без того светлую дорогу, идя по белому снегу двойную тень, — синюю от луны и коричневую от восьмигранного дымящего и мигающего фонаря, — шел не то слуга, не то провожатый. Он шел, покачивая маленькой островерхой шапкой, злой и ворчащий, как зверь, а его «господин» следовал молча, погруженный в свои мысли. Слуга обернулся на перекрестке и спросил:

— Ну, куда ж теперь? ведь уже скоро рассвет, а вы еще не надумали, где будете ночевать. Я вам говорю, вернемся в восемнадцатый номер на улице Кордельеров, я вас уложу под лестницей и положу вам под голову вот этот тюк, а сам, как собака, буду спать у двери. Я не могу больше итти... Мне надоело рисковать собою из-за каких-то корректур.

Человек в маске закашлял, потом махнул рукою, хотел что-то сказать, но в это время из переулка, задыхаясь, вышли двое. и женщина, закутанная с головой, дрожа от стужи, бросилась к человеку в маске, ведя с собою не менее закутанного спутника, ставшего в тень углового дома.

— Гражданин! — крикнула она. Потом вдруг остановилась, увидев маску:

— ...Сударь! милостивый государь! маркиз, быть может! — все больше и больше волнуясь, умоляюще произносила она. — Скажите, где живет знамени-

тый доктор Кабанис... Человек умирает, его надо спасти...

— Парижская ночь полна тенями,— ответил человек в черной маске,— гражданин, я не маркиз, а такой же гражданин, как вы... Если, впрочем, ты не аристократка! Тебе известно, что доктор Кабанис нынешней осенью не возвращался из Версаля и что немало других докторов в Париже...

— Но где же они все, гражданин? где все они?.. Я с вечера на ногах, и вот приезжий родственник больного... мы не можем найти ни одного врача... Доктор Кабанис... Разве мы можем рассчитывать на его внимание? Но его имя у всех на устах, мы пошли к нему... Мы ищем в четвертом квартале, и везде говорят, что он уже уехал на другую квартиру.

— Уже уехал,—повторил человек в маске, покачивая головой,—уже уехал, когда-то про меня это скажут?

— Боже, какое счастье! неужели вы врач?—воскликнула женщина.

— Да, я врач, но не уверен, что это счастье. Кто ваш больной, и почему говорит женщина, когда мужчина молчит и прячется в тени? Может быть, этот странный господин—агент муниципалитета и хочет сделать мне неприятное?

— О, нет, господин, я совсем не агент,—внезапно заговорил закутанный человек.—Я даже не парижанин. Я не меньше, чем вы, страдаю от парижской зимы, а мой бедный родственник вероятно от нее умрет.

— По слову вы — испанец,—сказал врач.—Мне все равно... Лишь бы не аристократ.

— О, нет, во всяком случае нет,—горячо заговорил закутанный иностранец.

— Вот что, дорогой Лоран Басс,—обратился доктор к человеку с фонарем.—Ты прав, иди сам туда, куда ты меня звал, и отнеси этот тюк с лекарствами, который ты таскаешь на себе. Завтра я буду сам лечить этими лекарствами весь Париж, а сегодня буду лечить заболевшего иностранца.

— Оставьте себе хоть фонарь,—произнес провозжатый.

— Зачем мне будет нужен утром фонарь, когда над Парижем взойдет солнце. Иди себе, старый чорт, с твоим

фонарем и тащи медикаменты, которыми будет со временем вылечен наш больной Париж. Прощай, дружище Лоран... Не проедайся... Ну, не трать дорогого времени, мы должны заставить молодых девушек и ремесленников предместья плясать на земле, а богачей и аристократов плясать между небом и землей.

Женщина и ее спутник переглянулись быстро. Закутанный человек сказал:

— Вы конечно переночуете у нас, доктор, а потом экипаж доставит вас под утро всюду, куда вы пожелаете.

Тот, кто был назван именем Лорана Басса, повернул назад и, мерно покачивая фонарем, пошел по снегу, а доктор, продолжая разговор, двинулся туда, где ждали его помощи.

Шли долго... И как-то странно все замолчали... Доктор, внезапно повернувшись, хотел что-то сказать, но гулкие выстрелы из мушкетонов на другом берегу Сены изменили его намерения. Прошло еще несколько минут беззвучных шагов по снегу, безмолвных мыслей и молчаливых догадок.

— Тридцать девять выстрелов с промежутками,—сказал доктор.—Как далеко нам итти?

Закутанный человек пожал плечами. Женщина быстро выступила вместо него:

— Мы пройдем Новый мост и Самаритэну, потом около моста Ошанж свернем направо... Вот и все.

— Хорошо,—сказал доктор и вдруг быстро вбежал на ступеньки ближайшего здания, спрятавшись за колонной.

Спутники, слегка замедляя шаг, продвинулись вперед. Роскошная, ярко освещенная карета, запряженная четверкой, двое слуг и форейтор, человек откинувшийся на атласных подушках, без парика, обмахивающийся шляпой с плюмажем,—все это быстро промелькнуло перед ними.

— Вот он,—задыхаясь, говорил доктор после проезда экипажа.—Вот он, господин Мирабо, проматывающий королевские взятки, спасающий шкуру Капетингов, этих кровососов Франции... недавно сидевший за долги, а теперь катающийся на пуховых подушках в элоченной карете. Этот болтливый вор и негодяй с продажной душонкой, не стоя-

щий плевка проститутки Пале-Роаяля или даже пьяной либертинки, стонущей под матросом в трактире Гавра...

Кулаки доктора сжимались. Маска соскочила, треуголка сбилась. Легкий тюрбан из голубого шелка повязывал голову хрипящего в негодовании человека. Он стоял на лестнице, освещенный полной луной, протягивая вперед прекрасную, словно выточенную, руку, а лицо с треугольным подбородком, маленьким носом, складками горечи окол губ сжималось безумными гневом, хотя глаза сохраняли звездный блеск. Они были огромны, печальны и в то же время необычайно жизненны. Он смотрел на своих незнакомых спутников, но, казалось, их не видел. В нем было и бешенство, и детская беспомощность, как у человека, давно потерявшего представление о личной жизни. Мгновение спустя он успокоился. Он поднял маску и, вплотную подойдя к своему спутнику, вскинул на него строгие и пронзительные глаза.

— Я не спросил вашего имени, кто вы такой,—почти сердито обратился он к мужчине.

— Не все ли вам равно,—ответил тот,—если вы врач, не все ли вам равно.

— Дорогой друг,—сказал доктор,—есть парижане, которым я могу оказать только одну хирургическую помощь—перерезать им горло.

— Тот, для кого мы просим вашей помощи, не парижанин и даже не француз. Что касается меня, то извольте, сударь, я назову себя. Мое имя Адонис Бреда.

— Это очень жаль, это очень жаль,—зашипел доктор.—Бреда, это тот самый, который укрыл заговорщика графа де-Майльбуа, покушавшегося на свободу французского народа?..

Тот, кто назвал себя Адонисом, с горечью коснулся ладонью лба и сказал:

— Вы ошибаетесь, доктор, вы ошибаетесь. Владения Бреда, которому, уввы, я должен в этом сознаться, мой покойный дед принадлежал как раб, находятся не в Париже, не во Франции. Они за океаном, как вы сейчас все узнаете. Пойдемте поскорее.

— Хорошо,—сказал доктор,—я верю. Я все проверю. Вы вспомните каждое ваше слово.

— И вы тоже, доктор.

— Вы мне угрожаете?

— Нет, я далек от угрозы, но я боюсь за участь человека, который нам всем бесконечно дорог, хотя он и называется нашим общим слугою.

— Не останавливайтесь, доктор, пойдемте. Дорога каждая минута, умоляю вас,—простонала женщина.

— Бреда... Бреда... Вы хотите заманить меня в ловушку, гражданин, но я вооружен, я буду защищаться.—И доктор вдруг отступил, откинув тяжелый плащ. На белом атласном жилете, почти достигая выреза кружевного жабо, лежал широкий темнокрасный пояс, из-под которого виднелась рукоятка большого кинжала и два корабельных пистоleta.

— Я безоружен,—тихим голосом ответил мужчина. Этот волнующий тремолированный голос успокоил доктора. Женщина схватила его за руку. Мир казался восстановавшимся. Но внезапно патруль Фландрского полка, звеня шпорами, вышел из переулка. А в отдалении улицы показались огни кареты.

Доктор и женщина быстро вбежали по ступенькам и спрятались в тень.

Караульный разводящий издал крикнул «стой». Адонис перешел улицу и быстро пошел вперед навстречу патрулю.

В то время когда офицер просматривал синюю «гражданскую» карточку Адониса, сворачивая с ним вместе в переулок, встречная карета, зацепив за выступ дома, уронила правые колеса и грохнулась на оснеженную улицу.

Женщина, схватив доктора под руку, быстро побежала с ним в противоположную сторону и, почти катясь по выступам каменной набережной, остановилась, еле переводя дух, вместе с доктором в кустарниках, на песчаном берегу Сены, под Новым мостом, скрывшись в черной тени огромной каменной арки. Вдали виднелась Самаритэна с крестами и выступами. В кустарнике храпел нищий, а его собака, видя сны, выла тихим воем, словно напевала какие-то старые собачьи песни. Вдалеке луна освещала огромные пролеты моста Ошанж и бросала колоссальные тени трех его арок на поверхность черной,

ночной, испещренной серебряными стрелами Сены.

— Гражданка,—сказал доктор,—я не хочу ночевать под мостом в декабрьскую стужу в кустарнике и собачьем помете. Господин Вольтер писал господину Руссо: «Никогда еще не тратили столько ума на попытку снова сделать нас скотами. Когда читаешь ваши книги, так и хочется пойти на четвереньках»... Так вот, гражданка, мне надоело не спать на постели, мне надоело превращаться в животное, мне вовсе не хочется ходить на четвереньках. Гражданка, твой спутник сказал, что у вас в доме заболел какой-то слуга, а мне надоело возиться с челядью, так как лакеи графа д'Артуа оказались порядочными сволочами, они все стоят за дворян, они все против революции, но они все доносчики и пакостники от имени Учредительного Собрания...

— Подожди, дай мне кончить,—продолжал он, ходя под мостом и беспокойно теребя перламутровые пуговицы на грязном атласном жилете.

— Что за беспокойная жизнь! Две недели под ряд я ночевал в конюшнях Бонафуса. Проклятые, голодные, почтовые клячи заразили меня чесоткой! Что это за жизнь! Это какой-то ад, и все по доносу тех, кому через неделю палач перережет горло, кому народный гнев приготовил виселицу. Послушай, гражданка, вряд ли тебе есть охота выслушивать мою ругань. Но ведь если б я был способен ходить на задних лапках, я бы уж давно сидел во Французской академии вместе с первыми лизоблюдами Франции. Однако я не сделал этого. Я ответил отказом. Зато теперь я умею не только лечить болезни, я знаю состав света и звезд, я умею разложить и сложить солнечный луч, я знаю, как возникают в природе цвета и краски.

Женщина с ужасом смотрела на говорящего и думала, что доктор бредит. Но тот ходил большими шагами, вскидывая огромные сверкающие черные глаза навстречу потокам лунного света, струившимся сквозь большие хлопья медленно падающего снега. Потом, резко повернувшись, словно забыв о своей спутнице, доктор полез на набережную, цепляясь за кусты. Женщина последовала за ним.

Никто не мешал дальнейшему пути. Женщина шла вперед. Доктор следовал за ней, почти машинально. В темном переулке, под фонарем, мигающим от ветра, огромный человек с дубиной сделал несколько шагов навстречу женщине.

Послушай, Жоржетта, неужели ни одного врача в этом проклятом городе. Ведь он совсем умирает и кашляет кровью. Он бредит... Никто из тринадцати до сих пор не вернулся.

— Я привела врача,—сказала та, которую называли Жоржеттой.

Доктор, женщина и человек с дубиной вошли по скрипучим ступенькам в первый этаж.

Ночники, подвешенные на стене в виде жеманов, тростниковые цыновки на полу, легкий, едва слышный запах горьковатого гвоздичного масла и мускуса встретили вошедших.

Женщина скользнула в дверь, вернее сквозь занавес из бамбуковых коленцев, зазвеневших, когда она их открывала.

— Присядьте, сударь,—сказал высокий человек, и тут вдруг впервые доктор увидел его лицо. Перед ним был огромный негр с глазами на выкате и черными, короткими завитыми в круглые кольца волосами. Он не был похож на раба. Он посмотрел на доктора концентрированным, пронзительным взглядом и мгновенно погасил эту горячую пылкость взора. В последующие секунды доктор услышал, как три двери пропели, закрываясь и открываясь перед ушедшим гигантом.

— Вот еще новое приключение,—подумал доктор. Но двери опять запели, и уже другой черный человек, почтительно ему поклонившись, повел его к больному.

На большой кровати под белым тонким матрацем с огромными стегаными оранжевыми цветами лежал, закинув руки на белую подушку, маленький, черный остролицый человек, и тонкая струйка крови окрашивала белую подушку, пачкая левую щеку больного. Доктор подошел к нему и взял его за руку. Она была горяча. Больной сипло дышал и в ответ на прикосновение застывшей руки доктора открыл глаза. Поводя лихорадочными черными зрачками невидящих глаз, скорее зашипел, чем заговорил слова:

«*Haec mera libertas! hoc nobis pilea donant!
An quisquam est alius liber, nisi ducere vitari,
Cui licet, ut voluit? licet ut volo vivere: non
Liberior Bruto?» — Mendoso colligis, inquit
Stoicus hic aurem mordaci lotus aceto,
Haec reliqua accipio, licet illud et ut volo tolle
«Vindicta postquam meus a praetore recessi
Cur mihi non liceat, quodcumque voluntas,
Excepto si quid Masuri rubrica vetavit?»¹⁾»*

Доктор выслушивал стук горячей крови в жилах разметавшегося больного негра, прислушивался к звукам странной латинской речи, силясь вспомнить, кому из латинских поэтов бронзового века принадлежат эти варварские строчки о свободе. Тем временем комната постепенно наполнялась людьми. Бесшумно входили разнообразные низкорослые и высокие, курчавые и в седых париках, степенные, спокойные люди в цветных и черных расшитых золотом камзолах, осанистые, тихие, озабоченные. Потом появился странно бледный высокий и курчавый человек, с желтоватыми белками, и, проведя рукой по белому парикам, сверкая перстнями на правой руке, обнаружил белые руки с синевато-желтыми ногтями. За стеной выла и стонала декабрьская вьюга. Четыре занавешенных окна отделяли от нее. Две жаровни, стоявшие на полу, разливали тепло. Больной, роняя подушку, вырвал руку из пальцев доктора. Доктор встал. Озираясь, он обратился к белому человеку с синими ногтями.

— И вы говорите, что это ваш слуга, и вы говорите, что это ваш раб. Этот человек, ночью в бреду читающий сатиры знаменитого Персия, так что ему позавидовал любой академик!?! Что это за бред? Неужели я схожу с ума? Кто вы такие?

— Доктор, дорогой доктор, пусть снизойдет покой на ваше сердце, пусть в карманах вашего камзола находится

¹⁾ Вот она, чистая свобода, вот что нам приносят в дар пилеи. Кто же свободен, как не тот, кому можно жить, как он хочет. Я могу жить, как хочу: разве я не свободнее Брута. «Твое заключение не верно, говорит при этом стоик, у которого уши промыты едким уксусом, отбрось это «все могу и как угодно», остальное я принимаю. С тех пор как я в силу обряда отпущения на свободу возвратился от претора человеком свободным, отчето бы мне не позволить себе всего, что повелевает моя воля, за исключением лишь запрещенного в рубриках Мазурия?».

золото, об этом мы позаботимся, но спасите нам нашего раба. Что же делать, маленький остров на далеком океане полон и не таких страшных тайн и чудес. Ваши вопросы заслуживают ответа на условиях полной взаимности. Ведь мы не спросили с вас при входе диплома парижского университета на право врачевания. Мы доверились вам, хотя знали, что наши люди встретили вас случайно. Мы имели право спросить вас. Если вы не французский врач, то вы можете погубить нашего больного, если наш больной говорит по латыни, с вами ничего не случится.

— Ошибаетесь, гражданин,—закричал доктор, скидывая плащ и треуголку.— За эти несчастные два месяца я затравлен, как мышь, попавшая в клетку с сотней кошек. Я перестал удивляться. Со мной может случиться все, что угодно. Доверюсь вам: я доктор Марат, я «Друг народа». Я—человек затравленный и доведенный до безумия врагами народа.

Шопот пробежал по группе негров. Два-три человека с суровыми лицами и морщинами между бровями сняли шляпы. Сидевшие привстали.

Марат контролировал впечатление. С головой, вехавшей в плечи, сторбившись и нахохлившись, как больная птица, он ладонью шлепал по рукоятке корабельного пистолета и бешено обводил глазами черных людей, почтительно опустивших головы.

— Наше сердце у ног Друга народа. Перед вами Оже. Меня черные и цветные братья послали к вам в великую Конституанту в поисках наших прав,—сказал человек с бледным лицом и синими ногтями.

— Судьба привела вас к нам. Вы будете лечить не только нашего господина, простуженного страшным парижским снегом, но всех нас, тоскующих по свободе и человеческим правам. Вы—Друг народа, вы друг всех, кого воззвала Декларация прав. Вы друг цветных племен, населяющих Гаити—Страну Гор.

— Тише, тише,—сказал Марат,—не так громко! У него опять пошла кровь,—он указал на больного.

И, словно позабыв об окружающих, сбросил зимнюю одежду, камзол, вынул,

пистолеты с кинжалом, распутал узел красного пояса, снял жилет и, оставшись в белой полуистлевшей рубашке и голубой повязке на усталой со смятыми волосами голове, он наклонился над больным. Потом пальцем подозвав Оже, немногосложными короткими словами скомандовал привести таз холодной воды, простыню, номера. «Национальной газеты» и, сделав огромный обложной компресс, закутал всю грудную клетку больного, стонущего и пускающего в ход кулаки негра. Тот кричал по-латыни: Ступай, моя книжка, и моими словами (от меня) приветствуй милые места, конечно коснулся бы я их ногою насколько возможно. Если кто-нибудь там из народа, не забыв меня, спросит случайно, что я там делаю, скажи, что я живу, но на вопрос, благополучно ли, отвечай отрицательно.

— Что же он изгнан, ваш Раб-Господин? Он читает Овидия. Его родной язык—язык изгнанников и римских врагов. Кто это? говорите прямо. Уверю вас, он вне опасности. Мне не опаснее ходить по улицам Парижа, чем ему лежать здесь в постели.

Негры сокрушенно закачали головами. Слово при виде чего-то недозволенного, они по порядку вставали один за другим через какие-то строго размеренные промежутки времени и с видом смущенного достоинства выходили из комнаты один за другим.

Марат, окунув кусок полотна в холодную воду, выжал материю и, осторожно расправив, сделал повязку на лбу больного, который, откинув голову за пределы подушки, дышал, как птица, жадно ловил воздух и метался. Огромная черная ладонь негра упала на голову Марата, сбила голубую повязку, волосы спустились на лицо доктора. Он встал, тихо отошел от постели, поправил свои волосы и стал готовиться к уходу. Когда он надевал плащ, больной вдруг вытянулся, губы его сомкнулись, и лицо, до того искаженное гримасой боли, вдруг стало спокойным, красивым и грустным. Марат протянул руку к пистолетам, засунул их за пояс, как вдруг раздалась совершенно ясно через три двери идущие восклицания и стук булавою.

— Именем короля!

Марат повернулся на каблуках, потом заметался по комнате, но в эту минуту вошел Оже, спокойный и улыбающийся. В руках у него было блюдечко и белый кусок хлопчатой ваты. Осторожно подойдя к Марату, он сказал:

— Сядьте, доктор, они войдут еще не скоро.

Марат беспомощно опустился на плетеный стул. Оже окунул комок хлопка в блюдечко, и, прежде чем успел опомниться Марат, выкрасил ему лицо и руки в коричневый цвет. Молодой негр, войдя в комнату, быстро раскинул по полу цыновки и тростниковый подголовок вместо подушки. Оже быстро и решительно снимал, почти сорвал с Марата его одежды, завязал плащ, быстро кинул узел на руки негра и знаком приказал Марату ложиться.

— Не раскрывайте глаз, не раскрывайте глаз,—шепнул он ему.—Ваши глаза останавливают звезды и закрывают солнце.

Марат повиновался, вдыхая запах погашенного кокосового ночника, под тюфяком, пропахшим гвоздичным маслом и ванилью. Марат слушал, как сонный, словно качание корабля на мертвой зыби, далекий голос. Кто-то ворчливо, медлительно и недовольно переспрашивал через дверь. Вошли, гремя прикладами, гвардейцы. Потом наступила тишина. В двери комиссар на всю комнату возгласил:

— Именем короля и по приказу господина начальника парижской Национальной гвардии маркиза де-Лафайета.

— Тише, тише, здесь лежит больной,—сказал вошедший в другую дверь Оже.—Здесь только двое наших слуг. Осмотрите, гражданин комиссар.

— Я не комиссар, а слуга короля,—сказал, начальник. — Мы не можем поймать этого неуловимого Марата, но мы сейчас поймали его слугу Лорана Басса с корректурами преступной газеты «Друг народа», и хоть он удрал от нас, но мы знаем, что яблоко недалеко падает от дерева. Наши отряды ищут Марата по всему округу.

— Гражданин...

— Я не гражданин, а офицер его величества короля.

— Господин, — продолжал Оже, — мы не знаем того, кого вы ищете. Нам неизвестен господин Басс и господин Марат. Здесь только...

— Что здесь только? Здесь только притон негров. Слуга покойного деда нынешнего короля, мой дед Эснамбук, имел десять тысяч таких черномазых, как вы. Когда он везжал в Париж, десять золоченых карет везли его свиту и имущество. Его встречали министры, король у него обедал, кардинал Ришелье брал у него деньги взаймы. Проклятое время, — сказал офицер, садясь за стол и шпагой цепляя ночник. Горящее масло побежало по скатерти, комната осветилась, и стены покрылись бегающими тенями. Негры, стоявшие в комнате, молчали. Офицер осмотрелся, не обращая внимания на горящий стол, и сказал:

— Ну, кажется, здесь только одни черные. Этот негодяй Марат не отвечает на предисания властей, не является вовсе, пишет дерзкие письма в полицию о том, что если триста тысяч его ловят, а триста одна тысяча его прячут, то он никогда не попадет в руки властям. Неужели весь округ Кордельеров состоит из маратистов? Какие времена! Какая полиция! Слово младенцы, не могут разрыскать типографию, где напечатан восемьдесят третий номер «Друга народа». Повесить бы всех типографщиков! Запретить бы печатать книги! Все зло и несчастье королевства от науки и печати!..

Офицер заходил большими шагами по комнате. Негры, молча и бесшумно ступая по циновкам, убирали горящую скатерть. Другие поставили на стол шандалы. В комнате стало почти темно. Офицер продолжал, обращаясь к здоровенным сопровождавшим его солдатам:

— Ну что же, кончили?

— Еще осталась мансарда, — ответил рослый гвардеец в ботфортах и с седыми усами, оглушительно звеня шпорами при каждом движении.

— Скорее, скорее, — сказал офицер. — Разве год тому назад я думал, что мне так придется проводить ночи. Тогда девушки Пале-Рояля дюжинами сидели за столом в задних комнатах кофейни Робер-Манури. Тогда по двадцать свор лучших борзых мы выпускали в

Бретани на графской охоте, тогда никаких Генеральных Штатов не собирали в Париже, и банда безродных буржуа не осмеливалась против воли короля назвать себя Национальным Собранием. А сейчас... Впрочем, что сейчас! Если б я был королем, я перестрелял бы всех перепелов, чирикающих в зале Манежа. Они бы у меня двух шагов не пролетели по улице Риволи. Национальное Собрание! Куча незаконного сброду, — вот что такое Национальное Собрание! Его выдумали мятежные умы, господа философы, безродная сволочь, не имеющая пятидесяти арпанов земли, но смеющая рассуждать о том, о сем.

— Господин лейтенант тоже рассуждает, — тихо произнес Оже. — И рассуждает настолько громко, что может разбудить больного. Довожу до сведения господина лейтенанта, что мы являемся делегацией законно существующих общин, что мы приехали с острова, лежащего на далеком океане, заявить о своей преданности французскому государству независимо от цвета нашей кожи. Мы — граждане острова Гаити, мы делегаты Национальной Ассамблеи. Мы приехали с королевским пропуском, и речи господина лейтенанта нас удивляют.

Офицер смутился. Но ему помог вошедший гвардеец:

— Господин лейтенант, обыск окончен. Пойдемте дальше, если только здешние собаки не налаяли на соседний дом. Боюсь, что не найдем ничего и там.

Едва офицер ушел, уводя с собой отряд, как Марат вскочил разъяренный, забыв о своем гриме. Оже взял его за руку и спокойно произнес:

— Друг народа, ложитесь, отдохните.

— Как? Вы думаете, я могу спать? Граждане, вы думаете, я цепляюсь за жизнь? Вы думаете, мне сладко дышать в этом смрадном Париже? Вы думаете, что можно сломать мою волю?..

Слова его прервал шум в коридоре. Марат остановился, прислушался и произнес:

— Имейте в виду, они возвращаются раза по три!

Но вошли двое негров. Один нес шандалы по четыре свечи в каждом, другой подошел к окну и осмотрел плотность занавесок и створок. Марат бросил взгляд на окно. Там лежала кипа синей бумаги, той самой, что продавалась в палатке публичного писца под вывеской «Отец Кулон», около книжной лавки г-жи Авриль; Марат подошел к окну, схватил, не считая, кипу бумаги, роняя отдельные листы, понес ее вместе с железной банкой чернил и гусиными перьями к столу. Оже придвинул ему песочное сито. При полном безмолвии Марата негры расположились на дыновках, подушках и маленьких табуретах неподалеку от ложа больного.

Марат писал, почти не переводя духа, быстрым и нервным почерком, лишь изредка резким жестом хватал себя за руки и за ноги, лицо его искажалось от боли: чесотка, полученная от ночевок в денниках и конюшнях, временами переходила в нервный тик. После приступа Марат опять продолжал писать.

I

Господам членам Полицейского трибунала при Городской думе Парижа

Милостивые государи! Мне предписано сегодня предстать пред вами по поводу предполагаемого нарушения предписаний и правил, допущенного в № 83 моей газеты «Друг народа». Так как номер этот снабжен именем редактора и типографа и так как он вполне отвечает правам, как и все остальные, то я, после недавнего гнусного покушения со стороны суда, усматриваю и в этом вызове грубую ловушку, имеющую целью выманить меня из пределов округа Кордельеров, обеспечивающего мне свободу. Подтвердите мне, действительно ли это предписание исходит от вашего трибунала. Я жду вашего ответа, чтобы сдать в печать свою газету.

Марат, Друг народа.

II

Письмо к округу св. Маргариты

Прежде всего, сограждане, обращаюсь к вам с искренней благодарностью

за сообщение мне постановлений, принятых относительно меня в общем собрании вашего округа; они продиктованы опасением разлада среди граждан, преданностью миру и общественному благу; побуждения эти делают честь вашим патриотическим чувствам и были всегда дороги моему сердцу. Но, воздавая должное вашему патриотизму, я позволю осветить себе ваш поступок и предостеречь вас против происков тех коварных людей, которые очернили меня пред вами и стараются привести вас к тому, чтобы вы сами отвергли старания вашего же защитника.

Наговор на мою газету со стороны одного из городских депутатов мог преследовать единственную цель—поднять ваш округ против меня. Вы могли бы догадаться о его намерениях по тому ожесточению, с каким он стремился настроить вас против меня. Позвольте однако спросить вас, не он ли склонял вас сообщить ваше решение округам Сент-Антуанского и Сент-Марсельского предместий в надежде поднять их против меня?

Что касается обвинений, которые он себе позволил, то они столь же смешны, сколь мало обоснованы. Он заявил вам про мою газету, будто она провозглашает ложные принципы. Вместо того, чтобы ограничиваться простым указанием, ему следовало бы обрушиться на самые принципы; этим он дал бы мне возможность выступить на их защиту, изложить вам те основания, которые убедили бы меня в их истинности, и мы в конце концов, разумеется, пришли бы к полному согласию. Он уверяет, что принципы мои могут лишь уничтожить дух единения и согласия, который должен царить между гражданами и теми, кого они избрали, поручив им блюсти общественное управление. Все это было бы чудесно, если бы администраторы были честны и неподкупны: но когда они только о том и мечтают, как бы сделаться независимыми от своих сограждан, чтобы притеснять их и обогащаться за их счет, тогда подобное слепое доверие, такое доверие было бы самым крайним несчастием. Да и кто такое эти люди, которые себе одним присваивают право

смотреть за общественным управлением? Баловни судьбы, пособники деспотизма и крючкотворства, академики, королевские пенсионеры, сластолюбцы, трусы, которые в дни опасности сидели, запершись по домам, и с трепетом дожидались конца всей тревоги. А в это время вы, в пыли, поту и крови, страдая от голода и смело глядя в лицо смерти, защищали свои очаги, низвергали деспотизм и мстили за отечество.

А потом, достигнув почестей ценою визитов и интриг, ревниво оберегая свое господствующее положение, они поднимаются против мужественных граждан, следящих за ними, под тем предлогом, что им одним в силу избрания поручено блюсти благо государства.

Но что случилось бы с нами 14 июля¹⁾, если бы мы слепо поверили им, если бы мы предоставили им судьбу Делонэ, Флесселя, Фулона, Бертэ, если бы мы не вырвали у них приказа идти против Бастилии и разрушить ее? Что случилось бы с нами 5 октября, если бы мы не принудили бы их дать приказ двинуться на Версаль?²⁾

И что случилось бы с нами ныне, если бы мы продолжали полагаться на них?

У них есть основания призывать вас к слепому доверию. Но, чтобы почувствовать, как мало они его заслуживают, вспомните, что до сего времени оказалось невозможным заставить продовольственную комиссию отрыгнуть негодных своих сочленов; вспомните, что не легче было заставить и самый муниципалитет дать ясный и полный отчет; вспомните, что многие из его членов обвинялись в ужаснейших должностных злоупотреблениях.

Обратите затем внимание на скандальную роскошь этих муниципальных администраторов, содержимых на счет народа, на пышность мэра и его помощников, на великолепие занимаемого им дворца, на богатство его обстановки, на роскошь его стола, когда он в один присест потребляет стоимость прокормления четырехсот бедняков. Подумайте наконец, что эти же самые недостойные уполномоченные ваши, растрачивающие государственные богатства на свои удо-

вольствия, насильственно вынуждают вас расплачиваться с жестокими кредиторами и безжалостно предают вас ужасам тюремного заключения.

Вы ставите мне в упрек резкость и несдержанность, с которой я обрушиваюсь на врагов отечества, и вы предлагаете мне снять заголовок с моей газеты под тем предлогом, что такой заголовок предполагает сочувствие части народа, который может признать истинным своим другом лишь того, кто утверждает только такие факты, на которые у него есть доказательства, кто лишь осторожно решается затронуть репутацию любимого министра Франции и кто в писаниях своих сохраняет уважение и приличие по отношению к публике... Это все равно, как если бы я привлекал вас к ответственности за то, что вы разражались проклятиями при осаде Бастилии или во время похода против королевской гвардии, или все равно как если бы я ставил вам на вид то, что вы без достаточной вежливости упрекали Делонэ в его вероломстве и не попросили его разрешения раскромсать его на части. Не поддавайтесь обману: война наша с врагами еще не кончена; ежедневно они ставят нам ловушки и ежедневно мне приходится сражаться с ними; вы вменяете в преступление то, что я отчаянно бьюсь за ваше благо и выступаю против них с единственным оружием, которого они боятся. Что касается излюбленного министра Франции, то он до своего возвращения, пожалуй, еще мог порочить кого-нибудь, но теперь завеса сорвана: спросите-ка его: кто платил войскам, пришедшим, чтобы перерезать всех вас и превратить ваш город в пепел; спросите его, кто заставлял голодать и отравлял вас столько времени; спросите его, какие надежные справки давал он вам относительно подготовлений к бегству королевской семьи в Мец; спросите его, кто скупает у вас всю звонкую монету, после того как уже скуплено все зерно; а потом взгляните на его молчание и судите о его доблести.

Вы предлагаете мне расстаться с званием Друга народа: ничего большего не могли бы потребовать от меня самые жестокие наши враги. Как могли вы допустить столь безрассудное требова-

¹⁾ Взятие Бастилии.

²⁾ Голод в Париже и привоз семьи Людовика XVI в Париж из Версаля.

ние? Принимая это прекрасное звание, я подчинился единственно движению моего сердца; но я старался заслужить его своим усердием, преданностью родине, и мне кажется, что я оказался на высоте. Прислушайтесь к общественному мнению, посмотрите на толпу несчастных, угнетенных, преследуемых, которые каждый день обращаются ко мне за поддержкой против своих угнетателей, и спросите их, друг ли я народа.

Впрочем благодетеля мы узнаем по содеянным благодеяниям, а не по оценке облагодетельствованного — и неужели же вы, содействовавшие победам 14 июля и 6 октября, утрачиваете звание освободителей Франции только потому, что ваше отечество уже забыло о ваших заслугах? И неужели бестрепетный благородный человек, кидаящийся в воду, чтобы вытащить оттуда своего ближнего, умаляется в своей роли спасителя только потому, что неблагодарный спасенный отказывается признать за ним это звание? Нет, нет, сограждане мои, правила, которые хотят внушить вам, вовсе не идут из глубины вашего сердца: честное и чувствительное, оно с негодованием отвергнет попытку злодеев, которым хотелось бы поднять вас против вашего защитника. Читайте «Друг народа» от 13 числа сего месяца, вы там увидите, что он, не дожидаясь сегодняшнего дня, воздал вам должное. Читайте «Друг народа» каждый день, и вы увидите, что он мечтает лишь об одном — задушить ваших тиранов и сделать вас счастливыми.

Доктор Марат, Друг народа.

Облатки не нашлось. Доктор свернул письма длинной лентой и вогнал один конец письма в другой, тщательно разгладил сгибы, заботясь об уменьшении объема писем. Оже смотрел на его руки, на быстрые пальцы, тонкие, длинные, необычайно изящные, пальцы коноспиратора, привыкшего к работе над письмами, над книгами секретной типографии, над тонкими столбиками латинской наборной кассы. Марат не написал никакого адреса, он положил письма в правый карман атласного жилета, туда, где обычно мюскадены, парикмахеры и франты-приказчики Парижа навешивали длинные цепочки несуществующих

часов. Оже хотел предложить доставку этих писем, но, увидя жест Марата, остановился. Марат подошел к постели больного, взял его за руку и, убедившись, что жар спадает, удовлетворенно вздохнул, произнеши:

— Ну, надобность в медицине проходит. Однако, я хотел бы посидеть у вас до рассвета. Вы видите, какой беспокойный наш Париж по ночам.

Марат обращался к Оже. Тот переглянулся со старым негром, толстогурым, морщинистым человеком в седом парике, с холодными, светлоголубыми глазами. Старик, не глядя на Оже, едва заметным умным и важным кивком выразил свое согласие мулату. «Кто же у них старший, — думал Марат, — и кто они, эти странные люди?»

— Оставайтесь, Друг народа, — сказал Оже. — Мы должны вознаградить вас как врача, если только в наших силах будет вознаградить по заслугам Друга народа.

Марат желчно улыбнулся

— Медицина — наука, а я не торговал истиной. Я прошу вас только о двух сухарях и чашке молока, если можно сейчас достать этот редкий напиток в Париже.

Просьба Марата была исполнена. С необычайным радушием и заботливостью черные депутаты Ассамблеи устроили Марату ночной ужин. Огромная плетеная фляга с вином, этой крепчайшей настойкой из благоуханных антильских растений, была принесена, но Марат покачал головой.

Друг народа не пил ни капли вина, но ел с такой звериной жадностью и так скрипел зубами, отгрызая сухари, что этим ясно обнаруживал страшный голод, огромное истощение, до которого довели «Марата-невидимку» парижские магистраты, умевшие организовать за недорогую плату тонкую и адскую полицейскую травлю.

Быстрыми шагами в комнату вошел человек в сером плаще, сдернул маску, скинул треуголку и сказал, нисколько не обращая внимания на Марата, еще не снявшего своего коричневого грима:

— Рафаэль сделал ужасную вещь. Он шел по площади со мною вместе через мостовую дворца, четверо слуг проносили некую даму в желтой маске,

а рядом с дамой в носилках качался в подвесном кольце синий квецаль, любимый попугай Рафаэля... Неосторожный юноша, он окликнул попугая, и тот ему ответил, дважды закричав: «Страна гор, страна двор». Дама остановила носилки, и один из слуг ударил Рафаэля, с которого соскочила маска. Дама бешено кричала: «Негры в Париже оскорбляют женщин!» Из-за решетки вышел офицер с часовыми, выхватил шпагу, Рафаэль открыл грудь и сказал: «Я безоружен и никого не оскорбляю, дама говорит неправду». Хуже всего, что на шум поспешил с другой стороны площади господин Ламет, который узнал Рафаэля и возмущенно закричал:

— Так вот ты где, негодяй! Кто тебе разрешал отлучаться с плантации?

— Тише, тише,—прервал Оже,—остановись Биассу,—тут что-нибудь не так, тут что-нибудь не так.

— Что не так?—с бешенством повторил тот, кого называли Биассу.—Рафаэля поймали, его схватили, и два десятка черных рабов господина Ламета окружили его на конюшне. Я видел сам, как они сорвали с него камзол и, обнажив плечо, заклеямили его каленым железом. Они поставили ему Runaway¹⁾. Молодой Ламет не испугался жареного мяса в Париже, он ударил Рафаэля сапогом и кричал: «Теперь мы всюду узнаем тебя, белый раб». Они тащили его по улице города ночью, толпа лакеев, приказчиков и конторских счетоводов господина Ламета свистела и ликовала.

Говоривший встретился глазами с Маратом. Выражение глаз Друга народа, стиснутые зубы и поднятые кулаки вдруг обнаружили в нем пришельца в цветной среде. Говоривший не понимал, чем вызван гнев незнакомого человека, было ли это возмущение насилием над негром Рафаэлем, получившим гражданскую карточку без ведома своего владельца, или, наоборот, этот выкрашенный в коричневую краску француз, у которого белая кожа явно просвечивала под расстегнувшимися обшлагами на поднятых, сжатых в кулаки руках, негодовал на негров. Молчание было общим. Потуя головы, все оставались в неподвижности, подавленные чувством гнетущей горечи.

¹⁾ Runaway значит—беглый.

Наконец заговорил Оже:

— Да покарает их бог! Мы не знали, что Черный Кодекс висит над нашей головой даже здесь, в городе благой свободы. Четырнадцать лет тому назад в далеких саваннах ночью, в палатке, моего друга француза, аббата Рейналя, изгнанника здешней страны, я впервые прочел слова, возродившие мое сердце. Он привез бумагу тринадцати Соединенных Штатов. Ее назвали «Декларацией Независимости», в ней было написано: «Мы считаем самоочевидными истины, что все люди созданы равными, что им даны их создателем некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Вот прошло четырнадцать лет, и мне в мое усталое сердце еще раз постучала птица свободы и счастья. Наша Франция в тысячу раз лучше повторила священные слова тринадцати штатов. Как не гордиться нам, что наше государство громко на весь мир сказало о правах человека и гражданина. Франция кликнула на весь мир: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Наши друзья, наши французские друзья советовали нам обратиться в Великую Ассамблею свободного народа. Мы покинули наши красные и белые горы, мы собрали золото с островов, деревень и поселков, нам обещали свободу. Мы впервые ехали по морю на корабле, везшем цветных людей, не будучи при этом пловучим кладбищем черных рабов, как в Манеже назвал их господин Мирабо. Мы забыли что этот бриг «Санпарейль» только потому и назывался бесподобным, что был первым по количеству перевезенных рабов, что сам французский король был владельцем этой негровой пловучей гробницы. Мы впервые за всю нашу несчастную жизнь смотрели с палубы, как белая пена взлетает до самых парусов, как птицы не успевают садиться на реи, и под нашей африканской кожей сердце впервые пело, как птица. Из Сен-Мало мы спешно ехали в Париж по вашим пустынным дорогам. Мы видели, как по ночам пылают дворцы и деревни, дважды мы слышали, как пушки били в стороне от дороги, дважды отряды вооруженных крестьян с волнением смотрели в наши

желтые дамбланши, в наши синие кареты. Мы привезли в Париж два клада и оба клада положили на трибуну вашей Великой Национальной Ассамблеи. Вы помните, это была ночь, вокруг нас стояли друзья: господин Бриссо, г-н Траси, г-н Грегуар, г-н Ларошфуко, г-н Корнейль, г-н Петион, г-н Сийэс, г-н Лавуазье...

Марат вздрогнул, брови его сдвинулись, он гневно закричал:

— Господин Лавуазье?.. директор пороховых заводов! королевский откупщик, химик-недоучка! Первый богач Парижа, окруживший столицу Франции стеною таможенных бойниц, налоговых бастионов!.. Ни пройти, ни проехать, ни взад, ни вперед без того, чтобы не заплатить генеральному фермеру г-ну Лавуазье... Стены в тридцать три миллиона ливров, собранных у беднейших французов... Граждане, цветные друзья моего народа, зачем вы произносите имя Лавуазье, этого продавца подмоченного табаку и отравленного сидра?

Биассу, обращаясь к Оже, сказал:

— Оже, мы все это помним. Если ты обращаешься к этому перекрашенному гражданину, то...

— Ты разгорячен, Биассу, остановись!—возразил Оже.—Это не перекрашенный гражданин, это доктор Марат, Друг народа. Первый белый, первый француз, которого черный цвет кожи нынче спас от мести белых людей.

Биассу низко поклонился, разводя руками. Оже продолжал:

— Гражданин Марат, мы видели вас в ту ночь, вы ходили, прихрамывая, вместе с господином Робеспьером за тесовой оградой трибун, там, где за головами депутатов стояла публика. Мы дважды слышали ваш голос, когда в перерывах вносили новые факелы. Дважды ваша тень покрыла меня, когда, указывая на трибуну английского гостя господина Юнга, сидевшего с швейцарским гостем г-ном Дюноном, вы крикнули: «Они ошибутся, эти стреляные парламентские волки, они ошибутся, считая голос французского народа младенческим лепетом парижской свободы. Они еще услышат гром!»

— Не помню, — сказал Марат, — кажется, это было собрание, на котором Камюс предложил учредить националь-

ный архив из пергаментной дворянской рвани. Дворяне беспокоились, что погибнут их титры, их бумажные права на труд крестьян, лучше бы они подумали о том, что скоро погибнут их деревянные головы. Я помню еще, что этот дурак Бальи предложил отменить рукоплескания, так как они зачастую поощряют глупых ораторов, и вся зала Манежа огласилась бешеными аплодисментами парижского народа. Французы ликовали, видя, как Бальи превращается в красного индюка.

— Нет, это было не то собрание, — сказал Оже, сурово нахмурившись.—Я хочу напомнить доктору Марату только то собрание, когда нам дали слово, когда мы говорили о своих обидах и о своих ожиданиях, когда мы на алтарь Франции принесли наши два клада, когда с трибуны я говорил, что первый клад, это—наша горячая вера в свободу французского народа, наша жажда отдать ей все наши братские силы, а второй клад — это вырытые из земли и скопленные трудом и горем шесть миллионов золотых ливров, тайно привезенные нами в подарок Франции. Вы помните, доктор Марат, как президент Бальи ответил на то и на другое: «Ни одна часть нации, пришедшей сюда взывать о своих правах, не будет взывать о них тщетно». Господин Бальи при этом прочел грамоту, подписанную господином королевским банкиром, о том, что «золото, привезенное цветными людьми с острова Гаити из колонии св. Доминика, хотя и старой испанской чеканки, но золото доброго качества и полного веса на шесть миллионов ливров». Тут тоже были аплодисменты, гражданин Марат! Наши старики, знавшие тайны подземных сокровищ, вырыли их как выкуп за тех, кого свободная Франция должна освободить из рабства. Верните нам проданных братьев, жен, разлученных с мужьями, детей, оторванных от матерей. Вот о чем вы просили, вот о чем мы просим. Разве можно отвечать на это клеймом беглого раба, здесь, в Париже. Неужели мало господину Ламету рабов и денег? У него за океаном девяносто три сахарных завода и шестнадцать кофейных плантаций. Зачем его брату клеймить наше-

го Рафавля? Разве недостаточен привезенный нами выкуп? Разве брат его не член Национальной Ассамблеи? Разве не на улицах Парижа мы также должны опасаться собак, вскормленных негрским мясом, как наши черные братья в саваннах? И не странно ли, гражданин Марат, если только не ошибся Биассу, не странно ли, гражданин Марат, что в Париже клеймят английским клеймом, а не знаком французской лилии, как делали до сих пор вы, благородные французы? Или господин Ламет, почитая английские законы, пренебрегает уже старым гербом королевской Франции? Что нам делать теперь, гражданин Марат? Кого просить, гражданин Марат? Куда нам деваться, гражданин Марат?

— Вот что!—качая головой, шептал Марат: «Вот как!». В смятении он встал и заходил по комнате.

— Вот как можно жить в Париже и ничего не знать! Я ничего, ничего об этом не знал. Я скрываюсь от преследований. Я издаю газету во имя революции. Нынче ночью от белого агента магистратов меня спасает черная кбжа раба, нынче ночью свободного негра клеймят французские рабовладельцы. Разве можно говорить, что революция кончилась? Я задыхаюсь! дайте подумать обо всем этом, друзья!

Марат остановился, затем вдруг поднял голову, жестко усмехнулся с видом полного разочарования:

— Ничего не могу сказать вам, друзья, мне горько все, что я услышал. Мне горько то, что вы приехали с горьких рек на берега нашей Сены, покрытой снегом, что легкие вашего товарища, лежащего здесь, простужены и наполнились кровью. Вы сделали тяжелый путь в поисках свободы. Что ответит вам французский народ? В «Обществе друзей черного народа», где заседают господа депутаты с берегов Жиронды, вы не найдете друзей народа. Вот вы назвали господина Лавуазье. А знаете ли вы, кто этот Лавуазье? Когда разъяренный Париж пошел штурмом на королевскую Бастилию, кто как не Лефоше, помощник г-на Лавуазье, вице-директор Арсенала, отпускал пороховые бочки защитникам королевской тюрьмы. А? Что вы скажете на это?

— Как здоровье Туссена? — спросил Биассу, перебивая Марата. Оже взглянул на доктора, как бы передавая ему вопрос.

— Ваш больной вне опасности,— глухо сказал Марат.— Он бредит латынью, как испанский иезуит. Кто научил его латыни?

— Некий старый аббат,— ответил Биассу.— Доктор Марат, у вас на лице столько удивления, что я должен поделиться с вами печальным наблюдением. Мы вместе с моим другом Шельшером, в доме которого живем, смотрели во «Французском театре» зрелище под названием «Черный, как их мало среди белых, или негр Адонис». Французская публика показывает на сцене крашеного человека, все достоинство которого состоит в том, что он отдает жизнь, спасая своего ничтожного и глупого господина. Неужели думаете, вы, что все достоинства наших племен будут всегда состоять в том, что мы добровольно будем кормить собак господина Массиака! Не каждый из нас «Адонис»!

— Где Адонис?—прошептал больной в постели, и, привстав на локте, открыл удивленные, большие, сохранявшие еще лихорадочный блеск глаза.

Все встали, за исключением Марата.

У всех на лицах отразилась живая и самозабвенная радость. Оже и Биассу подошли к больному. Они стояли с выражением такой почтительности, такой огромной радости, что, казалось, совсем забыли о присутствии постороннего человека.

— Бреда, дорогой Бреда, дорогой начальник! Как хорошо, что ты заговорил! как хорошо, что к тебе вернулась память! Адонис придет, Адонис пошел за врачом.

— Мне хочется пить,— сказал больной.

Выпив глоток воды, он спросил только одно:

— Когда декрет?

— Можно ли завтра, начальник?—отвечал Оже.— Можно ли докладывать тебе завтра, когда ты снова будешь в твоей комнате. Там все книги, там все твои письма, там ты прочтешь и о том, как нам хотят помочь «Друзья» и как собрания в отеле Массиака с двена-

двaтью капитанами хотят помешать нам в Париже.

Больной вдруг выпрямился и сказал:

— Мне нельзя болеть, я должен быть здоровым, и я обойдусь без врачей так же, как, будучи мальчишкой, обходился без колдунов. — Он выпрямился, худой, маленького роста, стройный, необычайно быстрый, и остановил глаза, услышав звонкий залиvistый и лающий смех Марата.

— Вы правы, мой черный друг, вы правы. Лошадей лечить лучше, чем людей. Неблагодарность мерина удивляет меньше, чем скотство в человеке.

— Кто это? — спросил больной и закашлялся.

— Я доктор Марат, меня прозвали Другом народа. Я пришел сюда по просьбе вашего брата, который бежал по улицам Парижа, разыскивая врача. Я пришел, я помог вам, вам теперь легче, я могу уходить. Но только дайте мне воды, какую-нибудь тряпку, как видите, мне плохо и в черной, и в белой коже.

Больной слушал внимательно.

— Я заслужил ваш гнев конечно в меньшей степени, чем доктор Марат заслуживает мое уважение... Должно быть уже не мало дней, как я впервые потерял память и очень немного минут прошло с тех пор, как она снова со мною.

— Получил ли врач положенное ему золото? — спросил больной, быстро поворачиваясь к Оже.

На это ответил сам Марат:

— Таких, как я, не знающих страшного начлега, честных граждан, преданных революции, в Париже сорок тысяч человек. Нас кормит французский народ, мы ни с кого не берем никакой платы. Жалею, что вы не обратились к доктору Мессмеру, магнетическому шарлатану, любимцу королевы. Это животное лечило бы вас животным магнетизмом. Глупость, от которой еще ни разу никто не выздоровел, но очень многие заболели. И тогда вам пришлось бы кинуть золотой подвесок к вашему испанскому золоту. Вот любитель денег. Вот истинный врач!

Раздался стук в комнате. Стук условный. Все переглянулись. Больной посмотрел в сторону входа и громко, отчетливо, как пароль, произнес:

— Квискейя.

Вошла женщина, поклонилась больному и с удивлением обвела комнату глазами.

— Кого вы ищете, сестра Шельшер? — спросил Оже.

Но она уже нашла сама. Она узнала Марата по одежде, улыбнулась и сказала:

— Светает. Я была на овощном рынке, а сейчас на углу нашей улицы столкнулась с вашим слугою. Он переоделся нищим и при виде меня сказал только одну непонятную фразу: «Попросите хозяина вынести мне семь су». Я уверена, что он меня не узнал, мы виделись ночью, зато я его узнала, так как тогда он нес фонарь.

— Семь су, — повторил Марат. — Я могу дать семь су этому нищему, если граждане разрешат пригласить его сюда.

Взоры всех обратились в сторону больного. Тот кивнул головой.

Через несколько минут Лоран Басс с большой пестрой котомкой дорожного попрошайки был введен в комнату.

Лукаво сощурившись, он поклонился, не будучи уверен, следует ли ему узнать в черном человеке неуловимого Друга народа. Короткими, условленными фразами Марат успокоил своего телохранителя. Лоран Басс вынул из котомки ворох корректур восемьдесят четвертого номера «Друга народа» и разложил перед Маратом. Тот быстрым привычным взглядом, узнавая им же написанные и трижды прочитанные статьи, сообщения и заметки, перелистал номер несколько раз и корявым почерком дрожащей руки написал, издеваясь над термином королевского цензора, Impri-matur¹⁾. Лоран Басс встал, прошептав быстро:

— Вам сегодня лучше не появляться в округе Корделверов. Через посредство «Монитёра» вам собираются предложить добровольную явку на суд Национального Собрания.

— Дураки, — сказал Марат, — они думают, что я читаю эту сволочь.

Лоран Басс продолжал:

— Есть известия, что аристократы, успевшие перебежать границы вместе

¹⁾ Печатать дозволяется.

с принцами и родней австриячки, поговаривают о войне, о сожжении Парижа.

— Они еще поговаривают, а мы уже конфисковали их имущества три дня тому назад. Пусть бесятся попы, мы уже конфисковали добро монастырских князей 2 ноября.

— Сегодня я первый раз видел новые ассигнации вместо звонкой монеты,—сказал Лоран Басс. — Мне это на руку. Легче носить жалованья типографским наборщикам.

— Прошу тебя, Лоран, как друга, — сказал Марат, — доставить эти письма по назначению, но смотри, друг, из почтальона не превратись в висельника. Поживем, хотя многим хотелось бы видеть нас мертвыми. На нас обижаются за то, что мы живы, что ж поделаешь, мы вежливы, но не до такой степени, чтобы перерезать себе шею. Прощай, друг. — Пожимая руку Лорану, Марат шепнул ему:

— Я сделаю отметку белым камнем на углу левой башни Нотр-Дам, как всегда, поставлю цифру, вернешься из типографии, пройди мимо и перечеркни. Я буду знать, что ты прочел и в назначенный час будешь под старым деревом в Пале-Роаяле.

Лоран Басс ушел. Марат подошел к своему пациенту, державшему в руках книгу, и спросил, как он себя чувствует. Негры, бывшие в комнате, один за другим уходили. Больной отложил книгу и сказал:

— Ваша помощь пошла впрок, доктор Марат, можете ли ответить на один вопрос, а быть может, даже и на два? Марат кивнул.

— Знаете ли вы, что Шельшер, брат этой девушки, которая входила в комнату, был вместе с вами принят в масонскую ложу «Великая Англия» в Лондоне? И еще знаете ли вы аббата Рейналя, написавшего эту книгу?

Марат взял четвертый том сожженной книги аббата, ставшего атеистом, революционером, открытым врагом христианской религии, бежавшего из Франции в те дни, когда палач, сжегший книгу, должен был сжечь ее автора.

Осыпая, как искрами, пронзительными взглядами мулата и старого негра, бесшумно, вразвалку вошедшего в комнату, доктор прочел: «Нигде христиан-

ство так не отравляло людей ядом, как в богатых колониях Нового Света. Там богачи религией прикрывают свои пороки, а людей, имеющих одну только разницу в цвете кожи, наставляют в добродетели, которая вся состоит в покорности раба господину. Скоро наступит век великих республик. Белые и черные рабы соединятся, освобождая мир».

— Не люблю беглых попов, — сказал Марат, — даже когда они пишут «Философическую и политическую историю об учреждении в обеих Индиях». Знаю, вот эти картинки, — Марат постукал ногтем по гравюре, изображающей, как колонист продает молодую женщину на невольничий корабль. — Мне тоже не по душе торговля рабами, но еще больше не по душе мне материалисты и атеисты. На первый ваш вопрос отвечать не желаю, я хочу спать.

Марат шатающейся походкой подошел к цыновке и, не глядя на своего пациента, смотревшего внимательно спокойными глазами, заснул на цыновке.

Письмо Савиявены Фроман к Франсуа Шодерло де-Лакло

2-е января 1790 г.

Мой дорогой Просветитель и благочестивый Наставник. Вы можете не упрекать вашу усердную ученицу, во-первых, потому, что ее вынужденное молчание не было длительным, а во-вторых, я сразу заболела, после простуды, схваченной мною в ту самую ночь, когда в городе выпал небывалый снег и мы с Мадленой и Кавалером должны были идти пешком от самого моста Ошанж до Турнельского моста, так как свалились два колеса кареты. Какое счастье, что мы еще не разбились. Мадлена локтем проломил толстое окно из витимской слюды. Я выпала через дверцу и запуталась в юбках Мадлены. Наш кучер пошел искать помощи и пропал; мы остались одни, не зная, что делать, и с ужасом смотрели на уцелевший догорающий фонарь кареты. Я даже подумывала о том, что, пожалуй, решила бы проехать в экипаже этих ужасных фиак-

ров, но их нигде не было. Вот тут и произошел случай, о котором я хочу вам рассказать. Из переулка вышел молодой человек, смелая и благородная походка которого внушила нам полное доверие. Если бы вы знали, святой отец, как он оправдал это доверие. Конечно к нему обратилась не я, а Мадлена. Он ответил ей, что ищет потерянного врача, мне показалось, что он лжет, но, чтобы заручиться провожатым, я ему обещала послать врача, будто бы живущего в нашем отеле. И вот тут слушайте: он оказался красавцем, кавалером какого-то испанского ордена, но, увы, он был чернокожим. Он был африканцем... Какое мне дело! — он был красив! К нему вполне подходило его имя Адонис. Я вспомнила ваши уроки; уверяю вас! тысячекратно уверяю, что я превзошла своего учителя. Страницы ваших «Опасных связей» скользят по берегу, а я искупалась в самом потоке. В отеле я шепнула Мадлене, чтобы она подготовила моего Адониса, дала ему горячего вина и несколько капель из подаренного вами флакона. Ничего, — подумала я, — ничего. Будет маленькая ошибка в мифологии: сделаем так, чтобы Адонис вместо Эскулапа нашел Венеру. Мадлена осветила всю комнату, смахнула пером серебряные зеркала по стенам и поставила около алькова большой фарфоровый таз, ваш любимый, розовый, прозрачный, так хорошо освещающий комнату, когда в нем остаются всего две глиняные лампы. Уверяю вас, что в ту минуту, когда Мадлена меня расшнуровывала, я дрожала не из страха, а только от любопытства к черной коже. Может ли ваша приятельница, эта испаночка Кабарюс [говорят, она «завладела» сердцем г-на Тальена, но разве это сердчишко неприступная крепость? Правда ли, что ей наскучила связь с вами и она побывала в руках собственного брата?...] Я была хороша — Адонис неутомим. Но под утро неожиданно вернулся из Версаля граф Анри, и мне пришлось быстро спрятать моего черного любовника в комнате Мадлены и сделать так, чтобы не пахло горьким маслом. Я непустила Анри, сославшись на головную боль и простуду, однако мне не удалось заснуть. Я была разбужена бешеным

лаем борзых на каменном дворике перед моими окнами. На стук Анри я открыла дверь. Он подбежал к окну, весело смеясь, он быстро распахнул гардины, открыл жалюзи, и при свете факелов я увидела, как собаки рвали на части тело моего Адониса. Он отбивался бешено до тех пор, пока борзая сука, прозванная Бритвой, не впиалась ему в горло. Анри любовался этим зрелищем и говорил: «Вот видишь, как они дрессированы, этому черному вору не удалось похитить невинности даже нашей Мадлены, несмотря на то, что ее целомудрие побывало в двадцати ломбардах». Эти слова заставили меня рассмеяться. Моя «головная боль» прошла; я бросилась на шею Анри и, как говорят поэты, декабрьская Аврора, пробравшись к нам в альков, застала нас еще неспящими. Можете ли вы меня хоть в чем-нибудь после этого упрекнуть? Я была безупречна, я могу стать наставницей своего наставника. Я вероятно ошибаюсь, думая, что заболела от простуды, просто у меня кружилась голова от того, что вечером приходил г-н Бриссо с г-ном Верньо, с ними кто-то из магистрата, и не безызвестный ваш соперник Ретиф де ла Бретонн, автор «Развращенного крестьянина». Я слышала их разговор с мужем. Оказывается, старшая дочь Ретифа, восемнадцатилетняя кокетка, влюбилась в некоего Оже, богатого мулата. Этот Оже приехал из Англии по каким-то политическим делам [какие могут быть политические дела у негров? Объясните мне пожалуйста, почему их всех не посадят в Бисетр или Лафорс, или в Сен-Пелажи? мало ли тюрем для рабов?]. Оже взволновал Ретифа рассказами о том, что негры исчезают в Париже. Ретиф взволновал Верньо, Верньо взволновал Бриссо, а этот черный дрозд с берегов Жиронды не нашел ничего лучшего, как притти к моему мужу и просить его помощи, так как Анри имеет в подчинении всех начальников парижских кордегардий. Пока они говорили, я волновалась... Но Анри! Ах, я его почти полюбила, хотя он и мой муж! Он оказался на высоте; он был истым дворянином. Он не сказал ни одного слова невпопад. И, когда они ушли, меня беспокоило только одно, по-

чему они говорили о нескольких пропавших. Неужели создатель мира так щедр, что сотворил многих черных красавцев, и неужели я так несчастна, что какая-нибудь негодяйка обогнала меня в опыте с неграми. Уж не ваша ли Кабарюс? Нет! Тысячу раз нет! Но все-таки. Когда увидите ее снова у герцога Орлеанского, спросите, не перебила ли у меня мой запретный плод эта новая Ева из старого Ада.

Прощайте, дорогой Франсуа. Поручаю себя вашим молитвам. Правда ли, говорят, что граф Мирабо написал в тюрьме книжку «Эротика»? Если она украшена гравюрами Моро Младшего, то пришлите ее мне с первым выстрелом пушек вашей батареи, если сами не приедете скоро в Париж. Я хочу позабыться. Говорят, жизнь становится опасной. У моей кузины конфисковано имение! В ее замке крестьяне сожгли все титры! Забудемся! Предадимся забавам! Дорогой Франсуа, милый артиллерист, доказавший мягкость своей стрельбы. Видите, как вы меня просветили. Оставляю это на вашей совести [я хочу сказать, если вы остановились на полдороге]. Прощайте!

С. де-Ф.

Глава II

Черные и белые

Надо опасаться отчаяния людей, которым более нечего терять, ибо все у них отнято. Они могут захотеть овладеть всем миром.

De - Pradt.

Отец Кулон в этот день поздно открыл свой киоск. Было холодно. Январское солнце скупо светило над Парижем. Отец Кулон вынул засовы, снял заслонку из досок, в киоск ворвались лучи дневного света. Огромный карабасс, запряженный четверкой лошадей, прогремел по дороге, отец Кулон почтительно снял меховую шапку. Молодой генерал Лафайет, комендант Национальной гвардии, с восемью офицерами в карабассе, сделал приятную улыбку старому владельцу киоска, десятки лет под ряд выставляющему по утрам деревянную вывеску «Публичный писец» над карнизом своего киоска. В этот день ревматические боли едва не удержали

отца Кулона в постели. Однако он вышел, несмотря на боль в суставах. Отец Кулон осмотрелся, расставил чернильницы, пересмотрел запас очиненных перьев и ситки с золотистым песком для просушки чернил.

«Плохие времена, — думал отец Кулон, — все меньше становится работы, приходится в ожидании заказчиков заниматься чтением вместо письма».

Отец Кулон с неудовольствием заметил, что ветви кустарника, выросшего на деревянной крыше киоска, свисают на карниз. Капли недавнего дождя падают на прилавок. Он вытер дождевые пятна и, высунувшись по пояс из киоска, с неудовольствием осмотрел улицу. Господин Феликс Бертэн, занимавший два окна дома номер 88, не открыл своей булочной; ленточное заведение г-жи Лаваль этажом выше казалось спящим, так как окна были занавешены; щеточное заведение г-на Грокалью не обнаруживало признаков жизни. Старая Маргота, выходявшая по утрам с переносной печью, столами, скамейками, двумя большими псами и располагавшаяся на углу под огромным зонтом, спасавшим ее с горячими пирожками и ласковыми собаками от солнца и от дождей, в этот день тоже отсутствовала.

— Плохие времена, — повторил старик, — чувствуя, как боль грызет его суставы. — Погода меняется и холоднее становится в мире. Двадцать лет Маргота приходит изо дня в день на этот угол. Тревожно на сердце. С тех пор, как короля провезли из Версаля мимо этой палатки, не повторялось отсутствия Марготы и закрытие заведений моих соседей. Неужели опять что-нибудь случится.

Чтоб отделаться от неприятных мыслей, отец Кулон достал с полки первую попавшуюся книжку. Это был томик басен Флориана. Отец Кулон давал книги из своей палатки соседям, любившим почитать от нечего делать. Сейчас он сам расположился на табурете, открыл книгу. Из маленького томика выпал рисунок: какой-то читатель заложил им басню, подчеркнув верхнюю строку.

Секрет мой состоит в умении выбирать Собак позлее

Рисунок изображал короля и двух министров на своре. Отец Кулон с досадой закрыл книгу, спрашивая себя, кто последний брал у него Флориана. Эти размышления были прерваны словами незаметно подошедшего человека:

— Господин писец, не можете ли написать письмо под мою диктовку?

Отец Кулон вздрогнул. Заказчик, говоривший с сильным иностранным акцентом, улыбался ласково и приятно.

— Извольте, сударь, да будет ваш приход началом хорошего дня, хотя позднее утро, но до вас не было еще ни одного заказчика.

— Вот как, — сказал посетитель, — а мои часы показывают шесть часов утра. Разве вы не видите по солнцу, что это так?

Отец Кулон с облегчением вздохнул:

— Боже мой, ведь в самом деле раннее утро. Мои часы остановились на десяти часах вчера вечером, только и всего, а я-то, чудак, испугался, что осталась жизнь Парижа...

— Сударь, вы разговорчивы, а мне некогда, — прервал незнакомец.

Отец Кулон не привык к такому обращению. Пожевывая старыми морщинистыми губами, он придвинул поближе стопу синей бумаги, открыл банку железных чернил и прогнусавил:

— К услугам господина.

— Пишите, — скомандовал заказчик.

Друг народа посылает в отель де-Вилье парижским магистратам и всем честным гражданам предупреждение о том, что директор пороховых заводов, подкупленный врагами народа, ведет переговоры о продаже пороховых бочек прусскому королю, а для того подготавливает отправку сорока тысяч бочек в склады, построенные в районе Вальми и Тионвиля. Академик Лавуазье, директор пороховых заводов...

Неосторожным поворотом локтя отец Кулон опрокинул чернильницу, и вся страница оказалась испорчена.

— Сейчас, гражданин, сейчас, простите пожалуйста. Вот возьму новый лист, а чтоб вам не беспокоиться диктовать, дайте я перепишу с вашего листка.

Отец Кулон с неожиданной быстротой отогнул край синеватого документа, быв-

шего в руках заказчика, но тот быстро рванул рукой, прежде чем старый, выдавший виды и знавший не мало уличных секретов отец Кулон успел прочесть первую строку. Он увидел только первые два слова, вернее слова и несколько букв «Лорд В...».

Хитрый писец виновато опустил глаза и стал тщательно вытирать стол, сплошь залитый чернилами. Занятие это отняло столько времени, что подошли двое других заказчиков, а немного погодя старая Маргота появилась с тележкой, которую везли две собаки, с племянницей, несшей корзинки. Еще прошла минута, и старуха уже громко здоровалась с отцом Кулоном, в то время как племянница раскрывала зонтик и расставляла все приспособления пирожного заведения бабушки Марготы. Из-за угла показался сержант ближайшего дозора со шпагой, змеевидной лентой через плечо, в белом парике, в рваной синей треуголке над седыми бровями и с большим красным носом. Несмотря на утренний час, сержант был навеселе. Он громко поздоровался с пирожницей и подошел к прилавку писца.

— Слушайте, старик, — сказал он, — нет ли холодной воды? Пить хочу, как святой Иоанн в пустыне. Надо попросить конечно Марготу, но чертовка обманула меня, не выходит за меня замуж.

— Когда ты замолчишь, старый греховодник! — крикнула пирожница. — Про тебя правду говорят, что ты языком можешь почесать у себя за ухом.

Отец Кулон, не обращая внимания на заказчиков, достал флягу, приносимую им с собою в палатку, и протянул ее сержанту:

— Должно быть, вы так заняты, что нам будет некогда переговорить, — раздраженно заметил заказчик-иностранец, засовывая свой документ за обшлаг и с недовольными жестами отходя от палатки. — Я подойду, когда освободитесь.

— К услугам граждан, — сказал отец Кулон.

Сержант, пошатываясь, отошел от палатки писца и, перейдя улицу, низко поклонился пирожнице.

— Марготона! ты молодец, ты самая умная женщина округа; я выпил, теперь надо поесть, дай пирожка!

Отец Кулон не сводил глаз с темно-голубого клочка бумаги, сложенного вчетверо и упавшего в двадцати—пятидесяти шагах от палатки. Не говоря ни слова, он бросил перо и, прихрамывая, выбежал из киоска. Он быстро спрятал документ, оброненный иностранным заказчиком и, вернувшись к прилавку, стал писать под диктовку письма в деревню с перечнем десятков поклонов и приветствий от сына к деревенским родителям.



День прошел: миновали январские сумерки. Зеленоватое небо темнело над Парижем. Края высоких облаков светились едва заметной, тонкой серебряной каймой. Отец Кулон запирал свою палатку. Погасив лампу, он задвигал засовом ставни и собирался уходить. День был ему очень длинен, так как писец пришел раньше обычного времени, а набор национальных гвардейцев, объявленный утром, вызвал прилив горделивых чувств у парижской молодежи. Диктовали письма отцам, матерям, любовницам и невестам.

В темной палатке, заканчивая свою работу, отец Кулон слышал, как затихла улица, как вдалеке девушки, расставаясь друг с другом, переключались через садовую изгородь.

— Покойной ночи, Анна!

— Добрый путь, Сюзетта.

Прошла еще минута. Уже совсем в отдалении снова послышалась переключка девушек.

— Будь счастлива, Сюзанна.

— Приятных снов, Аннетта!..

И вдруг раздался выстрел. Щепки посыпались с крыши, ободранные свинцом. Отец Кулон вздрогнул, выбежал из палатки, и в ту же минуту второй выстрел уложил его на месте.

Два человека, перебегая через опустевшую улицу, быстро обшарили его карманы. Один, вынимая измятый кусок синей бумаги, с бешеным прошипел другому по-английски.

— Вот вам! чтоб это было в последний раз! Как глупо обращаться к уличному писцу, хорошо, что эти прокля-

тые французы разбегаются от выстрелов. Крик зарезанного созвал бы всю улицу, а выстрел очищает целый квартал.

Затем оба быстрыми шагами скрылись.

Еле дыша, в полном молчании дошли они до «Книжной лавки господина Авриля». Там легкая вискетка с громадными задними колесами приняла их в свою корзинку. И, качаясь на английских рессорах модного экипажа, кучер погнался лошадей с молчаливыми пассажирами. Вискетка летела в Сен-Жерменское предместье.

Английский ученый экономист, путешественник Артур Юнг с некоторым нетерпением ходил по комнатам, присаживался, вычисляя стоимость паровых машин, поставленных герцогом Орлеанским на своей шелковой фабрике, и с удовольствием говорил про себя:

— Он прогорит, он несомненно прогорит!

Клерк, выполнявший роль письмоводителя и секретаря при особе знаменитого путешественника, расшифровывал красивым английским почерком стенограмму, продиктованную господином Юнгом, и улыбался, открывая рот до ушей при каждом радостном восклицании своего господина.

— Поможет ли нам революция в Париже? Как умно сделали наши лорды, участвуя в промышленной жизни на ряду с горожанами. Во Франции хозяйство организует буржуа, в то время как аристократы уничтожают богатства нации. Нет, Франция нам не опасна! Герцог Орлеанский с паровыми машинами— это не конкурент нашим лордам и нашей доброй старой стране..

Вошедший лакей стал в дверях. Юнг с живостью обернулся.

— Сэр, вернулись Бигби и Джонсон.

— Прекрасно, — кричал Юнг.

Молчаливый клерк, не говоря ни слова, встал со стенограммами и ушел из кабинета, не дожидаясь приглашения удалиться.

— Прекрасно, сэр! Все удачно, сэр! — начали наперебой говорить молодые франты. — Бигби даже не виноват. Он передел жилет и, забыв об этом, думал, что потерял письмо.

Протягивая мятую синюю бумагу Юнгу, Джонсон, спрятав левую руку за спину, легким толчком предложил молчать своему товарищу.

Юнг не сказал ни слова. Молодые люди ушли. Срезав фитиль в лампе и вытянув его щипчиками, Юнг разгладил измятый листок и снова перечитал давно известную инструкцию, словно желая удостовериться, что ее не подменили. В ней было написано:

«Лорд Вэллоуби встревожен отсутствием регулярных сообщений, при чем ему известны все обстоятельства, могущие затруднять движения по французским дорогам. Ему известно также, что не эти обстоятельства являются причиной отсутствия сообщений. Его светлость встревожен вашим известием о том, что выработка пороха на французских заводах достигла в этом году трех миллионов восьмисот тысяч фунтов. Проверьте, дорогой сэр: ведь это удвоение всего в какие-нибудь четыре года. Ваше сообщение об аресте директора пороховых заводов г-на Лавуазье по подозрению в снабжении Бастилии нас вполне удовлетворило. Опыты этого химика судьба может остановить очевидно только в случае констатирования его связей ну хотя бы с герцогом Брауншвейгским или с прусским королем. Бросьте взгляд в этом направлении. Старший секретарь его светлости получил сообщение о том, что Франция готовит провиантские склады на севере. Мы имеем также сведения о том, что г-н Лавуазье как генеральный фермер не пользуется любовью и доверием парижских горожан, охваченных сейчас безумием подозрительности и разъяренной кровожадностью преступников. Его светлость также интересуется сообщениями ваши о том, что Франция намерена выпускать новые бумажные деньги.

Не медлите с присылкой чистых, неизмятых образцов с указанием фамилий гравировщиков монетного двора...»

Юнг не стал читать дальше. На полях были отметки, сделанные рукою его помощника: имена укрепленных пунктов и военных приготовлений на Востоке Франции.

Академик Лавуазье жил на пороховом заводе. Его окна выходили на двор Арсенала. В верхнем этаже была жилая половина квартиры великого химика. Холодная, большая белая зала, с белыми занавесками, креслами, банкетами и диванами, обитыми белым штофом и муаром. Часть мебели покрыта опрятными белыми чехлами. На стенах картины, также завешенные белыми чехлами. С первых дней революции хозяйка г-жа Лавуазье, дочь знаменитого откупщика по фамилии Польз, сочла целесообразным надеть белые чехлы на эти портреты. Г-н Лавуазье во всем повиновался супруге, «отличавшейся твердым характером, деловитостью и приданным в восемьдесят тысяч ливров». На белых, круглых и овальных столах большой пустынной залы в чинном порядке стояли канделябры с белыми спермацетовыми свечами. Единственная роскошь, допущенная скупой хозяйкой, — это свечи. На них она не скупилась, и после каждого вечера в шандалы и канделябры вставлялись новые свечи, а старые отдавались прислуге. Комната самой г-жи Лавуазье отличалась еще большей суровостью. При входе в ее женскую половину трудно было догадаться, является ли эта строгая комната, отделенная от постели свисающей с потолка громадной занавеской, комнатой женщины или кабинетом ученого. Множество книг в белых кожаных переплетах, английский словарь, раскрытый на письменном столе, хрустальная чернильница и громадные гусиные перья, песочницы с белоснежным сухим и тончайшим песком, книжка химика Кирвана — перевод самой г-жи Лавуазье, напечатанный в Париже, — круглое зеркало в серебряной раме, потускневшее от времени, и среди всех этих белых вещей единственным черным пятном была сама г-жа Польз. Высокая, худая, с блестящими, острыми черными глазами, в широком черном английском платье из тончайшей фландрской ткани, секрет изготовления которой тщетно старались купить английские фабриканты, не умевшие приготовить этого чудного сукна из той самой корнуэльской шерсти, которую скупали фландрские ткачи и прядильщики.

Нижний этаж наполовину принадлежал заводу, а в шестнадцати комнатах располагалась лаборатория г-на Лавуазье.

Это была странная кухня. Маленькие жаровни, огромные горны с мехами, таганы и сковороды, круто поднимающиеся дымоходы, плавильные печи, большой полутемный зал сменялись светлой комнатой, в которой лучи солнечного света дробились поверхностями фарфора, хрусталя и стекла. На фарфоровых, деревянных, стеклянных и серебряных столах с деревянными штативами причудливо располагались держатели, пробирки, конические колбы, аллонжи, реторты, баллоны, агатовые ступки, фарфоровые тигли с королевского завода в Севре, кристаллизаторы, заказанные по рисункам Лавуазье венецианскому стеклянному заводу на острове Мурано, градуированные пипетки, мензурки, бюретки, кюветы — весь этот фантастический стеклянный мир, по воле ученого наступающий на скупую природу, ломающий ее скрытность, горел и искрился на солнце парижского вечера, переливаясь цветными огнями, радужной игрой солнечного луча, такого простого и белого, с радостью распающегося на тысячу цветных переливов в лаборатории Антуана Лавуазье, словно для того, чтобы наверху, там где царствует мадам Польз, снова превратиться в строгий, белый и бесцветный, даже как будто ставший скупым, солнечный свет. За пределами этой стеклянной лаборатории шли лаборатории Лапласа, Монье, Сегена, Маккера, добровольных ассистентов и товарищей по работе академика Лавуазье. Там были комнаты с цветными стеклами, а за ними три большие кабинета, из которых последний был совершенно лишен доступа солнечного света. В нем Антуан Лавуазье провел в абсолютной темноте, никуда не выходя, шесть недель для того, чтобы сделать свои, как он говорил, «дневные» человеческие глаза способными воспринимать едва заметные, тончайшие напряжения простого светового луча. Это добровольное заключение в темницу, когда простое питание ученого также происходило в темноте, принесло ожидаемые результаты: — зрение академика стало чрезвычайно чут-

ким, но он сильно подорвал свое здоровье. В первые дни, превратив свои глаза в тончайший инструмент оптического контроля, он при резких поворотах света испытывал мгновенные состояния, близкие к потере сознания. Усилием воли он заставлял себя вернуться к действительности из того полусонного состояния, в которое бросала его чрезвычайно раздражительность зрительных нервов.

В этот день приступ повторился, и, несмотря ни на какие усилия воли, ученому не удалось закончить опыта. Приложив ладони к вискам, он откинулся на спинку жесткого деревянного стула. В этот момент в лабораторию вошел старик в ливрее с дворянскими гербами. Мадам Лавуазье любила знаки купного дворянства. Сам ученый отнесся к этому подарку тестя более чем равнодушно. Четыре тысячи дворянских титулов с соответствующими должностями так называемого «дворянства мантии» были королевским товаром и продавались за очень высокую цену разбогатевшим представителям третьего сословия. Отец г-жи Лавуазье сделал свадебный подарок своему зятю.

Лавуазье в ту минуту, когда старик появился в лаборатории, даже не заметил его новой ливреи, поймав себя на чувстве радости по поводу возможности прекратить неудавшийся опыт и уйти.

Мадам Польз-Лавуазье приглашала мужа обедать.

— Мадам недовольна, — сказал старик, — прислуга Лефосе опять повесила белье через весь двор Арсенала. Мадам приказала снять. Во дворе был крик.

Лавуазье не слушал.

В зале его встретил в дверях маленький человек в светлосинем костюме, черных чулках и черных туфлях. Маленький, белый, чрезвычайно прихотливый парик с какими-то вольными волнистыми прядями на висках обрамлял спокойное и ясное лицо с голубыми глазами, производившими впечатление большой наблюдательности, но это выражение глаз было лишь признаком полной близорукости. Грустное выражение не сбежало с этого лица даже

тогда, когда оно улыбнулось в ответ на приветствие Лавуазье.

— Как я рад, господин Сильвестр де-Саси, что снова вижу вас. Когда приезжали англичане, мне хотелось показать вам их; я с удивлением узнал, что вы уехали неизвестно куда.

— Я живу *extra muros*¹⁾. Слишком много волнений в стенах Парижа. Мысль работает плохо, когда тебе ежедневно напоминают, что ты ничтожная единица в скопище граждан. Я не лучше и не хуже других людей, но я смотрю на себя, как на инструмент науки, а науку нужно беречь. Мне и моей семье хуже живется в деревне, но там тихо.

— Попрежнему шестнадцать часов напряженной работы над арабами, персами, друзьями, над рукописями и книгами Востока?

— Да, попрежнему,—ответил Саси.— Я поселил у себя еврея, он научил меня своему старому языку; его огромные знания дали мне возможность разобрать самарийские тексты, я теперь знаю их не хуже Кенникота и Росси. Мы разобрали гениальные рукописи Юлия Цезаря, Скалигера и должен сказать, что за три века, прошедших со дня его смерти, не так уж много двинулась наука вперед. Этот чудак, этот гений и двоеженец, всю жизнь просидевший в маленькой голландской комнате, закутанный в меховую одежду, окруженный помощью и заботами двух своих страных подруг, умел видеть далеко впереди себя. Я мало что могу прибавить к его выводам относительно языков Леванта.

Г-жа Лавуазье, пользуясь минутной остановкой разговора, спросила, разводит ли г-н Сильвестр де-Саси попрежнему тюльпаны и как поживают его птицы.

Переходя из зала в столовую по приглашению хозяйки, Саси говорил:

— Благодарю вас, сударыня, вместо тюльпанов я развожу огород, так как жить довольно трудно: крестьяне предпочитают везти овощи на парижские рынки; что касается птиц, то мой самый большой говорун, скворец, не выдержал переезда. Моя младшая сестра схоронила его в саду под деревом, но мне уда-

лось выучить двум-трем фразам моего чижа.

Лавуазье поднял брови с выражением удивления.

Саси также улыбнулся. Мадам Лавуазье снисходительно молчала, находя, что заниматься птицами серьезному ученому совершенно невозможно.

— Да, да,—сказал Саси,—язык такой тонкий механизм и такое сложное превращение мысли в звук, что изучать его нужно всячески, а самое строеное речи, воспроизводимое животными, открывает неожиданные тайны в природе звука.

Слуга доложил о приходе г-на Бриссо.

Лавуазье сделал несколько шагов навстречу, Бриссо поздоровался как-то рассеянно и, занимая место за столом, заговорил сразу:

— Дурная встреча, дурная встреча,—сейчас встретил этого юриста Максимилиана Робеспьера...

— Почему это дурная встреча? — спросил Лавуазье.

— Вы не знаете этого человека,—ответил Бриссо.— Не нынче завтра это будет самый опасный фанатик политики.

— Не думаю,—сказал Лавуазье,—прямо не думаю. Когда он кончал колледж, король был у них на торжествах. Робеспьер читал ему латинские стихи, сочиненные специально для этого случая. Стихи плохие, но короля он любит.

— Робеспьер никого не любит, господин Лавуазье,—ответил Бриссо.— Робеспьер любит кричать о своей бедности. Он нарочно переселился к Морису Дюпле только для того, чтобы друзья говорили о том, как бедный подмастерье приютил революционного депутата третьего сословия. Но ведь этот Дюпле ютится в бедной квартирке, чтобы скрыть свой огромный барыш. У Дюпле два дома в Париже, Дюпле — королевский мебельщик, Дюпле с Робеспьером — выгодный союз.

— Однако вы взволнованы! Что же вам сказал Робеспьер?

Бриссо улыбнулся.

— А ведь действительно, может быть, ничего. Может, действительно я напрасно себя волную. Я вышел от мадам Леклапэр в тот момент, когда полиция пришла произвести обыск в ее книжной лавке. Я только-что купил новую

¹⁾ За стенами.

английскую карту Антилий, узнав о Ламетовских плантациях на Гаити. Я шел по улице и перед самым Арсеналом был охликинут господином Робеспьером; он насмешливо посмотрел на меня и сказал: — Бриссо, ты падаешь в яму и проломишь себе череп, так как, роясь глазами в карте великой вселенной, ты загораживаешь себе дорогу по нашему маленькому революционному Парижу.

У Лавуазье задержались веки, он силится понять эту фразу, в которой был колоссальный, зловещий смысл и жуткая едкость. В это время лакей осторожно обносил с левой стороны блюдо, и предложил своему хозяину крыло куропатки.

— Я, кажется, говорю неуместные вещи. Я перебил ваш разговор, господа, — вспыхнув, заметил Бриссо.

— Маркиз Ларошфуко! — громко произнес лакей.

— Какой разговор? — сказал, входя, тот, кого называли маркизом. И, скользя по вощеному полу, новый посетитель плавно подошел к руке г-жи Лавуазье.

Поднося пястья почти около браслета к тонким губам Ларошфуко, мадам Лавуазье ответила:

— Наш славный ориенталист, брат графа де-Саси, рассказывал, как он обучал чижга произносить итальянские фразы. — Ларошфуко поклонился в сторону Саси, занял предложенное хозяйкой место и сказал:

— Мадам должна извинить меня. Нынче ночью моим лошадям подрезали сухожилия. Тетка со мной в ссоре. Я не мог ехать в ее карете. Я поэтому опоздал, сударыня. Что касается обучения птиц, то самое лучшее обучить попугая говорить: да здравствует король! Попугая немедленно сделают нотаблем!

— Может, его лучше выучить словам присяги Учредительному Собранию? — спросил Лавуазье.

Бриссо нахмурился.

— Я отказался от присяги, — сказал Саси, — и не чувствую себя в праве обучать политике кого бы то ни было, даже птиц.

— Я присягнул Конституции, — сказал Лавуазье, — я считаю революцию великим делом.

— Я тоже, — сказал Саси. — Но у нас с ней разные дороги. Я не интересуюсь делами Манежа и манежными делами, как говорят парижане, называя сплетни.

Бриссо вспыхнул: словечко это стало нарицательным; парижане аристократы «манежами» называли систему политических интриг и грязных происков, хотивших вокруг Конституанты.

— Ведь вы прошли на выборах от второго сословия? — спросил Бриссо, обращаясь к Лавуазье.

Лавуазье подумал и ответил не сразу:

— Да. Но я люблю свободу и стремлюсь принести пользу революции.

— Я люблю свободу науки, — задумчиво говорил Саси, — но, как сказал Овидий в «Посланиях к Понта»

*Carmina secessum scribentis et otia quaerunt:
Me mare, me venti, me fera jactat hyems.
Carminibus metus omnis abest: ego perditus
ensem.*

Haesurum jugulo jam puto jamque meo.

*Haes quoque, quod facio, iudex mirabitur
aequus,*

*Scriptaque cum venia qualiacumque leget.
Da mihi Macouiden, et tot circumspice casus;
Ingenium tantis excidet omne malis¹⁾.*

Все замолчали.

Хозяйка пристально смотрела в окно. Из экипажа, вехавшего во двор Арсенала, вышел человек в зеленой шубе с желтым мехом и темнозеленой треуголке. То был Оже. Едва он срылся в подезде и тронулась карета, как во двор вехала красивая легкая вискетка, из которой почти на ходу буквально выпрыгнул и пошел юношеской походкой знакомый, почтенный гость Парижа: господин Юнг.

В столовую он вошел вместе с Оже, предупреждая возглас лакея: «Сэр Артур Юнг с господином Винсентом Оже».

Мулат был одет с чрезвычайной тщательностью. Англичанин — в серебристо-сером костюме, изысканно, просто, важно. Бриссо и Оже поздоровались, как старые друзья. Юнг занял место рядом с Лавуазье. Разговор раздробился. Са-

¹⁾ Творческий дух требует уединенной тишины и свободного времени для писателя, а я жертва моря, ветров и суровой зимы. Поэзия чужд всякий страх, но я, «потерянный», каждое мгновение жду меча, пронзающего мне горло. Окружи Гомера безумием всех этих случайностей, и среди бед угаснет его воображение».

си, перегнувшись через стол, воспользовался молчанием английского гостя и сказал тихо:

— Мне нужны ваши советы и ваши познания.

Лавуазье кивнул головой и сказал:

— За английским чаем будет легче говорить о делах.

При слове «английский чай» Юнг тонко и высокомерно улыбнулся, словно отвечая своей старой мысли о том, что «английские моды в Париже смешны так же, как всякое провинциальное подражание столице».

Закончив лабораторные работы, постепенно занимали места за столом ученики, ассистенты и друзья Лавуазье.

Скинув протравленные химикалиями камзолы и переодевшись в свои обычные одежды, один за другим входили: Гассенфрад, Гитон де-Мерво, Фуркруа, друг и школьный товарищ Робеспьера, Сеген, лучший ученик Лавуазье. Революция сказывалась в том, что вопреки строгости мадам Лавуазье стало возможным опаздывать к обеду и нарушать чинный, строгий этикет, завешенный ею в доме.

Слышался голос Бриссо:

— Революция есть свобода для всех. Декларация возглашает всеобщее равенство. Долой «дворянство кожи».

Ларошфуко доказывал правильность своих опытов над серой. Фуркруа доказывал, что аристократ не может быть химиком. Юнг улыбался и, плохо говоря по-французски, ограничивался незначительным участием в разговоре. Сильвестр де-Саси объяснял слово г е м т э л ь м е л ь х а а, приведенное Винсентом Оже и непонятое французам. Он рассказывал с красивой увлекательной обстоятельностью ученого об африканском племени «бени-лайль», в котором англичане, французы и турки поперебой покупают молодых девушек за плитки каменной соли, привозимой с Атласа. «Г е м т э л ь м е л ь х а а» — название живого товара, буквально значит — «цена куска соли».

Бриссо обратился к Оже:

— Быть может, вы здесь, на свободе, объясните мне, что значит постоянное слово, которое у вас звучит, как лозунг, как условный знак, как то, чем приглашает или дает разрешение ваш Туссен?

Бледное лицо Оже покрылось синие-

батыми тенями, он ничего не ответил. Но неумолимый француз продолжал:

— Каждый раз, когда я у вас бывал, я слышал это слово «к в и с к в е й а».

Саси, держа кусочек рыбы на серебряной вилке, на секунду задумался и сказал:

— Насколько я помню, это слово эфиопиян. Если перевести его буквально, оно значит: мать всех земель и стран.

Оже грустно и тихо произнес:

— Этим именем мы зовем наш остров. Наши отцы и деды поселились на нем невольны. Эта страна была нам махехой, мы знаем ее историю. Некий Колумб назвал нашу Гаити, что значит «Страна Гор», «Эспаньолой» — Малой Испанией. Она стала Малой Испанией в 1492 году. Прошло триста лет, сегодня мы зовем родную эту землю, питавшую нашу кровь, превратившую в прах тела наших предков. Мы жили рабами, становимся свободными, мы хотим стать гражданами Новой земли и назвать ее «Матерью всех земель». С этим мы приехали сюда через океан, но здесь сердца наши наполнились тревогой.

Грубый голос Фуркруа вдруг заставил его замолчать. Друг Робеспьера, он кричал:

— Что из этого, что Симонна Эврар вручила свою жизнь Марату, что она, разделяя его невзгоды, вместе с любовью отдает ему «сбережения своего отца для издания «Друга народа»? Неужели из этого можно делать какие-нибудь выводы, порочащие Марата. Смотрите, скоро рассеется клевета, и станет стыдно тем, кто ее сеял. Клеветники пожнут кровавую жатву. Не трогайте «Друга народа!» Не всегда Национальное Собрание будет преследовать Марата. Настанет час...

Но тут Артур Юнг, ослабившись вольным оскалом зубов, вынул из кармана сложенный четверо номер «Друга народа», развернул и, с улыбкой подавая Фуркруа газету, сказал:

— Ваш Марат преступный клеветник.

Фуркруа прочел и побледнел. Тем не менее передал номер Лавуазье.

Марат писал:

«Вот вам корифей шарлатанов, г-н Лавуазье, сын сутяги, химик не-

доучка, ученик женевского спекулянта, откупщик налогов, пороховой комиссар, чиновник учетной кассы, корольский секретарь, академик, величайший интриган нашего времени, молодчик, получающий 40.000 ливров дохода и коего права на признательность — это 1) Париж в тюрьме без свободной циркуляции воздуха, за стенами, стоявшими 33 миллиона французской бедноте и 2) доставка пороха из Арсенала в Бастилию ночью с 12 на 13 июля. — Интригует, дьявольски пролезая на выборную должность по Парижу. Жаль, что он не на фонаре 6 августа. Избирателям не пришлось бы краснеть».

Лавуазье молча вернул газету и посмотрел мрачно на Юнга.

— Меня удивляет и омрачает, — сказал Юнг, — то обстоятельство, что злостный клеветник до сих пор не пойман.

— Вот герцог де-Лианкур, — продолжал он, кивая в сторону маркиза Ларошфуко и называя его вторым, более значительным титулом, которого Ларошфуко чуждался. — Вот герцог де-Лианкур знает положение! Его, даже его зацепил Марат за выпупление против черных рабов. Впрочем ваша светлость конечно не читает таких газет. Вы конечно читаете только сатирические «Деяния апостолов», газету Антуана Ривароля.

По окончании обеда разговор продолжался в белой зале. Общество разбилось на группы за тремя столиками. Играли в карты. Но фараон проходил вяло, так как хозяин все время хранил печать озабоченности. Фуркруа грубовато и часто повторял слова Марата, хотя всем это становилось неприятно. Бриссо заметил, бросая слова в воздух: «Раньше Марат был моим другом и писал мне часто. Теперь я боюсь его». Бросая карту на стол, Лавуазье произнес, обращаясь к Фуркруа:

— Марат высокомерен и зол. Было время, его приглашали в академики. Он дерзко ответил герцогу, что желает остаться свободным исследователем. Он прислал однако свой трактат об огне, который я отправил назад как вздорный, ибо он говорит о нарастании света во вселенной, а я доказал

неизменность в мире количества вещества. Я назвал это законом сохранения вещества.

— Однако ты забываешь, — сказал Фуркруа, — что некий немецкий ученый оптик, господин Иоганн фон-Гёте, считает трактат доктора Марата о свете самым замечательным открытием, завершающим столетие.

— Не верю немцам, — сказал Лавуазье.

— Хорошо делаете, — подтвердил Юнг с другого стола.

— Нельзя всем выстригать тонзур, — ответил Фуркруа. Есть разные немцы. Есть герцог Брауншвейгский, есть прусский и австрийский двор, а есть некий немец, господин Жиль, которого мы вчера торжественно провозгласили в Ассамблее почетным гражданином Франции. Он написал пьесу «Робер, вождь разбойников»¹⁾.

— Поздравляю с большой ошибкой, — сказал Юнг, — «Робер, вождь разбойников» — это пьеса, вышедшая почти десять лет тому назад из-под пера простого немецкого фельдшера Фридриха Шиллера, вы ошибаетесь, давая ему имя Жилья.

Фуркруа не унимался.

— Потом отметь, Лавуазье, во-первых: Жан Поль Марат никогда не был крулье Генеральной Фермы. Он не мог затратить миллисна восьмисот тысяч на оборудование лаборатории. Он не мог пользоваться ничем, кроме флаконов парфюмера и черепков фарфорщика, для производства опытов. В те сладкие месяцы, когда ты проводишь в имении Фрешин, за которое заплатил 600.000 ливров, доктор Марат должен прятаться в конюшнях и голубятнях, скрываясь от полиции. Ты споришь с Тюрго, доказывая, что не в сельском хозяйстве дело бюджета Франции, но ты сам производишь на полях клевер и эспарсет, сам ты выписываешь из Англии племенных свиней. Ты с помощью господина Леду обводишь Париж стенами для собирания налогов, для борьбы с крестьянином, привозившим бесплатно овощи в Париж, для борьбы с ремесленником,

¹⁾ Здесь допущено намеренное хронологическое смещение. Шиллер получил звание «гражданина Французской республики» от Конвента и, напуганный казнью Людовика XVI, отказался от этого гражданства.

продающим кожаную обувь extra pueros. Марат требует отмены откупов.

Лавуазье покачал головой:

— Я не подозревал в тебе маратиста, Фуркруа! Но я знаю в тебе ученого. Тебе известно, что сто одиннадцать дней опыта с перегонкой и взвешиванием воды стоили мне пятьдесят тысяч ливров. Ты знаешь, во что обходится изготовление тончайших инструментов? Кто дал бы мне их без откупов?

— Тогда не осуждай Марата.

Лавуазье пожал плечами.

После часового разговора гостей слуги принесли чай. Лавуазье пригласил Сильвестра де-Саси в угол комнаты, отгороженный белыми ширмами. Там, поставив чашки с душистым напитком на белый мраморный стол, Саси и Лавуазье беседовали о том, как лучше переводить химические термины и древние арабские названия драгоценных веществ, упоминаемые в сказках «Тысячи и одной ночи». Саси рассказывал французскому ученому о северо-западной Африке, стране, до сих пор имеющей самые странные сказания и поставляющей на весь Восток колдунов, ядомешателей, так называемых «опасных магов» и прочих знахарей, наводняющих тропические страны.

Редкая память Саси помогала ему обходиться без записей. Не имея перед собой манускрипта, он наизусть переводил для Лавуазье целые страницы арабских текстов о путешествиях Синдбада, где говорится «об искусстве приготовления серебра и золота, о ядах и противоядиях, о семи планетах и семи сферах, о семи днях и семи климатах, о семи цветах шелка, о семи цветах радуги, о семи цветах луча, отраженного и преломленного алмазом и удвоенного турмалином, о семи возрастах мира, о свинцовых рудах восточно-индийского острова Калаха, о желтом мышьяке», посредством которого арабские врачи удаляли волосы, о порошке «жох», который, по мнению Саси, был простой сурьмой, о герое сказки Али-Зибак, имя которого обозначает тяжелый, жидкий, чрезвычайно подвижный белый блестящий металл... «Очевидно ртуть» — говорил Саси.

После беседы Лавуазье с востоковедом Саси Ларошфуко присоединился к разговору. Облокотившись на стол и положив подбородок на

большой палец, герцог Лианкур изредка вставлял свои замечания, из которых явствовало, что хотя он и занимается в лаборатории Лавуазье, но ему одинаково чужда и старая, и новая химия. Он был скептичен. Смеясь, он говорил, что старинный итальянский писатель в сочинении «Божественная комедия» всех алхимиков помещает в самых глубоких подземельях ада.

Когда говорил Ларошфуко, напряженный слух Лавуазье уловил тихий голос Юнга в другом конце залы.

Он повторял, ломая слова: «Le mur, murant Paris, fait Paris murmurant»¹⁾.

Лавуазье задумался. Он очень доверял английскому гостю; он любил в нем спокойствие и размах большого ученого экономиста, ясность его практического ума, он пользовался его советами в сельском хозяйстве. Но повторение острот врагов Лавуазье в собственном доме Лавуазье нарушало представление хозяина об учтивости английского гостя.

«Да и не слишком ли много знает г-н Юнг? — думал Лавуазье, — Не слишком ли он долго живет во Франции?»

Лавуазье привстал. Поверх полуширмы он видел, как Юнг, держа золотую табакерку, стоя, разговаривал с Фуркруа.

Ларошфуко говорил тем временем:

— Я убедился, что почти все восточные лекарства ядовиты, за исключением трав, вызывающих испарину. Я верю только в шивок и в кровопускание.

Лавуазье вздрогнул и быстро занял прежнее место. Саси говорил:

— Я никогда ничем не болел. Я не знаю усталости, я люблю ходить пешком, и сейчас, чтобы вовремя попасть к себе в деревню за парижскими стенами, я отправлюсь пешком, не дожидаясь наступления ночи. Прощайте, дорогой г-н Лавуазье. Благодарю вас за совет и указание.

По-английски, не прощаясь, Саси ушел.

За ширмой, превращавшей залу в маленькую гостиную, появился Юнг.

¹⁾ Игра слов, буквальный перевод: «Стена, ограждающая Париж, вызывает ропот Паряжа».

«Трудно сказать, кто из нас себя чувствует больше хозяином в доме» — подумал Лавуазье, глядя на улыбающееся лицо английского гостя.

— Я восхищен вашим гением, — говорил Юнг. — Такой упрощенный способ добывания селитры сразу учетверил силу и военные качества Франции.

Лавуазье молчал, выражая благодарность за комплимент только кивком головы. Фуркруа говорил с мулатом:

— Школа французских химиков признает тридцать три элементарных вещества, сочетание и распад которых образуют все сложные тела великого мира, но само вещество не уничтожается и не возникает вновь.

— Вы слышите, — сказал Лавуазье, — то открытие, которым я один могу гордиться, приписывают школе французских химиков. Что же будет говорить после моей смерти, если я при жизни слышу это и даже в собственном доме?

— Будем надеяться, что вы еще много лет отдадите вашей науке, — сказал Юнг и, вскинув глаза на Лавуазье, добавил: — Если вовремя переедете в Англию.

Лавуазье всплеснул руками:

— Переехать, зачем? Да разве это осуществимо? Разве можно перевезти шестнадцать лабораторий, пороховые склады, французские интересы в Лондон?

— За исключением французских интересов, мы все остальное можем дать вам в Лондоне.

Юнг оживился и заговорил тоном убеждения:

— Вы очевидно не предугадываете всех ужасов вашей революции. Вы, депутат, прошедший от дворянства, должны понять, что дворянство кончилось.

— Я не дворянин, — сказал Лавуазье.

— Вы депутат второго сословия, и этим все сказано. Вам нужно уезжать как можно скорее. Нам, смотрящим со стороны, многое виднее. Нам многие предметы говорят больше, чем люди. Лорды Англии давно пошли иным путем. Ваше дворянство лишено жизнеспособности наших лордов.

— Не забудьте, — возразил Лавуазье, — ваш парламент обошелся Анг-

лии тоже не в малое число голов, вспомните, что среди них упала и одна королевская голова.

Юнг улыбнулся:

— Вы счастливы, если можете ругаться за жизнь короля Франции. Перед тем как говорить с вами, я много думал; я изъездил всю вашу страну, я видел лионские шелковые фабрики, рудники Лотарингии, виноградники Дофина. Я видел богатые епископии и дороги Франции, где по крайней мере двести или триста тысяч нищих бродят по дорогам, людей голодных и очень страшных. Я путешествовал, знакомясь с деревенским хозяйством ваших сеньоров всюду. Леса вашей Бретани напоминают мне рассказы нашего Флетчера о России. Там такая же глушь и дичь, и только тридцать тысяч борзых собак, зачастую рвущих на куски деревенских ребятишек в дни дворянских охот, оглашают своим лаем пустыни и ланды. Ваши феодальные дворяне ничем не отличаются от виланов, ваши крестьяне спят на земляном полу, не меняя вохроа прошлогодних листьев, служащих им постелью. Я видел на севере Бретани замок Комбур, где господин Шатобриан и его десять членов семьи живут в невероятной грязи, в заплесневелом замке над ржавым прудом. Нет процветания страны. Вы знаете, что сейчас в Париже есть русские? Эти дворяне из страны медведей пламенно приветствуют вашу революцию, но бьют плетками своих крепостных любовниц. Ваши феодалы недалеко ушли от этих титулованных русских мужиков. В России был неграмотный царь Алексей, когда в Англии сэр Даниэль Дэфо напечатал «Робинзона Крузо», нынешнее любимое чтение в Париже. Когда наш актер Шекспир ставил в «Глобусе» свои знаменитые трагедии, которых публика Франции до сих пор еще не знает, дворяне Франции были еще совсем неграмотны. Судите сами, если мы сумели так прославить простого актера, то каким же почетом мы окружим величайшего химика Франции!

— Я не поеду, сударь, я не поеду, дорогой сэр! Даже если завтра я взлечу на воздух вместе с пороховым складом, — сказал Лавуазье, переходя на английский язык и приглашая к тому же английского гостя.

Лавуазье в своей наивности думал, что горячность Юнга объясняется незнанием французского языка. Юнг немедленно разубедил его в этом.

Мадам Лавуазье почувствовала по некоторым ноткам разговора, что нужна ее помощь и, быстро приблизившись к Юнгу, спросила, не хочет ли он еще чаю. Юнг встал, поблагодарил, отказался и стал собираться, торжественно прощаясь со всеми, как бы подчеркивая, что если английская манера уходить без прощания уместна в Лондоне, то он считает ее ненужной в Париже.

Проводив чопорного английского гостя почти до самой вискеты, Лавуазье снова появился в зале. Его ждал у двери Оже.

— Я хочу, чтоб господин Лавуазье подарил меня счастьем своей беседы, — сказал он, ломая слова.

— Прошу вас, — сказал Лавуазье, приглашая мулата в маленькую гостиную.

Оже заговорил не сразу. Лавуазье вдруг испугался. Он понял, что мулат приехал не даром, что в нем, в Лавуазье, нуждаются не как в случайном представителе «Общества друзей чернокожих».

— Господину Лавуазье известно, — начал Оже, словно выдавливая из себя слова, — что мы живем в доме Шельшера, нашего большого друга, который не мало сделал добра для цветных людей.

Лавуазье кивнул головой. Оже с расстановкой заговорил снова:

— Вчера сестру господина Шельшера погребли на кладбище. Это была чудная девушка, наш провожатый и хранитель в этом страшном Париже. Она ухаживала за больным Туссенем. Вчера мы узнали, что она умерла не просто. К Туссену неизвестное лицо прислало аббата, желавшего приобщить Туссена, как умирающего. Туссен отказался принять аббата. После его ухода сестра Шельшера обедала с нами и выпила глоток воды из чашки, стоявшей на столе больного. Через час она упала с лестницы и не встала. Ее мертвой, с посиневшими веками и скрюченными руками принесли в покои брата. Я вылил в этот флакон остатки воды, узнайте, что это такое?

Оже осторожно передал химику флакон с этикеткой королевского парикмахера Субирана.

Лавуазье поставил флакон перед собою на белый стол и, едва сдерживая негодование, сказал:

— Я думаю, что один из нас сошел с ума. Мало ли, отчего могут умереть молодые девушки. Не для того ли вы приехали с вашего острова, чтобы клеветать на парижских аббатов, приходящих к людям с самыми чистыми намерениями? — быстро заговорил Лавуазье.

Оже встал и, поклонившись, направился к двери. Стекланный флакон с совершенно прозрачной жидкостью стоял на мраморном столике. Лавуазье отвинтил фигурную пробку и понюхал жидкость. Она была без запаха.

— Этот мулат сумасшедший, — тихо прошептал Лавуазье.

Поздно ночью, когда мадам Лавуазье улеглась, она, как счетовод, подытожила все впечатления дня, начиная от перебранки с г-жою Лефосе по поводу незаконно развешенного белья и кончая спорами с Ларошфуко о пропорциях селитры в новом порохе. Мадам спокойно засыпала в белом чепце на белоснежной постели. Осторожно и мягко постучал в дверь Антуан Лавуазье.

Эти посещения были чрезвычайно редки. Мадам Лавуазье зажгла свечи, и по нахмуренному лицу и по костюму господина Лавуазье она убедилась, что он еще не отдыхал. Антуан Лавуазье заходил по комнате большими шагами. от которых воздух заколыхался в комнате. Пламя свечей ответило на эти колыбельные неверными кивками, и огромная тень химика, с длинной шеей, горбатым носом и буклями, размахивая руками, забегала по стенам, ломаясь в углах, вырастая до карниза потолка, прыгая по мебели, перебегая по письменному столу с неубранными бумагами.

«Опять бессонница, — подумала госпожа Лавуазье. — Прошлогодний взрыв эссонского пороха с ожогами и с вылетом Антуана в окно не прошел для него бесследно».

Трепещали свечи. Комната казалась желтой. Тоска была в душе утомленного ученого. И вовсе не пороховой взрыв был причиной этой бессонницы.

— Послушай, Литтль,—сказал Лавуазье, называя жену всегда одним и тем же английским словом, — я хочу выйти из откупа, я хочу расстаться с Генеральной Фермой. Ее дела меня мучат уже давно. Я не чувствую себя ни в чем виновным. Наоборот, сознание успеха науки искупает для меня многие неприятности жестокой работы генерального фермера. Если еще осуществить два научных замысла, то у меня не останется денег. Они все идут на науку. Разве я не знаю, кто мои враги? Разве контрабандист Бардэ, стрелявший в меня во время путешествия с Греттаром, не оказался детоубийцей и негодяем? А ведь доказано, что подметные письма магистратам написаны его рукою, ведь доказано, что ни я, ни Лефоше не дали ни одной крупинки пороха в Бастилию. Лефоше застрелился. Я был в тюрьме. Разве я не знаю, что ростовщик Марсо из Пьемонта клеймит меня теперь, ставши революционером только потому, что сидел в тюрьме по моему требованию, посаженный именно за то, что он ввел в своем городе позорный «налог с раздвоенных копыт», собирая деньги, как три века тому назад, «с евреев и свиней».

Мадам Лавуазье, приподнявшись на локте, следила за мужем глазами. Она зевнула, закрывая рот рукою, устало опустила веки и резко ответила:

— Антуан, этого не будет! Ты не бросишь откупов. Сегодня утром я читала в первый раз твой трактат «О дыхании». Почему ты раньше ничего не говорил мне об этом?

— Литтль, к чему тебе сейчас трактат «О дыхании»?—с удивлением остановился перед ней Лавуазье.

— Ты пишешь там, что мускульный труд рабочего люда вызывает усиленное дыхание. Ты рассматриваешь дыхание как горение, сжигающее человека, если не добавляется в организм топлива правильным питанием. Ты требуешь на основании этого добавочных рационов, особых, для кормления парижской бедноты. Ты грозишь магистратам, если они не последуют твоему совету. Ты перечисляешь все, что едят и сколько платят за еду парижские ремесленники, но в твоём трактате ты

забываешь, что учащенное дыхание на свежем воздухе дает человеку хороший сон. Я давно замечаю, что ты не спишь. Теперь ты хочешь, чтоб я не спала. Выкинь из головы размышления об откупах и ложись спать, а завтра начни регулярные прогулки.

Следя за потоком ее слов, Лавуазье улыбался все больше и больше. Засмеявшись тихим, беззвучным смехом, он поцеловал руку жены, щипцами погасил свечи и тихо вышел из комнаты, уже в тысячный раз убеждаясь, что жена его не понимает, и подчиняясь ей.

В маленькой ночной лаборатории, где производились контрольные опыты в уменьшенном размере, где иногда среди ночи, когда напряженный мозг во сне подсказывал удачное решение задачи, не решенной днем, внезапно пробуждаясь, ученый мог сразу «проверить сон»,—на стеклянной доске Лавуазье увидел флакон, оставленный мулатом. Переодевшись, ученый зажег лампочку, налил в пробирку несколько капель прозрачной жидкости, принесенной Оже, взвесил на тоненьких весах, дважды проверил вес и поднес пробирку к огню.

— Этот мулат сумасшедший,—повторил Лавуазье,—есть много страшных вещей в жизни, и этот страшный мир существует рядом с нами, но... этот мулат сумасшедший. Он без...

Надо мгновенно закрыть лампочку. Вода выкипала. Тончайший белый налет покрывал стенки пробирки. Серебряным шпателем Лавуазье соскоблил этот налет и приступил к анализу.

Только под утро, когда красная полоса на востоке возвестила зарю, Лавуазье записал в тетрадь анализ, раскрывающий качество белого порошка. Он давал то же самое, что прошлогодний сегеновский анализ пережога мерки горького миндаля. Это была синильная кислота. Утром по распоряжению Лавуазье Матье, старый слуга при лаборатории, принес котенка из-под крыши Арсенала. Лавуазье вылил в фарфоровую кювету жидкость, принесенную мулатом, и окунул в нее мордочку котенка. Котенок чихнул, облизнулся и, нелепо бросивши мордочку об пол, судорожно дернул ногами. Смерть наступила почти мгновенно.

(Продолжение следует)

Два стихотворения

О. МАНДЕЛЬШТАМ

Довольно кукситься, бумаги в стол засунем,
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.

Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви,
И вся Москва на яликах плывет.

Не волноваться: нетерпенье—роскошь.
Я постепенно скорость разовью,
Холодным шагом выйдем на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою.

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюда
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях.



Социальная эволюция крестьянства

(Заметки)

Ф. КРЕТОВ

I. Происхождение и важнейшие конституирующие признаки классов

Все культурные народы, как известно, вступили в историю с весьма заметными остатками первобытного или родового коммунизма, при котором не было никаких классов, никакой эксплуатации одного человека другим, неизвестна была частная собственность, все люди одинаково работали, а продукты труда распределялись довольно равномерно. Следовательно как частная собственность, так и классовое деление общества с присущим ему неравенством и эксплуатацией одного человека другим не являются чем-то раз и навсегда данным, чем-то вечным и неизменным, чем-то непреложным и абсолютным.

Частная собственность появляется уже в родовой общине на почве развивающегося обмена продуктов труда с чужеземцами. По мере того, как этот обмен утрачивал случайный характер и становился более постоянным, по мере этого уменьшалось значение производства продуктов для собственного потребления производителей и увеличивалось значение производства продуктов для обмена. А чем больше продукты первобытного коммунистического труда облекались в товарную форму, тем более неравным становилось имущественное состояние отдельных членов родовой общины, тем более внедрялась частная собственность и распространялась ин-

дивидуальное присвоение, тем глубже подкапывались устои первобытного коммунизма, тем быстрее этот коммунизм двигался навстречу своему разложению. Развитие товарообмена сыграло первостепенную роль не только в области возникновения и распространения индивидуального присвоения и частной собственности, но и в деле радикального преобразования первобытного, естественно возникшего разделения труда. В условиях развивавшегося товарообмена это радикальное преобразование первобытного разделения труда было следствием недостаточного развития производства в предыдущую эпоху, и пошло это преобразование теперь в направлении отделения, с одной стороны, огромного большинства членов общества, занятых исключительно трудом, который поглощал у них все или почти все время, с другой же стороны — незначительного меньшинства членов общества, совершенно освобожденных от непосредственно производительного труда и занятых только заботами об общих нуждах общества: заведыванием разными работами, государственным делами, судопроизводством, науками, искусствами и т. д. На почве таким образом преобразуемого разделения труда в недрах первобытного коммунизма зарождается классовое разделение людей.

Следовательно закон разделения труда является основой классовой дифференциации общества. Но все это не мешает тому, — как указывает Фр. Энгельс, — чтобы классовая дифференциация совершалась при помощи насилия, хищения, коварства и обмана; все это не препятствует тому, чтобы господствующий класс, раз он стоит у кормила правления, не упускал случая укреплять свое господство за счет подчиненного класса и превращать управление общественными делами в эксплуатацию масс.

Из всего сказанного получается следующий вывод: одновременно с развитием товарообмена, распространением на этой основе индивидуального присвоения, установлением в связи с этим неравенства в распределении продуктов и с преобразованием под влиянием всего этого первобытного разделения труда возникают различные классы в обществе.

«Общество разделяется на привилегированных и угнетаемых, на эксплуатирующих и эксплуатируемых, на господствующие и управляемые классы, и точно так же государство, развившееся из естественно выросших групп одноплеменных общин сначала только в целях удовлетворения их общих интересов (например на Востоке — орошение) и для защиты от внешних врагов, отныне получает специальное назначение: силою охранять условия существования и господства эксплуатирующих классов»¹⁾.

Спрашивается теперь, что же представляют собою классы вообще? Что это такое? Каковы основные конституирующие признаки классов? Прежде всего это — большие группы людей, различающиеся между собою по своему и мущественному состоянию. Но в этом имущественном состоянии самую главную роль играет обеспеченность или необеспеченность средствами производства. Если одна группа людей сосредоточивает в своих руках всю землю, а другая группа людей работает на этой земле, то мы имеем (в условиях феодализма), с одной стороны, класс помещиков, а с другой — класс крестьян; если одна группа

людей имеет фабрики и заводы, владеет акциями и денежным капиталом, то мы имеем, с одной стороны, класс капиталистов, а с другой — рабочий класс. При таком распределении средств производства создается положение, когда — «либо ты грабишь другого, либо другой грабит тебя, либо ты работаешь на другого, либо он на тебя, либо ты рабовладелец, либо ты раб»¹⁾. Следовательно основным и решающим конституирующим признаком классов является диаметрально противоположное отношение различных групп людей к средствам производства.

Уже в зависимости от этого отношения к средствам производства определяется роль различных групп людей в общественной организации труда. Если данная группа людей владеет средствами производства, то она вследствие этого освобождается от непосредственно производительного труда и от труда вообще; если же данная группа лишена средств производства, то она вследствие этого вынуждена работать на владельцев средств производства. Таким образом класс собственников средств производства стоит наверху, а класс неимущих — внизу общественной организации труда; первый класс господствует, командует и распоряжается, а второй — подчиняется, исполняет и работает.

Отношение к средствам производства, обеспеченность или необеспеченность средствами производства, соединение или разединение с средствами производства определяют собою в конечном счете способы получения и размеры той доли общественного богатства, которая приходится каждой группе людей. Класс собственников средств производства получает огромную долю общественного богатства посредством эксплуатации класса неимущих, что выражается в присвоении основной массы прибавочного продукта. Класс неимущих получает сравнительно ничтожную долю общественного богатства, максимум столько, сколько необходимо для сохранения и воспроизводства этого класса на основе непосредствен-

¹⁾ Фр. Энгельс. Анти-Дюринг. Петроград 1918 г., стр. 131—132.

¹⁾ Ленин, соч., т. XVII, стр. 323.

но производительного труда, путем отчуждения этого труда в распоряжение класса собственников средств производства. Таким образом класс собственников средств производства концентрирует в своих руках главную массу общественного богатства, а класс неимущих ограничивается только общественно-необходимой долей этого богатства; первый класс является эксплуататором, а второй — эксплуатируемым по способам участия в распределении общественного богатства; первый класс распоряжается, а второй — создает общественное богатство.

Наконец одинаково положение людей каждой данной группы с точки зрения их отношения к средствам производства, с точки зрения их роли в общественной организации труда, с точки зрения способов получения и размеров соответствующей им доли общественного богатства, — одинаковое в этом смысле положение людей каждой данной группы обуславливает собою одинаковый интерес по отношению к людям противоположной группы. Так например рабовладельцы объединяются одинаковым классовым интересом по отношению к рабам, а рабы в свою очередь имеют одинаковый классовый интерес по отношению к рабовладельцам; помещики занимают одинаковую классовую позицию по отношению к крестьянам, а крестьяне в свою очередь находятся в одинаковом положении по отношению к помещикам; капиталисты ведут одинаковую классовую линию по отношению к пролетариату, а пролетариат в свою очередь отвечает классовой линией по отношению к капиталистам.

Вывод из всего сказанного, говоря словами Ленина, получается такой: «Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большею частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы — это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой

благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства»¹).

II. Исторический характер классов

Каждая общественно-экономическая формация антагонистического характера представляет собою определенное единство диаметрально противоположных классов. Каждой антагонистической общественно-экономической формации свойственны только два основных диаметрально противоположных класса, определенным выражением единства которых и является такая формация. Как антагонистическая общественно-экономическая формация, так и свойственные ей основные диаметрально противоположные классы являются преходящими, исторически определенными, а не абсолютными, не вечными категориями. Поясним сказанное несколькими примерами. Античная общественно-экономическая формация была определенным единством диаметрально противоположных классов рабовладельцев и рабов; феодальная — была определенным единством диаметрально противоположных классов феодалов-помещиков и крестьян; капиталистическая — продолжает пока что оставаться хотя и серьезно подорванным, определенным единством диаметрально противоположных классов капиталистов и рабочих. Однажды возникшая антагонистическая общественно-экономическая формация развивается на основе систематического воспроизводства свойственных ей диаметрально противоположных классов до тех пор, пока не созреют материальные условия для появления высшей общественно-экономической формации с присущими ей новыми диаметрально противоположными классами, если это будет антагонистическая формация. «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, высшие производственные отношения никогда не появляются на свет раньше, чем

¹) Ленин, Соч., т. XVI, стр. 249.

созреют материальные условия их существования в лоне «старого общества»¹⁾. Так например феодальная общественно-экономическая формация развивалась на основе систематического воспроизводства классов помещиков-феодалов и крестьян до тех пор, пока не созрели внутри феодального общества материальные условия для появления капиталистической общественно-экономической формации с присущими ей новыми классами капиталистов и рабочих. При феодализме класс помещиков-феодалов и класс крестьян систематически воспроизводились на основе специфического распределения земли как основного в то время средства производства, — распределения земли, оформленного и закрепленного в законах. Тогда класс крестьян, занятый непосредственно производительным трудом, был лишен земли. Вместе с тем, это было бесправное сословие, жившее трудами рук своих при системе натурального хозяйства. Бесправное положение крестьянского класса как сословия в свою очередь было оформлено и закреплено в законах. Класс помещиков-феодалов был освобожден от непосредственно производительного труда, но он распоряжался всей землей, пользовался всеми правами и привилегиями, обеспечивая свое господство при помощи внеэкономического принуждения.

При капитализме класс капиталистов и рабочий класс систематически воспроизводятся на основе присущего этой общественно-экономической формации распределения средств производства, на основе экспроприации у самостоятельных производителей условий их труда и концентрации этих условий в руках незначительного меньшинства членов общества путем уже экономического принуждения. «Постоянная тенденция и закон развития капиталистического способа производства состоит в том, что средства производства все более и более отделяются от труда, что раздробленные средства производства все более концентрируются в значительных массах, что таким образом труд превращается в наемный труд, а сред-

ства производства — в капитал»¹⁾. Следовательно унаследованные от феодальной или феодально-крепостнической общественно-экономической формации класс помещиков и класс крестьян являются простым анахронизмом, своеобразным пережитком этой формации, но отнюдь не основными и вообще не классами капиталистического общества. Как помещики, так и крестьяне, в строго определенном смысле этого слова, при капитализме уже не воспроизводятся, — они «развиваются» по свертывающейся спирали, они обречены на уничтожение как отжившие классы: помещики либо разоряются, либо превращаются в сельскохозяйственных предпринимателей и капиталистических рантьееров; крестьяне систематически «раскрестьяниваются», распадаясь на сельскую буржуазию и сельский пролетариат. В этом смысле классический образец представляет собою английский капитализм, который «слопал» крестьянство как класс прежней общественно-экономической формации, хотя и сохранил при этом феодальную собственность на землю «благородных» лендлордов. Но эти «благородные» вампиры давно уже превратились по существу в капиталистических рантьееров, загребавших проценты и ренту из общей массы прибавочной стоимости, создаваемой рабочим классом, только за одно право монопольной собственности на землю, только за один этот титул. А что касается прежних крестьян — йоманри, то они давным-давно ликвидированы капитализмом.

III. Основные классы дореволюционной России

Рассмотренные здесь общие закономерности исторического развития человеческого общества раскрываются с теми или другими отклонениями, с теми или другими наслоениями при конкретном изучении истории каждого народа. Эти общие закономерности раскрываются и тем самым подтверждаются также и при изучении истории народов, населявших и населяющих территорию бывшей

¹⁾ К. Маркс. К критике политической экономии. Одесса. 1932 г., стр. XIII.

¹⁾ К. Маркс. Капитал. т. III, ч. 2, Глз. стр. 344.

царской России. Известно, что многие из этих народов в процессе своего исторического развития прошли все те стадии, которые были пережиты народами Западной Европы. Что касается различных классов этих народов, то они в свою очередь развивались в духе рассмотренных здесь общих закономерностей, которые проявлялись в специфических вариантах, соответствующих конкретным историческим условиям жизни и борьбы этих классов.

Как особый класс крестьянство появляется в эпоху феодализма. Так было на Западе, так было и у нас, в России. В качестве особого класса феодальной или феодально-крепостнической формации крестьянство противостояло у нас помещикам-крепостникам. Но на протяжении всей своей многовековой истории крестьянство оставалось классом в себе, т.е. оно находилось в процессе становления, как класс и было неспособно превратиться в класс для себя, т.е. осознать общность своих классовых интересов в целом, выразить самостоятельно тождественность своих классовых интересов, создать внутри себя прочные классовые связи, охватить противоположность и враждебность своих общеклассовых интересов по отношению к интересам помещиков-крепостников, повести организованно и до конца борьбу против своих классовых врагов. С одной стороны, это объясняется специфической организацией труда и особым способом производства, которые характерны для крестьянства. Эта организация труда и этот способ производства не только не создают между крестьянами взаимного общения, но прямо-таки изолируют их друг от друга. Прimitивная крестьянская работа на отдельном участке земли не требует ни разделения труда, ни применения науки, ни разнообразия профессий. Каждая крестьянская семья вследствие этого носит самодовлеющий характер и получает необходимые средства для своего существования не столько посредством сношения с обществом, сколько путем обмена с природой. С другой стороны, это объясняется тем, что крестьянство с точки зрения человеческого прогресса не имеет особого, самостоятельного исторического назначения, что оно не

является представителем какого-нибудь нового способа производства, соответствующего высшей общественно-экономической формации. Поэтому крестьянство само по себе, своими собственными силами не может совершить социальную революцию, не может создать особой общественно-экономической формации, отвечающей его классовым интересам. Поэтому крестьянство неспособно защищать свои классовые интересы от своего собственного имени, не может представлять себя на арене политической борьбы как самостоятельный класс. Поэтому крестьянство всегда выступало вспомогательной силой, и его всегда представляли другие классы. В тех же случаях, когда крестьянство выступало самостоятельно, из этого ничего не получалось, оно неизбежно терпело поражения.

Приблизительно в первой четверти XIX столетия производительные силы России начали усваивать новое направление в своем развитии, тогда зародился у нас новый, капиталистический способ производства. К середине XIX столетия капиталистический способ производства имел уже значительные успехи, захватив почти целиком например хлопчатобумажную промышленность, и тогда в первый раз особенно резко выявилось несоответствие между уровнем развития капиталистических производительных сил и господствовавшими феодально-крепостническими производственными отношениями. В этом между прочим и заключался смысл революционной борьбы крестьянства того периода. Чтобы предотвратить социальную революцию и максимально укрепить свое господство, царь и крепостники-помещики сочли за благо «освободить крестьян сверху». Тогда мы имели первый шаг самодержавия по пути превращения в буржуазную монархию и первый значительный взрыв борьбы двух тенденций в развитии капитализма: прусской и американской.

Известно, какое «освобождение» получили крестьяне из рук крепостников-помещиков; известно также, сколько всевозможных пережитков (прямых и косвенных) крепостничества после «великой» реформы сохранилось в обще-

ственно-экономической жизни России. Реформа 1861 г. открыла только небольшую отдушину для капиталистического способа производства, зажатого феодально-крепостническими производственными отношениями. Следовательно эта реформа не разрешила коренного противоречия общественно-экономического развития тогдашней России, но отсрочила до 1905 г. взрыв социальной революции. Как известно, революция 1905 г. потерпела поражение, вынудив однако самодержавие сделать еще один шаг по пути превращения в буржуазную монархию. Но Россия продолжала представлять собою вплоть до Октябрьской революции причудливый переплет феодально-крепостнической и капиталистической общественно-экономических формаций.

Спрашивается теперь, что представляло собою крестьянство на протяжении всего этого периода? Абсолютного ответа на этот вопрос дать нельзя, потому что в тогдашней России были налицо не только развитые капиталистические отношения, но и многочисленные пережитки феодально-крепостнической формации. Следовательно, чтобы ответить правильно на этот вопрос, необходимо условиться, с точки зрения какой именно общественно-экономической формации или уклада выясняется социальная природа крестьянства. Если говорить о крестьянстве с точки зрения феодально-крепостнических пережитков, то в таком случае крестьянство безусловно было классом. А если говорить о крестьянстве с точки зрения развивавшихся тогда капиталистических отношений, то в этом случае крестьянство уже не было классом. В этом случае оно представляется распадающимся на сельскую буржуазию и сельский пролетариат. «В современной русской деревне, — писал Ленин, — совмещаются двоякого рода классовые противоположности: во-первых, между сельскими рабочими и сельскими предпринимателями, и, во-вторых, между всем крестьянством и всем помещичьим классом. Первая противоположность развивается и растет, вторая — постепенно ослабевает. Первая — все еще в будущем, вторая — в значительной степени уже в прошлом...

Отработки и кабала, сословная и

гражданская неполноправность крестьянина, его подчинение вооруженному розгой привилегированному землевладельцу, бытовая приниженность, делающая крестьянина настоящим варваром, — все это не исключение, а правило в русской деревне, все это является в последнем счете прямым пережитком крепостного порядка. В тех случаях и отношениях, где еще царит этот порядок и поскольку он еще царит, врагом его является все крестьянство как целое. Против крепостничества, против крепостников-помещиков и служащего им государства крестьянство продолжает еще оставаться классом, именно классом не капиталистического, а крепостного общества, т. е. классом-сословием. Поскольку в нашей деревне крепостное общество вытесняется «современным» (т. е. буржуазным. — Ф. К.) обществом, постольку крестьянство перестает быть классом, распадаясь на сельский пролетариат и сельскую буржуазию (крупную, среднюю, мелкую и мельчайшую)»¹).

Всматриваясь глубже в социальные отношения капиталистической России, не трудно заметить, что сельская буржуазия представляет собою часть, деревенский фланг единого капиталистического класса, а сельский пролетариат — часть, деревенский фланг единого рабочего класса. К сельской буржуазии относились самостоятельные хозяева, которые вели торговое земледелие и владели торгово-промышленными заведениями, прибегая к найму батраков, к эксплуатации наемной рабочей силы вообще. Значительную массу сельской буржуазии составляли фермеры или мелкие аграрии. Сельская буржуазия численно представляла собою меньшинство всего крестьянства. В начале 900-х годов она насчитывала не более 0,3 деревенского населения.

К сельскому пролетариату относились все наемные рабочие. «Сюда входит, — говорит Ленин, — неимущее крестьянство, в том числе и совершенно безземельное, но типичнейшим представителем русского сельского пролетариата является батрак, поденщик, черноработный, строительный или иной рабочий с

¹) Ленин. Соч., т. IX, стр. 270—280 и 275—276.

наделом. Ничтожный размер хозяйства на клочке земли и притом хозяйства, находящегося в полном упадке (о чем особенно наглядно свидетельствует сдача земли), невозможность существовать без продажи рабочей силы... в высшей степени низкий жизненный уровень, — даже уступающий вероятно жизненному уровню рабочего без надела, — вот отличительные черты этого типа. К представителям сельского пролетариата должно отнести не менее половины всего числа крестьянских дворов (что соответствует приблизительно 0,4 населения), т. е. всех безлошадных и большую часть однолошадных крестьян¹⁾.

Пополнение и консолидация этих флангов обоих основных классов капиталистического общества происходили за счет «раскрестьянивания» среднего крестьянства, которое представляло собою пережиток прежнего способа производства. Постоянная тенденция и закон развития капиталистического способа производства осуждали среднее крестьянство на исчезновение. «На развалинах натурального хозяйства, — писал Ленин, — мелкое производство держится бесконечным ухудшением питания, хронической голодовкой, удлинением рабочего дня, ухудшением качества скота и ухода за ним, — одним словом теми же средствами, которыми держалось и кустарное производство против капиталистической мануфактуры. Каждый шаг вперед науки и техники подрывает неизбежно и неумолимо основы мелкого производства в капиталистическом обществе, и задача социалистической экономики — исследовать этот процесс во всех его, нередко сложных и запутанных, формах, доказывать мелкому производителю невозможность удержаться при капитализме, безвыходность крестьянского хозяйства при капитализме, необходимость перехода крестьянина на точку зрения пролетариев²⁾». В своей классической работе «Развитие капитализма в России» Ленин указывал, что среднее крестьянство «отличается наименьшим развитием товарного хозяйства. Самостоятельный земледельческий труд разве лишь в лучший год и

при особо благоприятных условиях покрывает содержание такого крестьянства, и потому оно находится в крайне неустойчивом положении. В большинстве случаев средний крестьянин не может свести концов с концами без того, что бы не прибегать к займам под отработки и т. п., без того, чтобы не искать «подсобных» сторонних заработков, состоящих тоже отчасти из продажи рабочей силы и т. д. Каждый неурожай выбрасывает массы среднего крестьянства в ряды сельского и городского пролетариата. По своим общественным отношениям эта группа колеблется между высшей, к которой она тяготеет и в которую удается попасть лишь небольшому меньшинству счастливых, и между низшей, в которую ее сталкивает весь ход общественной эволюции. Мы видели, что крестьянская буржуазия оттесняет не только низшую, но и среднюю группу крестьянства. Таким образом происходит специфически свойственное капиталистическому хозяйству вымывание средних членов и усиление крайностей — «раскрестьянивание»¹⁾. Уже к началу 900-х годов средние крестьяне составляли не более 0,3 всего крестьянского населения. После революции 1905 г. процесс «раскрестьянивания» протекал еще более ускоренными темпами, но все-таки русскому капитализму не удалось ликвидировать середняка настолько, насколько это успел сделать английский капитализм.

Таким образом с точки зрения капиталистических производственных отношений и среднее крестьянство царской России не представляло собою особого класса. Это был социальный резервуар, за счет которого развивались сельская буржуазия и сельский пролетариат. Размывание среднего крестьянства задерживалось пережитками феодально-крепостного хозяйства, среди которых особенно большую роль играли отработки. «Отработки, — говорил Ленин, — основаны на натуральной оплате труда, следовательно на слабом развитии товарного хозяйства. Отработки предполагают и требуют именно среднего крестьянина,

¹⁾ Ленин. Соч., т. III, стр. 133.

²⁾ Ленин. Соч., т. XI, ч. I, стр. 57

¹⁾ Ленин. Соч., т. III, стр. 136.

который не был бы вполне самостоятельным (тогда он не закабалится под отработки), но не был бы также и пролетарием (чтобы взять отработки, надо иметь свой инвентарь, надо быть хоть мало-мальски «справным» хозяином)»¹).

IV. Основные классы эпохи пролетарской диктатуры

Октябрьская революция представляет собою начало величайшей социальной революции пролетариата. В результате Октябрьской революции произошли и происходят глубочайшие социально-экономические изменения и сдвиги в нашей стране. Будучи социалистической по своему экономическому содержанию и по своим движущим силам, Октябрьская революция попутно разрешила до конца все основные задачи буржуазно-демократической революций. Из всех глубочайших изменений и сдвигов, происшедших и совершающихся в социально-экономическом строе нашей страны в связи с Октябрьской революцией, нам необходимо рассмотреть главным образом классовые перетасовки.

С октября 1917 г. началась эпоха пролетарской диктатуры, переходная эпоха от капиталистической к коммунистической общественно-экономической формации. Об'ективно историческая задача этой эпохи заключается в том, чтобы построить социализм и уничтожить классы. Пролетариат разгромил основные эксплуататорские классы в нашей стране, разбил помещиков и капиталистов, но еще не уничтожил все классы. Осталось у нас крестьянство, продолжает здравствовать и сам пролетариат в качестве особого класса. Одним словом, «классы остались и остаются в течение эпохи диктатуры пролетариата. Диктатура будет не нужна, — говорит Ленин, — когда исчезнут классы. Они не исчезнут без диктатуры пролетариата»²).

1. Рабочий класс

Но что стало со всеми этими классами? В каком положении очутились эти классы в эпоху пролетарской диктатуры?

Совершенно бесспорно, что все классы коренным образом видоизменились, что принципиально изменились их взаимоотношения. Пролетариат стал господствующим классом, сосредоточив в своих руках не только государственную власть, но и все основные средства производства.

В своем докладе о XIV годовщине Октябрьской революции тов. В. М. Молотов говорил: «Значение славных побед пролетариата в Октябрьскую революцию характеризуется больше всего тем, что мы уже имеем абсолютный перевес социалистических форм хозяйства не только в городе, но и в деревне. Не только в промышленности капиталистические элементы биты, но и в сельском хозяйстве, т.-е. в наиболее отсталой области народного хозяйства, успехи сплошной коллективизации и строительства совхозов обеспечили господствующее положение социалистических форм над капиталистическими, да и над мелкособственническим крестьянским хозяйством. Таким образом в борьбе социалистических и капиталистических элементов в нашей стране социализм одержал победу. На ленинский вопрос — «кто—кого?» — победит социализм капиталистические элементы или, наоборот, капиталистические элементы сломят рост социализма, мы уже имеем исчерпывающий ответ. Рабочий класс, опираясь на подавляющую массу крестьянства, об'единенного в колхозы, одержал победу над капиталистическими элементами. Тем самым дело социализма в нашей стране полностью и окончательно обеспечено».

Одним словом, теперешний рабочий класс, в состав которого входят городские и сельские пролетарии, это — не то, что рабочий класс капиталистической эпохи. Теперешний пролетариат как один из основных классов общества переходного периода выступает в совершенно противоположном качестве по сравнению с пролетариатом капиталистической эпохи. Положение изменилось настолько радикально, что теперь совершенно утратили свой смысл категории, которыми раньше оперировала политическая экономия в отношении пролетариата, и прежде всего утратило свой прежний смысл понятие «пролетариат».

¹) Ленин. Соч., т. III, стр. 140.

²) Ленин. Соч., т. XVI, стр. 354.

2. Капиталисты и помещики

Помещики и капиталисты разбиты на голову, они потеряли власть, землю, фабрики, заводы и банки, но они еще не уничтожены. Это звучит как будто странно, — так привыкли все мы жить без помещиков и капиталистов, которых давно уже не видать. Но все-таки это — факт. «Теперь нет страны в Европе, — говорит Ленин, — где бы не было белогвардейского элемента. Русских эмигрантов считают до 700.000 человек. Это бежавшие капиталисты и та масса служащих, которая не могла приспособиться к советской власти. Эту третью силу мы не видим, она перешла за границу, но она живет и действует в союзе с капиталистами всего мира... Надо ясно знать своего врага. Его не так видно, когда он перешел за границу, но посмотрите, — он передвинулся не очень далеко, самое большее на несколько тысяч верст, а передвинувшись на это расстояние, притаился. Он цел, он жив, он ждет. Вот почему к нему надо присматриваться тем более, что это не только беженцы. Нет, это прямые помощники всемирного капитала, на его счет содержимые и вместе с ним действующие... Эксплоататоры разбиты, но не уничтожены. У них осталась международная база, международный капитал, отделением коего они являются. У них остались частью некоторые средства производства, остались деньги, остались громадные общественные связи... Классовая борьба свергнутых эксплуататоров против победившего авангарда эксплуатируемых, т.-е. против пролетариата, стала неизмеримо более ожесточенной»¹⁾ именно вследствие их поражения. Но помещики и капиталисты, разумеется, не являются основными классами общества переходного периода; это — классовая дробь, о которой в свое время говорил Ленин.

3. Крестьянство

(Период досоциалистической реконструкции сельского хозяйства)

Наконец крестьянство в свою очередь весьма существенным образом видоиз-

менилось. «Сначала положение было таково, что мы видели напор всего крестьянства против власти помещиков. Против помещиков шли одинаково и бедняки, и кулаки, хотя конечно с разными намерениями: кулаки шли с целью отобрать землю у помещика и развить на ней свое хозяйство. Вот тогда и обнаружилось между кулаками и беднотой различные интересы и стремления... Беднота непосредственно этот переход земли от помещика могла использовать очень мало, ибо у нее не было для этого ни материалов, ни орудий. И вот мы видим, что беднота организуется, чтобы не дать кулакам захватить отобранные земли. Советская власть оказывает помощь возникшим комитетам бедноты... Что же получилось в результате? В результате получилось, что преобладающим элементом в деревне явились середняки... Меньше стало крайностей в сторону кулачества, меньше в сторону нищеты, и большинство населения стало приближаться к середняцкому... Крестьянство стало гораздо более средним, чем прежде, противоречия сгладились, земля разделена в пользование гораздо более уравнительно, кулак подрезан и в значительной части экспроприрован. В России больше, чем на Украине, в Сибири меньше, но в общем и целом данные статистики указывают совершенно бесспорно, что деревня нивелировалась, выравнилась, т.-е. резкое выделение в сторону кулака и в сторону беспосевщика сгладилось. Все стало ровнее, крестьянство стало в общем в положение середняка... Со своими врагами справа, с классом помещиков, эта сила благодаря революционной энергии и беззаветности пролетарской диктатуры покончила так скоро, как никогда, смела его донизу, устранила его господство с невиданной быстротой. Но чем скорее она устранила его господство, чем скорее переходила к своему хозяйству на общенародной земле, чем решительнее расправлялась с небольшим меньшинством кулаков, тем скорее сама превращалась в хозяйчиков. Вы знаете, что русская деревня за это время выравнилась. Убавилась доля крупных посевищиков и беспосевщиков, увеличилось хозяйство середняцкое. Наша деревня стала за это время более мелкобуржуазной.

¹⁾ Ленин, Соч., т. XVIII, ч. 1, стр. 165—166, и т. XVI, стр. 354—355.

Это самостоятельный класс, тот класс, который после уничтожения, изгнания помещиков и капиталистов остается единственным классом, способным противостоять пролетариату»¹⁾. Вот насколько видоизменилось крестьянство в результате пролетарской революции.

а) Кулачество

Подрезанное и в значительной части экспропрированное кулачество, или сельская буржуазия, не было еще уничтожено как класс. После введения новой экономической политики этот фланг капиталистического класса даже несколько оправился и окреп экономически, пополнившись за счет верхних слоев среднего крестьянства. Но кулачество не было и не является теперь основным классом общества переходного периода. Кулачество входило и входит в ту самую классовую дробь, о которой в свое время говорил Ленин.

Однако это была довольно серьезная сила внутри нашей страны, которая до периода социалистической реконструкции сельского хозяйства имела сравнительно крепкую производственную базу и еще совсем недавно играла большую роль в экономической жизни Советского Союза.

Кулачество уходит своими корнями в простое товарное производство, оно порождается стихией мелкого товарного хозяйства. Именно поэтому Ленин говорил: «Пока мы живем в мелкокрестьянской стране, для капитализма в России есть более прочная экономическая база, чем для коммунизма». Отсюда следует, что кулачество не есть внешнее, чуждое по отношению к мелкокрестьянской деревне выражение капиталистического «зла», как это усиленно «доказывали» народники всех времен. Кулаки — тоже «крестьяне», но по своей социально-экономической природе они находятся в антагонистических отношениях с беднотой и враждебны по отношению к середнякам.

б) Деревенская беднота Сельский пролетариат

Деревенская беднота с научной точки зрения представляет собою массу сельских пролетариев и полупролетариев.

¹⁾ Ленин. Соч., т. XVIII, № 1, стр. 181, 127 и 103.

Беднота,—говорит Ленин,—это «пролетарии и полупролетарии, как принято говорить в экономической науке... Во всех странах мира самой прочной опорой истинного социалистического движения являются рабочие и поддерживающая их деревенская беднота»¹⁾. После пролетарской революции в деревне многие сельские пролетарии и полупролетарии осередничались, но все-таки оказалось немало и таких, которые не в состоянии были освоить завоеванную землю, потому что не имели для этого ни достаточных средств, ни достаточных орудий, либо совсем не располагали ни тем, ни другим.

В период новой экономической политики советская власть помогла многим беднякам стать на ноги в хозяйственном отношении, но все-таки сохранилось немало сельских пролетариев и полупролетариев. Что касается сельского пролетариата, то с некоторых пор он стал даже быстро возрастать под влиянием успешного строительства совхозов и машинно-тракторных станций. В качестве деревенского фланга единого рабочего класса сельский пролетариат подвергся в основном всем тем видоизменениям, которые выше были отмечены по отношению к городскому, индустриальному пролетариату. Надо полагать, что социально-экономическая природа сельского пролетариата и его положение как составной части единого рабочего класса не могут вызывать ни у кого каких-либо сомнений.

Сельский полупролетариат

Несколько иначе обстоит дело с вопросом о социально-экономической природе и положении другой и самой значительной части деревенской бедноты, т.-е. сельского полупролетариата. Как нам представляется, под сельским полупролетариатом Ленин подразумевал мельчайших собственников, которые не могут сводить концы с концами средствами своего мельчайшего хозяйства и потому вынуждены на известное время отчуждать свою рабочую силу. Для сельских полупролетариев каждый из этих источников средств существования имеет по крайней мере равновеликое значение, равновеликий

¹⁾ Ленин. Соч., т. XVI, стр. 29.

удельный вес. Следовательно, с одной стороны — это полухозяйкички, с другой — это полурабочие. Занимая промежуточное положение между средним крестьянством и сельским пролетариатом, эта часть деревенской бедноты в период известного усиления дифференциации крестьянства являлась главным резервуаром, за счет которого увеличивалась масса середняков и батраков. Наглядным подтверждением этого могут служить следующие данные о «численности и распределении населения СССР по социально-экономическим группам», приведенные в докладе т. Молотова на XV съезде партии:

	1924—1925 г.	1925—1926 г.	1926—1927 г.
Земледельческий пролетариат	4,4	5,0	5,3
Бедняцкая группа	24,0	21,6	20,4
Средняцкая группа	64,7	65,8	66,4

В этом между прочим заключается одна из отличительных особенностей дифференциации крестьянства в Советском Союзе по сравнению с капиталистическими странами, чего не могли понять троцкисты.

В силу своего промежуточного положения сельский полупролетариат не может быть отнесен ни к сельским рабочим, ни к средним крестьянам. Это — переходная группа между двумя основными классами, между пролетариатом и средним крестьянством. Исторически прототипами этой группы были те рабочие с наделами и те рабочие одношадники, о которых говорил Ленин и которых он причислял к пролетариату, анализируя тенденции капиталистического развития России. В условиях социалистической революции, наоборот, необходимо выделять сельских полупролетариев в особую группу, ибо они остаются полухозяйкичками, мельчайшими собственниками и в силу этого не свободны, не отрешились от мелкобуржуазных тенденций. В качестве мельчайших собственников сельские полупролетарии непрочь выйти в средние крестьяне, стать самостоятельными хозяевами. Этой половиной своей души

сельские полупролетарии тянут в сторону средних крестьян, что имеет существенное значение в мелкобуржуазной обстановке, особенно в тот период, когда были слабы материальные предпосылки для преобразования сельского хозяйства на социалистических началах.

Но вместе с тем сельские полупролетарии — это такая группа, на которую больше всего падал гнет помещиков и капиталистов, когда была их власть, когда они господствовали. Именно поэтому, — указывает Ленин, — ясное воспоминание о том, чем грозит восстановление власти помещиков и капиталистов, делает сельских полупролетариев самыми верными и самыми надежными сторонниками рабочего класса. В период развернутого социалистического строительства — в результате усиленной работы по сплочению и политическому воспитанию сельских полупролетариев на основе беспощадной борьбы с кулачеством — они должны целиком и полностью перейти на точку зрения рабочего класса, должны стать последовательными проводниками политики рабочего класса по социалистическому преобразованию сельского хозяйства и по ликвидации на этой основе кулачества как класса. Положение сельских полупролетариев таково, что объективно делает для них единственно мыслимой и единственно приемлемой только политику рабочего класса, которая одна только может избавить их навсегда от эксплуатации и гнета. Вот почему сельские полупролетарии в переходную эпоху не представляют собою самостоятельного, особого класса¹⁾.

в) Среднее крестьянство

Из всего предыдущего изложения с полной очевидностью следует, что вто-

¹⁾ Считаю необходимым отметить здесь, что в своей брошюре «Классовое расслоение в деревне» (изд. 1927 г.) я допустил ошибку, «зачислив» деревенскую бедноту в один класс со средним крестьянством. Точно также я ошибочно «разяснял» в этой брошюре «характерную особенность крестьянства как класса советского общества». Эти мои ошибки в общем правильно были раскритикованы К. А. Поповым в его брошюре «Марксизм и вопрос о крестьянстве в пролетарской революции». (Изд. 1928 г.)

рым основным классом в наших условиях является среднее крестьянство. Это есть класс, унаследованный нами еще от феодальной эпохи. Это есть класс, — говорит Ленин, — «воспитанный десятилетиями и столетиями в рабстве, и в течение всех этих десятилетий крестьянин существовал как мелкий хозяин, сначала подчиненный другим классам, потом формально свободный и равный, но собственник и владелец предметов питания»¹⁾.

Историческим предком среднего крестьянства являются древнерусские смерды, которые потом стали зависимым и подневольным классом феодально-крепостного общества. Пройдя через горнило капиталистического «раскрестьянивания», оно консолидировалось и умножилось численно при советской власти.

Но среднее крестьянство революционного периода представляется нам в очень измененном виде по сравнению со своими предшественниками, — в настолько измененном виде, что самое название «крестьянство» следовало бы употреблять в кавычках. Средний крестьянин нашей эпохи это не тот крестьянин, который жил в феодально-крепостническую эпоху и для которого характерно было натуральное хозяйство. Нет, теперешний средний крестьянин — это простой товаропроизводитель и в таком смысле это — мелкий буржуа. «Мелкий производитель, хозяйничающий при системе товарного хозяйства, — вот два признака, составляющие понятие «мелкого буржуа». Сюда подходят таким образом и крестьянин, и кустарь... так как оба представляют собой таких производителей, работающих на рынок, и отличаются лишь степенью развития товарного хозяйства»²⁾. Таким образом среднее крестьянство революционного периода представляет собою класс мелкой буржуазии или, говоря точнее, подавляющее большинство класса мелкой буржуазии, поскольку это понятие охватывает кустарей и других простых товаропроизводителей.

В основе простого товарного хозяйства среднего крестьянина лежит частная собственность на средства производства. Поэтому в своей основе мелкотоварное хозяйство среднего крестьянина однотипно с капиталистическим хозяйством. Поэтому Ленин писал в своих заметках по поводу «Экономики переходного периода» т. Н. Бухарина о «товарно-капиталистической тенденции крестьянства» в противоположность «социалистической тенденции пролетариата». Поэтому Ленин говорит, повторяя это неоднократно, что «мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе».

Но отсюда вовсе не следует, что мелкотоварное хозяйство среднего крестьянина само есть капиталистическое хозяйство. Верно конечно, что средний крестьянин покупает и продает, но он не ведет капиталистическое хозяйство. Мелкотоварное хозяйство среднего крестьянина потому не является капиталистическим, что в нем не применяется наемный труд. Именно поэтому, т.-е. чтобы подчеркнуть его отличие от капиталистического хозяйства, мелкотоварное хозяйство среднего крестьянина называется у нас простым товарным хозяйством. «Конечно, — предупреждал т. Сталин аграрников-марксистов, — мелкокрестьянское товарное хозяйство не есть еще капиталистическое хозяйство». Именно поэтому, чтобы подчеркнуть его отличие от кулака и капиталиста вообще, средний крестьянин называется у нас простым товаропроизводителем.

Среднее крестьянство — это такой класс, который, «как и всякая мелкая буржуазия вообще, занимает и при диктатуре пролетариата среднее, промежуточное положение: с одной стороны, это — довольно значительная (а в отсталой России — громадная) масса трудящихся, соединяемая общим интересом трудящихся освободиться от помещика и капиталиста; с другой — это обособленные мелкие хозяева, собственники и торговцы. Такое экономическое положение неизбежно вызывает колебания между пролетариатом и буржуазией. А при обостренной борьбе между этими

¹⁾ Ленин. Собр. соч., т. XVI, стр. 210.

²⁾ Ленин. Собр. соч., т. II, стр. 61.

последними, при невероятно крутой ломке всех общественных отношений, при наибольшей привычке к старому, рутинному, неизменяемому со стороны именно крестьян и мелких буржуа вообще естественно, что мы неизбежно будем наблюдать среди них переходы от одной стороны к другой, колебания, повороты, неуверенность и т. д.». Средний крестьянин находится в таком экономическом положении, что «он либо идет за рабочим, либо за буржуазией. Середины нет. Он может колебаться, путаться, фантазировать, может порицать, ругать, он может проклинать «узких» представителей буржуазии. Они-де представляют собою меньшинство. Их можно проклинать, говорить громкие фразы о большинстве, о широком, всеобщем характере нашей трудовой демократии, о чистой демократии. Слов можно нанизывать сколько угодно, это будут слова, прикрывающие тот факт, что если крестьянин не идет за рабочим, то он идет за буржуазией. Середины нет и быть не может». Среднее крестьянство колебалось «между руководством пролетариата и руководством буржуазии. Почему же эта сила, которая в громадном большинстве, сама собой не руководила? Потому, что экономические условия жизни этой массы таковы, что объединиться сама, сплотиться сама она не может». Именно из этих экономических условий жизни среднего крестьянства «вытекает то, почему эта сила сама себя проявить не может и почему попытки к тому в истории всех революций всегда кончались крахом. Поскольку пролетариату не удается руководить революцией, эта сила всегда становится под руководство буржуазии... Это показал общий ход революций, в которых бывали краткосрочные диктатуры трудящихся, поддержанные временно деревней, но не бывало упроченной власти трудящихся; все в короткое время скатывалось назад. Скатывалось назад именно потому, что крестьяне, трудящиеся, мелкие хозяева своей политики иметь не могут, и после ряда колебаний приходится идти назад. Так было и в Великую французскую революцию, так было в меньшем масштабе и во всех революциях... Так было во всех революциях, и конечно и россий-

ские люди не особым миром мазаны, и, если они пожелают лезть в святые, ничего, кроме смешного, не выйдет¹⁾. Вот каким классом является среднее крестьянство.

Эти особенности социально-экономической природы среднего крестьянства, как класса простых товаропроизводителей оказались основным «камнем преткновения» для троцкистов. Они, троцкисты, берут среднего крестьянина только как собственника и совершенно игнорируют его как трудящегося. Между тем Ленин учил нашу партию и пролетариат «разделять, разграничивать крестьянина-трудящегося от крестьянина-собственника, — крестьянина-работника от крестьянина-торгаша, — крестьянина-трудящегося от крестьянина-спекулянта. В этом разграничении, — подчеркивает Ленин, — вся суть социализма. И неудивительно, что социалисты на словах, мелкобуржуазные демократы на деле (Мартов и Черновы, Каутские и К^о) этой сути социализма не понимают. Разграничение, указанное здесь, очень трудно, ибо в живой жизни все свойства «крестьянина», как они ни различны, как они ни противоречивы, слиты в одно целое. Но все же разграничение возможно, и не только возможно, но оно неизбежно вытекает из условий крестьянского хозяйства и крестьянской жизни. Крестьянина-трудящегося веками угнетали помещики, капиталисты, спекулянты и их государства, включая самые демократические буржуазные республики. Крестьянин-трудящийся воспитал в себе ненависть и вражду к этим угнетателям и эксплуататорам в течение веков, а это «воспитание», данное жизнью, заставляет крестьянина искать союза с рабочим против капиталиста, против спекулянта, против торгаша. А в то же самое время экономическая обстановка товарного хозяйства неизбежно делает крестьянина (не всегда, но в громадном большинстве случаев) торгашом и спекулянтом» (Ленин, Собр. соч., т. XVI, стр. 352).

Беря среднего крестьянина, как собственника, троцкисты рассматрива-

1) Ленин. Соч., т. XVI, стр. 355, 203 и т. XVIII, ч. I, стр. 163, 164 и 167.

ют его «как враждебную среду» по отношению к пролетариату. Отсюда они, троцкисты, выводят «заключение», что среднее крестьянство как мелкая буржуазия не может под руководством пролетариата участвовать в строительстве социализма, что среднее крестьянство неизбежно «отвернется» от пролетариата, что среднее крестьянство составит единый фронт с контрреволюцией за спиной пролетариата.

Хотя троцкизм давно разоблачен как контрреволюционная политическая группировка, но с отрывками троцкизма приходится встречаться до сих пор. Особенно яркой отрывкой троцкизма является утверждение о том, что среднее крестьянство является «носителем капиталистических отношений в деревне», т.-е. утверждение о том, что не только кулаки, но и средние крестьяне являются капиталистами. Отсюда делается «заклучение», что не кулачество теперь является у нас главным и почти единственным остатком капиталистического класса, а все крестьянство. Эта троцкистская пирамида базируется на следующем «фундаментальном» аргументе: «утверждение, будто кулачество является главным и почти единственным остатком капиталистического класса, совершенно равнозначно (?) утверждению, будто крестьянство социалистично по своей природе». А так как всем известно, что крестьянство не социалистично по своей природе, то значит оно «капиталистично», ибо троцкист не желает знать, что средний крестьянин не только собственник, но и труженик одновременно. Завершается эта троцкистская пирамида следующим «украшением»: утверждать, что кулачество является у нас главным и почти единственным остатком капиталистического класса, «это означало бы замечать только внешние проявления, игнорируя внутреннее содержание общественных отношений, это означало бы закрывать глаза на действительную опасность, заключающуюся в угрозе реставрации капиталистических отношений путем интервенции». В переводе на простой язык это «мудрое» поучение означает не больше и не меньше, как следующее: крестьянство, т.-е. прежде всего середняк,

является носителем опасности, заключающейся в угрозе реставрации капиталистических отношений путем интервенции; кто утверждает, что кулачество является у нас теперь главным и почти единственным остатком капиталистического класса, тот закрывает глаза на реставраторскую контрреволюционную опасность, носителем которой троцкисты выставляют крестьянство, т.-е. прежде всего среднее крестьянство.

В своем докладе о четырнадцатой годовщине Октябрьской революции тов. Молотов говорил: «Сердцевинной троцкизма было отрицание возможности победы социализма в нашей стране. Но это неверие в дело социализма является в конце концов самой характерной чертой всякого оппортунизма, всякого мелкобуржуазного течения. Троцкизм лишь наиболее яркая форма этого буржуазного неверия в победу Октябрьской революции и социализма». «Троцкисты исходили из того положения, — продолжает тов. Молотов, — что середняк не может быть прочным союзником рабочего класса в борьбе за социализм. И потому троцкистская тактика означала на деле стирание принципиальной разницы между нашим отношением к кулаку и к середняку и на деле вела к распространению на середняка той же тактики, какую мы применили в борьбе с кулаком. Понятно, что эта политическая линия не имеет ничего общего с ленинизмом и насквозь ему враждебна» (разрядка моя. — Ф. К.).

Объективно этот класс не является врагом пролетариата. Средние крестьяне могут быть друзьями рабочего класса. Наша партия систематически добивалась и добилась установления прочного союза между рабочим классом и средним крестьянством, что неизмеримо усилило устойчивость диктатуры пролетариата. Среднее крестьянство не проиграло, а только выиграло от этого союза; среднему крестьянству объективно было на руку укрепление пролетарской диктатуры. Именно потому, что у нас — диктатура пролетариата как определенно сложившаяся экономическая и политическая система; именно потому, что решающие экономические рычаги

и политическая власть находятся в руках пролетариата, благодаря чему он может определяющим образом вмешиваться в экономическое и политическое развитие деревни, — именно поэтому у нас среднее крестьянство не «раскрестьянивалось», не «размывалось», а росло вопреки всем утверждениям троцкистов, которые не понимали или не хотели понять особенностей дифференциации крестьянства в советских условиях. «Особенности этого расчленения, — говорится в резолюции XV съезда партии «О работе в деревне», — вытекают из изменившихся общественных условий. Эти особенности заключаются в том, что в противоположность капиталистическому типу развития, который выражается в ослаблении (в «вымывании») среднего крестьянства при росте крайних групп, — бедноты и кулачества, у нас, наоборот, налицо имеется процесс усиления групп середняков при некотором пока еще росте кулацкой группы за счет зажиточной части середняков и при сокращении группы бедноты, из которой некоторая часть пролетаризируется, а другая, более значительная часть передвигается в группу середняков. Эти особенности неизбежно вытекают из противоречивости хозяйственного развития в современных условиях диктатуры пролетариата. Простой товаропроизводитель в сельском хозяйстве в капиталистическом обществе может превращаться либо в мелкого капиталиста, либо в пролетария. У него нет третьего пути развития. В условиях пролетарской диктатуры этот путь имеется, поскольку через массовую кооперацию как в сфере обмена, так все больше в сфере производства мелкий товаропроизводитель может систематически втягиваться в процесс общего социалистического строительства».

Таким образом природа социально-экономических отношений среднего крестьянства с классом капиталистов и с рабочим классом, ставшим у власти, отличается не только по форме, но и по существу. Капиталистический класс для среднего крестьянства объективно есть враг, господство которого означает грабеж, разорение, пролетаризацию, пауперизацию, гибель среднего кре-

стьянства. Рабочий класс для среднего крестьянства есть организатор, руководитель, вождь, который один только может навсегда избавить среднее крестьянство от угнетения и рабства. В первом случае налицо объективно антагонистические социальные отношения; во втором случае — отношения сотрудничества, ибо диктатура рабочего класса опирается на союз его со средним крестьянством.

В настоящее время сотрудничество рабочего класса со средним крестьянством развивается и крепнет на основе развернутого наступления социализма по всему фронту, которое должно привести и приведет к уничтожению классов вообще. «Основным фактом нашей общественно-хозяйственной жизни в настоящий момент, фактом, который обращает на себя всеобщее внимание, — говорил т. Сталин в декабре 1929 г. на конференции аграрников-марксистов, — является факт колоссального роста колхозного движения... По-новому ставится теперь вопрос о нэпе, о классах, о темпах строительства, о смычке, о политике партии».

V. Из марксистско-ленинской теории социальной революции

Основным социально-экономическим содержанием и главной задачей социалистической революции являются полная ликвидация капиталов и уничтожение классов. «Уничтожение капитала, — говорит Фр. Энгельс, — как раз и есть социальный (т.е. социалистический. — Ф. К.) переворот и заключает в себе видоизменение всего способа производства»¹⁾. В своем «Обращении» к «Союзу коммунистов» в 1850 г. К. Маркс писал: «Для нас дело идет не об изменении частной собственности, а об ее уничтожении, не о затушевывании классовых противоречий, а об уничтожении классов, не об улучшении существующего (т.е. капиталистического. — Ф. К.) общества, а об основании нового общества». Наконец Ленин говорил: «Социализм есть уничтожение классов», и, чтобы добиться этой цели,

1) Фр. Энгельс. Политическое завещание, стр. 1.

необходима «решительная борьба против капитала во всех его формах».

Главной движущей силой социалистической революции является пролетариат, поднимающий на борьбу против капитала и втягивающий в социалистическое строительство всех трудящихся города и деревни. Чтобы полностью ликвидировать капитал и уничтожить классы, для этого необходима диктатура пролетариата. «Диктатура будет не нужна, когда исчезнут классы. Они не исчезнут без диктатуры пролетариата». Социалистическая революция представляет собою последний и самый яркий тип политической революции. «Только при таком порядке вещей, — говорит К. Маркс, — когда не будет больше классов и классового антагонизма, социальные эволюции перестанут быть политическими революциями. До тех же пор накануне каждого полного переустройства общества последним словом социальной науки будет: война или смерть, кровавая борьба или уничтожение. Такова неотразимая постановка вопроса»¹⁾.

Если буржуазная революция только изменяет систему эксплуатации, то социалистическая революция совершенно уничтожает всякую эксплуатацию. Если буржуазная революция только изменяет форму частной собственности, то социалистическая революция совершенно уничтожает всякую частную собственность. Отсюда видно, насколько более сложный и глубокий процесс представляет собою социалистическая революция по сравнению с буржуазной революцией. «Ясно, что для полного уничтожения классов надо не только свергнуть эксплуататоров, помещиков и капиталистов, не только отменить собственность, надо отменить еще и всякую частную собственность на средства производства, надо уничтожить как различие между городом и деревней, так и различие между людьми физического и людьми умственного труда. Это — дело очень долгое. Чтобы его совершить, нужен громадный шаг вперед в развитии производительных сил, надо преодолеть сопротивление (часто пассивное, которое особенно упорно и особенно трудно

поддается преодолению) многочисленных остатков мелкого производства, надо преодолеть громадную силу привычки и косности, связанной с этими остатками». Наконец социалистическая революция должна уничтожать следы старого общества в нравах, которые «известное время после переворота неизбежно будут преобладать над ростками нового. Когда новое только-что родилось, старое всегда остается в течение некоторого времени сильнее его. Это всегда бывает так и в природе, и в общественной жизни»¹⁾. Отсюда видно, насколько более значительные и сложные трудности стоят на пути социалистической революции по сравнению с буржуазной революцией.

Капитализм в качестве целостной системы производственных отношений как специфический способ производства со своими руководящими кадрами, живым людским аппаратом и материально-технической базой развивается в недрах феодального общества несравненно более свободно, несравненно полнее и шире, чем социализм в недрах буржуазного общества. Это объясняется тем, что как феодальное, так и буржуазное общество имеют в своей основе один и тот же принцип: они развиваются на почве частной собственности. Вот почему еще до буржуазной революции капитализм на известной стадии своего роста становится господствующей экономической силой в рамках феодального общества. Отсюда основная задача буржуазной революции — привести в соответствие социально-экономическую мощь развившегося капитализма с политической надстройкой, уничтожить все путы и всяческие пережитки феодального общества. «Для буржуазной революции, всегда вырастающей из феодализма, новые экономические организации постепенно создаются в недрах старого строя... Перед буржуазной революцией была только одна задача — смести, отбросить, разрушить все путы старого общества»²⁾. Но отсюда конечно не следует, что буржуазная революция есть, так сказать,

¹⁾ К. Маркс. Ницшега философия, стр. 159.

¹⁾ Ленин. Соч., т. XVI, стр. 249 и 253.

²⁾ Ленин. Соч., т. XV, стр. 124.

мгновенный социальный акт. На самом деле это — длительный процесс. Во Франции например буржуазная революция продолжалась что-то около 80 с лишним лет; в Германии — около 70 лет; в России буржуазную революцию закончил «походя» победоносный пролетариат.

Обратимся теперь к социалистической революции. Несомненно, что ряд элементов социализма вызревает еще в утробе капиталистического общества. Сюда относятся: концентрация и централизация средств производства, образующих материально-вещественный костяк будущего социалистического общества. Затем рост обобществленного труда, организация и консолидация революционных элементов в класс и т. д. «Наличность класса угнетенного, — говорит К. Маркс, — есть жизненное условие общества, покоящегося на классовой противоположности. Следовательно освобождение угнетенного класса необходимо сводится к созданию некоторого нового общества. Но, чтобы класс угнетенный мог освободиться, необходимо сначала достигнуть такой ступени развития, на которой наличные производительные силы более не могут мириться с действующими учреждениями. Из всех орудий производства самой крупной производительной силой представляется революционный класс. Организация революционных элементов в класс предполагает наличность всех производительных сил, какие вообще могли развиваться в недрах старого общества»¹). Так определяет К. Маркс степень вызревания элементов социализма в недрах капиталистического общества, которая (степень) является необходимой и достаточной предпосылкой для перехода к новому общественному строю, т. е. к социалистическому строю. Однако общие условия и та же степень вызревания социализма и капитализма в утробах предшествующих общественно-экономических формаций значительно отличаются друг от друга. Социализм зарождается и развивается в утробе капитализма как полное и решительное его отрицание; социализм не может сложиться в господствующую

экономическую систему под личиной капитализма; социализм может развиться в стройное здание новой общественно-экономической формации только при условии полного разрушения капиталистических производственных отношений. Следовательно здесь не может быть и речи о «врастании» капитализма в социализм или о таком вызревании социализма как целостной системы производственных отношений, какое было отмечено выше в отношении капитализма, развивающегося в недрах феодального общества.

Как неоднократно указывал Ленин, «вопрос о власти есть коренной вопрос всякой революции». Однако для буржуазной революции захват власти буржуазией обычно является завершением самой революции, поскольку при этом решительно и полностью очищаются авгиевы конюшни от всех пережитков феодального строя. Другое дело — социалистическая революция: захват власти пролетариатом является по существу только началом социалистической революции, ибо впереди предстоит не только разрушить старый, но и построить новый мир. Что же касается власти, то она отнюдь не является самоделью для пролетариата, а превращается в инструмент разрушительной и строительной работы. «В совершенно ином положении, — говорит Ленин, — стоит социалистическая революция. Здесь к задачам разрушения прибавляются новые неслыханные трудности — задачи организационные»¹). Отсюда прежде всего следует, что социалистическая революция по необходимости есть довольно длительный процесс, может быть, менее длительный, чем буржуазная революция, но безусловно длительный процесс. «Большая ошибка немцев, — говорит Фр. Энгельс, — заключается в том, что они представляют себе революцию как нечто такое, что может быть закончено в одну ночь. На самом деле она представляет собою длящийся многие годы процесс развития масс с ускоренным темпом движения»²).

¹) Ленин. Соч., т. XV, стр. 124.

²) «Архив К. Маркса и Фр. Энгельса», кн. I, письмо Эд. Бернштейну, стр. 349.

¹) К. Маркс Ницета философии, стр. 181.

В нашей стране пролетариат захватил власть и стал фактически господствующим классом путем разрушения старого и создания нового государственного аппарата. «Социализм есть уничтожение классов, — говорит Ленин. — Чтобы уничтожить классы, надо, во-первых, свергнуть помещиков и капиталистов. Эту часть задания мы выполнили, но это только часть, и притом не самая трудная. Чтобы уничтожить классы, надо, во-вторых, уничтожить разницу между рабочим и крестьянином, сделать в с е х р а б о т н и к а м и. Этого нельзя сделать сразу. Это — задача несравненно более трудная и, в силу необходимости, длительная. Это — задача, которую нельзя решить свержением какого бы то ни было класса. Ее можно решить только организационной перестройкой всего общественного хозяйства, переходом от единичного, обособленного мелкого товарного хозяйства к общественному крупному хозяйству»¹⁾).

Теперь наша социалистическая революция целиком захватила экономику. Здесь пролетариат осуществил экспроприацию капиталистической частной собственности и снял значительную часть пут, которые связывали развитие социалистического способа производства. Впереди предстоит еще сложная и трудная работа по дальнейшему развитию и укреплению социалистического способа производства путем ликвидации последних остатков капиталистической экономики, путем неустанной борьбы с тенденциями капиталистического развития, на основе развернутого социалистического строительства.

VI. Крестьянство в период социалистической реконструкции сельского хозяйства

Социализм есть уничтожение классов... Теперь мы вступили в период социализма. Это значит прежде всего, что мы приступили непосредственно к уничтожению классов. Решающее значение в этом отношении имеет уничтожение или ликвидация кулачества как класса на осно-

ве сплошной коллективизации. Это есть последний и решительный бой, в полном смысле этих слов, с остатками капитализма в н у т р и н а ш е й с т р а н ы.

1. Политика ограничения эксплуататорских тенденций и вытеснения кулачества

В период комбедов, т.е. в первый период пролетарской революции в деревне, кулачество было основательно подрезано и экспроприровано, но не было и не могло быть уничтожено как класс, потому что тогда еще не было у нас материально-технических и экономических предпосылок для создания крупного коллективного хозяйства; потому что тогда оставалась еще система мелкого товарного производства, которое способно «ежеминутно испарять», выделять капиталистические элементы. Поэтому в течение ряда лет наша партия стояла на позиции ограничения эксплуататорских тенденций и вытеснения кулачества. «Известно, — говорит т. Сталин, — что эта политика была провозглашена еще на VIII съезде. Она, эта самая политика, была вновь возведена при введении нэпа и на XI съезде нашей партии. Всем памятно известное письмо Ленина на имя Преображенского (1922 г.), где он вновь возвращается к вопросу о необходимости проведения такой именно политики. Она была наконец подтверждена XV съездом нашей партии. Ее и проводили мы до последнего времени»¹⁾). Пока наша партия стояла на позиции ограничения эксплуататорских тенденций и вытеснения кулачества, до тех пор неуместна и недопустима была политика раскулачивания. В это время у нас не было еще возможности заменить кулацкое производство производством крупных коллективных хозяйств и совхозов; в то время еще не было массового колхозного движения и господствовала система мелкого товарного производства; в то время поэтому можно было уничтожить только отдельных кулаков, но нельзя было ликвидировать кулачество как класс; в то время вместо одного раскулаченного

¹⁾ Ленин. Соч., т. XVI, стр. 351—352.

¹⁾ И. Сталин. Речь на конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.

кулака мог появиться другой, ибо ведь сохранялась самая почва, из которой растет кулак, т.-е. сохранялось мелкое товарное производство. Тогда следовательно наша партия не могла предпринять такого наступления, которое должно привести к ликвидации кулачества как класса. «Это было бы опаснейшим авантюризмом. Это было бы, — говорит т. Сталин, — опаснейшей игрой в наступление... В 1927 г. зиновьевско-троцкистская оппозиция усиленно навязывала партии политику немедленного наступления на кулачество. Партия не пошла на эту опасную авантюру, ибо она знала, что серьезные люди не могут позволить себе игру в наступление. Наступление на кулачество есть серьезное дело. Его нельзя смешивать с декламацией против кулачества. Его нельзя также смешивать с политикой цапанья с кулачеством, которую усиленно навязывала партии зиновьевско-троцкистская оппозиция. Наступать на кулачество — это значит сломить кулачество и ликвидировать его как класс. Вне этих целей наступление есть декламация, цапанье, пустозвонство, все что угодно, только не настоящее большевистское наступление¹⁾). Наступать на кулачество это значит подготовиться к делу и ударить по кулачеству да ударить по нему так, чтобы оно не могло больше подняться на ноги. Это и называется у нас, у большевиков, настоящим наступлением. Могли ли мы предпринять лет пять или года три назад такое наступление с расчетом на успех? Нет, не могли... Ибо мы наверняка сорвались бы на этом и, сорвавшись, укрепили бы позиции кулачества. Почему? Потому, что у нас не было еще тех опорных пунктов в деревне в виде широкой сети совхозов и колхозов, на которых можно было бы базироваться в решительном наступлении против кулачества. Потому, что мы не имели тогда возможности заменить капиталистическое производство кулака

социалистическим производством в виде колхозов и совхозов»¹⁾).

2. Сплошная коллективизация и ликвидация на ее основе кулачества как класса

Бурное развитие социалистического производства в виде колхозов и совхозов оказалось возможным благодаря гигантским успехам социалистической индустрии и решительному повороту бедняцко-средняцких масс крестьянства на путь коллективизации, что подготовлялось настойчивой работой нашей партии и рабочего класса на протяжении всего периода существования советской власти. Теперь раскулачивание кулачества стало не только уместным, но и необходимым звеном, органической составной частью сплошной коллективизации. Теперь полное производственное разоружение, экспроприация средств производства и решительная изоляция кулачества являются элементарным условием победоносного наступления против последних остатков капитализма в нашей стране. Теперь экспроприруемые средства производства кулачества не распределяются среди индивидуальных бедняцко-средняцких хозяйств, а входят составной частью в обобществленный фонд средств производства нарождающихся колхозов. Таким образом теперь экспроприация кулачества совершается на основе социалистического преобразования простого товарного хозяйства, являющегося в обычных условиях питательной почвой для капитализма. Преобразовывая сельское хозяйство на социалистических началах, мы тем самым создаем такие условия, при которых не только не могут оправиться, воскреснуть старые кулаки, но и не могут возникнуть новые кулаки. Именно в этом и заключается действительная гарантия того, что кулачество больше никогда не поднимется на ноги, что мы всерьез и навсегда ликвидируем кулачество как класс.

Нельзя однако забывать, что внутри колхозов некоторое время еще будут

¹⁾ Именно поэтому наша партия решительно отвергла лозунг «форсированного наступления на кулачество», с которым выступил т. Н. Бухарин накануне XV съезда партии.— Ф. К.

¹⁾ И. Сталин. Речь на конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.

сохраняться имущественные различия, будут существовать группы, из которых одни будут тянуть в сторону развития индивидуального сектора хозяйства, а другие будут стоять за последовательное и полное обобществление всех средств производства. Таким образом элементы классовой борьбы имеются и некоторое время будут еще проявляться и в колхозах.

«Только успехами в деле организационно-хозяйственного укрепления колхозов и, следовательно, в деле повышения производительности труда колхозников мы обеспечим полную и окончательную победу коллективизации» (В. Молотов). Это есть единственно верный путь к полному и окончательному созданию таких условий, при которых кулачество не будет ни существовать, ни возникать вновь. Это есть единственно верный путь к полной и окончательной ликвидации кулачества как класса. Но уже теперь судьба кулачества решена навсегда и бесповоротно.

Для полной и окончательной ликвидации кулачества как класса далеко еще недостаточно одной только изоляции и экспроприации кулаков. Само по себе раскулачивание и изолирование кулаков не решает вопроса о ликвидации кулачества как класса, если одновременно не развертывается сплошная коллективизация, если одновременно не ведется борьба за организационно-хозяйственное укрепление колхозов, если одновременно простое товарное производство не переделяется, не преобразовывается на социалистических началах, если одновременно не уничтожается самая почва, из которой вырастают кулаки. «Теперь раскулачивание в районах сплошной коллективизации, — говорил т. Сталин, — не есть уже простая административная мера. Теперь раскулачивание представляет там составную часть образования и развития колхозов». Именно поэтому у нас принято говорить не просто — ликвидация кулачества как класса, а — ликвидация кулачества как класса на основе сплошной коллективизации бедняцко-средняцких хозяйств. Отсюда следует, что кулачество как класс будет пол-

ностью и окончательно ликвидировано лишь тогда, когда будет завершена, по крайней мере в основном, сплошная коллективизация бедняцко-средняцких хозяйств и когда при этом колхозы будут по-большевистски укреплены в организационно-хозяйственном отношении.

В настоящее время в колхозах объединено более 62 проц. бедняцко-средняцких хозяйств. Можем ли мы на этом основании (принимая во внимание соответствующее раскулачивание как составную часть раскулачивания и развития колхозов) сказать, что в Советском Союзе кулачество уже полностью и окончательно ликвидировано как класс? Нет, не можем, ибо у нас по всей стране еще не завершена, по крайней мере в основном, сплошная коллективизация бедняцко-средняцких хозяйств, ибо у нас по всей стране еще не закончено раскулачивание и полное изолирование кулаков, ибо у нас по всей стране только развернулась большевистская борьба за организационно-хозяйственное укрепление колхозов. И поэтому, если наша партия говорит, что ленинский вопрос — «кто — кого?» — внутри нашей страны окончательно и бесповоротно решен; если наша партия говорит, что кулачество окончательно разгромлено как класс; если наша партия говорит, что дело социализма в нашей стране полностью и окончательно обеспечено, — то это вовсе не значит, что кулачество уже полностью и окончательно ликвидировано как класс, что социализм уже построен в нашей стране. А что же это значит? Это значит, что мы добились решающих успехов в борьбе за полную и окончательную ликвидацию кулачества как класса, в борьбе за полное и окончательное построение социализма в нашей стране. Но борьба еще не кончена, борьба продолжается.

В колхозной деревне сейчас центр тяжести переносится на борьбу за организационно-хозяйственное укрепление колхозов, на борьбу за повышение производительности труда колхозников, на борьбу против кулацкой психологии и мелкобуржуазных, индивидуалистических пережитков, на борьбу за укрепление социалистических производственных

отношений и за действительную переделку колхозников в социалистических работников. Кто игнорирует эту центральную задачу в колхозном строительстве текущего периода и забегая вперед, кричит: «Мы уже ликвидируем кулачество как класс», — тот выступает в роли явного пособника кулачества, ибо прячет неликвидированных пока что кулаков, ибо прикрывает кулацкое влияние на отдельные прослойки колхозников. Ясно, что на практике этот «левацкий» заскок, если его во-время и решительно не пресечь, может привести только к одному результату: не к ликвидации, а к сохранению кулачества как класса.

Однако главная опасность в настоящее время — это правооппортунистическая теория и практика самотека. Так как мы добились решающих успехов в социалистическом строительстве и в борьбе за полную ликвидацию кулачества как класса, то теперь — рассуждают правые оппортунисты — можно «почтить на лаврах», теперь сплошная коллективизация и организационно-хозяйственное укрепление колхозов будут «мирно и спокойно» сами развиваться, теперь ликвидация последних остатков кулачества «сама пойдет». Не приходится доказывать, что это есть по существу кулацкая установка, рассчитанная на создание благоприятных условий для возрождения кулачества, для восстановления его сил в борьбе против сплошной коллективизации и организационно-хозяйственного укрепления колхозов, за реставрацию капитализма. «Теория самотека» в социалистическом строительстве, — говорил т. Сталин, — есть теория антимарксистская. Социалистический город должен вести за собой мелкокрестьянскую деревню, наша же задача в деревне колхозы и совхозы и преобразуя деревню на новый, социалистический лад». Поэтому особенно сильный огонь, главный огонь необходимо в настоящее время направить по антимарксистской, кулацкой теории и практике самотека.

Ленин говорил: после свержения власти помещиков и капиталистов задачу уничтожения классов «можно решить только организационной перестройкой всего общественного хозяйства, пере-

ходом от единичного, обособленного, мелкого товарного хозяйства к общественному крупному хозяйству». Только при этих условиях можно будет «уничтожить разницу между рабочим и крестьянином, сделать всех работниками», именно — социалистическими работниками. Сплошная коллективизация бедняцко-средняцких хозяйств и ликвидация на этой основе кулачества как класса как раз и представляет собою такую организационную перестройку, такой переход от единичного, обособленного, мелкого товарного хозяйства к общественному крупному хозяйству. Вступая на путь сплошной коллективизации, среднее крестьянство и деревенская беднота под руководством пролетариата и его авангарда коренным образом изменяют свою социально-экономическую природу, т.е. они начинают переделываться, перевоспитываться в социалистических работников. Эту переделку, перевоспитание нельзя осуществить сразу. Такая переделка, перевоспитание представляет собою длительный процесс борьбы с кулацким влиянием, с кулацкой психологией, с мелкобуржуазными, собственническими, индивидуалистическими пережитками среди колхозников. Следовательно, ликвидация кулачества как класса на основе сплошной коллективизации и большевистская борьба за организационно-хозяйственное укрепление колхозов имеют своей оборотной стороной процесс отмирания среднего крестьянства как класса простейших товаропроизводителей и деревенской бедноты как особой социальной группы.

3. Колхозы — социалистический тип хозяйства

Что представляют собою колхозы как тип хозяйства? На этот вопрос т. Сталин отвечал так: «Колхозы как тип хозяйства есть одна из форм социалистического хозяйства. В этом не может быть никакого сомнения... Чем определяется, — спрашивал он, — тип хозяйства? Очевидно отношениями людей в процессе производства. Чем же иным можно определить тип хозяйства? Но разве в колхозе имеется класс людей, являющихся собственниками средств производства, и класс людей,

лишенных этих средств производства? Разве в колхозе имеется класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых? Разве колхоз не представляет обобществления основных орудий производства на земле, принадлежащей к тому же государству? Какое имеется основание утверждать, что колхозы как тип хозяйства не представляют одной из форм социалистического хозяйства?»¹⁾

Но это еще не значит, что колхозы в социально-экономическом смысле уже тождественны государственным фабрикам, заводам или совхозам, которые принято у нас считать предприятиями последовательно - социалистического типа. В социально-экономическом смысле колхозы как социалистический тип хозяйства стоят на более низкой ступени, чем государственные фабрики, заводы или совхозы, которые являются предприятиями последовательно - социалистического типа.

Колхозы организуются на земле, принадлежащей государству. Это — верно. В колхозах нет класса людей, являющихся собственниками средств производства, и класса людей, лишенных этих средств производства. Это — тоже верно. В колхозах нет класса эксплуататоров и класса эксплуатируемых. И это — верно. В колхозах обобществлены основные орудия производства, но в подавляющем своем большинстве они еще не являются собственностью государства, а принадлежат каждому данному коллективу людей. В колхозах обобществлены также основные продукты производства, но они распределяются между колхозниками на месте соответственно трудовым затратам каждого, соответственно размерам стоимости переданных каждым колхозником основных орудий производства. Таким образом, основные продукты производства обобществлены только в пределах отдельных колхозов. Таким образом, основные продукты производства принадлежат каждому данному колхозу, а не являются собственностью всего государства, в распоряжение которого колхозники добровольно отчуждают только излишки этих продуктов. Наконец кол-

хозники — за исключением коммунаров — имеют небольшое личное хозяйство, имеют в личной собственности некоторые второстепенные орудия производства.

Совсем другую картину мы наблюдаем на наших фабриках, заводах или в совхозах: здесь решительно все орудия производства принадлежат не данному коллективу рабочих, а являются собственностью всего государства; здесь абсолютно все продукты производства — собственность пролетарского государства и не распределяются на месте среди рабочих, а поступают в общий государственный котел. Вот почему государственные фабрики, заводы или совхозы в социально-экономическом отношении стоят выше, чем любой колхоз и даже коммуна.

Известно, что наши классовые враги стараются опорочить наши колхозы. В этом отношении им старательно помогают контрреволюционные троцкисты, объявляя колхозы буржуазной формой хозяйства. Например сам Троцкий в своей статье «Положение партии и задачи левой оппозиции» в марте 1930 г. писал: «Жизнеспособное меньшинство колхозов, представляющее важный шаг вперед, отнюдь еще не равносильно «социализму». При нынешних своих средствах производства, в условиях товарного производства колхозы будут неизбежно выделять новый слой крестьян — эксплуататоров.

Административный разгром внеколхозных кулаков не только не передельвает экономической ткани крестьянства, но и не может помешать развитию качества внутри колхозов. Это прежде всего обнаружится на многих из тех артелей, которые будут иметь наибольший хозяйственный успех. Объявляя колхозы социалистическими предприятиями, нынешнее руководство обеспечивает тем самым маскировку внутренних колхозных кулаков».

Это есть контрреволюционная клевета на нашу партию и на колхозы. Разве Ленин не говорил например о кооперативных предприятиях, что «при нашем существующем строе предприятия кооперативные отличаются от частных капиталистических как предприятия

¹⁾ И. Сталин. Речь на конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.

коллективные, но не отличаются от предприятий социалистических, если они основаны на земле, при средствах производства, принадлежащих государству, т.-е. рабочему классу?»

Как надо понимать ленинскую характеристику кооперативных предприятий? «Ленин берет кооперативные предприятия, — говорит т. Сталин, — не сами по себе, а в связи с нашим существующим строем, в связи с тем, что они функционируют на земле, принадлежащей государству, в стране, где средства производства принадлежат государству, и, рассматривая их в таком порядке, Ленин утверждает, что кооперативные предприятия не отличаются от предприятий социалистических. Так говорит Ленин о кооперативных предприятиях вообще. Не ясно ли, что с тем большим основанием можно сказать то же самое о колхозах нашего периода. Этим между прочим и объясняется, что Ленин считает «простой рост кооперации» при наших условиях «тождественным с ростом социализма»¹⁾. Еще с большим основанием можно сказать, что при наших условиях рост колхозов тождествен с ростом социализма.

Но совершенно очевидно, что между колхозами, являющимися предприятиями социалистического типа, и нашими фабриками, нашими заводами, нашими совхозами, являющимися предприятиями последовательно социалистического типа, существует пока что огромная принципиальная разница, которую мы не можем, не смеем, не должны игнорировать, через которую ни в коем случае нельзя перепрыгивать. Наша задача в настоящее время заключается в том, чтобы полностью развить и до конца использовать все силы, все возможности, заложенные внутри колхозов в их артельной форме, чтобы таким путем подготовить их для перерастания в высшую форму, чтобы подготовить их подъем на высшую ступень. Задача эта очень сложная, трудная и для разрешения ее потребуется длительный период времени. Эта задача не может быть решена простым росчерком пера, она не может быть решена административным

¹⁾ И. Сталин. Речь на конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.

переводом колхоза на высшую ступень. Эта задача имеет огромное политико-экономическое значение, ибо здесь речь идет об отношениях с десятками миллионов людей, о сельском хозяйстве всей страны, об условиях дальнейшего развития и процветания всего народного хозяйства. Вот почему Центральный комитет нашей партии в своем постановлении от 4 февраля текущего года говорит: «Задача организационно-хозяйственного укрепления колхозов является в настоящее время прежде всего задачей развития и укрепления артельной формы колхозов. При этом ЦК исходит из того, что попытки искусственного ускорения перехода от артельной формы колхозов к коммуне на нынешней стадии развития колхозов являются серьезной опасностью. Против этой опасности перепрыгивания через форму сельскохозяйственной артели, которая еще не развернута достаточно и не закреплена, ЦК предостерегает все партийные организации».

Но если в этом постановлении мы имеем решительное предостережение против искусственного ускорения перехода от артельной формы колхозов к коммуне, которая тоже является предприятием социалистического типа, то совершенно очевидно, что в настоящее время не может быть никакой речи об искусственном ускорении перевода колхозов в предприятия последовательно социалистического типа, в частности не может быть никакой речи о слиянии колхозов с совхозами, о совхозизации колхозов. «Левадки» заскоки в этом направлении представляют собой серьезную опасность на данном этапе социалистического переустройства сельского хозяйства. Нечего и говорить, что эти заскоки только на руку нашим классовым врагам, на руку кулачеству.

Действительный переход колхозов на высшую ступень, действительное перерастание их в коммуны, а потом — в предприятия последовательно социалистического типа немислимо без большевистского организационно-хозяйственного укрепления колхозов в артельной форме, без большевистской массово-воспитательной работы среди колхозников, без большевистского преодоления и изживания остатков и пережитков част-

ной собственности в экономике и сознании колхозников, без подведения прочной машинной базы под колхозы, без вооружения колхозов передовой агротехникой, без максимально полного развития и рационализации колхозного производства. Так например для организационно-хозяйственного укрепления колхозов, для преодоления и изживания пережитков частной собственности в экономике и сознании колхозников огромное значение имеет максимальное развитие колхозного производства и его товарности, максимальное повышение объема колхозной продукции, энергичное развитие животноводческих и птицеводческих товарных ферм в колхозах. В самом деле, если животноводческие фермы в колхозах окрепнут и получат достаточно полное развитие, если птицеводческие фермы в колхозах развернут свою работу настолько, что всего будет произведено с большим избытком,—то тогда колхознику не будет нужды отдельно держать корову, отдельно разводить птицу, отдельно заниматься свиноводством и т. д.

Однако нельзя думать, что все это наступит само по себе, что все это совершится в порядке самотека. Нет, все это будет протекать в борьбе с кулацкими влияниями, с многочисленными пережитками мелкобуржуазной, частнособственнической психологии. Следовательно здесь требуется активная, творческая работа и руководящее воздействие на массу колхозного крестьянства со стороны нашей партии, со стороны рабочего класса. В связи с этим огромное значение приобретает работа с колхозным активом, который необходимо создать в каждом колхозе из лучших ударников, бригадиров, участников социалистического соревнования и т. д. Выдвигая и воспитывая колхозный актив, опираясь на этот актив в своей повседневной работе, мы добьемся действительного организационно-хозяйственного укрепления колхозов на основе постановления ЦК ВКП(б) от 4 февраля.

4. Социальная природа колхозников

Колхозное крестьянство—хотя и Федот, да не тот; хотя это—еще и крестьянство, но не то крестьянство, ко-

торое мы знали вчера. Колхозное крестьянство — это нечто новое, особенное, своеобразное, оригинальное в социально-экономическом отношении. Однако ничего законченного, ничего завершенного, как социальный тип, колхозное крестьянство собою не представляет. Оно находится еще в процессе развития, в процессе становления, в процессе превращения в нечто новое—в социалистических работников. Следовательно колхозное крестьянство—это переходный социальный тип, это зародыш людей нового общественного строя.

Колхозное крестьянство далеко еще не порвало социально-экономической пуповины, которая связывает его с историческим прошлым. «Было бы ошибочно думать,—говорит т. Сталин,—что ежели даны колхозы, то дано все необходимое для построения социализма. Тем более ошибочно было бы думать, что члены колхозов уже превратились в социалистов. Нет, придется еще много поработать над тем, чтобы переделать крестьянина-колхозника, выправить его индивидуалистическую психологию и сделать из него настоящего труженика социалистического общества. И это будет сделано тем скорее, чем скорее будут колхозы механизированы, чем скорее они будут тракторизированы. Но это нисколько не умаляет величайшего значения колхозов как рычага социалистического преобразования деревни. Великое значение колхозов в том именно и состоит, что они представляют основную базу для применения машин и тракторов в земледелии, что они составляют основную базу для переделки крестьянина, для переработки его психологии в духе пролетарского социализма. Ленин был прав, когда он говорил: «Дело переработки мелкого земледельца, переработки всей его психологии и навыков есть дело, требующее поколений. Решить этот вопрос по отношению к мелкому земледельцу, оздоровить, так сказать, всю его психологию может только материальная база, техника, применение тракторов и машин в земледелии в массовом масштабе, электрификации в массовом масштабе». Кто может отрицать, что колхозы являются той именно формой социалистического хозяйства, через которую только и мо-

жет приобщиться многомиллионное мелкое крестьянство к машинам и к тракторам как к рычагам хозяйственного подема, как к рычагам социалистического развития сельского хозяйства?»¹⁾

Колхозное крестьянство далеко еще не перестало быть классом, оно далеко еще не отмерло как класс простых товаропроизводителей. Колхозное крестьянство находится в процессе социалистической переделки, оно только вступило в процесс отмирания как класс. Кто идеализирует колхозника, тот смазывает задачу борьбы за социалистическую переделку колхозника, тот маскирует остатки мелкобуржуазной психологии и пережитки частной собственности в колхознике, тот усыпляет бдительность нашей партии и рабочего класса в борьбе с остатками капиталистических элементов, с разлагающей работой и враждебным влиянием этих элементов на остальные слои колхозников, тот льет воду на мельницу наших классовых врагов, борющихся против наступающего социализма. Колхозник—новый социальный тип, появление его на свет выражает собою величайшую победу, одержанную рабочим классом и нашей партией в борьбе за социализм. Но колхозник далеко еще не превратился в социалистического работника, колхозник только находится в процессе этого превращения, колхозник—переходный социальный тип. И он превратится в социалистического работника только тогда, когда окончательно освободится от старого груза мелкобуржуазной, частнособственнической, индивидуалистической психологии. Сам по себе, своими собственными силами, без посторонней помощи колхозник не превратится в социалистического работника, не сбросит с себя тяжелый груз пережитков старого мира, не избавится от своих «родимых пятен».

Социалистическая сознательность привносится в массу колхозного крестьянства извне, она привносится туда социалистическим пролетариатом, организующим колхозы. Социалистическая сознательность в массах колхозного кре-

стьянства растет и крепнет по мере укрепления руководящей роли пролетариата, по мере укрепления и расширения социалистических позиций пролетариата в деревне, по мере проникновения и усиления крупной машинной техники в сельском хозяйстве, по мере ликвидации кулачества как класса на базе сплошной коллективизации и организационно-хозяйственного укрепления колхозов, по мере преодоления и изживания индивидуалистической, мелкобуржуазной психологии и кулацкого влияния среди колхозников, а также тем скорее, чем раньше стал тот или другой район на путь социалистической реконструкции, чем сильнее пролетарская прослойка в том или другом районе.

Мы начали социалистическую переделку мелкого крестьянина без всяких иллюзий, отдавая себе совершенно ясный отчет в том, что «это—дело очень долгое». Чтобы решить эту задачу, «нужен громадный шаг вперед в развитии производительных сил, надо преодолеть сопротивление (часто пассивное, которое особенно упорно и особенно трудно поддается преодолению) многочисленных остатков мелкого производства, надо преодолеть громадную силу привычки и косности, связанной с этими остатками...»

«Буржуазная интеллигенция и в том числе меньшевики и эсеры верны себе, служа капиталу и сохраняя насквозь живую аргументацию: до революции пролетариата они упрекали нас в утопии, а после нее они требуют от нас фантастически быстрого изживания следов прошлого!

Но мы не утописты и знаем истинную цену буржуазных «аргументов», знаем также, что следы старого в нравах известное время после переворота неизбежно будут преобладать над ростками нового. Когда новое только-что родилось, старое всегда остается в течение некоторого времени сильнее его, это всегда бывает так и в природе, и в общественной жизни» (Ленин).

Теперь «ростки нового» неизмеримо богаче и сильнее, чем в те времена, когда о них писал Ленин. Мы создали такие условия, при которых «ростки нового» победоносно развиваются во всех областях нашей жизни. Опираясь на

¹⁾ И. Сталин. Речь на конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.

Фундамент социалистической экономики, мы добьемся полной победы растущей социалистической сознательности над пережитками индивидуалистической мелкобуржуазной и кулацкой психологии среди колхозников. Для этого потребуются годы напряженной борьбы, сегодня вокруг одних, а завтра вокруг других конкретных вопросов социалистического строительства. В этой борьбе пролетариат под руководством коммунистической партии окончательно переделает себя и завершит переделку всех трудящихся в социалистических работников. Период этой борьбы нельзя перескочить. В этот период не только все трудящиеся, но и сам пролетариат окончательно очистятся от родимых пятен старого общества. Только пройдя это последнее «чистилище», можно достигнуть коммунизма. Других путей в царство коммунизма не существует.

Коммунизм не может появиться сам по себе в качестве «готового изделия», с которого надо лишь снять покрывало. И все трудящееся человечество во главе с пролетариатом не может сразу превратиться в достойных этого общества членов, т.-е. сегодня легли спать как парии капиталистического общества, а завтра проснулись зрелыми членами коммунистического общества. Таких метаморфоз не бывает ни в природе, ни в обществе. Вот почему насчет такого «коммунизма» любят распространяться социал-фашисты всех мастей. Вот почему о таком «коммунизме» непрочь поболтать многие либеральные буржуа и даже попы.

Наш коммунизм—живой коммунизм, рождающийся в огне непримиримой классовой борьбы, в огне беспощадной борьбы с родимыми пятнами старого общества, с пережитками индивидуалистической, частнособственнической, мелкобуржуазной, кулацкой психологии, с буржуазными влияниями и буржуазными тенденциями, где бы и в каких бы формах они ни сказывались и ни проявлялись. И если «все отживающее стремится обновиться и удержать свою позицию во вновь нарождающихся формах», то наша партия и рабочий класс, опираясь на колхозные массы крестьянства, найдут в себе достаточно сил и

средств, чтобы дать сокрушительный отпор, подавить и ликвидировать эти стремления.

Колхозное крестьянство есть переходный социальный тип. Отсюда видно, какой вопиющей нелепостью является утверждение, будто колхозное крестьянство является новым классом. Так ставить вопрос—это значит утверждать, что в процессе социалистического строительства, в процессе преобразования всего нашего общества на социалистических началах мы создаем новые классы. А между тем известно, что социализм есть прежде всего уничтожение классов. Выходит таким образом, что мы не приближаемся, а удаляемся от социализма; что сплошная коллективизация сельского хозяйства ведет не к уничтожению, а к созданию новых классов. Нечего и говорить, что такой взгляд на колхозное крестьянство не имеет ничего общего с марксизмом-ленинизмом¹⁾.

VII. На борьбу за социальственное перевоспитание колхозников

Мы вступили только в первый период социализма, который является первой ступенью, первой фазой коммунизма. Мы строим социализм, т.-е. первую фазу, первую ступень коммунизма. Мы достигнем коммунизма только тогда, ког-

¹⁾ Здесь будет уместно просто обратить внимание читателей на следующее «бесподобное» определение крестьянства как социально-экономической категории, которое дает т. В. Кирпотин: «Поскольку в советской деревне имелись и имеются процессы дифференциации, поскольку вообще нельзя говорить о крестьянстве как об одном классе, постольку бедняк и середняк—члены разных классов в деревне, но поскольку в советской деревне идет процесс консолидации и коллективизации (!) основных бедняцко-середняцких масс деревни, постольку и середняк, и бедняк составляют один класс». Так и написано! Вы сомневаетесь, читатель? Посмотрите, пожалуйста, статью т. В. Кирпотина «Крестьянство как социально-экономическая категория в условиях строительства социализма» в № 5 журнала «Под знаменем марксизма» за 1930 г., в том самом номере, который был выпущен «к XVI съезду ВКП(б)». Редакция этого журнала ограничилась следующим примечанием: «Статьей т. Кирпотина редакция начинает обсуждение этого вопроса на страницах журнала». Лучшее бы редакция не начинала такой статьей т. Кирпотина «обсуждение этого вопроса на страницах журнала»!..

да люди будут работать из сознания необходимости работать на общую пользу, когда труд превратится в органическую потребность человека.

1. За коммунистическое отношение] к труду

Вот что говорит о коммунизме Ленин: «Коммунизм есть высшая ступень развития социализма, когда люди работают из сознания необходимости работать на общую пользу». Нельзя сказать, что сейчас уже все колхозники прониклись таким именно сознанием, таким именно отношением к труду. Это есть коммунистическое отношение к труду, воспитание и установление которого решает абсолютно все в борьбе за социализм, в борьбе за коммунизм. Ленин говорил: «Чтобы победить, чтобы создать и упрочить социализм, пролетариат должен решить двоякую или двуединую задачу: во-первых, увлечь своим беззаветным героизмом революционной борьбы против капитала всю массу трудящихся и эксплуатируемых, увлечь ее, организовать ее, руководить ею для свержения буржуазии и полного подавления всякого с ее стороны сопротивления; во-вторых, повести за собою всю массу трудящихся и эксплуатируемых, а также все мелкобуржуазные слои, на путь нового хозяйственного строительства, на путь создания новой общественной связи, новой трудовой дисциплины, новой организации труда, соединяющей последнее слово науки и капиталистической техники с массовым объединением сознательных работников, творящих крупное социалистическое производство...

«Производительность труда, это—в последнем счете самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Капитализм создал производительность труда, невиданную при крепостничестве. Капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создаст новую, гораздо более высокую производительность труда...

Коммунизм начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд забота рядовых рабочих об увеличении производительности труда, об охране каждого

пуда хлеба, угля, железа и других продуктов, достигающих неработающим лично и не их «ближним», а «дальним», т.е. всему обществу в целом, десяткам и сотням миллионов людей, объединенных сначала в одно социалистическое государство, потом в Союз Советских Республик».

Следовательно для полной и окончательной победы коммунизма необходимо создать коммунистическую производительность труда, а решить эту задачу без воспитания и установления коммунистического отношения к труду совершенно невозможно. Коммунистическая производительность труда должна в несколько сот раз превышать производительность труда, созданную капиталистическим строем. Это должно быть ясно каждому рабочему и колхознику, ибо мы идем к такому общественному строю, при котором люди должны работать по способностям, а получать по потребностям.

Может ли мы сказать, что теперешний уровень производительности труда рабочих и колхозников позволяет нам немедленно осуществить этот принцип коммунизма? Нет, нам еще далеко до осуществления этого принципа, мы еще не создали такой производительности труда. Сейчас у нас 160 миллионов душ населения. Попробуйте сосчитать, сколько надо выпустить, сколько надо произвести разных продуктов, чтобы всех удовлетворить по потребностям. Это есть гигантская народнохозяйственная задача. Разрешить эту задачу при том уровне производительности труда, который был создан капитализмом, абсолютно невозможно.

Мы начали создавать новую производительность труда, подготавливая тем самым решающие условия для полного осуществления основного принципа коммунизма. Но мы еще не создали такой производительности труда, мы еще не воспитали в массах трудящихся коммунистического отношения к труду, мы еще не можем сказать, что все у нас готовы работать по способностям. Нетрудно представить себе, что было бы завтра, если бы сегодня мы объявили: работайте по способностям, а получайте по потребностям. Если бы мы сделали такое объявление, если бы был издан

такой декрет, то каждый бросился бы прежде всего «удовлетворять» свои потребности, предоставив другим работать по способностям. А можем ли мы в настоящее время полностью удовлетворить все потребности 160 миллионов душ населения? Нет, не можем. Что же получилось бы в таком случае? Получилась бы невероятная сумятица и полный паралич всего народнохозяйственного организма.

Для создания коммунистической производительности труда недостаточно одной только интенсификации человеческого труда. В конечном счете эта задача может быть разрешена только на основе механизации и автоматизации трудовых процессов. Следовательно, ключом к разрешению этой задачи является машина. И только на основе машинной техники, соответствующей коммунистическому строю, мы воспитаем и закрепим коммунистическое отношение к труду. А когда установится коммунистическое отношение к труду, тогда самый труд превратится, так сказать, в «дефицитный товар», ибо он станет органической потребностью человека. Тогда трудно будет себе представить человека, не желающего работать по способностям, ибо такой человек будет представлять собою какую-то аномалию. Тогда только психически ненормальные люди будут уклоняться от труда.

Итак, мы начали борьбу за воспитание и установление коммунистического отношения к труду. Но нам еще далеко до полного разрешения этой задачи. На пути к воспитанию и установлению коммунистического отношения к труду нам предстоит преодолеть очень много трудностей, ликвидировать и выкорчевать очень много разных пережитков капитализма в экономике и сознании людей. Особенно серьезную и длительную борьбу придется нам выдерживать с «узким горизонтом буржуазного права», который заставляет людей, — как говорит Ленин, — «высчитывать с черствостью Шейлока, не переработать бы лишних полчаса против другого, не получить бы меньше платы, чем другой». Сейчас мы имеем очень много и чрезвычайно серьезных успехов в борьбе за воспитание и установление коммунистического

отношения к труду. Достаточно указать в этой связи на развитие социалистического соревнования и ударничества. Но мы не можем обольщаться этими успехами и не должны почитать на лаврах. Дело в том, что мы вступили только в начальный период борьбы за воспитание и установление коммунистического отношения к труду.

2. Против уравниловки

Чтобы добиться коммунистического отношения к труду со стороны всех колхозников, необходимо решительно и как можно скорее покончить с уравниловкой. На первый взгляд такая постановка вопроса может показаться очень странной, а между тем именно уравниловка сейчас является одним из серьезнейших препятствий на пути к воспитанию и установлению коммунистического отношения к труду. Мелкий буржуа, наускиваемый остатками капиталистических элементов, изображает дело так, что уравниловка есть настоящее равенство, ибо все получают одинаково. Так ли это на самом деле? Нет, совсем не так. Ведь при уравниловке одинаково получают как квалифицированные, так и неквалифицированные работники, как бездельники, так и настоящие труженики. Что это означает? Это означает, что за разное количество и качество труда люди получают одинаковую плату. Это означает, что одна часть людей живет за счет другой части. Таким образом уравниловка представляет собою на самом деле не что иное, как своеобразный вид паразитизма.

Преодолевая и ликвидируя уравниловку, мы создаем такое равенство, которое соответствует первой фазе коммунизма, т. е. социалистическое равенство. А что такое социалистическое равенство? Вот как отвечает на этот вопрос Ленин: «Средства производства уже вышли из частной собственности отдельных лиц. Средства производства принадлежат всему обществу. Каждый член общества, выполняя известную долю общественно-необходимой работы, получает удостоверение от общества, что он такое-то количество работы отработал. По этому удостоверению он получает из общественных складов предметов потребления соответственное количество

продуктов. За вычетом того количества труда, который идет на общественный фонд, каждый рабочий следовательно получает от общества столько же, сколько он ему дал». Говоря иначе, при социализме полностью осуществляется принцип: «кто не работает, тот не должен есть». Вместе с тем при социализме полностью осуществляется и другой принцип: «за равное количество труда—равное количество продукта». Совершенно очевидно, что социалистическое равенство есть полная противоположность уравниловки.

Однако и социалистическое равенство не является еще настоящим равенством, т.-е. первая фаза коммунизма еще не дает полной справедливости и равенства. Почему? А вот почему. Представьте себе, что я и кто-нибудь из вас, читателей, являемся работниками одинаковой квалификации и вырабатываем одинаковое количество продуктов. Вычтя из выработанной каждым из нас массы продуктов соответствующую долю в общественный фонд на возмещение изношенных машин, на расширение производства, на издержки управления, на школы, больницы, приюты и т. п.,—нам дадут одинаковое количество продуктов. Но при этом высняется такая подробность, что вы, человек чахлый, слабый, одинокий, кушаете мало, а я, человек здоровый, кушаю чорт знает как много, имею большую семью. Мы получаем с вами одинаково. Между вами и мною как будто установлено равенство. В действительности же оказывается, что это — неравенство. Вот почему Ленин говорит: «Справедливости и равенства... первая фаза коммунизма дать еще не может: различия в богатстве останутся и различия несправедливые, но невозможна будет эксплуатация человека человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабрики, машины, землю и проч. в частную собственность». Действительное и полное равенство будет установлено лишь тогда, когда исчезнет противоположность умственного и физического труда, когда каждый будет работать по способностям, а получать по потребностям, т.-е. тогда,—как указывает Ленин,—«когда люди настолько привыкнут к соблюде-

нию основных правил общежития и когда их труд будет настолько производителен, что они добровольно будут трудиться по способности... Распределение продуктов не будет требовать тогда нормировки со стороны общества количества получаемых каждым продуктов; каждый будет свободно брать «по потребности».

Из этого видно, какое значение придавал Ленин производительности труда в борьбе за установление настоящего, т.-е. коммунистического равенства. Но для того, чтобы создать высшую производительность труда, соответствующую высшей фазе коммунизма, нам необходимо сейчас во что бы то ни стало и как можно скорее покончить с уравниловкой. Необходимо понять и внушить каждому колхознику следующую мысль: ничто так не разрушает производства, ничто так не подрывает борьбы за высшую производительность труда и ничто так не препятствует увеличению общего объема продукции, как уравниловка. Ведь если господствует уравниловка, то люди на данной стадии развития их общественного сознания лишаются совершенно необходимого материального стимула в борьбе за развитие производства, за повышение производительности труда, за увеличение общего объема продукции. Но этого еще мало. Если господствует уравниловка, то люди на данной стадии развития их общественного сознания лишаются необходимых материальных стимулов в борьбе за повышение своей производственной квалификации, за овладение техникой производства. Следовательно уравниловка оказывается, помимо всего прочего, одним из серьезнейших препятствий на пути к уничтожению противоположности умственного и физического труда. Все это в конце концов означает, что уравниловка является одним из серьезнейших препятствий на пути к установлению действительного, т.-е. коммунистического, равенства.

3. Против обезлички.

Но, кроме уравниловки, у нас до сих пор не изжито еще одно очень серьезное и весьма опасное зло—обезличка. Это зло выражает собою тот факт, что орудия производства и продукция не

имеют хозяйственного призора, лишены заботливого внимания. Это приводит к порче и разрушению орудий производства, к гибели продукции и следовательно к подрыву всего производства, к снижению производительности труда, к уменьшению общего объема продукции. Отсюда следует, что мы не можем достигнуть коммунизма, если не ликвидируем немедленно и без остатка обезличку. А что значит ликвидировать обезличку? Это значит установить социалистическое отношение к орудиям производства, т.-е. такое отношение, при котором каждый работник должен относиться к доверенным ему орудиям производства как к самому себе, как к своей собственной особе.

Говорят, что своя рубашка—ближе к телу. Верно ли это? Нет, неверно. Это есть буржуазно-эгоистическая точка зрения. Правильно понятый личный интерес есть общественный интерес. Что это значит? Это значит, что все могут добиться удовлетворения своих личных интересов только при том условии, если будет обеспечено исчерпывающее удовлетворение общественного интереса. Иначе только отдельные единицы, отдельные люди в состоянии достигать удовлетворения своих личных интересов за счет огромного большинства других людей. Поэтому противопоставлять личные интересы общественным, выдвигать на передний план личные интересы и отодвигать в сторону, игнорировать общественные—это значит ориентироваться на принципы капитализма, это значит стремиться к установлению такого порядка, при котором ничтожное меньшинство с избытком удовлетворяет свои личные интересы за счет личных интересов подавляющего большинства. Следовательно действительный путь к исчерпывающему удовлетворению своих личных интересов лежит через полное удовлетворение общественных интересов. Следовательно на передний план всегда и во всем должны выдвигаться общественные интересы. Следовательно каждый из нас должен заботиться об удовлетворении общественного интереса, как об удовлетворении своего личного интереса. И прежде всего этот принцип необходимо осуществить по отношению к орудиям производства в социалисти-

ческом секторе нашего народного хозяйства.

В разных отраслях социалистического сектора народного хозяйства должен по-разному решаться вопрос об уничтожении обезлички, т.-е. он должен решаться применительно к особенностям каждой отрасли. Так например в колхозах этот вопрос должен решаться несколько иначе, чем в промышленности. И это понятно, потому что колхозы являются предприятиями социалистического типа, а фабрики и заводы—предприятиями последовательно социалистического типа. В колхозах на передний план в борьбе с обезличкой должна быть выдвинута постоянная бригада, организации которой постановление ЦК ВКП(б) от 4 февраля придает решающее значение.

Прикрепляя орудия производства к отдельным работникам или к определенным группам работников, мы тем самым создаем необходимые стимулы и условия для воспитания социалистического отношения к общественному имуществу. В самом деле, если к данной бригаде колхозников прикреплен определенный участок земли, определенное количество машин, инвентаря и рабочего скота; если оценка труда этих колхозников будет устанавливаться в зависимости от успешности работы,—то вся бригада и каждый колхозник в отдельности будут заинтересованы в том, чтобы как можно лучше возделывать землю, чтобы как можно лучше ухаживать за машинами, инвентарем и рабочим скотом. На этой основе и под влиянием большевистской воспитательной работы колхозники будут все больше и больше усваивать социалистическое отношение к орудиям производства.

Однако прикрепление удий производства к отдельным работникам или к определенным группам работников не является нашим конечным идеалом в организации хозяйства. Это есть лишь неизбежный и абсолютно необходимый этап на пути к установлению коммунистического отношения к орудиям производства, т.-е. такого отношения, когда каждый работник будет относиться ко всем орудиям производства, принадлежащим коммунистическому обществу, как к самому себе, как к своей собствен-

ной особе; когда каждый работник может стать за любую машину, за любой агрегат, за любой станок и взяться за любой инструмент с полной гарантией того, что все это останется после него в полном порядке, что все это будет в полной исправности, в полной готовности для работы других работников. Следовательно, тогда прикрепление орудий производства к отдельным работникам или к определенным группам работников станет совершенно излишним, ибо коммунистическое отношение к орудиям производства войдет в привычку каждого работника, ибо иное отношение к орудиям производства будет рассматриваться как ненормальность, как психическая аномалия. Чтобы это было понятнее, представьте себе сейчас человека, который себя истязает, бичует, во всем себе отказывает, морит голодом. Что скажут у нас теперь о таком человеке? Теперь о таком человеке скажут, что он ненормален, психически больной, что его надо лечить. И вот точно так же при коммунизме будут рассматривать и точно так же будут относиться к тем людям, которые будут портить или небрежно ухаживать за общественными орудиями производства. Таких людей, если они только окажутся, тогда будут изолировать, отстранять от работы, лечить.

Но для того, чтобы воспитать коммунистическое отношение к орудиям производства, нам необходимо теперь покончить с обезличкой, прикрепить орудия производства к отдельным работникам или к определенным группам работников, поставить оплату труда в

полную зависимость от состояния орудий производства, доверенных каждому работнику или определенной группе работников, и воспитать на этой основе большевистскими методами социалистическое отношение к орудиям производства. В связи с этим по линии сельского хозяйства огромную роль должен сыграть колхозный актив, на организацию и воспитание которого ЦК ВКП(б) своим постановлением от 4 февраля обращает самое серьезное внимание всех местных партийных и советских организаций. Опираясь на этот актив, необходимо развернуть массовую воспитательную работу среди колхозников, чтобы преодолеть и полностью изжить мелкобуржуазные, частнособственнические, индивидуалистические, эгоистические пережитки в их сознании, в их отношении к общественному имуществу, к общественным орудиям и средствам производства, к общественным машинам, инвентарю, рабочему и продуктивному скоту, к общественным продуктам производства, к общественному урожаю, к общественному мясу, шерсти, овощам и т. д.

Мы идем уверенной и твердой поступью к коммунизму. Гигантским шагом в этом направлении явится вторая пятилетка. В течение второй пятилетки должны быть уничтожены остатки капиталистических элементов и классы вообще. Вместе с тем в течение второй пятилетки мы должны покончить с пережитками капитализма в экономике и сознании людей.

Вперед, к коммунизму!

Люди и факты

Диспут о кроликах

(«РОДНИКИ»)

И. Новиков

Сколько записано историй, начинавшихся или даже, просто рассказанных в вагоне железной дороги! Оно и понятно: здесь, на узком кусочке пространства и на более или менее сжатом отрезке отмеренного времени, перекрещиваются нити живых человеческих судеб в самом прихотливом сочетании. Кроме того, у человека, освеженного этой близостью совсем незнакомых существ, с которыми однако же так просто, легко и даже неизбежно вступить в общение, у человека, к тому же физически отрезанного от обычной своей обстановки, службы, семьи, личных забот, только-что особенно сгрудившихся перед отъездом, всегда возникает потребность поплескаться словесною влагой: от чего-то освободиться, к чему-то прислушаться.

Дорожное общение это бывает поверхностно и живописно, экспансивно-открыто, лукаво-уклончиво или сумрачно-сдержанно. Порою бывает, что надо еще отгадать, что же таится на той глубине, о которой молчат и на фоне которой рождаются как будто простые, но и многомысленные фразы; бывает: тугая пружина развернется не сразу, но когда развернется, услышим — историю. В эту поездку, тем более, что она была коротка, никакой истории мне услышать не довелось, но я оказался свидетелем целого диспута о... кроликах, к которым как раз я и ехал. Это было счастливое совпадение, и разговор мне запомнился. Оказалось, что зверь, маленький этот пушистый

зверок, согласно пословице, «бежал на ловца».

Еще на вокзале кольнули меня ненавистнические чьи-то глаза под кудрявою взерошенной сединой открытых волос, и скриповатый, хорошо тренированный, но от рождения простуженный голос, подобный отдаленному громкоговорителю, донес до меня острую желчь:

— Расплодись, как кролики, и рады неизвестно чему!.. — и дальше какой-то еще неразборчивый шип.

Я улыбнулся. Как раз накануне у Брэма я вычитал: «Если принять, что самка мечет семь раз в год и с каждым пометом приносит восемь детенышей, то в течение четырех лет ее потомство может достигнуть чудовищного числа в 1.274.840 штук». Колючие глаза все же изрядно однако преувеличили плодовитость густой вокзальной толпы, среди которой именно весело, под белой своею, уже немного не по сезону, порядочно пропотевшею шляпой живо и энергично протискивался и второй участник будущего диспута, чернобородый и розовый, в пиджаке на рубашку. Взглянув на него, я сразу почувствовал, что главный-то яд в донесшемся до меня восклицании был во второй половине: «и рады неизвестно чему!» Есть-таки люди на свете, которым всего досаднее радость: чужая, конечно затем, что своей лишены!

Однако ж действительно надо сказать (я невольно думал о кроликах), надо сказать, что плодовитость их чрезвычайна. И, с одной стороны, это благо —

там, где эта стихия покорена и стоит на службе у человека, но кролик, сам себе предоставленный и на свободе плодящийся и множащийся, может стать настоящим и очень серьезным бедствием, уничтожающим целые посадки деревьев и догола об'едающим пастбища, предназначенные для скота. Недаром его поминают еще Аристотель и Плиний. Последний сообщал между прочим («Вы это обязательно запишите, — говорил мне один ученый кроликовод, гордясь очевидно «древностью рода» своих подопечных, — вы запишите...») что кролики, родиной которых является Испания, так расплодились в римских колониях, что якобы посылались войска для их уничтожения.

Этому впрочем можно поверить, если припомним, что в Австралии, Новой Зеландии, Новом Южном Уэльсе трагились огромные суммы на борьбу с этим зверьком, а тот же Брэм рассказывает даже, что была обещана награда в пятьсот тысяч марок тому, кто найдет верное средство против этого маленького грызуна, которого, правда, в домашнем, а не в диком его состоянии мы так стремимся теперь развести в возможно большем количестве. И какой у нас в этом отношении еще простор! Все наше поголовье до сих пор где-то около миллиона штук, в то время как даже в Италии, сравнительно недавно занявшейся всерьез кролиководством, уже идет в производство до 30 миллионов штук в год, а во Франции эта цифра возрастает до 120 миллионов!

Ехал я в «Родники», лучшее наше племенное кролиководческое хозяйство в системе пригородных кооперативных хозяйств, и все эти вопросы живо меня интересовали.

И вот опять те же колючие глаза увидал я в вагоне; они сверлили напротив; рядом сидел чернородый мужчина, от которого шел жар, и было слышно, как поскрипывали его мускулы под кожей.

— Давненько я не был в Москве: красота! — и он, как рыба хвостом, круто плеснул крупной своей волосатой рукою. — Вишь, позастроились! Вишь, расплодились!

Это совсем другой был акцент — горячий, оптимистический. Но самое это

словечко, повторное, заставило меня подражать седую кудрявую голову.

— Расплодились, как кролики?

Злые глаза коротко ужалили меня и спрятались в норки.

Сосед рассмеялся и потер влажные руки.

— Жарко у вас, — сказал он. — Ах, хорошо!

День был не жаркий: серенький день раннего московского сентября. Откуда он?

— Я ведь, друзья, сибиряк! — улыбнулся он, отвечая на невысказанный общий вопрос. — Мы попривыкли там к холодам: пушное зверье! — И он поерошил свою могучую бороду.

— Вы и служите там по пушной верной части?

— Ага! И веселое дело. Мой дед еще там обосновался. Поляк. После восстания. Город Канск, слышали? Так вот верстах там в семидесяти — таежное село Александровка. И что бы вы думали: кролик? Ребятишки с собою туда привозили его: невозможно расстаться! И прижился! «Польский белый» — кто понимает. И не зря прижился!

— Не понимаю, — сказал гражданин, сидевший напротив. — Революционеры и — кролики?

— Повстанцы, — поправил его сибиряк. — А что до понятия, то я же ведь так и сказал: кто понимает!

И он весело и дружелюбно, но и немножечко задорно захохотал.

Сидевший напротив вынул очки, надел их и устремился на говорившего. Очки были старые, с узенькой золотой оправой. Я удивился: таким колючим глазам понадобилось еще и добавочное вооружение! Однако же он ничего не сказал, как бы что-то обдумывая! А сибиряк разошелся: пушнина, тайга, соболя, белка и выдра, и росомаха!

— Я теперь около Новосибирска, в питомнике. Раньше, вы знаете, зайца просто не били. Ну что там, десять-пятнадцать копеек за шкурку? Кому это лестно? Вот белковать — это дело другое!

— Всех перебили небойсь! — промолвила несколько жалобно женщина в темном платке.

— Ну да, их перебьешь! — отозвался с соседней лавки парень с широким лицом.

— А как вам сказать? Дело тут впрочем не в жалости, а дело в другом: пушное хозяйство надо вести, а не хищничать! Такая поговорка есть в наших краях: «Не палить в божий свет как в копеечку!» А бывало ведь как? Ну, промысловые, те в птицу, сказать, почти не стреляли, а городские на озеро, и все паф да паф! А те им смеются: «Ну что: накалили, ребята, озеро-то?» И конечно, конечно, друзья, пушные богатства пора охранять. Плановость, вот!

— Партизан? — коротко, через очки, как на допросе, кинул сидевший напротив старик.

— Ага, угадал. А сам из каких, чем промышляешь?

Тот пожевал (очень жестко) губами: встречный вопрос ему не понравился.

— Ну вот, соболей извели, — сказал он значительно и с расстановкой, — пошли одни кролики. А что собственно кролик? Что за фигура? Чистопородная дрянь!

Он очень веско это сказал, и вышло одновременно довольно смешно; кое-кто даже хихикнул. Он строго кинул очками, как если бы сидел за столом, а хихикнули в зале. И тут началось настоящее судебное следствие: «кролика он избрал подсудимым.

— Вы говорите, поляки привезли в Сибирь кролика?

— Да.

— Малолетние?

— Да.

Следователь пожевал сухими губами, как бы жалея о том, что малолетние: на малолетних строгость законов к сожалению не распространяется.

Но сибиряк еще не вошел в атмосферу судебного заседания. Он был просто-душен.

— Одни ли поляки? А украинцы? Переселенцы? Кролик, он что? В голодные годы, я вам скажу, например. Корову не в силу кормить. Не в силу свинью. А кролик, вот в восемнадцатом, в девятнадцатом, в Поволжье... да он и на ветке одной выживал, на листе. А на зиму кору да сучья. Конечно топчет, а все ж таки — да! Ну, а в Сибири — богатство, простор! Давит, я говорю, — горы, тайга — и привлекает. Над ними смеются: «Погань такую, да разводите!»

— Вот-вот, именно погань!

— Ну да, дураки! «Мы, говорят, и зайца не бьем!» — дроби, видишь ты, жалко... И правда: петлю так становили, из проволоки, просто душили. А кролик меж тем, он сохраняет... естественную... базу пушнины. Ну, хочешь, давай говорить!

— Я утверждаю: есть зверь благородный — соболю, куница, и есть благородная страсть, и конечно охота — с опасностью, риском — есть благородная страсть. А есть... кроли-ко-водство! Немножечко шкурки, порядочно вонючее мясо невкусное, сладкое...

Тут сибиряк не стерпел:

— Мясо невкусное? Невкусное мясо?

Да есть же ведь даже наука, научная школа! И на первом месте там — черепашье мясо, а на втором — а в т о р о м! — кроличье! Кроличье мясо — белое мясо, а у зайца оно например красное мясо. А почему? У зайца красные мышцы одеты фасциями...

— Как? — спросил коротко следователь.

— Ну, а как же? — отозвалась женщина в темном платочке. — Про зайца не зря говорят, — с детства слыхала, что с него семь шкурок надо снять. Одна-то шкурка от бога, как у всех стало быть, а там еще каждая прядочка в особенной шкурке...

— Вот она понимает, — улыбнулся чернобородый. — Только названия не слыхала. Ну а названия — это ведь тоже только одежда, для точности. Да. Чтобы понятие, как бы сказать, не рассыпалось. И кроличье мясо напоминает индюшку. Я конечно там не жила, и в те времена даже там не бывал — в столице Петровой, но только-что мне говорили, и знающие, тонкие люди. У нас есть один, такой бывший боярин, но человек между прочим честный вполне и не прицепы, видный специалист. Котлетки такие — «де-воляй», видишь ли, были в ресторане «Медведь». И аристократия самая там их и кушала. «Из настоящей куриной филейки!» А это был кролик!

— Барские затеи! — недовольно проворчал старик.

— Позвольте-с, позвольте: по пунктам! Вы верно сами-то их не едали?

— Я вообще вегетарьянец, — недовольно отгнетил старик.

— Ну тогда дело понятное...

— Сторожем на огороде ему хорошо! — подмигнул окружающим широколицый парнюга. — В зубы морковку, милое дело! Да и птиц, кстати оказать, способно пугать...

Старик перебрал загорелыми желтыми пальцами и сжал их в бессильный злой кулачок. От полемики с парнем однако же воздержался.

— По пунктам? Пожалуйста, — сказал он негромко и наклонился вперед, как бы слегка отодвинув воображаемые бумаги.

— Вот именно, — шевельнул пальцами и сибиряк. — «Невкусное мясо?» Это как будто бы выяснено. Теперь что такое? «Немножечко шкурки»? Шкурка невелика, спорить нельзя. А можно еще и добавить: не больно прочна. Но, товарищи, я вас спрошу, что собственно прочно на свете? — И он почти ухарски подмигнул на кудрявую голову. — Почему собственно шубу надо таскать до дедов и прадедов? Тяжело эти шубы, знаете ли, невесело эти шубы таскать! А что например ребяташкам, так совсем хорошо: не одевать же в самделе мальчонку в бобра? Ни к чему! Через год, через два все равно вырастет.

Наш сибиряк сильно воодушевился, и через трудное место (о непрочности шкурки) перепрыгнул с веселостью, как через весеннюю лужу. А перепрыгнув, пошел размеренным шагом.

— Да пусть непрочна! А что вы мне скажете, шестьдесят процентов мирового оборота с пушиной — кроличий мех! Это вам шутки? Шкурки на экспорт — это забава? Две марки валюты за каждую шкурку? Надо за это благодарить! А на валюту — ну хотя бы тот самый трактор. Я не слыхал, чтобы у трактора, если его приобрести на кроличьи шкурки, — у самого у него — шкурка чтобы была непрочна. Может, другой кто слыхал? Никто не слыхал! А это ведь дело не маленькое.

— Чудно говоришь, — сказала с раздумчивостью женщина в темном платке; какая-то немного скупая, но явно добрая нотка прозвенела в ее приглушенном, сдержанном голосе. — Сколько я их перевидала да в тех же хотя бы «Родниках» или в Ильинском... Сидят и мерцают, а на поверку оказывается, что они, видишь ты, землю нам па-

шут и колхозы выращивают. Дивное дело!

— И очень просто. И правильно, — подтвердил парень на сей раз очень серьезно.

— Ну, о шкурке еще что сказать? А ведь ее под любого зверя и очень, сказал бы я, тонко выделяют. Какая порода, — есть «белка» порода, есть «горноста́й»... Дело весьма занимательное, работают, можно сказать, почти что художники: там подстриги, тут подщипни... Ее и подкрашивают, и подкуривают... И пожалуйста: как она выглядит там на прилавке! А шерсть? А кроличий пух? Шерсть: телогрейки и рукавички, текстиль. А фетровые лучшие шляпы — не кролик? Возьмите мою — дайте мне кролика!

И он широко сорвал с головы старенькую свою, прошитую порыжевшими нитками полотняную шляпу.

— Никто не желает? — Он тронул рукой и поскорее прикрыл свергнувшую в бледном солнечном луче желтоватую порядочную лысинку. Он сделал так, будто сконфузился, но и лысинка тут же ему пригодилась.

— Были волосы, а теперь, жена говорит, один пух обнажился. Похуже однако мой пух, чем у зверка. Это надо признать хотя бы в порядке самокритики... А кроличий пух между прочим опять-таки самый дорогой пух между зверей. Это запомните!

— И все-таки, — строго сказал кудрявый старик, у которого седые кудри в эту минуту ершились, — все это не более как баловство. Я понимаю: корова! И когда наша партия...

— Чья? — кто-то негромко, искренно удивленно спросил из угла.

Старик не смутился. Он повторил свою фразу, выбросил только словечко «наша».

— Когда партия ставит проблему скорейшего развития крупного животноводства, тогда неразумно распылять силы и средства...

— Вот как оказывается!.. — с приторною раздумчивостью протянул сибиряк. — А отчего, собственно, вы, поклонник благородных страстей, в роде охоты, и пренебрежительно этап прокакавшие (прошу меня извинить!) «кро-ли-ко-водст-во!», совсем-таки членораздельно выговариваете: животно-

водство? «Порядочно вони»... — так вы изволили выразиться? А ведь, пожалуй, там вони побольше, но она уже вас не смущает? И кстати, напрасно про кролика. Он весьма чистоплотен. Вы поглядите на воле: он из норы всегда выходит наружу. А в клетках... Ну тут, знаете, нужно, чтобы уборщицы были опрятны, а сам он делает всегда в один угол.

Женщина вынула мятый платок и вытерла нос.

— Что же корова? Корову нельзя не уважать. За одно молоко, помилуйте! Но вот касательно мяса... Тут кролик поспорит и переспорит. Тут натиск и быстрота, тут темпы! И подает как конвейер: за порцией порцию! Вы с карандашиком, если не лень, и не преувеличивая, а осторожно преуменьшая, считайте-ка количество мяса так года за три, посчитайте в кило: корову с потомством и самочку кроличью с повторным ее многоветвистым потомством... Я-то считал! И вы увидите, сколько очков даст вперед маленький кролик. Причины? Их две: одна — скороспелость, плодовитость — другая. А плодовитость: как мухи, больше — как дрожжи! Ей богу!

— И сколько возни! — сказал старик раздраженно. — За этакой малостью, за каждым из них — сколько ухода! Типичное мелкобуржуазное... да, рукодель!

— А вы скорее поклонник крупной буржуазии? — сязвил партизан. — Но только-что это все враки. Я так скажу, откровенно: я сторонник разведения кроликов больше на воле. Взять те же «Родники». Правда, что племенное хозяйство, но все-таки денег туда сыпнули чрезмерно. Тут не должно бы, если о запахах речь, не только-что миллиончиком пахнуть, но и тысячами простенькие должны итти доскулей. Районировать надо. Есть же у нас Украина — простор! Есть у нас Северный Кавказ, Казакстан... Ну, Нижняя Волга, Азов, Пятигорск. Какие там степи! В простых блиндажах, да и как отлично в Пятигорском районе — по два рублика на голову! Да и всего-то, в естественных условиях, от силы 5—10 рублей всех капиталовложений, а у нас — есть пример! — до 400! Вот это, пожалуй, действительно баловство. А у

нас дешевенький кролик на воле, это совсем не баловство, и никакой, короче, возни. Это женское дело, стариковское дело, ну — инвалидов, ребят.

Давно уже слушавшие два внимательных мальчика и одна вихрастая девочка, не забываясь частенько ковырнуть и свой вздернутый носик, и бывшая больше, пожалуй, мальчонком, чем те два вместе взятые, — все они подвижно коротенькой стенкой придвинулись ближе к рассказчику.

— Не забывайте, Германия продержалась во время войны на кролике да на свинье, а дома-то кто оставался? Такие вот, да и поменьше. И ели, и одевались. Кролик — в амбаре и в бане. А то так и на чердаке. Но самое лучшее конечно на воле. Вы говорите: уход! Уход небольшой. Ну, скажем, остров речной. Триста-четыреста самок, сорок-шестьдесят самцов. Не надо гвоздей, ни стекла, ни сеток, ни железа, ни дерева. Все это денежки, и все это рабочие руки. А обслуживать? Норы свои он обслужит и сам. Корм по преимуществу естественный, время от времени немного овса. Будка и сторож, и все. А что до детишек, так вы поглядите на них! И я вам скажу, если скворцов охраняют, бывает день птицы и прочее, то почему ни одной даже нет детской книжки о кроликах? Все о рождественских зайцах!

— Мы рождественских зайцев тоже не знаем, — баском ответила девочка, и все засмеялись.

— А между тем для детишек, для пионеров, среди которых растут и будущие животноводы, — кролики, знаете что? Это, я вам скажу, первая ступень животноводства. И не барство, и не бава, и не буржуазно. Буржуазные кролики — там! — Он махнул рукой далеко за Москву. — Кролик поможет изжить мясной наш кризис и даст превосходное мясо, в первую очередь детям, санаториям, больницам; кролик нам сохраняет пушные богатства; кролик дает нам валюту; кролик и нашим ребятам даст шапочки, мех; кролик научит их полюбить и животное, и разумный уход за животным. Вы, гражданин, сердиты на кроликов с какою-то заднею мысляю.

Я выходил на Удельной. Вместе со мною сошел и седой человек в золотых

очках. Он что-то глухо, сам для себя, подборматывал. Неужели и он в «Родники»? Но каково было мое удивление, когда я увидел, как он, воспользовавшись минутною остановкой, с неожиданной резвостью пробежал по откосу и вскочил в другой вагон, подальше от нашего. Это было настоящее бегство, свидетельствовавшее о том, что диспут о кролике был им проигран.

Так я и не узнал, кто был гот сибиряк. По магистрали есть несколько пунктов; где именно он обретался, мне установить не удалось. Надеюсь, что если случайно ему попадут эти строки, он не будет в претензии и не найдет свой беглый портрет слишком искаженным. Но главное дело и не в портрете рассказчика, а в тех широких мазках, которыми он набросал основные черты кролиководства и народнохозяйственное его значение. Настоящая вера, разве чуть только сдобренная размашистым жестом этой широкой сибирской натуры, была и приятна, и убедительна. Другое дело — конкретные данные, которые он давал. Я считал их необходимым проверить, и оказалось: с подлинным верно.

Если однако же в чем и погрешил — в понятном своем увлечении — дорожный мой спутник, то это конечно по части легкости ухода. Я и сам вел о кроликах не одну и не две беседы как в племенном их рассаднике, тех самых «Родниках», куда я в тот день направился и где бывал не только осенью 1931, но и весной 1932 года, так и с отдельными специалистами и знатоками этого дела. Верно, что кролик неприхотлив, но также верно и то, что настоящего толку при массовом разведении кроликов можно добиться, лишь уделив этому большому делу с маленьким зверком пристальное и деловое внимание и проявив крепкую настойчивость в раз решении целого ряда весьма существенных «мелочей».

Домашний кролик все же хранит некоторые черты своего дикого предка и весьма благодарно отзывается на всякое приближение хозяйственных условий к тем первобытным, которые еще поют у него в крови; и напротив того, на самый, казалось бы, лучший уход

отвечает порою прямыми заболеваниями.

Кролик любит сухие, немного холмистые местности, с оврагами и низким кустарником. Это для кролика конечно не его любимый «пейзаж»; этот ландшафт связан с самыми основными узлами его физиологического бытия: ему нужен подходящий рельеф для того, чтобы рыть свои норы с удобными выходами в разные стороны, ему дорог кустарник, потому что, он позволяет выходить из норы почти незаметно, хотя настоящую жизнь он ведет только ночью. Кролик любит простор и движение, бегает он хоть не быстрее, но лукавее зайца; этой привычкой к движению, спутником настоящей крепости и здоровья, также нельзя пренебрегать. Лучшие почвы для кролика, это прежде всего почвы сухие; иначе сказать, московские суглинки с медленной их высыхаемостью для кролика отнюдь не благоприятны.

И вот уже из одного этого краткого очерка физиологического режима кролика выясняются основные проблемы кролиководства: вопрос о районировании основных массивов кролиководческих хозяйств и вопрос о выборе направления этих хозяйств: кролик на воле или кролик в клетке.

Превосходный, но и действительно дорогой совхоз «Родники», перешедший теперь в ведение Московского городского сельскохозяйственного треста и сданный последним в аренду Наркомзему РСФСР, организовавшему там первый Научный кролиководческий институт пожалуй, именно только в этом последнем своем качестве должен оправдать произведенные на него затраты: наука себя окупает! Впрочем нужно сказать, что и подбор пород в «Родниках» богат, и есть превосходные экземпляры, потомству которых от души надо пожелать «плодиться и множиться»...

Когда по «улицам» целого этого кроличьего городка переходишь от одного домика-клетки к другому и на тебя глядят опалово-розовые влажные глаза, а пушистая шерсть именно-что «мерцает», как удачно выразилась женщина в вагоне, кажется, что попал на огромную выставку, а не то, так даже и в некое кроличье государство, безмолвное, деловитое, неторопливо поше-

величающее то можнатыми, то почти вовсе прозрачными ушами и не без достоинства взирающее на человека... Кругом тишина. Высокие, уцелевшие деревья посреди свежих пней и чистеньких этих построек кажутся преувеличенно опромными и откуда-то, почти с облаков, покровительственно колыхают своими иглистыми кронами: обычный подмосковный пейзаж становится почти экзотическим от присутствия этого множества иностранных гостей. У каждого из них беленький паспорт на клетке, отмечающий основные моменты их биографии, учитывающий главным образом сроки появления на свет будущего потомства; еще осенью 1930 года, когда хозяйство было в системе «Всекоопхоза», в «Родниках» числилось около двух тысяч самок, теперь же их уже около трех тысяч!

Если считать средний приплод в двенадцать штук, то тридцать шесть тысяч приплода, который предстоит вскормить и воспитать, будет уже весьма значительно превышать ту среднюю, наиболее выгодную норму крупного кролиководческого хозяйства, которая теперь устанавливается, а именно в десять-пятнадцать тысяч голов. А ведь тут же поблизости расположены и еще два крупнейших хозяйства: Ильинское и Кленово-Чегодаево, в котором уже и в прошлую осень было пять тысяч самок.

Один из специалистов-кролиководов, работающий в этой области уже восемнадцать лет и тонко разбирающийся в деле, выражал мне сомнение в целесообразности такой тесной концентрации крупнейших кролиководческих хозяйств в непосредственной близости с Москвой. Помимо отмеченных мною ранее неблагоприятных почвенных условий (значительная сырость), такое крупное хозяйство, как «Родники», живет на всем привозном, у него нет своей кормовой базы. А между тем другие основные районы кролиководства—Украина, Северный Кавказ, Казакстан—все еще только ждут крупных своих образцовых хозяйств.

В «Родниках» строительство тепляков, выглядывающих уже настоящими большими постройками, проведено с большим размахом. Это настоящие теплые зимние квартиры для кроликов с большим количеством света и воздуха.

Кролик однако не боится морозов. К тому, что рассказывал вагонный мой кроликовод о Сибири, можно добавить еще, что уже года три назад кролики обосновались даже в Туруханском крае, а в 1931 году добрались и к Полярному кругу—в порт Игарку.

Как правило, кролик способен зимовать и без тепляков. Больше того, морозы способствуют пышности и крепости шкурки. Тут подчас происходят и небольшие семейные трагедии. Сосунки присосутся к матери, ей станет наконец невмочь, и рывком из теплого согретого гнезда она выкинется на улицу вместе с малышами... В гнезде было, скажем, пятнадцать тепла, на улице десять мороза. Но таких замерзших малюток все-таки можно еще спасти: их отогревают в руках, тормошат, и помаленьку они оживают и начинают пищать; семейная трагедия сведена к эпизоду: будет чем вспомнить раннее детство!

Материнские инстинкты у кроликов высоко развиты (не как у зайчих): молодая мать выщипывает с груди самый нежный пух и выстилает им гнездо для детенышей; приводят примеры, когда одна самка кормит детей почему-либо отоцдавшей соседки... Но зато известны и случаи так называемого кроличьего каннибальства: пожирания детей. На одном паспорте, прибитом гвоздиком к клетке, я увидел такую например арифметику: $5 + 1$ (с'еденный). Выражение материнской мордочки было вполне невинным, но за подобными эксцессами при подборе хорошего стада необходимо строжайше следить, ибо этот порок почти неизлечим.

Трудности кролиководства сводятся прежде всего к самой системе их разведения. Дело это у нас еще вовсе новое. Ближе стали к нему подходить только с 1926—27 года. Взять хотя бы постройку. Для коровника есть строго выработанный основной тип; для утепленного крольчатника такого основного типа в сущности еще не выработано. О типе самой клетки, пожалуй, уже есть оговоренность. Больше того, есть интересные нововведения; такова конструкция клетки-садка Б. А. Звонникова, где предусмотрено особое гнездовое отделение, защищенное от ветра и холода, что особенно важно при первых окролах ранней весной и при поздних холодных

осенью. Иногда делают большие клетки на 5—6 голов, но кролики в этих уплотненных квартирах уживаются неважно, как самки, так и самцы; самки покушаются друг друга, начинают трепать, а самцы нередко вступают в настоящие бои.

Большие крольчатники устраиваются примерно на целую сотню клеток, и «кроличий завод» работает круглый год: воспитывается молодняк, при чем немного его закаляют в большей прохладе. И однако же при содержании в клетках кролики значительно больше подвергаются заболеваниям.

При осеннем моем посещении «Родников» больных гнойным насморком было едва ли не целая треть всего живья. Правда, что иностранные гости, переселившиеся к нам, были еще и заморскими гостями, ибо они прибыли к нам из Германии по морю. Избыточность влаги, простуда, смена температур, все это порождало болезнь: путешественники чихали и заражали друг друга. Очень живо, по рассказу т. Цалкина, бывшего технического директора «Родников», можно было представить это прибытие знатных иностранцев на их новую родину.

Поздняя осень сомкнулась с наступавшей зимой: одна партия прибыла на телегах, другая уже на санях. Вселение на бывшую купеческую территорию новых советских зверков совершилось глухою ночью. Кролик—ночное животное, ему и полагалось не спать, но бодрствовали и встречавшие люди, все население кроличьего городка. Разгрузка шла от одиннадцати вечера до четырех утра. На свежем снегу валялась солома, рассыпан был корм. Десять подвод совершали свои ночные рейсы со станции Быково и обратно.

Передохнув, люди и кролики на следующий день познакомились ближе: началась отборка по экстерьеру, по здоровью. Не все были благополучны, и не все соответствовали кондициям. Кое-кого из путешественников следовало бы, строго говоря, и вернуть. Тяжело больных пришлось изолировать, некоторое число вовсе выпало из кадров производителей. К радости открытия племенного хозяйства примешивалась и известная доля горечи и беспокойства, как бы уберечь и вполне здоровых.

Кроме гнойного насморка, вторую серьезной болезнью, настоящим бичом, является кокцидиоз, вызываемый паразитом, поражающим кишечник; при микроскопическом исследовании паразит этот хорошо обнаруживается, и я наблюдал несколько свежих экземпляров в кроличьей больнице-амбулатории. Болезнь эта является очень распространенной: едва ли не две трети подвергаются ей. В резких формах, особенно у молодняка, она нередко кончается смертью. Коренных мер борьбы с кокцидиозом еще не найдено.

Амбулатория в «Родниках» велика, светла, обставлена хорошо. На высоко подвешенных проволоках бегают злые собаки, и проникнуть туда не легко. Похоже на уединенную охотничью факторию в диком лесу.

Если бы кролик мог туда попасть так же, как я, и на досуге, не торопясь, все оглядеть, невеселые мысли должны бы его охватить.

Был вероятно обеденный час. На позывы мои никто не отзывался, и пришлось рискнуть войти одному в этот заброшенный домик, охраняемый очень усердными и громкоголосыми сторожами. Погладив вскинутую на непрошеного гостя оскаленную собачью башку, я вступил с этим четвероногим в отношения, вполне удовлетворительные, и с облегченным сердцем приотворил маленькую боковую дверь. Солнце заливало комнату, похожую на библиотеку, покинутую читателями. Было пусто, безмолвно. Золотые пылинки стояли в лучах почти недвижимо.

Но это конечно была не библиотека, не американские полированные книжные ящички — один над другим; это были все те же кроличьи клетки, сквозь решетки которых глянули на меня истории жизни, еще не написанные по образу толстовского «Холстомера». Это не только амбулатория, но и больница, изолятор. Наохлившись, сидели драгоценные породистые самки и чуть поводили ресницами; обычно подвижная, непрестанно что-то обнюхивающая их мордочка складывалась невесело. Я заглянул через комнату — такая же вторая «палата».

Собственно амбулатория и комната для научных занятий так же были пусты. Столы и шкафы, склянки и реак-

тивы, весы, операционный столик и инструменты, и за стеклом кроличий вытянутый в длину тонконогий скелет с преувеличенно большой головой, напоминающий странным образом общих наших пращуров: обстановка настоящего анатомического театра и обычной аптеки; впрочем и не совсем обычной, над всеми другими снабдениями господствует сильно пахучий хлор, которым лечат кроличий насморк.

Хорошие сторожевые собаки еще могут впустить незнакомца в жилище, но зато никак уж не выпустят без хозяина, — это я знал хорошо и приготовился ждать. Неясный шорох скоро дал мне знать, что я уже не наедине с кроличьим печально изогнутым скелетом. В одной из палат была санитарка, дежурившая в амбулатории и отлучавшаяся за кормом для больных. Их всего две, они служат и обучаются, позже я видел их и за микроскопом. Скоро появился и врач, с которым мы и вступили в беседу.

Процент падежа однако еще велик — до сорока вместо нормы в двадцать пять (по моему ощущению и эта норма довольно-таки высока). Однако же надо принять во внимание, что привезенным к нам квалифицированным кадрам (что всегда связано с некоторою изнеженностью) надо было еще приспособляться к новой обстановке, акклиматизироваться. Даже в обычных условиях первые год-полтора проходят, собственно говоря, в работе по настоящему подбору стада: большая и кропотливая работа, очень ответственная и важная, на которой и должен держать экзамен каждый хозяйственник; при этом приобретаются и нужные навыки, которыми были так сильны, не взирая на всю кустарщину любительского разведения, старые кролиководы. Как и во всяком деле, внимательное отношение к материалу, конкретное его изучение и учет всей хозяйственной обстановки со строго обдуманым ее приспособлением к поставленным задачам, — только это овладение кажущимися «мелочами» и может дать надлежащий эффект.

— Все надо видеть и примечать! — говорил мне один опытный практик. — Самочка плоха или очень хладнокровна — из'ять! Хороший самец — не жалко, бывало, любой цены! А если не са-

мого, то хоть за сыном за удачным его поохотиться! Случаи каннибальства — тоже надо следить, никак не допускать.

И таких конкретностей немало. А всякая неудача — не только есть неудача сама по себе, но она отбивает охоту и у окружающих. И обратно: каждый минус, переправленный на плюс, не только уничтожает одну конкретную ошибку и порождает одно удачное дело, а создает условия для подражания с такими же положительными результатами.

Кролики между прочим весьма пунктуальны и аккуратны, в частности очень чувствуют время, т.-е. не только день, когда они за решеткой греются на солнышке, и ночь, когда и в клетке им грезится, что они выбегают на волю и расправляют занемевшие мускулы ног, — они чувствительны даже к часам, и по их привычкам хоть проверяй настоящие часы: кормежку пожалуйте мину-та в минуту! При самом небольшом промедлении они уже выражают беспокойство и самую настойчивую требовательность. Поэтому в «Родниках» расписание их «трудового» дня соблюдается с большой пунктуальностью и начинается в семь часов утра так же, как и у людей, — только не с чая или кофе, а с простой чистой воды.

Обычное их меню, распределенное опять-таки строго по часам, состоит в основном из овса, жмыхов, отрубей и сена, иногда оно разнообразится корнеплодами, картофелем, чечевицей, горохом; кормящим матерям дается побольше.

Когда от больных возвращаешься снова к здоровым, охватывает ощущение какой-то суммарной, тихой, но деятельной жизни, совершаемой непрерывно. Тепляки еще пусты. Их внутренние «небоскребы» из клеток в три этажа еще ждут первых морозов. Весело блещит на жиденьком осеннем солнце свежая драмка: наружные клетки, приподнятые на столбах; кормушечки; ясли для сена. И за этой драмкой, овеваемое ветром, идет великое пищеварение, наполняющее пространство тихим, но уловимым для уха шевелением и шорохом: один из основных, но здесь главенствующих процессов всякого бытия.

Проходишь еще и еще по рядам кроличьего городка: какое разнообразие

форм при едином их замысле, какое богатство цветов и оттенков у этого сплоченного и цельного коллектива!

Черная, блестящая и искрящаяся Аляска; немецкие горностаевые с розовыми ушами и голубо-сизые венские (вдвое больше обычного «труса», и мех носится в натуральном виде); немецкие же, так называемые «бараны» (действительно напоминают комолых баранов: беспросветные буржуа, которым вместо воды наверно можно дать кружку густого холодного пива); «белые великаны», достигающие до пяти-шести с половиной кило, кажется, родом фламандцы (для более южной полосы); темнокоричневые (цвет с глубиной) — гаванны; серо-голубая шампань (самка линяет уже, а детеныши черные); и наконец — знаменитые и драгоценные рексы: темнокоричневые рексы, боброрексы (экспорт), белые рексы, шеншилловые рексы... У всех номерки: уши татуированы.

Основными породами являются венские голубые и шеншилла. По рексам ведется в хозяйстве особая научно-практическая работа по укреплению их конституции. Но и вообще по селекции ведется большая работа, так как не весь импортный материал оказался достаточно чистопородным. Работы велись в «Родниках» (уже и тогда хозяйство с научным уклоном) специальным селекционером-генетиком. О других научных проблемах в кролиководческой области, которые ставились в «Родниках» еще осенью, удобнее будет сказать при описании весенних посещений тех же самых «Родников», но уже поднявшихся на новую ступень и ставших Научно-Исследовательским институтом по кролиководству. Научный характер «Родников» сказывался также и в том, что в течение зимы там проводились курсы по кролиководству, поставленные довольно широко и привлекавшие учащихся со всех концов Союза.

Таким образом это лесное местечко, оправдывавшее доселе свое название только тем, что оно действительно изобилует родниками свежей воды, наполнило теперь это наименование и другим содержанием. Здесь действительно открылись живые и пульсирующие «родники» нового важного дела, которое должно получить самое широкое рас-

пространение и послужить образованию как новых крупных промышленных предприятий, так и разлиться по своеобразным «арыкам» на широчайшую площадь колхозных хозяйств.

Безусловно правильна мысль, что таких центров должно быть и еще несколько: в Сибири, на Украине, на Северном Кавказе, Нижней Волге, в Казахстане. Это даст возможность создать значительно большие кадры знающих работников в этой области хозяйства, уменьшить затраты на их обучение, сделать самое это обучение гораздо более конкретным и теснее связанным с местными условиями и наконец — что может быть особенно важно — создаст устойчивую племенную базу применительно к условиям именно данной местности и к типу местного хозяйства. Таким образом и самый основной спор — о кролике на воле и кролике в клетке — из области общих положений будет выведен на широкое поле практического соревнования обеих систем, и очень может быть, что обе системы окажутся хороши, но всякая на своем месте. Не исключена возможность и промежуточных хозяйств, где практика найдет сочетание лучших сторон обеих систем и нейтрализует их слабые пункты.



Кролики разбудили во мне множество детских воспоминаний, связанных с одним моим товарищем детства, сыном сторожа на будке у переезда по линии Московско-Курской железной дороги; для него же не только детство, но и вся его дальнейшая жизнь оказалась тесно связанной именно с кроликами. Но тогда я не знал еще, что весной этого года при моих посещениях Института кролиководства в «Родниках» этот человек потребует себе определенного места в моем очерке о кроликах. Теперь же мне ясно, что ему необходимо дать это место на ряду с теми двумя моими спутниками в поезде, с которыми мы познакомились в самом начале.

Маленький Степа был огненно-рыжий и имел непокорный вихор. Пальцы его всегда были в земле, он непрестанно в ней рылся и думал только конкретно. Я помню, мы вместе зубрили стишок, в котором были такие две строчки: «И зеленеет ближний лес. — Христос воск-

рес! Христос воскрес!». Это было выше его сил. Он упрямо наклонял свой узенький нос, похожий на штопор, и твердил с особою настойчивостью: «И зеленеет ближний сад.—Христос воскрес! Христос воскрес!»

Дело объяснялось очень просто: леса поблизости не было, а маленький садик действительно около будки был, и каждую весну действительно зеленел именно он—вопреки рифме.

Степанин отец пренебрегал на своем железнодорожном посту долгие годы и развел настоящее карликовое хозяйство, лучшим украшением которого были шесть деревьев сливы, именовавшихся садом. Еще задолго до того, как бывший департамент земледелия стал назначать кролиководство по линиям железных дорог, Кирилл Ильич Худолеев, прослышав откуда-то о неприхотливости кроликов, достал двух самочек и самца, под шпалами вырыл им норку и пустил их туда, предоставив в полное пользование полосу отчуждения. Кролики там обжились, расширили логово и, по наблюдениям Кирилла, особенно любили лакомиться на утренней зорьке корешками цикория и стеблем одуванчика.

Из полузабавы выросло это дело для Худолеевых в хозяйственное подспорье, и в ближайшие годы, по осени, Кирилл «собирал урожай» до семидесяти—девяноста штук. Впрочем это больше было похоже на настоящую охоту: кусочек Австралии! Железнодорожный чин вооружался длинной палкой, на конце прилаживал петлю и вырыл этим оружием в норы, число которых сильно к тому времени возросло. Выловленных кроликов кидал он без церемонии за уши в особую яму, специально для того приготовленную, откуда они не могли бы выбраться, и потом распродавал на базаре. Кролики его вошли в настоящую славу. Но слава эта и благополучие завершилось, почти диалектически, крахом. Кусочек южного материка с одичавшим кроличьим населением стал беспокоить крестьян.

Кролики стали выходить из пределов полосы отчуждения и отправляться целыми ночными стайками на соседние огороды и поля. Пострадал даже и знаменитый, воспетый в измененных стихах худолеевский сад. Владелец его, думавший сначала заставить стихию

войти в берега, занервничал и истребил все поголовье.

Для маленького Степы это было настоящей трагедией. Кролики были его подлинной страстью.

Он тогда учился уже в мценском городском училище: шесть рублей на всем готовом—чай в прикуску крохотными кусочками, спать на сундучке, подметать в очередь пол. Городок в те времена представлял собою подобие некоего пористого тела, исполненного ничем незаполненных пустот бытия. А так как природа пустоты не терпит, то обыватели были обуреваемы тучами мелких страстей: карты и водочка; гитара и бала-лайка; шарканье по узеньким аллеям городского сада, где корневища деревьев разостлали свои кружевные коварные половички, в темноте небезопасные; плетение настоящих (и отличных!) кружев—с цветными подушечками, истыканными булавками, и перезвоном бирюлек; коллекционирование марок—суррогат путешествия в дальние страны; голуби—целые эскадрильи под облаками; певчие птицы—суший оркестр; ко всему этому богатому ассортименту Степан Худолеев добавил—«кролей»! Он и тогда уже без знакомства ухитрился добывать себе редкие экземпляры.

Из его дорогой коллекции только малая часть—те, что были с ним в городе,—уцелели от гомерического безумия отца. Но зато он уже с ними не расставался. Про него ходили рассказы, похожие на анекдоты, о том, как он выкармливал сам, давая молоко изо рта, тех лишних детенышей, которых не могла прокормить мать.

Жизни дальнейшей его, очень изломанной и известной мне лишь кусочками, неизменно сопутствовал этот зверок. Кто-то из общих товарищей однажды мне сообщил, что Степан женат, но бездетен и всю нежность свою отдает разводимым им кроликам, что будто бы даже какой-то злой язык окрестил его по этому поводу «кроличьим вотчимом», и кличка эта к нему привилась...

Я знал про Степана еще, что он жил на юге и, потеряв жену, скитался из города в город и из поселка в поселок. Он считал себя крепко обиженным жизнью и ругал одинаково всякую власть, которая мешала ему в разведении кро-

ликов. А так как в те годы никакой из властей, сменявших одна другую, не было, да и не могло быть ни малейшего дела до этих зверков, то он ругал одинаково всех. В мелких своих собственнических инстинктах, смешанных впрочем с некоторою долей культуртрегерства, был непрерывно он оскорбляем. За последние годы следы его вовсе затерялись, и последнее смутное сведение гласило так: Степан Худолеев—в дом-таке. За что неизвестно. Неужели все-таки за кроликов?

Разгадка пришла ко мне этой весной.

Новый Научно-Исследовательский институт кролиководства, расположившийся в «Родниках», организован коллегией Наркомзема РСФСР и входит в систему института Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. Ленина. Задачи института весьма обширны. На нем лежит разработка вопросов кормления и ухода за кроликами, вопросы их содержания и разведения, метизации и улучшения беспородного кролика, вопросы всестороннего использования продукции кролиководства (мяса, кожи, меха, пуха, шерсти и промышленных отходов кролиководства).

На институт возложена также задача подготовки кадров в области кролиководства. В текущем году предполагено пропустить через эти курсы и подготовить специалистов различной квалификации до 2.000 человек. Нужно сказать, что курсы проводились уже и в течение минувшей зимы, еще до образования института, но число слушателей было значительно меньше. До 1 января через них прошло около 50 человек; в настоящее время на курсах уже около 150 человек. Изменился и самый состав. В первой очереди готовились работники главным образом транспортной кооперации и других кооперативных хозяйств, теперь готовятся районные инструктора для колхозной системы.

Очень важно, что в ближайшее время институт предполагает организовать сеть опорных пунктов в основных районах кролиководства (Северный Кавказ, Нижняя Волга, Украина, Западная Сибирь). Вместе с тем как задача особой важности на институт возложена разработка мероприятий по использованию

пустующих и мало пригодных для сельского хозяйства пространств для нужд кролиководства. Сюда относятся острова, горы, ущелья и т. п. В первую очередь институту передаются 34 острова в районе Вышнего Волочка, общию площадью около 500 га. Там будет развернуто племенное кролиководство в условиях вольного воспитания.

Результаты прошлого года оказались не блестящими. Хозяйство дало довольно крупный убыток, а падеж достиг до совершенно недопустимых размеров: две трети поголовья погибло. Объясняется это в значительной мере чрезвычайно сильной зараженностью стада. Однако же сейчас падеж решительно сократился. Что же касается хозяйственно-финансовой стороны, то имеется задание снизить себестоимость кролика с 45 рублей втрое: до 14 р. 31 к. (К слову сказать, эта точность в расчетах вперед на целый год до одной копейки всегда немного смущает!)

— Удастся ли это?—спросил я с невольным сомнением.

— А вот увидите! — оптимистически и очень бодро ответил мне ответственный работник института.

Нарочно это записываю, чтобы порадоваться, когда удастся.

По отношению к содержанию в тепляках произошел, кажется, некоторый сдвиг: из тепляков—в наружные клетки! (Кстати: возле амбулатории исчезли собаки! Одна из них добралась до кроликов, подняла головой неприбитый досками пол и придушила 35 штук!

Этого нельзя было стерпеть.) В борьбе с заболеваниями ведутся очень интересные опыты по обеззараживанию навоза. Но наиболее интересная научная работа, пока вообще лишь налаживаемая, намечается, как кажется, в секторе исследований по кормлению.

Основную задачу этого сектора, пожалуй, можно определить, как изыскание новых недефицитных кормов.

Дело в том, что в зиму 1930—1931 года обнаружилась сильная недостача концентрированных кормов и сена, что создало очень тяжелое положение, а местами и значительное сокращение кроличьего поголовья. Институт включил в поле своего зрения целый ряд новых культур, из которых особенно следует отметить земляную грушу (топинам-

бур) и сою. Оба эти корма как раз очень богаты ценнейшим белком. Кроме того, в заботе о витаминах выдвигается желательность проращивания овса и дача его хотя бы в самых минимальных размерах.

Очень любопытно, что тот корм, которым обычно пренебрегают, — древесное сено, — является, напротив того, весьма ценным кормом для кроликов. На этом примере можно установить, как важно считаться с проявлением естественных наклонностей животных: недаром кролик любит глотать древесную кору, — он ищет там витаминов!

По питательности древесные листья и ветки, во-время заготовленные, превосходят такие первоклассные травы, как клевер, тимофеевка, люцерна. Особенно богаты белком тонкие ветки, заготовленные зимой. Существует предположение о введении в рацион простой соломы после обработки ее щелочью.

Кролик оказывается вовсе не таким неразборчивым к пище. Он не ест гнилого сена, и у него есть свои излюбленные травы, он ценит горечь полыни и одуванчика, его манит млечный сок растений и привлекает корневая шейка цикория. Невольно, слушая ученые рассуждения на тему, чего он там ищет, я вспоминал старика Худолева и его наблюдения...

И не только кролик разборчив, он и количественно поглощает много кормов. Здесь оправдывается известное наблюдение, что чем больше поверхность животного, тем меньше требуется корма на единицу этой поверхности. Этому закона не знал ядовитый оппонент моего сибиряка, а как раз по сравнению с коровой кролик поедает относительно в три раза больше.

Совершенно особняком стоит любопытнейший вопрос о подкормке крольчат. Оказывается, что, как правило, самка кролика производит на свет больше потомства, чем может его прокормить. Кто от природы слаб и склонен к вымиранию, тот особенно щедр на потомство и производит его даже с избытком, чтобы выжили только сильнейшие. Среднее количество детей у крольчихи около восьми штук, а между тем у нее хотя и восемь сосков, но два передних лишь очень слабо развиты, и вообще хорошо выкормить материнским молоком можно

лишь четырех, ну пять маленьких кроликов. Как быть с остальными? (Интересно между прочим, что в овцеводстве добились увеличения числа сосков!)

Отбирают обычно тех, что посильней (приглядевшись за два-три дня), а остальных отнимают, и они погибают.

В квартире у одного из научных сотрудников института, около моей шляпы, положенной на сундучке, лежат корбочки с сероватым характерным пухом. Рука хозяйина протягивается к ним, корбочка на столе, пух разворачивается, и я вижу копошащиеся маленькие тельца, слепые и почти вовсе голые: чуть розоватые, белые, серые, черные. В хозяйстве как раз идет окрол, и это отверженные. Молодая женщина ухаживает за ними, ночью встает и кормит... (Я вспомнил Степана.)

Чем же подкармливать их и как это делать? О коровьем молоке существует разногласие: можно, нельзя. Бесспорно одно, что по количеству белка коровье молоко значительно уступает кроличьему. И тут на сцену выступает опять соевое молоко. Но как кормить? Из пипетки — трудно, крошечный ротик отказывается с нею совладать. Микроскопическую надо бы сосочку? «Кошку бы что ль приспособить?» И возникает проблема.

И еще одно для меня было новостью: кроличья самка способна быть дважды беременной — одновременно. И случаи эти, как говорят, даже не столь редки, и с ними приходится очень считаться в условиях вольного содержания кроликов. Самка носит 32 дня, и в середине первой беременности зачинает новое потомство: столь велик инстинкт размножения! И вот у первой порции лишь недавно открылись глаза, а уже на свет появляются новые слепенькие братья и сестры! Для матери это однако часто кончается смертью.

«Роднички» в эти дни были полны шевелящихся малышей. Еще не «зеленеет близкий лес», хотя и вот-вот зазеленеет, но пока еще вся только-что обнажившаяся земля сама как одна туго надувшаяся почка, а кроличья живность уже осуществляет весну. С весенней кампанией в этом году запоздали, но окрол идет хорошо.

Шевелятся не только кролики, но и

люди. В комнате заведующего фермой то-и-дело появляются отдельные научные работники, заведующий курсами, рабочие и работницы. Длинный список текущих вопросов на сегодняшний день покрывается пометками выполнений и распоряжений. Мелькает вопрос о премиальных и о вычетах за заболевания, происшедшие от несоблюдения чистоты (чистота для кроликов играет колоссальную роль!) или от какой-либо другой небрежности, или непредусмотрительности. В каждой бригаде: старшая кролятница, младшая кролятница, чистильщица, кормилица. Бригады на хозрасчете. В каждой из них пятьсот животных: 428 самок и 72 самца. Опытные животные отдельно, и при них особое ответственное лицо из кролятниц.

— Нет. Курсантов к опытным нельзя. Это так нервнирует молодых матерей, людская толчея, что они за день не присядут. Они у меня всех крольчат обьедят.

Кролик не только разборчив в еде, но у кролика—нервы, и он ценит покой.

В связи с тем, что у института скоро будет новое племенное хозяйство на островах, возникает все тот же вопрос о соотношении этих двух систем—на воле и в клетке. Предположения: не будет ли кролик мельчать? Могут сходить слишком молодые самцы и слишком молодые самки. Опасность двойных беременностей. Но—здоровье, движение, верный инстинкт в выборе пищи.

Одно из наиболее авторитетных мнений по этому поводу, услышанное мною в институте, гласит так. Кролик попал в клетку из гаренны (отгороженная определенная площадь), где он воспитывался в течение целых пятисот лет. Естественно, что клетка не может полностью удовлетворить его привычек. Но клетка технически более совершенна, хотя в ней и есть еще свои недостатки.

Вы говорите, что клетка изнеживает. Это вообще проблема домашних животных. Правильно, что кролику необходимо движение, но надо найти эти действительно необходимые ему движения, и вовсе необязательно предоставлять ему все то, что просто доставляет удовольствие самому кролику; это не наша задача. И вообще многие отрицательные стороны содержания в клетках

происходят не оттого, что виновата система, а оттого, что эта система недостаточно хорошо проводится в жизнь.

И все же следует обрадоваться, что молодой институт будет вести кроличье хозяйство и в клетке, и на воле. Живая практика этого дела несомненно даст ряд ценнейших наблюдений в этой области.



— Тут кролики? Тут учреждение? Высший кролиководческий институт?

Перед глазами, как при внезапном взмахе бинокля (видишь сначала, сообщаем потом), перед глазами: грязноватая приречная улочка, три окна за палисадником, покосившиеся друг к другу в тихой беседе, в самом палисаднике желтофиоль и «ноготки», на подоконниках фуксия и герань... Дальше не видишь, но уже обоняешь: кислый капустный душок в прохладных сенях, и аммиачный—в особом полутемном чуланчике... И видишь опять уже через запахи: остановившиеся розовые, чуть опалосцирующие глаза замороженного зверка и склоненную над ним рыжую голову с непокорным вихром... Степа! Степан Худолеев!

— Здравствуй, Степан!

Он не привстал, даже не шевельнулся, только глаза его неистово забегали в норках: точно чужой человек заглянул на этих умных пугливых зверков, не выцветавших ничуть!

Он не узнал меня, и долго не узнавал, а когда наконец догадался, то я услышал, как сумка звонко шлепнулась в ближайшую лужу: глаза мои были закрыты, как и всегда невольно сживается весь человек в медвежьих объятиях: «кроличий вотчим» был буен в проявлении чувств.

Изю всей нашей беседы, само собой разумеется, должен я взять только осколки.

— Ты забыл еще сумки и обувь... Это тоже ведь кролик! А клей? У нас позабыли, как его делать. Да и не умели совсем! А у меня в домзаке...

— Послушай, а почему же, собственно, этот... домзак?

— А потому! Там изумительные были личности между прочим... и я у одного взял рецепт отличного клея. Этому делу предстоит великое будущее!

И шнос, как и в детстве: штопором, штопором...

— Но это все пустяки! А двойная беременность! Шутки? Ты посчитай, какие можно взять темпы?

Уже, кажется, было бы уместно взглянуть на него с сожалением, но человеческое вдохновение всегда трогает; он был похож на рыжий костер на талой, еще немного обледенелой земле, сочетавшей серую сухую желтизну с полупрозрачною синевой.

— Они умирают, — однако же я возразил с осторожностью.

— Да, умирают. Но отчего, оттого, что им трудно кормить. А кормить им вовсе ненужно! То-есть конечно пусть кормит, но сколько не трудно, а остальных выкормлю я!

Я не успел еще испугаться буйного этого приступа сумасшествия, как он кинулся прочь, что-то покрывая себя про себя. На лице я почувствовал свежие брызги: он ринулся в лужу и схватил свою сумку. Он забыл про меня совершенно. Пряжки скрипели, ремни бороздили кончиками своих хвостов холодную воду, укороченное отражение его слилось, бежало куда-то и оставалось на месте: вероятно это было и точным отражением его душевного смятения.

Наконец он остановился удовлетворенно и обернулся ко мне, сразу все вспомнил.

— А накормлю все-таки я! Понимаешь, цела!

Это было его изобретение: прибор для кормления—для массового кормления маленьких крольчат; то самое, о чем я слушал часа полтора назад!

— И, понимаешь ты, как хорошо: институт! Ин-сти-тут! Теперь я отсюда... зачем мне идти? я никуда не уйду!

В конце нашего свидания я все же на правах старой дружбы прямо спросил про домзак.

Он ничего, кажется, в этом вопросе не ощутил щекотливого, и ответил прекрасно:

— Мне надоело сидеть в моей одинокой норе, и я пошел к людям. Я разводил там крольчатник. И вообще ведь полезно, и им хорошо. Им это очень хорошо.

Итак, он не сидел за кроликов, а был там и з-за них! Мы обнялись на прощанье.

— А тут—институт. Подумай: наука! На-у-ка!

Я не знаю, останется ли он в институте; я не знаю, удачно ли его изобретение и будет ли оно применяться. Но в дни, когда кролику повезло, когда газеты полны статей и заметок о кролике, а кооператоры-кролиководы и заготовщики пушнины попали даже под карандаш карикатуриста; в дни, когда московский завод «Серп и молот» организует свое кролиководческое хозяйство и вызывает последовать его примеру целый ряд других крупнейших заводов, из которых «Динамо» окликнулся уже на следующий день; когда в клубе рабкоров «Правды» созывается многолюдное совещание по вопросу «о развитии кролиководства в городе и рабочих поселках», а сама газета посвящает кролику передовую, я думаю, что и чудакватый приятель мой, вставший на путях этого очерка, не зря припомнил и еще одну подробность свою—о домзаке: «и это очень хорошо», и не зря практически поднял вопрос не об одном количественном увеличении кроличьего поголовья, но и об углублении самой работы с кроликами. Более чем спорна его мысль о «двойном урожае» с одной и той же самки, но вопрос о прокормлении излишнего потомства—вопрос уже очень существенный, в особенности если его сочетать с проектом использования сои для этой же самой цели.

А таких вопросов может оказаться по мере развития углубленной научной работы в области кролиководства немало. Это конечно прямое дело нового Научно-Исследовательского института, но если внимание к кроликам, как к одному из весьма важных звеньев в важнейшей проблеме животноводства в нашей стране, если это внимание кажется привлечено теперь основательно, то и работа самого института несомненно должна получить активную поддержку со стороны массовой творческой мысли.

За рубежом

САМУРАИ И БИРЖА

С. Гальперин

От побед к разорению

В наше время даже победоносные войны влекут за собою большие финансовые затруднения — или потому, что приходится погашать краткосрочные и всякие иные обязательства, заключенные во время военных действий, или потому, что многие государства позволяют после войны вовлечь себя в крупные расходы социального характера. Обе эти причины действовали в Японии, но ее послевоенные трудности, большие, чем в какой-либо другой стране, вызывались третьей причиной, свойственной именно этой «Империи восходящего солнца», а именно: начиная с 1895 г., каждая война, выигранная Японией, вместо того, чтобы обеспечить ей известный период мира, вызывала у нее ожидания или опасения новой, еще более крупной войны».

Так начинает свою статью о финансах Японии проф. Андреадес, автор известной книги «История Английского банка», преподававший в течение нескольких лет финансовое право в Токийском университете. И надо признать, что в статье этой, помещенной в апрельском номере американского журнала «Foreign Affairs», ему удалось собрать достаточно данных в подтверждение приведенного выше своего тезиса.

С чисто политической точки зрения не может быть никакого сомнения в том, что все японские захваты в Китае были такого рода, что неизбежно заключали в себе зародыш новой войны. По Симоносекскому миру, которым завершилась японо-китайская война 1895

года, Япония добилась «независимости» Кореи и уступки ей острова Формозы, Пескадорских островов и Ляодунского полуострова в южной Манчжурии. Но под давлением России, Франции и Германии японским империалистам пришлось отказаться от Ляодунского полуострова, а значит и от проникновения на материк (Корея формально считалась еще независимой). А последовавшее в 1896 г. допущение России к постройке Восточно-Китайской жел. дороги с предоставлением ей права держать свои войска в полосе отчуждения КВЖД и уступка России в 1898 г. Порт-Артура с прилегающей частью Ляодунского полуострова сводили к нулю надежды Японии на овладение Манчжурией и закрепление за нею Кореи.

Вспыхнувшая в 1904 г. война с Россией неизбежно вытекала из неудовлетворенных стремлений японского империализма к проникновению на материк. Война была Японией выиграна, но Портсмутский мир далеко не полностью обеспечил захватнические стремления Японии. Правда, она получила Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и южную часть Восточнокитайской жел. д., но Россия сохранила свои права на всю остальную часть КВЖД, а за Китаем был сохранен суверенитет над всей Манчжурией как Северной, так и Южной.

За этим последовала в 1910 г. аннексия Кореи, и в 1915 г., — во время мировой войны, — предъявление Китаю знаменитых 21 требования, которые ставили весь Китай в зависимость от Японии и фактически превращали

Манчжурию в японскую колонию. Под влиянием антияпонского бойкота и вмешательства САСШ Японии пришлось отказаться от большинства своих требований, но она фактически добилась преобладающего положения в Южной Манчжурии.

С течением времени однако и этот успех оказался непрочным. Бывший хунхуз Чжан Цзо-лин, союзник Японии во время русско-японской войны 1904—1905 г. и полавший благодаря ее поддержке сначала в «генералы», а затем и в правители всей Манчжурии, в течение ряда лет помогал Японии в ее проникновении в Манчжурию, получая взамен от Японии помощь в борьбе с центральным китайским правительством, от которого он зависел только номинально. Но по мере экономического роста Манчжурии, массового переселения туда крестьян из Северного и Центрального Китая, в Манчжурии создавалась местная буржуазия, для которой японский капитал был уже не союзником, а соперником. Экономически это выразилось в постройке китайских жел. дорог в Манчжурии, конкурирующих с принадлежащей Японии Южноманчжурской жел. дорогой, а политически — в тенденции к сближению с центральным китайским правительством против Японии и ориентировке на финансовую помощь американского капитала. Сотрудничество Чжан Сюэ-ляна с Чан Кай-ши и признание нанкинского правительства Америкой и Англией, усилившаяся экспансия американского капитала в Китае и Манчжурии — все это ставило под угрозу успехи, достигнутые японским империализмом в Манчжурии. Начатая в сентябре 1931 г., в момент величайшего мирового кризиса, японская авантюра в Манчжурии знаменовала решимость Японии мечом разрешить в свою пользу вопрос об окончательном овладении Манчжурией.

Как же отразилась эта последовательная цепь завоевательных актов японского империализма на финансовом положении Японии?

Промежуток между японо-китайской войной 1895 г. и русско-японской войной 1904—1905 г. ознаменовался ростом военных расходов по ординарному бюджету Японии с 12.402.000 иен в

1894 г. до 60.865.000 иен в 1903—1904 г. Кроме того, экстраординарные расходы на вооружения составили за время с 1896 по 1904 г. 421.440.000 иен, значительно превысив полученную с Китая контрибуцию в 365½ млн. иен. Немудрено, что государственный долг Японии возрос за это время с 295,8 млн. иен до 552,2 млн. иен, значительно увеличив налоговое бремя трудящихся масс Японии.

Победоносная война с Россией не только не ослабила роста военных расходов, но, наоборот, привела к их дальнейшему увеличению. Достаточно указать, что японский доходный бюджет (иначе говоря налоговое обложение населения) увеличился с 297 млн. иен в 1902—1903 г. (накануне русско-японской войны) до 687 млн. иен в 1912—1913 г. (накануне мировой войны).

В мировой войне, в которой Япония приняла участие в качестве союзницы Англии, ее военные расходы были сравнительно невелики, тогда как ее экономические выгоды, в связи с предоставлением ей фактической монополии на азиатских рынках и поставками на нужды «союзников» были огромны. Это был «золотой век» в развитии японского капитализма, в течение которого Япония превратилась в первоклассную экономическую державу. Увеличение ее бюджета до 1.017 млн. иен в 1918—1919 г. и соответствующее налоговое обременение населения не превышало капиталистической нормы.

Но этот золотой век был непродолжителен. Последующее десятилетие ознаменовалось совершенно исключительным ростом финансового напряжения. Государственный расходный бюджет (по ординарным и экстраординарным расходам вместе) вырос с 1.172 млн. иен в 1919 г. до 1.521 млн. иен в 1923—1924 г. и 1.814 млн. иен в 1928—1929 г. Это увеличение расходов в 1½ раза за десятилетие не могло быть покрыто за счет непрерывного роста налогового обложения и покрывалось преимущественно за счет займов. Правда, внешняя задолженность Японии увеличилась очень мало — с 1.424 млн. иен в 1920—1921 г. до 1.446 млн. иен в 1929—1930 г., но внутренний долг возрос в 2½ раза: с 1.819 млн. иен до

4.512 млн. иен. А общая (внешняя и внутренняя) задолженность государства выросла с 3.244 млн. иен до 5.929 млн. иен, т.-е. увеличилась на 80 проц.

Проф. Андреадес, из статьи которого мы заимствуем приведенные выше данные, говорит о том, что такого рода увеличение расходов за счет новых займов в период мира «не могло покоиться на здоровой финансовой основе». Фактически государство в течение 1920—1929 годов ежегодно покрывало свои расходы за счет займов на сумму в среднем 270 млн. иен. При такой системе управления финансовые концерны становились фактическими хозяевами страны, а предоставляемые ими государству деньги в огромной доле шли на непроизводительные военные расходы.

По данным газеты «Асахи», военные расходы Японии увеличились с 184 млн. долларов в 1918—1919 г. до 365 млн. дол. в 1921—22 г., составив в этом году 49 проц., т.-е. почти половину всех расходов. Землетрясение 1923 года, причинившее Японии убытки на сумму 5¹/₂ млрд. иен, несколько приостановило эту безумную гонку расходов на вооружения, но все же в период 1924—1929 гг. военные расходы держались на уровне приблизительно на 250 млн. долларов в год, поглощая около 30 проц. всего японского бюджета.

Непомерные военные расходы, тяжесть налогового обложения, рост государственной задолженности и закабаление страны несколькими могущественными финансовыми концернами, направлявшими политику государства в соответствии со своими коммерческими интересами и фактически державшими у себя на откуп обе буржуазные политические партии—минсейто и сейюкай,—таков общий баланс финансовой политики Японии в период между окончанием мировой войны и наступлением всеобщего мирового кризиса капитализма.

Рикшотом через океан

Необходимость отказаться от политики покрытия фактического бюджетного дефицита за счет займов вполне выяснилась уже к началу 1929 г. В июле

1929 г. министерство Танака вынуждено было подать в отставку в связи с своей неспособностью справиться с финансовыми трудностями, и власть перешла в руки партии минсейто, выступившей с программой возвращения к золотому стандарту и бюджетной экономии. Никаких займов—таков был лозунг новой финансовой политики.

Переход к золотому стандарту в форме свободного вывоза золота был осуществлен уже в январе 1930 г., последствием чего явилось падение цен до уровня 1916 г. уже в июне 1930 г. Проведение режима экономии в бюджете шло с большим трудом, но все же к середине 1930 года могло казаться, что японская финансовая система как будто бы вступает в период относительной стабилизации.

Но именно в этот момент Япония попала в полосу мирового экономического кризиса, действие которого на Японию оказалось, по мнению проф. Андреадеса, более разрушительным, чем в какой-либо другой стране мира. Основная причина этого заключается, по мнению известного американского знатока японской экономики Гарольда Мультона (недавно выпустившего специальную книгу по этому вопросу), в зависимости всего народного хозяйства Японии от ее внешней торговли.

Около 36 проц. всего оборота внешней торговли Японии приходится на САСШ. Америка в частности поглощает 97 проц. всего японского экспорта шелка-сырца. Кризис в САСШ естественно отразился на этом предмете японского экспорта, о значении которого для народнохозяйственной жизни Японии можно судить хотя бы по тому, что 37 проц. всего крестьянского населения Японии заняты шелководством. Если прибавить к этому, что 62 проц. крестьянских хозяйств ведут свою работу полностью или частично на арендованной земле и что от $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ всей стоимости производимого шелка-сырца приходится на уплату аренды, то легко себе представить, каким ударом для сельского хозяйства Японии оказался заокеанский кризис в далекой Америке.

К этому присоединился другой экономический фактор мирового значе-

ния: падение цен на серебро. Для Китая, сохранившего у себя серебряную валюту, этот факт имел значение и экспортной премии и протекционистского тарифа на ввозимые в Китай предметы. На практике это привело к тому, что китайские хлопчатобумажные изделия стали дешевле японских, легко конкурируя с ними и на внутреннем китайском, и на внешних рынках. Кроме того, для САСШ стало выгоднее закупать шелк-сырец в Китае, чем в Японии. Наконец большой удар японской внешней торговле нанесло повышение таможенных тарифов в британских доминионах и гандистская агитация в Индии против пользования заграничными текстильными изделиями.

Для того, чтобы получить представление о том, в какой степени эти причины, действовавшие в САСШ, Китае, Индии и британских доминионах, могли подорвать японскую внешнюю торговлю, приведем помещенную в английском журнале «Economist» (от 6 февр. 1932 г.) таблицу распределения японской внешней торговли по странам в 1930 г. (в млн. иен):

	Импорт		Экспорт	
	Ценность	В % к общей сумме	Ценность	В % к общей сумме
САСШ	443	29	506	34
Брит. Индия	180	12	129	9
Брит. доминионы . .	169	11	70	5
Китай	162	10,5	261	18
Великобритания . . .	93	6	61	4
Прочие страны . . .	499	31,5	443	30

Итак, именно в тех странах, которые поглощают 62,5 проц. японского импорта и 66 проц. японского экспорта, создались неблагоприятные условия для вывоза японских товаров. Это привело к сокращению японской внешней торговли как по импорту, так и по экспорту. Это сокращение «Economist» иллюстрирует в виде следующей таблицы о движении внешней торговли Японии за январь—ноябрь 1930 и 1931 г. (в млн. иен):

	Импорт		Экспорт	
	1930	1931	1930	1931
Сырье	777	617	60	41
Пища, напитки, табак	194	145	117	96
Полуфабрикаты	222	166	482	387
Готовые изделия	251	192	662	517
Итого	1444	1120	1321	1041

Из этой таблицы видно, что импорт снизился в 1931 г. по сравнению с 1930 г. на 23 проц., а экспорт — на 20 проц. А между тем уже в 1930 г. баланс внешней торговли Японии сократился по сравнению с 1929 г. на 30,9 проц., более, чем в какой-либо другой стране. Неблагоприятный торговый баланс составлял в 1930 г. 123 млн. иен, в 1931 г. — 79 млн. иен (в обоих случаях за 11 месяцев). Если принять во внимание, что основным моментом, позволившим перейти в январе 1930 г. к золотому стандарту, был активный торговый баланс 1929 г., то становится ясным, что превышение экспорта над импортом в последующие два года подорвало и возможность сохранения золотого курса иены.

Необходимо также принять во внимание следующее: более значительное сокращение импорта, чем экспорта, в 1931 г., хотя и уменьшило несколько пассивное сальдо по сравнению с 1930 годом, но знаменовало в то же время углубление промышленного кризиса в Японии, — ибо почти половина сокращения ввоза в 1931 г. (160 млн. иен из 324 млн. иен) падает на ввоз сырья, что свидетельствует об уменьшении загрузки японских промышленных предприятий.

Уже в начале 1930 г. кривая продукции японской промышленности резко пошла вниз. По данным ассоциации японских промышленников, производство сократилось: по хлопчатобумажной пряже — на 34,4 проц., по шелковым тканям — на 35 проц., по искусственному шелку — на 15 проц., по цементу — на 55 проц., по суперфосфату — на 55 проц., по бумаге — на 35 проц., по углю — на 27 проц., по стали — на 55 проц. В 1931 г. сокращение производства в ряде отраслей японской промышленности достигло 60

проц. Число безработных, по ориентировочным данным (точной статистики не имеется), достигло в конце 1931 г. 2 млн. человек.

Но еще более серьезное значение имеет аграрный кризис. По данным выпущенного английским журналом «Economist» обзора мировой торговли за 1931 год видно, что урожай риса в Японии сократился в 1931 г. на 17 проц. по сравнению с 1930 г. и был на 10 проц. ниже среднего урожая за последние 5 лет. Сбор шелковых коконов был на 12,5 проц. меньше, чем в 1930 г. И параллельно с этим шло падение цен. Так, для некоторых видов шелка-сырца цены на японском рынке, по данным «Economist», упали до катастрофических размеров:

1928 г.	— 310—315 фр.
1929 »	— 280—285 »
1930 »	— 145—150 »
1931 »	— 130—135 »

Японский крестьянин, на которого одновременно обрушилось и уменьшение валового урожая, и сокращение более чем вдвое его денежной ценности, оказался в совершенно безвыходном состоянии. Между тем налоги и арендная плата, составляющие более 50 проц. ценности всей продукции крестьянского двора, остались на прежнем уровне. Задолженность крестьянства землевладельцам, ростовщикам и банкам достигла вместе с недоимками по государственному налогу в 1931 г. фантастической цифры в 5 млрд. иен, составляя в среднем на один двор в южных районах — 428 иен, в северных — 936 иен.

Буржуазная японская газета «Майничи» вынуждена признать, что земледелие в Японии стало совершенно нерентабельным занятием. По данным газеты «Асахи» (от 18 марта 1932 г.), падение цен на землю в 1931 г. составило в среднем 20 проц., подымаясь в отдельных районах (в префектуре То-яма) до 36 проц. Бывший мин. финансов Иноуйе заявил, что «крестьянская масса, которая до последнего времени была наиболее ценным источником, из которого японский капитализм извлекал средства для конкуренции на меж-

дународном рынке, находится сейчас в состоянии катастрофы».

Как отразилось это катастрофическое состояние народного хозяйства Японии на ее финансовом положении? По данным «Японского финансового ежегодника» за 1930 г., бюджет 1929—30 г. был выполнен с превышением доходов над расходами в сумме 55 млн. иен. Но это кажущееся благополучие было совершенно фиктивным, ибо из общей суммы доходов в 1.826 млн. иен 345 млн. иен составляли так называемые «экстраординарные доходы», т.-е. частью новые займы, частью поступления по старым займам.

Бюджет 1930—31 г., по данным журнала «Transpacific» от 2 июля 1931 г., закончился дефицитом в 171 млн. иен, покрытым исключительно за счет бон казначейства. Бюджет на 1931—32 г., представляемый парламенту 22 янв. 1931 г., предусматривал сокращение как доходов, так и расходов до самого низкого уровня за последнее десятилетие: по доходам (включая поступления по проектируемым мелким займам на общественные работы) — 1.428 млн. иен, по расходам — 1.410 млн. иен. Но расходы превысили намеченную сумму, и год закончился с дефицитом минимум в 60 млн. иен. И наконец бюджет на 1932—33 г. намечен: по доходам — в размере 1.274 млн. иен и по расходам — 1.397 млн. иен. Дефицит, таким образом, предусмотрен в 123 млн. иен. Но фактически он будет значительно больше, ибо предусматриваемое сокращение расходов на 82 млн. иен конечно останется на бумаге. Целый ряд дополнительных ассигнований на финансирование военных действий в Китае уже проведен.

Удержаться в этих условиях на позиции золотого стандарта и свободного вывоза золота было невозможно. Золото усиленно выкачивалось американскими банками из страны. Золотой запас Японского банка упал с 1.073 млн. иен в январе 1930 г. до 831 млн. иен в январе 1931 г., а к ноябрю 1931 г. — до 564 млн. иен. Правительство партии минсейто, ближе отражающей интересы промышленной буржуазии, тщетно пыталось предотвратить отлив золота за границу, пока не было свергнуто в дека-

бре 1931 г. милитаристическо-помещичьей партией сейюкай. Новое правительство, образовавшееся под председательством Инукайя, начало свою деятельность с отмены 13 декабря 1931 г. свободного вывоза золота за границу, т. е. золотого стандарта иены.

При помощи этой меры, которая неизбежно должна была привести к падению курса иены, правительство рассчитывало создать своего рода экспортную премию для вывоза японских товаров и поднять сельское хозяйство, в частности шелководство. Этого требовали землевладельцы, которые не в состоянии были больше взыскивать арендную плату с крестьян, этого требовала военщина, для которой инфляция представлялась удобной почвой для покрытия расходов на военные авантюры. И этого же требовали японские биржевники, игравшие на понижение курса иены. Лондонский «Times» в передовой статье от 14 декабря 1931 г. писал: «Обширные финансовые и коммерческие интересы были вовлечены в спекуляцию с долларами, рассчитанную на предстоящее падение иены. Финансовая политика Иноуэе (мин. фин. в кабинете партии минсейто), направленная на поддержание курса иены, грозила спекулянтам полным разорением». Министерство пало, и спекулянты, успевшие заранее закупить доллары, привели к власти ставленника военщины — Инукайя.

Патриотизм давно уже стал во всем капиталистическом мире выгодной финансовой аферой. Япония не составляет в этом отношении исключения. И военные круги, которые в глазах японского мещанства являются носителями традиций древних самураев, на деле являются частью орудием биржевых воротил, а в большинстве случаев — участниками их финансовых операций. Самураи пошли на биржу.

Обетованная страна

«Не успел отзвучать последний выстрел японской пушки в Манчжурии, как началась борьба за концессии; японские военные власти осаждаются всякого рода искателями счастья». Так передавал свои впечатления от поездки в

оккупированную Манчжурию Тейзиро Кавамура, директор крупнейшего японского концерна Мицуи. Почтенному директору конечно не приходилось обитать пороги штаб-квартиры генерала Хондзио наподобие мелких любителей наживы. Концерн Мицуи является одним из крупнейших акционеров Южно-манчжурской жел. дороги и держит в своих руках значительную часть экспортной торговли соей в Манчжурии. Для генерала Хондзио, который открыл при своем штабе специальный «экономический» отдел, имеющий целью освоение захваченной Манчжурии японским капиталом, господин Кавамура был не просителем, а хозяином. Именно на этого хозяина рассчитывал и директор «Восточного колониационного общества» Сугихара, который после своего посещения Манчжурии, заявил: «Мы вложили огромные капиталы в Манчжурии и Внутренней Монголии и будем вкладывать еще больше».

Манчжурия стала обетованной страной японского капитализма. По существу говоря, и до оккупации Манчжурия экономически была колонией Японии. Находящаяся во владении Японии Южно-манчжурская железная дорога является гигантским и далеко не только железнодорожным концерном. ЮМЖД принадлежат Фушунские угольные копи, дающие около 15 проц. всего добываемого в Китае угля, а также крупнейшие железодобывательные заводы в Аньшань-Дяне и Аньшанские рудники ЮМЖД является хозяином ряда газовых и электрических заводов, а также нескольких пароходств с собственными гаванями в Манчжурии. Наконец ЮМЖД выполняла и правительственные функции, владея целым рядом школ и больниц в полосе отчуждения и располагая японскими войсками для охраны своих интересов. А концерн Мицуи, который, как мы указывали, является одним из крупнейших акционеров ЮМЖД, контролирует и экспортную торговлю бобовыми растениями.

Этому преобладанию японского капитала в Манчжурии пыталась оказать сопротивление местная китайская буржуазия. Поэтому первым делом оккупантов был захват китайских банков и превращение пограничного банка и

«Банка трех восточных провинций» в филиалы японских банков. Смысл этого захвата состоял в устранении китайской конкуренции: указанные выше два банка кредитовали преимущественно китайскую торговлю.

Показателем того, какие надежды возлагает японская буржуазия на овладение Японией, является статья Тофуку Кио в японском журнале «Сякай Кейдзай». Автор с энтузиазмом говорит о том, что залежи железной руды в Манчжурии достаточны для покрытия нужд японской промышленности на течение 20 лет, запасы угля — в течение 100 лет. По его подсчетам, запасы нефти в Манчжурии достигают 300 млн. тонн, залежи железа — $3\frac{1}{2}$ млн. тонн, а лесные богатства Манчжурии в 43 раза превышают лесные богатства Японии.

Что касается сельского хозяйства, то площадь пригодной к обработке земли в 6 раз превышает обрабатываемую площадь в Японии, при чем 60 проц. земельного фонда Манчжурии в настоящее время пустует. Манчжурское сельское хозяйство в состоянии поглотить чуть ли не 90 млн. переселенцев, что даст возможность Японии выйти из состояния аграрного перенаселения.

Аргумент о том, что Япония задыхается на узком пространстве своих островов и что захват Манчжурии отражает интересы не только капиталистических трестов Мицуи Мицубиси и Окура, но и миллионов японских рабочих и крестьян, очень часто фигурирует как в японской прессе, так и в писаниях, поддерживающих японский империализм английских и французских газет. Этот мотив усиленно выдвигается и японскими социал-фашистами. Так, ген. секретарь японской социал-демократической партии заявил: «Японская интервенция в Манчжурии не носит империалистического характера, потому что даже социалистическая Япония будет бороться за обладание источниками сырья для своей промышленности». Другой японский «социалист» Амакацу заявил еще более вызывающе: «Япония, бедная естественными богатствами, вовсе не обязана ради сохранения мира обречь себя на полуголодное существование из боязни быть обвиненной в агрессивных действиях». И

даже лидер «левой» центристской партии (Роно Тай-Сюто) Мацутани бросил крылатую фразу: «События в Манчжурии являются не обычной империалистической войной, а разрешением национальной проблемы».

Вся эта «национальная» словесность лидеров японского социал-фашизма, пытающихся доказать, что война в Манчжурии ведется в интересах задыхающихся от перенаселения японских рабочих и крестьян является сознательной ложью. Достаточно указать на то, что, несмотря на пресловутое «перенаселение», японский крестьянин в Манчжурию не переселяется. Число японцев в Манчжурии к моменту оккупации не превышало 250 тыс. человек. Правда, японских подданных там было гораздо больше, но главную массу их составляли 1.200.000 корейцев, которые бежали в Манчжурию от прелестей японского колониального режима в Корее. Интересно, что и сейчас японские колонизаторы не особенно надеются на то, что им удастся убедить своих крестьян переселиться в новое «отечество»: они рассчитывают сплавлять туда главным образом безработных.

Манчжурия действительно нужна Японии, но не японским рабочим и крестьянам, а японским капиталистам, для которых в Манчжурии открывается обширное поле деятельности. Правление ЮМЖД наметило уже постройку сталелитейных заводов с капиталом в 100 млн. иен, завода искусственных удобрений с капиталом в 15 млн. иен, а также проведение трех железнодорожных линий Дуньхуа—Хойрен; Чаньчуй—Далай; Гирин—Харбин. Однако осуществление этих планов упирается в данное время в недостаток капиталов.

Тофуку Кио в своей статье в «Сякай Кейдзай» приводит и другие доводы в пользу необходимости для Японии захватить Манчжурию — доводы военного характера. «Исходя из опыта прошлых войн, — пишет он, — нельзя пренебрежительно относиться к вопросу об экономической блокаде в будущих войнах». С этой точки зрения почтенный идеолог японского империализма указывает на следующие 4 преимущества присоединения Манчжурии к Японии. Во-первых, Манчжурия будет снабжать

Японию во время войны и блокады продуктами питания, хлопком, чугуном и углем. Во-вторых, близость этих источников снабжения к самой Японии позволит сэкономить часть тоннажа торгового флота для военных перевозок. В-третьих, Манчжурия и Монголия явятся рынками сбыта для японской промышленности, заменив другие иностранные рынки, от которых Япония будет отрезана блокадой. В-четвертых, «Манчжурия и Монголия дадут нам возможность повышать доходы нашей страны во время войны» — пишет Тофуку Кио.

Американские экономисты (в частности Гарольд Мультон в своей книге «Япония») менее оптимистически расценивают расчеты японских империалистов на то, что обладание Манчжурией даст Японии возможность экономически выдержать тяжесть войны с Америкой. (говоря о блокаде, Тофуку Кио имеет в виду конечно только САСШ). Никакая Манчжурия не возместит Японии потерю американского рынка для сбыта шелка-сырца, разведением которого занимается около трети всего японского крестьянства. Точно также преувеличены и японские расчеты на Манчжурию как на такой источник сырья, который заменит для нее другие страны, обладающие сырьевыми богатствами. Вывоз хлопка из Манчжурии может покрыть лишь незначительную часть потребности в нем японской промышленности и японского военного ведомства. Манчжурская руда — руда низкого качества, обработка же ее обходится дорого. Без импорта этих и ряда других товаров Япония не может обойтись во время войны, да и оплачивать этот импорт в случае затруднений ее вывозу будет нечем, так как ее депозиты в иностранных банках незначительны. А вложения японских капиталов за границей почти целиком сосредоточены в Манчжурии и Китае и рассчитывать на них как на источник валюты в случае войны и блокады не приходится.

Не входя сейчас в обсуждение этой американской оценки экономических возможностей Японии в будущей войне, укажем лишь, что 8 месяцев, истекших с начала манчжурской авантюры,

уже нанесли огромный удар народному хозяйству Японии, доказав ее зависимость от иностранных рынков и в частности именно от Америки.

Если сопоставить данные о японо-американской торговле за 1930 и 1931 гг., то получается следующая картина. Японский импорт в САСШ упал на 74 млн. долларов (с 279 млн. в 1930 г. до 205 млн. долл. в 1931 г.), а вывоз из САСШ в Японию — на 9 млн. долл. (с 165 до 156 млн. долл.). Активное saldo в пользу Японии понизилось с 114 до 49 млн. долларов, при чем резкий перелом в японо-американской торговле наступил именно в конце 1931 г. в связи с военными действиями Японии в Китае. Именно перспектива более широкой войны заставила Японию усилить запасы недостающими ей товарами на американском рынке. В декабре 1931 г. японские закупки в САСШ увеличились в $1\frac{1}{2}$ раза против соответствующих закупок в декабре 1930 г. (с 12,6 млн. долл. до 18,4 млн. долл.). Активный же баланс в пользу Японии упал с 14,6 млн. долл. в дек. 1930 г. до 0,4 млн. долл. в дек. 1931 г., т.-е. сократился на 98 проц.

Совершенно неудовлетворительный для Японии характер носят и итоги ее внешней торговли за первый квартал 1932 года, как в этом можно убедиться из следующей таблицы, дающей эти итоги в сопоставлении с I кварт. 1931 г.:

	1931 г.	1932 г.	Прирост (в млн. иен.)	или падение
Экспорт	290,5	250,0	— 40	
Импорт	326,5	406,0	+ 79,5	
Пассивный баланс . .	36,0	156,0	+120,0	

Таким образом, даже без войны с своим американским конкурентом и без блокады Япония понесла на фронте внешней торговли и финансов жестокое поражение. В результате сокращения экспорта и значительного роста импорта дефицит ее торгового баланса за один только квартал достиг 120 млн. иен, что является для Японии огромной цифрой, если принять во внимание, что золотой запас Японии уже в декабре 1931 г. опустился несколько ниже 500 млн. иен.

В результате мировая биржа начинает с недоверием относиться к кредито-

способности Японии. Газета «Japan Advertiser» от 25 февраля отмечала тот факт, что перспективы Японии на получение внешнего займа совершенно неблагоприятны. Со второй половины января курс облигаций японских внешних займов непрерывно снижается. Уже к 20 февраля облигации японского 6½-процентного займа котировались на нью-йоркском рынке по рекордно низкому курсу в 72 доллара против 83½ долларов на 20 января. Такое же снижение испытал этот заем и на лондонском денежном рынке.

Выпуск внутренних займов также крайне затруднен. По сообщению того же «Japan Advertiser» попытка Промышленного банка выпустить новый заем на сумму 12 млн. иен не увенчалась успехом: после окончания срока подписки была покрыта лишь ⅓ намеченной суммы. Все же в марте было выпущено займов на сумму 194 млн. иен, в том числе госуд. займов на сумму 164,2 млн. иен.

Дальний Запад и Дальний Восток

Таковы основные итоги тех финансово-экономических затруднений, перед которыми оказалась Япония в результате комбинированного действия мирового кризиса капитализма и своей захватнической политики в Китае. К этим итогам следует прибавить еще данные о потерях японской торговли в результате антияпонского бойкота в Китае и о соответственном выигрыше ее империалистических конкурентов, в частности Америки. Мы считаем нужным выделить этот вопрос особо, ибо именно проникновение американского капитала в Китай за счет вытеснения японского капитала заставило японских империалистов поторопиться с захватом Манчжурии, пока там еще не успел пустить прочных корней американский капитал. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что японо-американское соперничество за китайский рынок является одним из наиболее важных факторов дальнейшего развития дальневосточных событий.

Какова заинтересованность основных империалистических держав в Китае?

По американским данным (см. специальную статью о вложениях иностранных капиталов в Китае в американском журнале «Foreign Affairs» за 1931 г.), относящимся в основном к 1929 г., вложения японского капитала в Китае приблизительно соответствовали вложениям британского капитала, равняясь в круглых цифрах 1.250 млн. американских долларов. Японские источники определяют цифру вложений Японии несколько выше: 1.265—1.270 млн. долларов. САСШ значительно уступают в этом отношении Британской империи и Японии, — их вложения не превышают 250 млн. долларов.

Значительно ближе подходят САСШ к Британской империи и Японии по размерам своей внешней торговли с Китаем, как это можно видеть из следующей таблицы (в миллионах таэлей, по данным таможенного ведомства Китая):

	1927	1928	1929
Британская империя	246,58	295,12	349,52
Гонконг	382,27	408,20	388,06
Япония	502,63	547,89	579,56
Корея	75,57	64,70	55,44
САСШ	288,54	332,74	368,67
Филиппины	10,63	11,62	12,59

Из этой таблицы видно, что на первом месте стоит Британская империя с Гонконгом (английская колония), на втором — Япония с Кореей, на третьем — САСШ с Филиппинами. Причислять однако полностью торговые обороты Гонконга к британской торговле было бы неправильным, ибо Гонконг является своего рода распределителем, через который проходят товары из разных стран, направляемые в Южный Китай.

Эти абсолютные цифры не дают однако представления о подлинной заинтересованности трех главнейших империалистических конкурентов — САСШ, Великобритании и Японии — в китайских делах. Необходимо принять во внимание, что торговля Японии с Китаем составляла в 1929 г. 24,4 проц. всего объема ее внешней торговли, тогда как для Великобритании значение торговых сношений с Китаем определяется тем, что объем их (при огромной абсолютной цифре) не превышает 3½ проц. всей британской внешней торговли; для

САСШ соответствующая относительная цифра составляет только 1,6 проц.

Из приведенной выше таблицы видно также, что в период 1927—1929 гг. внешняя торговля САСШ и Британской империи с Китаем развивалась гораздо более быстрым темпом, чем японо-китайская торговля. Этот факт становится еще более ярким, если сопоставить динамику японского и американского экспорта в Китай без Манчжурии, в которой Япония до последнего времени удерживала преобладающие позиции.

По данным немецкого журнала «Wirtschaftsdienst» от 1 апреля, американский импорт в «собственно-Китай» уже в 1928 г. догнал японский: ввоз из САСШ составлял 132 млн. долл., из Японии — 139 млн. долл.; если же учесть тот факт, что часть американских товаров попадала в Китай через посредство японских фирм, то ввоз из САСШ в Китай определится цифрой в 145 млн. долл., а ввоз из Японии — 131 млн. долл. Последующие годы дают такую картину:

	САСШ	Япония
1929 г. . . .	131 млн.	117 млн.
1930 » . . .	97 »	94 »
1931 » . . .	60 »	101 »

Таким образом, по мнению немецк. экономического журнала, Америка уже до манчжурской авантюры успешно вытесняла Японию с рынков «собственно-Китая». А антияпонский бойкот во второй половине 1931 г. дал Америке полную победу.

Очень интересные данные дает «Wirtschaftsdienst» и о борьбе за манчжурский рынок. Америка делала на этом рынке лишь первые шаги, но серьезным конкурентом Японии был собственно Китай.

	Япония	САСШ	Китай
	(в млн. долларов)		
1929 г. . . .	81	1	6
1930 » . . .	49	9	34
1931 » . . .	31	9	—

Таким образом, и на манчжурском рынке американский ввоз, который в 1929 г. составлял лишь $\frac{1}{80}$ японского ввоза, в 1931 г. (несмотря на оккупацию Манчжурии японскими вой-

сками) поднялся до $\frac{1}{2}$ японского ввоза. Оккупация прервала борьбу САСШ за вытеснение Японии с манчжурского рынка после победы Америки над Японией на рынках остального Китая.

Япония явно играет ва-банк. Ее надежды на экономические преимущества от захвата Манчжурии (если даже этот захват будет прочным) проблематичны, ее убытки от манчжурской авантюры огромны. Достаточно указать, что, по данным английского «Economist» (от 6 февр.), японский экспорт в Китай сократился в 1931 г. по сравнению с 1930 г. на 36 проц., а импорт из Китая — на 16,8 проц., в связи с чем и активное сальдо в пользу Японии упало с 100 до 20 млн. иен (в круглых цифрах).

Но этим не исчерпываются убытки Японии. Надо принять во внимание, что сокращение японского экспорта в Китай (до начала антияпонского бойкота) вызывалось, как мы указывали, фактом падения цен на серебро, что затрудняло для Японии конкуренцию с Китаем, товары которого расценивались в дешевой серебряной валюте. Это падение своего экспорта Япония компенсировала до некоторой степени усилением своего промышленного строительства в самом Китае. По данным «Commerce Report» (орган министерства торговли САСШ), количество веретен на японских текстильных фабриках в Китае в 1931 г. было на 141.000 больше, чем в 1930 г. Антияпонский бойкот в Китае обеспокоил эти новые вложения японского капитала. В последние месяцы 1931 г. 80 проц. ежемесячной продукции японских фабрик в Китае, оцениваемой в $3\frac{1}{2}$ млн. долл., оставалось непроданным и шло на склады. Да и остальные 20 проц. продукции были перепроданы японским же торговцам для отправки в разные другие пункты Дальнего и Ближнего Востока.

По данным Ассоциации японских хлопчатобумажных фабрик в Китае, убыток этих фабрик от антияпонского бойкота составляет не менее 2 млн. таэль (таэль равняется 1 р. 35 коп.) в месяц. Кроме того, в самой Японии скопилось товаров, заказанных для Китая, но непроданных вследствие бойкота, на сумму свыше 33 млн. иен.

Можно было бы привести ряд других данных, свидетельствующих об отчаянном экономическом положении Японии (дефицит жел. дор., убытки японских пароходных компаний и т. п.). Но и сказанного достаточно. Японская военщина может грезить о военных подвигах, о войне чуть ли не со всем светом, о создании Великой Японии, которая поглотит Китай и Филиппины; директора трестов Мицуи и Окура могут мечтать о новых вложениях капиталов на материке и убаюкивать рабочих и крестьян Японии сказками о колонизации Манчжурии, — действительность остается для трудящихся масс Японии в высшей степени неприглядной.

За 8 месяцев интервенции Япония потеряла в пользу Англии и особенно Америки китайский рынок, не будучи в то же время в состоянии сколько-нибудь возместить эту потерю торговлей с Манчжурией. Она лишилась в значительной мере и американского рынка для сбыта своих товаров, будучи в то же время вынужденной производить огромные закупки в САСШ в предвидении расширения военных операций. Она совершенно дезорганизовала свою финансовую систему и пошла по пути инфляции, не имея в то же время перспективы — в связи с военными обстоятельствами — использовать эту инфляцию для расширения своего экспорта. Ее промышленность разорена и может рассчитывать только на заказы «на оборону». Аграрный кризис достиг таких размеров, при которых приходится говорить уже не о деградации, а о катастрофе ее сельского хозяйства. Япония уже пережила в прошлом период «рисовых бунтов», — сейчас перед ней встает призрак крестьянских восстаний.

В этих условиях правящие классы Японии видят только один выход из положения — победоносную войну. Заводчики и фабриканты предвкушают перспективу военных заказов, помещики рассчитывают на повышение цен на с.-х. продукцию, правительство надеется посредством войны отвлечь внимание масс от внутреннего экономического развала, идеологи империализма думают, что захват новых земель все окупит.

Эти расчеты глубоко ошибочны. Даже война с Китаем оказалась более трудным делом, чем это представляли себе японские стратеги. Манчжурия была захвачена сравнительно легко, так как капитулянтские нанкинское и мукденское правительства не оказали захватчикам никакого сопротивления. Но уже сейчас положение в Манчжурии стало гораздо более напряженным. Партизанское движение разлилось широкой волной по всей Манчжурии, и справиться с ним для японских войск гораздо труднее, чем с силами бывшего мукденского правителя Чжан Сюэ-яна. А попытка оказать на Китай давление путем военной экспедиции для захвата Шанхая оказалась дорогостоящей и в конечном итоге мало удачной военной операцией вследствие обострения ненависти против империалистов в трудящихся массах Китая. Готовность масс бороться против иностранных захватчиков мешает Чан Кай-ши стать на путь открытой капитуляции и лишает японскую военщину надежды одним коротким ударом добиться закрепления за Японией захваченных ее территорий.

Трудность добиться соглашения с капитулянтским нанкинским правительством объясняется, несомненно и американскими влияниями. В то время как играющая в шанхайских переговорах роль «честного маклера» английская дипломатия фактически выполняет функции поверенного японской стороны, представители САСШ держат себя совершенно в стороне от этих переговоров. А выступления членов вашингтонского правительства носят далеко не успокоительный для Японии характер. В нескольких нотах и письмах Стимсон заявил, что Америка не будет признавать никаких соглашений между Японией и Китаем, если они нанесут ущерб американским интересам и изменят равновесие на Тихом океане, как оно сложилось по так называемому договору 9 держав. В своем заявлении по вопросу о возможности предоставления независимости Филиппинам Стимсон еще раз подчеркнул важность тихоокеанской проблемы для американского империализма. А мин. торговли Клейн указал на блестящие перспективы американско-

китайской торговли в связи с пробуждением национального одушевления в Китае.

Вывод из всех этих заявлений может быть только один: Соединенные Штаты не намерены позволить Японии использовать плоды своей захватнической политики так, как об этом мечтают милитаристские круги в Токио. В Вашингтоне, повидимому, предпочитают сохранить видимость политической независимости и целостности Китая в целях максимального расширения своего экономического влияния на весь Китай. И если бы дело дошло до раздела Китая, то американская буржуазия отставала бы такой раздел, при котором львиная доля досталась бы ей, а не ее японским конкурентам. Извилистая и зигзагообразная система действий американской дипломатии в течение всего

японо-китайского конфликта направлена в основном на то, чтобы заморить Японию затяжной борьбой в Китае, чтобы «Япония завязла в Китае».

Безвыходное положение, в котором очутился в результате сопротивления трудящихся масс Китая и дипломатических подвохов Америки японский империализм, толкает представителей последнего на путь расширения военных действий за пределы Манчжурии — против СССР. На этом пути некоторые милитаристские круги Японии рассчитывают добиться поддержки европейских империалистов и легче осуществить свои захватнические планы. Но это значило бы броситься из огня да в полымя, ибо никаких шансов на успех на этом пути японский империализм не имеет.

